
Уполн. Главлита А—2865.
Сдано в набор 3/1—39 г. Подписано к печати 14/1—39 г.
18 печ. листов. Тираж 80.000. Зак. 163.
Технический редактор А. И. Гессен.
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская площадь, 5.

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ЯНВАРЬ

МОСКВА
1939

СОДЕРЖАНИЕ

ВКЛАДКА — портрет В. И. ЛЕНИНА.

	Стр.
ПО ПУТИ ЛЕНИНА	5
И. СТАЛИН. — О Ленине.	7
А. КАПЛЕР и Т. ЗЛАТОГОРОВА. — Ленин, киносценарий.	13
ЛЕВ ОШАНИН. — Две песни о Ленине, стихотворения.	51
НИКОЛАЙ ПАНОВ. — Ленин в Швейцарии, стихотворение.	52
НИКОЛАЙ НЕЗЛОБИН. — Письмо, стихотворение.	54
АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ. — Утро, роман.	55
М. КОЧНЕВ. — Два стихотворения.	110
ЛЕВ ДЛИГАЧ. — Январская песенка, стихотворение.	112
С. ЗАРЕЧНАЯ. — Братство, очерк.	113
Т. ШЕВЧЕНКО. — Сон, поэма, перевод с украинского Владимира Державина.	125
Т. ШЕВЧЕНКО. — Пять стихотворений, перевод с украинского А. Безыменского и Ник. Ушакова.	132
ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. — В полярном море, рассказ.	136
ПАВЕЛ АНГОКОЛЬСКИЙ. — На смерть героя, стихотворение.	146

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

Полк. И. ПОПОВ. — Отечественная война китайского народа.	148
Полк. Д. ИВАНОВ. — Контр-удар по Колчаку.	158
Б. ЯГЛИНГ. — Военная тайна.	171

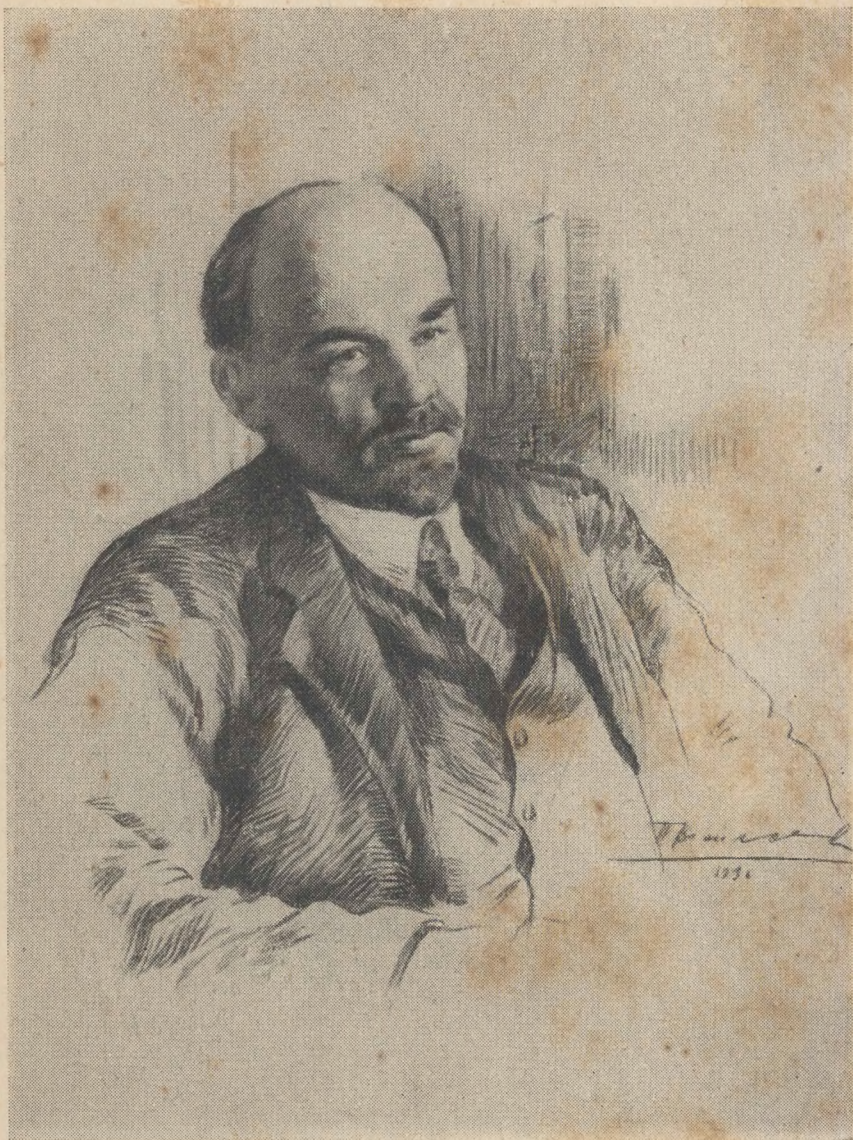
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Х. ХЕРСОНСКИЙ. — Образ Ленина в кино.	184
АЗИЗ НИАЛЛО. — Мирза Фатали Ахундов.	204
А. ДЕРМАН. — А. П. Чехов, биография.	210
П. НОВИЦКИЙ. — Н. П. Хмелев.	234
Г. ЛЕИОБЛЬ. — Пути молодых.	255

БИБЛИОГРАФИЯ

С. В. — М. В. Водопьянов. «Дважды на полюсе».	276
А. ВОЛОЖЕНИН. — Василий Гроссман. «Степан Кольчугин».	278
ИВ. РОЗАНОВ. — Николай Сидоренко. «Заре навстречу», лирика.	282
Н. НИКОЛАЕВ-БЕРГИН. — И. А. Гончаров, «Литературно-критические статьи и письма».	284





В. И. ЛЕНИН

ПО ПУТИ ЛЕНИНА

Пятнадцать лет прошло с той поры, как умер Владимир Ильич Ленин.

Пройдут века и тысячелетия, свободное могучее человечество одержит над природой, над ее стихийными силами такие победы, какие сейчас и представить невозможно.

Но и тогда, и навечно, — имя Ленина бессмертно. Потомкам нашим оно будет светить, возвышаясь из глубины истории величайшей вершиной, от которой началась новая эра разумных и прозрачных отношений между людьми и за которой — лежит «предистория человеческого общества» (Маркс).

Ленин. Это имя — олицетворение глубочайшей любви к человеку и беззаветной борьбы за его полное освобождение и счастье.

Ленин. Это имя — олицетворение величайшего бесстрашия, непоколебимой воли к борьбе и уверенности в победе коммунизма. Ленин — это гениальный, всеобъемлющий ум эпохи, вобравший весь опыт борьбы трудящихся, все достижения человеческого знания.

Маркс и Энгельс выработали и дали рабочему классу научную теорию социализма. Маркс дал рабочему классу оружие для борьбы за социализм — учение о диктатуре пролетариата.

«Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 1, стр. 406).

Ленин восстановил марксизм, искаженный оппортунистами, прислужниками буржуазии.

Ленин учил, что «без революционной теории не может быть и революционного движения... Роль передового бор-

ца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией».

Ленин развил революционное учение — марксизм, создал партию большевиков и вооружил ее научной теорией социализма, ленинизмом, — марксизмом эпохи империализма и пролетарской революции.

Ленин — гениальный вожьд и стратег. Он повел рабочий класс в решительный бой, выбрал удобный момент для боя и организовал победу социалистической революции над ее врагами — капиталистами и их наймитами.

Несметные орды российской контрреволюции, зверские полчища интервентов пытались потопить в крови молодую пролетарскую революцию. Все они были разгромлены, разбиты наголову вооруженными рабочими и крестьянами первой в истории мира Советской страны под гениальным водительством Ленина.

В это же время Ленин учил, что победить врага на фронте хозяйственного строительства — неизмеримо труднее, нежели разбить его на фронтах гражданской войны. Построение социализма — еще более грандиозная задача. Эта задача практически встала перед Советской страной.

Но Ленин умер. И дело Ленина гениально продолжил Сталин.

Сталин — верный друг и ближайший соратник Ленина в организации большевистской партии, в подготовке Великой Октябрьской социалистической революции и в ее победном осуществлении.

Сталин защитил учение Ленина от бесчисленных попыток исказить и из-

вратить ленинизм со стороны заклятых врагов рабочего класса.

Сталин гениально применил учение Ленина и развил его в новых условиях. Сталин в боях за социализм, в боях против врагов пролетариата — капиталистов и их презренных наймитов — троцкистско-бухаринских шпионов и вредителей — сплотил Ленинскую партию, и вокруг партии — все народы Советского Союза. Сталин неустанно воспитывал и воспитывает партию в духе марксизма-ленинизма. Книга по истории ВКП(б) — в создании которой личное участие принимал Сталин — новое могучее идейное оружие большевизма, научная история большевизма, средство вооружения советского народа марксистско-ленинской теорией, средство повышения политической бдительности.

С величайшим бесстрашием и глубочайшей мудростью, с непреклонной волей и непоколебимой уверенностью в победе — Сталин ведет партию и рабочий класс по пути Ленина.

Буржуазия — в смертельной ненависти к рабочим и трудящимся, мобилизуя свой вековой опыт гнусных и подлых злодейств и преступлений, — ни на минуту не прекращала попыток сорвать, задержать движение Советского государства к социализму; здесь были и вредительство, и диверсии, и подлые убийства верных сынов партии и рабочего класса: С. М. Кирова, А. М. Горького, В. В. Куйбышева, В. Ф. Менжинского.

Нет такого чудовищного преступления, на которое не пускались презренные наймиты фашизма — бухаринско-троцкистские негодяи.

«Эти люди, очевидно, забыли, что мы, большевики, люди особого покроя... Они забыли, что нас ковал великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш отец, который не знал и не признавал страха в борьбе. Они забыли, что чем сильнее беснуются враги и чем больше впадают в истерику противники внутри

партии, тем больше накаляются большевики для новой борьбы и тем стремительнее двигаются они вперед. Понятно, что мы и не думали сворачивать с Ленинского пути».

В этих словах товарища Сталина с изумительной силой выражена мощь партии Ленина, мощь ленинизма.

Великий советский народ, сплоченный вокруг партии и своего великого и родного вождя товарища Сталина, разбил наголову всех врагов и одержал величайшие победы.

В стране осуществлено построение социализма, и основным законом жизни является Сталинская Конституция — кодекс завоеваний, итог блестящих побед социализма.

Советский народ вступил в полосу завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода ко второй, высшей фазе коммунизма.

С каждым днем выявляются все новые и новые герои — верные сыны и дочери великого народа. Их подвиги прославляют родину, они формируют черты характера человека социалистического общества.

Все наши победы — результат верности советского народа Ленину и ленинизму, результат победы идей марксизма-ленинизма. Эти победы — результат единства народа и партии, результат гениального руководства Сталина.

Капиталистический мир в предсмертных судорогах ищет выхода в войнах. Фашизм втянул в войну полмиллиарда населения земного шара.

Советская страна — оплот мира, надежда всего человечества. Все трудящееся человечество с надеждой взирает на Советский Союз — базу мировой социалистической революции.

Еще крепче сплотимся вокруг партии Ленина—Сталина и во главе с товарищем Сталиным — величайшим человеком эпохи — пойдем по пути Ленина к полной победе коммунизма.

О ЛЕНИНЕ¹

Товарищи! Мне сказали, что у вас тут устроен вечер воспоминаний о Ленине, а я приглашен на вечер в качестве одного из докладчиков. Я полагаю, что нет необходимости представить связный доклад о деятельности Ленина. Я думаю, что было бы лучше ограничиться сообщением ряда фактов, отмечающих некоторые особенности Ленина, как человека и как деятеля. Между этими фактами, может быть, и не будет внутренней связи, но это не может иметь решающего значения для того, чтобы получить общее представление о Ленине. Во всяком случае, я не имею возможности в данном случае дать вам больше того, что обещал выше.

ГОРНЫЙ ОРЕЛ

Впервые я познакомился с Лениным в 1903 г. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за все время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в ссылке. Знакомство с революционной деятельностью Ленина с конца 90-х годов и особенно после 1901 года, после издания «Искры», привело меня к убеждению, что мы имеем в лице Ленина

человека необыкновенного. Он не был тогда в моих глазах простым руководителем партии, он был ее фактическим создателем, ибо он один понимал внутреннюю сущность и неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с остальными руководителями нашей партии, мне все время казалось, что соратники Ленина — Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие — стоят ниже Ленина целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из руководителей, а руководитель высшего типа, горный орел, не знающий страха в борьбе и смело ведущий вперед партию по неизведанным путям русского революционного движения. Это впечатление так глубоко запало мне в душу, что я почувствовал необходимость написать о нем одному своему близкому другу, находившемуся тогда в эмиграции, требуя от него отзыва. Через несколько времени, будучи уже в ссылке в Сибири, — это было в конце 1903 года, — я получил восторженный ответ от моего друга и простое, но глубоко содержательное письмо Ленина, которого, как оказалось, познакомил мой друг с моим письмом. Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на

¹ Речь на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 г.

ближайший период. Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело — когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмо еще больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению.

С этого времени началось мое знакомство с Лениным.

СКРОМНОСТЬ

Впервые я встретился с Лениным в декабре 1905 г. на конференции большевиков в Таммерфорсе (в Финляндии). Я надеялся увидеть горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но, если угодно, и физически, ибо Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных...

Принято, что «великий человек» обычно должен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: «тсс... тише... он идет». Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда не-

которым нарушением некоторых необходимых правил.

Только впоследствии я понял, что эта простота и скромность Ленина, это стремление остаться незаметным или, во всяком случае, не бросаться в глаза и не подчеркивать свое высокое положение, — эта черта представляет одну из самых сильных сторон Ленина, как нового вождя новых масс, простых и обыкновенных масс глубочайших «низов» человечества.

СИЛА ЛОГИКИ

Замечательны были две речи Ленина, произнесенные на этой конференции: о текущем моменте и об аграрном вопросе. Они, к сожалению, не сохранились. Это были вдохновенные речи, приведшие в бурный восторг всю конференцию. Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление, — все это выгодно отличало речи Ленина от речей обычных «парламентских» ораторов.

Но меня пленила тогда не эта сторона речей Ленина. Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет ее в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ленина—это какие-то всеильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал».

Я думаю, что эта особенность в речах Ленина является самой сильной стороной его ораторского искусства.

БЕЗ ХНЫКАНИЯ

Второй раз встретил я Ленина в 1906 году на Стокгольмском с'езде нашей партии. Известно, что на этом с'езде большевики остались в меньшинстве, потерпели поражение. Я впервые видел тогда Ленина в роли побежденного. Он ни на иоту не походил на тех вождей, которые хныкают и унывают после поражения. Наоборот, поражение превратило Ленина в сгусток энергии, вдохновляющий своих сторонников к новым боям, к будущей победе. Я говорю о поражении Ленина. Но какое это было поражение? Надо было поглядеть на противников Ленина, победителей на Стокгольмском с'езде — Плеханова, Аксельрода, Мартова и других: они очень мало походили на действительных победителей, ибо Ленин в своей беспощадной критике меньшевизма не оставил на них, как говорится, живого места. Я помню, как мы, делегаты-большевики, сбившись в кучу, глядели на Ленина, спрашивая у него совета. В речах некоторых делегатов сквозили усталость, уныние. Помнится, как Ленин в ответ на такие речи едко процедил сквозь зубы: «Не хныкайте, товарищи, мы наверняка победим, ибо мы правы». Ненависть к хныкающим интеллигентам, вера в свои силы, вера в победу — вот о чем говорил тогда с нами Ленин. Чувствовалось, что поражение большевиков является временным, что большевики должны победить в ближайшем будущем.

«Не хныкать по случаю поражения» — это та самая особенность в деятельности Ленина, которая помогала ему спланировать вокруг себя преданную до конца и верящую в свои силы армию.

БЕЗ КИЧЛИВОСТИ

На следующем с'езде в 1907 году в Лондоне большевики оказались победи-

телями. Я впервые видел тогда Ленина в роли победителя. Обычно победа кружит голову иным вождям, делает их заносчивыми и кичливыми. Чаще всего в таких случаях начинают торжествовать победу, почивать на лаврах. Но Ленин ни на иоту не походил на таких вождей. Наоборот, именно после победы становился он особенно бдительным и настроженным. Помнится, как Ленин настойчиво внушал тогда делегатам: «первое дело — не увлечься победой и не кичиться; второе дело — закрепить за собой победу; третье — добить противника, ибо он только побит, но далеко еще не добит». Он едко высмеивал тех делегатов, которые легкомысленно уверяли, что «отныне с меньшевиками покончено». Ему нетрудно было доказать, что меньшевики все еще имеют корни в рабочем движении, что с ними надо бороться умеючи, всячески избегая переоценки своих сил и, особенно, недооценки сил противника.

«Не кичиться победой» — это та самая особенность в характере Ленина, которая помогла ему трезво взвешивать силы противника и страховать партию от возможных неожиданностей.

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Вожди партии не могут не дорожить мнением большинства своей партии. Большинство — это сила, с которой не может не считаться вождь. Ленин это понимал не хуже, чем всякий другой руководитель партии. Но Ленин никогда не становился пленником большинства, особенно, когда это большинство не имело под собой принципиальной основы. Бывали моменты в истории нашей партии, когда мнение большинства или минутные интересы партии приходили в конфликт с коренными интересами пролетариата. В таких случаях Ленин, не задумываясь, решительно становился на

сторону принципиальности против большинства партии. Более того, — он не боялся выступать в таких случаях буквально один против всех, рассчитывая на то, — как он часто говорил об этом, — что: «принципиальная политика есть единственно правильная политика».

Особенно характерны в этом отношении два следующих факта.

Первый факт. Период 1909 — 1911 гг., когда партия, разбитая контрреволюцией, переживала полное разложение. Это был период безверия в партию, период повального бегства из партии не только интеллигентов, но отчасти и рабочих, период отрицания подполья, период ликвидаторства и развала. Не только меньшевики, но и большевики представляли тогда целый ряд фракций и течений, большей частью оторванных от рабочего движения. Известно, что в этот именно период возникла идея полной ликвидации подполья и организации рабочих в легальную, либеральную столыпинскую партию. Ленин был тогда единственным, который не поддался общему поветрию и высоко держал знамя партийности, собирая разрозненные и разбитые силы партии с удивительным терпением и с небывалым упорством, воюя против всех и всяких антипартийных течений внутри рабочего движения, отстаивая партийность с небывалым мужеством и с невиданной настойчивостью.

Известно, что в этом споре за партийность Ленин оказался потом победителем.

Второй факт. Период 1914 — 1917 гг., период разгара империалистской войны, когда все, или почти все, социал-демократические и социалистические партии, поддавшись общему патристическому угару, отдали себя на ус-

лужение отечественному империализму. Это был период, когда II Интернационал склонил свои знамена перед капиталом, когда перед шовинистической волной не устояли даже такие люди, как Плеханов, Каутский, Гэд и другие. Ленин был тогда единственным, или почти единственным, который поднял решительную борьбу против социал-шовинизма и социал-пацифизма, разоблачал измену Гэдов и Каутских и клеймил половинчатость межеумочных «революционеров». Ленин понимал, что он имеет за собой незначительное меньшинство, но это не имело для него решающего значения, ибо он знал, что единственно верной политикой, имеющей за собой будущность, является политика последовательного интернационализма, ибо он знал, что принципиальная политика есть единственно правильная политика.

Известно, что и в этом споре за новый Интернационал Ленин оказался победителем.

«Принципиальная политика есть единственно правильная политика» — это та самая формула, при помощи которой Ленин брал приступом новые «неприступные» позиции, завоеывая на сторону революционного марксизма лучшие элементы пролетариата.

ВЕРА В МАССЫ

Теоретики и вожди партий, знающие историю народов, проштудировавшие историю революций от начала до конца, бывают иногда одержимы одной неприличной болезнью. Болезнь эта называется боязнью масс, неверием в творческие способности масс. На этой почве возникает иногда некий аристократизм вождей в отношении к массам, не искусственным в истории революций, но призванным ломать старое и строить новое. Боязнь, что стихия может разбушевать-

ся, что массы могут «поломать много лишнего», желание разыграть роль мамки, старающейся учить массы по книжкам, но не желающей учиться у масс, — такова основа этого рода аристократизма.

Ленин представлял полную противоположность таким вождям. Я не знаю другого революционера, который так глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его классового инстинкта, как Ленин. Я не знаю другого революционера, который умел бы так беспощадно бичевать самодовольных критиков «хаоса революции» и «вакханалии самочинных действий масс», как Ленин. Помнится, как во время одной беседы, в ответ на замечание одного из товарищей, что «после революции должен установиться нормальный порядок», Ленин саркастически заметил: «Беда, если люди, желающие быть революционерами, забывают, что наиболее нормальным порядком в истории является порядок революции».

Отсюда пренебрежительное отношение Ленина ко всем тем, которые старались свысока смотреть на массы и учить их по книжкам. Отсюда неустанная проповедь Ленина: учиться у масс, осмыслить их действия, тщательно изучать практический опыт борьбы масс.

Вера в творческие силы масс — это та самая особенность в деятельности Ленина, которая давала ему возможность осмыслить стихию и направлять ее движение в русло пролетарской революции.

ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ленин был рожден для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства. Никогда он

не чувствовал себя так свободно и радостно, как в эпоху революционных потрясений. Этим я вовсе не хочу сказать, что Ленин одинаково одобрял всякое революционное потрясение или что он всегда и при всяких условиях стоял за революционные взрывы. Нисколько. Этим я хочу лишь сказать, что никогда гениальная прозорливость Ленина не проявлялась так полно и отчетливо, как во время революционных взрывов. В дни революционных поворотов он буквально расцветал, становился ясновидцем, предугадывал движение классов и вероятные зигзаги революции, видя их, как на ладони. Недаром говорится в наших партийных кругах, что «Ильич умеет плавать в волнах революции, как рыба в воде».

Отсюда «поразительная» ясность тактических лозунгов и «головокружительная» смелость революционных замыслов Ленина.

Вспоминаются два особенно характерных факта, отмечающих эту особенность Ленина.

Первый факт. Период перед Октябрьским переворотом, когда миллионы рабочих, крестьян и солдат, подгоняемые кризисом в тылу и на фронте, требовали мира и свободы; когда генералитет и буржуазия готовили всенную диктатуру в интересах «войны до конца»; когда все так называемое «общественное мнение», все так называемые «социалистические партии» стояли против большевиков, третируя их «немецкими шпионами»; когда Керенский пытался загнать в подполье — и отчасти уже успел загнать — партию большевиков; когда все еще могучие дисциплинированные армии австро-германской коалиции стояли против наших усталых и разлагавшихся армий, а западно-европейские «социалисты» благополучно пребывали

в блоке со своими правительствами в интересах «войны до полной победы»...

Что значило поднять восстание в такой момент? Поднять восстание в такой обстановке — это значит поставить все на карту. Но Ленин не боялся рискнуть, ибо он знал, видел своим ясновидящим взором, что восстание неизбежно, что восстание победит, что восстание в России подготовит конец империалистской войны, что восстание в России всколыхнет измученные массы Запада, что восстание в России превратит войну империалистскую в войну гражданскую, что восстание даст Республику Советов, что Республика Советов послужит оплотом революционного движения во всем мире.

Известно, что это революционное предвидение Ленина сбылось впоследствии с невиданной точностью.

Второй факт. Первые дни после Октябрьской революции, когда Совет Народных Комиссаров пытался заставить мятежного генерала, главнокомандующего Духонина, прекратить военные действия и открыть переговоры с немцами о перемирии. Помнится, как Ленин, Крыленко (будущий главнокомандующий) и я отправились в Главный штаб в Питере к проводу для переговоров с Духониным. Минута была жуткая. Духонин и Ставка категорически отказались выполнить приказ Совнаркома. Командный состав армии находился целиком в руках Ставки. Что касается солдат, то неизвестно было, что скажет 12-миллионная армия, подчиненная так называемым армейским организациям,

настроенным против советской власти. В самом Питере, как известно, назревало тогда восстание юнкеров. Кроме того, Керенский шел на Питер войной. Помнится, как после некоторой паузы у провода лицо Ленина озарилось каким-то необычайным светом. Видно было, что он уже принял решение. «Пойдем на радиостанцию, — сказал Ленин, — она нам сослужит пользу: мы сместим в специальном приказе генерала Духонина, назначим на его место главнокомандующим тов. Крыленко и обратимся к солдатам через голову командного состава с призывом — окружить генералов, прекратить военные действия, связаться с австро-германскими солдатами и взять дело мира в свои собственные руки».

Это был «скачок в неизвестность». Но Ленин не боялся этого «скачка», наоборот, он шел ему навстречу, ибо он знал, что армия хочет мира, и она завоеует мир, сметая по пути к миру все и всякие препятствия, ибо он знал, что такой способ утверждения мира не пройдет даром для австро-германских солдат, что он развяжет тягу к миру на всех без исключения фронтах.

Известно, что это революционное предвидение Ленина также сбылось впоследствии со всей точностью.

Гениальная прозорливость, способность быстро схватывать и разгадывать внутренний смысл надвигающихся событий — это то самое свойство Ленина, которое помогало ему намечать правильную стратегию и ясную линию поведения на поворотах революционного движения.

Л е н и н

КИНОСЦЕНАРИЙ

А. КАПЛЕР и Т. ЗЛАТОГорова

★

1918 г. Июль.

Тяжело было тогда молодой Советской республике. Английские интервенты высадили десант на севере. Японские интервенты заливали кровью Дальний Восток. Турки захватывали наши южные города.

Чехословацкий мятеж вспыхнул злоеющим пожаром в центре республики, казачьи генералы наступали на Царицын, идя на соединение с чехословаками.

В сердце страны, в Москве, подняли восстание «левые эсеры». Голод тяжелой рукой душил республику, истекающую кровью, измученную войной.

Коридор Совнаркома. Вдоль окон столы.

На столах телеграфные аппараты. Стучат ключи.

— «Москва Кремль Совнарком Ленину... — монотонно читает телеграфист секретарю ползущую ленту. — Хлеба выслать не можем ни пуда Комиссар Смирнов ссылаясь ваше распоряжение требует невозможного...».

Рядом у другого аппарата:

— «восстание подавляйте всей решительностью...».

Стучит телеграфный ключ.

— «...подстрекателей агентов контрреволюции расстреливайте на месте не взирая чины звания тчк Председатель Совета Народных Комиссаров Л е н и н».

Ползет лента на третьем аппарате. Сонный, измученный телеграфист, жуя корку черного хлеба, читает:

— «...несмотря неоднократные обращения Наркомвоену... никакой помощи не получили... Положение на фронте тяжелое. Снарядов нет...».

Глаза телеграфиста смыкаются. Ползет лента, стучит аппарат.

Кабинет Ильича. Из коридора глухо доносится стук телеграфного ключа.

В углу на стуле Максим Горький.

За дверью раздается голос Ленина, и на пороге появляется разгневанный Ильич.

— ... это дурацкий либерализм! — кричит Ильич кому-то, очевидно, идущему за ним. — Пожалуйста, проходите вперед! Входите, входите!

Мимо стоящего в дверях Ленина проходит в кабинет Поляков, красный от смущения.

— Мы с вами на государственной службе, батенька, и к этому пора привыкнуть, — сердито продолжает Ильич, захлопывая дверь и не замечая сидящего в углу Горького.

— Владимир Ильич! — перебивает его Поляков, — здесь вас ждут...

Ильич резко поворачивается, видит Горького и быстро подходит к нему:

— Алексей Максимович! Здравствуйте! Простите, мы сейчас договорим.

— Меня здесь усадили и просили подождать. Я не мешаю?

— Нет, нет, нисколько, совершенно не мешаю! И вы напрасно надеетесь, товарищ Поляков, что присутствие Горького помешает мне досадить вам до кон-

ца... Вы знакомы?.. Товарищ Максим Горький — товарищ Поляков... Так вот, усвойте: никакие революционные заслуги в прошлом, никакой партийный стаж, никакая седая борода не будут нами приниматься во внимание — категорически! — когда речь идет о компроматах советской власти! И мы никому не позволим, сидя под крылышком добрейшего товарища Полякова, саботировать нашу работу...

— Владимир Ильич, я понимаю...

— Неправда, вы этого не понимаете... — перебивает его Ильич, — а если и впредь не поймете, то мы будем вынуждены покарать вас, — и сурово, хотя вы прекрасный человек и старый большевик!

— Я согласен с вами, — говорит багровый от смущения Поляков.

— Ну вот и отлично!

Ленин вдруг улыбнулся открытой, детской улыбкой.

— Вот вам распоряжение — абсолютно строгое. И, пожалуйста, перестаньте с этими господами либеральничать.

— До свидания, Владимир Ильич! — улыбаясь, говорит Поляков.

Ильич пожимает его руку и быстро подходит к Горькому.

— Рад вас видеть, Алексей Максимович. Я соскучился по вас.

— Вы так умеете отругать человека, — говорит Горький, — что он уходит вполне довольным. Свойство — завидное и поучительное.

— Гм, гм... Как вы живете?

— Живу в бесконечных и малополезных хлопотах.

— Так... А я вот слышал, — и уверен, что это правда, — будто вы ведете большую, интересную и очень полезную для советской власти работу.

Горький чуть заметно ухмыляется в усы:

— Вы значительно преувеличиваете мои заслуги, и это... приятно.

Ильич весело смеется.

— Скажите мне, какие у вас нужды, и я скажу, какая у вас работа! Небось, пришли просить чего-нибудь?

— Разумеется. Принес даже — вот — бумагу...

— Давайте...

Ильич берет бумагу, переходит к столу, читает, отмечая какие-то места.

Горький усаживается рядом с ним.

— Тут, прежде всего, Владимир Ильич, вот что... Нужно их кормить, а то помрут писатели... и ученые помрут.

Ильич делает пометку на полях горьковской бумаги.

— Кстати, — продолжает Горький, — вчера Иван Петрович Павлов опять отказался ехать за границу. Это он уже шестнадцатое приглашение отвергает. Гениальный и приятно-злой старик... Вот здесь написаны нужды его лаборатории.

Ильич переворачивает страницу. Внимательно читает, одновременно слушает Горького, то-и-дело вскидывая на него взгляд.

— Затем очень важно это, — продолжает Горький, — вот здесь написано: бумага, типография и — уж простите — обувь; брюки еще прочные у ученых, а ботинки уже сносились. Почти у всех. Много приходится ходить. Очевидно, в поисках хлеба насущного.

Ильич улыбается.

Входит уборщица — Евдокия Ивановна.

В руках у нее стакан чая и кусок черного хлеба на тарелке.

Ленин освобождает место на столе.

— Спасибо! Поставьте, пожалуйста, сюда, Алексей Максимович, вы обещали?

— Обедал.

— Не сочиняете?

— Свидетели есть — обедал.

— Чаю?

— Нет, благодарю вас.

— Ну, что ж, сделаем все, что в наших силах. — Ленин откладывает бумагу Горького. — У вас, чувствую, есть что-то?

— Да...

— Кто-нибудь арестован, и вы собираетесь за него просить?

— Вот именно.

— Так я и знал.

— Владимир Ильич. Арестован профессор Баташев. Это хороший человек



Из фильма «Ленин»

Ленин хмурится.

— Что значит «хороший человек»? А какова у него политическая линия?

— Баташев прятал наших.

— А может быть, он вообще добренький? Раньше прятал наших, а теперь прячет наших врагов?

— Это человек науки — и только.

— Таких нет!

— Владимир Ильич! Я человек не добрый и недоверчивый. Тем не менее я готов поручиться за Баташева.

— Ну, что ж, — хмурясь, говорит Ленин, — ваше поручительство вещь немалая... — Он пишет записку. — Зайдите к Феликсу Эдмундовичу, поговорите с ним. У него замечательное чутье на правду. — Отдает записку Горькому. — Только напрасно вы этим занимаетесь, Алексей Максимович. Вы ведете громадную, нужную работу, а все эти «бывшие» путаются у вас под ногами.

— Я, может быть, старею, но мне тя-

жело смотреть на страдания людей, — говорит Горький. — Пусть это даже люди ненужные...

Ленин встает, быстро проходит по кабинету из угла в угол.

— Да, им туго пришлось, — говорит он. — Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и больше к земле не прирастут...

Горький помолчал.

— Я, Владимир Ильич, не встречал другого человека, — который с такой силой любил бы людей, как вы, который так ненавидел бы горе и страдания человечества и презирал бы мерзости нашей жизни... Вы должны меня понять.

Ленин подходит к Горькому, останавливается прямо перед ним.

— Алексей Максимович, — говорит он, глядя Горькому в глаза, — дорогой мой Горький, необыкновенный, большой человек! Вы опутаны цепями жалости... Отбросьте ее прочь! Она отравляет горечью ваше сердце, она застилает слеза-

ми ваши глаза, и они начинают хуже различать правду! Прочь эту жалость!

Он решительно, как бы обрубая что-то, взмахивает рукой.

— Знаете ли вы, Алексей Максимович, сколько нужно нам хлеба, чтобы накормить одну только Москву? Вот, полюбуйтесь, — не угодно ли?..

Ильич берет со стола бумаги, показывая их Горькому.

— И вот сколько у нас есть. Смотрите, смотрите... Даже, если мы дадим людям по восьмушке, по одной восьмой фунта, — у нас через два дня хлеба не будет. Ни крошки. Москва умрет от голода. Форменным образом. И, наряду с этим мерзавцы-спекулянты и кулаки торгуют хлебом. Прячут хлеб. Спекулируют хлебом. В комиссии Дзержинского сидят сейчас двести таких крупнейших мерзавцев. Что прикажете делать? Прощать их?.. Жалеть их?

— Жестокость необходима, — говорит Горький и тоже встает. Он стоит, заложив руки за спину, сутулясь, глядя сверху на Ленина. — Без нее старый мир не сломать и не переделать. Я это понимаю. Но, может быть, есть где-то у нас жестокость излишняя. Вот это не нужно... и страшно...

— Вот дерутся два человека, — говорит Ленин, резко выбрасывая вперед указательные пальцы обеих рук. — Как определить, какой удар необходимый, а какой лишний? Если драка не на жизнь, а на смерть?

Звонит телефон.

Ленин снимает трубку.

— Слушаю... Да... Здравствуйте. Простите, Алексей Максимович, — говорит он, прикрывая трубку ладонью. — Да, продолжайте...

Ленин слушает необыкновенно внимательно, склонив голову набок, слегка прищурясь.

— Нет, нет! Его посылать нельзя! — вдруг резко, очевидно, перебивая, говорит он и тут же вскидывает голову к двери: — В чем дело?

В двери стоит Бобылев, работник секретариата Совнаркома.

— Пришел Коробов. Вы его вызывали?

— Да, просите, пожалуйста... Але-

ксей Максимович, вы не уходите. Это старый питерский пролетарий, чудесный, беспокойный человек... (В трубку.) Да, так я говорю — его посылать нельзя. Прежде всего он решительно не умеет никого слушать, а только поучает. Кроме того, он убежден, что умнее всех. Какой же это руководитель? (Входящему Коробову.) Входите, Степан Иванович, здравствуйте, знакомьтесь!..

Коробов, невысокий, сухой старик, с живыми, умными глазами, быстро подходит к Горькому.

— Товарищ Максим Горький! Очень приятно познакомиться.

— Мы с вами встречались? — говорит Горький, пожимая Коробову руку.

— К сожалению, нет. Я вас так узнал. Вас далеко видать.

Ильич слушает, переводя веселый, довольный взгляд с Горького на Коробова, продолжает разговор по телефону.

— Вот это другое дело. Теперь вот что. Я прошу вас взять у меня проект об установлении классового пайка. О чем? О заградительных отрядах? Дайте — это нужно сделать срочно. Хорошо. До свиданья.

Кладет трубку.

— Ну, рассказывайте, — говорит он, всем телом поворачиваясь к Коробову. — У вас всегда что-нибудь очень интересное...

— Вот что, Владимир Ильич, побывал я в деревне, — начинает Коробов. — Положение, скажу я, действительно, интересное!

Он говорит страстно и живо, с трудом удерживаясь на месте, все время порываясь вскочить.

— Кулачье, Владимир Ильич, остервенело. Войной пошло! Топоры, винтовки! Пулеметы даже!..

Ленин слушает внимательно, ладонь приложил к уху. Глаза его сверкают улыбкой удовольствия. Коробов говорит то самое, что ему важно и нужно.

— Так... так, — приговаривает он. — А как с хлебом?

— Хлеб есть! Точно по вашим словам. Но у кого хлеб? У тех же мироедов. Ну, и, конечно дело, нам не дают! Везут в город и по 200 рублей пуд спекулируют. На каждое твое рабочее

слово у них про запас десять грязных. Беднота с голоду пухнет, смерть пошла косить. В Питере у нас, да и тут у вас, в Москве, ни одно дитя досыту не надеется... а хлеб есть, хлеба в России хватает... вот какое положение, Владимир Ильич...

— Так!

Хотя Коробов не сообщает ничего веселого, на лице Ленина написано почти удовольствие, настолько ему нравится, что Коробов говорит именно то, важное, что он от него ждал.

— Вот дела, Владимир Ильич! Если мы деревне не поможем, — извините меня, — не быть советской власти!

— Конечно, конечно! Они вам покажут — кулаки! — подхватывает Ильич.

— Чего же вы смеетесь, Владимир Ильич? Вам ведь тоже попадет.

— Ну, уж разумеется! Так что же, по-вашему, делать?

Коробов наклоняется к Ильичу.

— Владимир Ильич... не знаю, как вы посмотрите. Что, если рабочий класс кинуть в деревню? Тысячами? С семьями? А? Собрать там бедноту и вместе с нею нажать на кулаков! Кулак ведь не устоит? А?

— Если середняка к себе перетащите — тогда не устоит.

Коробов вскакивает.

— Ни в какую не устоит! Дайте нам оружия да хорошее благословение, чтоб с кулаками нянькаться поменьше. Будет и хлеб, будет и советская власть!

Коробов порывисто садится.

— Верно, Степан Иванович, — говорит Ленин, перестав улыбаться. — Вы оценили политическое положение абсолютно правильно, и выводы ваши верны. Мысль о массовом походе рабочих в деревню — мысль замечательная. И мы ее обязательно, немедленно осуществим. Вы когда в Питер?

— Сегодня же.

— Очень кстати. Я вам приготовлю письмо к товарищам питерским рабочим, возьмите его с собой. И давайте действовать, не медля. Хорошо?

— Давайте, Владимир Ильич.

Коробов встает.

— Подождите, у меня к вам есть еще один вопрос. — Ильич чуть заметно

покоился на Горького. — Как вы смотрите: как нам поступать с врагами?

— То-есть — как?.. Простите, не понимаю, — тревожно говорит Коробов, очевидно, действительно не понимая, почему его спрашивает об этом Ильич. — Врагов надо бить. Так, кажется?

— Но как бить? Словом, убеждением, или силой?

— Виноват, какое же может быть убеждение?! — растерянно говорит Коробов, оглядываясь на Горького и как бы ища у него поддержки. — Ты ему слово, а он тебя за горло клыками. Этак всю революцию прохлопаем.

— Ну, да. — Ленин отворачивается, скрывая лукавое сверкание глаз. — А могут ведь и так сказать, что наша социалистическая революция обязана быть самой гуманной, человеческой и что человечность эта должна в том заключаться, чтобы ни на кого не поднимать руку?

— На эсеров? На саботажников? На кулаков?.. Не поднимать руку??! Поднять, да так по голове треснуть... душа из них вон! Так, кажется?

— Видите ли, — упорно продолжает Ленин, — говорят, что наряду с необходимой жестокостью мы иногда проявляем жестокость лишнюю. Ведь вот что говорят.

— Владимир Ильич! — всерьез рассердившись, вспыхивает Коробов. — Да что это с вами сегодня? Вы что, нарочно, что ли?.. Это у кого лишняя жестокость? У нас? Да вы посмотрите, что кругом делается! Ведь под нами земля горит!.. Сотни лет рекой лилась рабочая кровь! А теперь пожалеть какое-нибудь... какую-нибудь дрянь, чтобы все назад повернулось?.. Да еще когда нас душат со всех сторон!.. Да что далеко ходить — вот товарищ Горький, его спросите. Он это хорошо понимает. Он вдоволь хлебнул прежней горькой жизни. Спросите-ка его.

Горький кашляет, покусывает ус.

Ильич, не выдержав, начинает громко смеяться. Он смеется своим удивительным смехом, запрокидываясь на стуле и покачиваясь.

Коробов в недоумении останавливается.

— Что это вы, Владимир Ильич, я не так сказал что-нибудь?

— Нет, нет, Степан Иванович. Вы... вы все абсолютно верно говорите... Но я тут раньше с одним товарищем разговаривал... и, вот, вспомнил...

Ильич хохочет, вытирает слезу и вдруг, перестав смеяться, поднимает на Коробова яркий взгляд.

— Да, Степан Иванович, да... жестокость нашей жизни, вынужденная условиями жестокость, будет понята и оправдана. Все будет понята. Все.

Звонит телефон. Ильич снимает трубку.

— Я слушаю... Подождите, пожалуйста, минуточку... Все будет понята... — повторяет он, прикрывая трубку рукой. — Ну, пожелаю вам всего хорошего. Вы еще зайдите перед отъездом?

Прощается с Коробовым. Горький встает.

— Алексей Максимович, не обижайтесь?

— Не обижаюсь.

— Вы непременно заходите ко мне, как будете снова в Москве.

— Не приглашайте, все равно зайду.

— Я вас слушаю, — говорит Ленин, снова берясь за трубку.

Горький и Коробов выходят.

В коридоре стучат телеграфные ключи, диктуют телеграммы секретари, телеграфисты читают ленты. И все о хлебе, о хлебе, о восстаниях кулачья, о бесконечных нуждах фронтов. Сюда, в Совнарком, в сердце революционной России, к Ильичу, стекаются надежды, чаяния и мысли борющегося народа.

По коридору идет Василий.

Он входит в кабинет Ленина, закрывает за собой дверь и останавливается. Ильич не видит его, он говорит по телефону:

— ... а вы, батенька, издайте-ка распоряжение по вашему ведомству, чтобы во всех типографиях реквизировали яти и твердые знаки. Вот и не будут писать по старой орфографии. И вообще разговаривайте с ними весомее, не стесняйтесь, приучайтесь к государственному

тону... Теперь вот что: завтра же необходимо опубликовать декрет об отмене частной собственности на недвижимость. Что?.. Вот именно потому, что политическое положение напряженное, и нужно опубликовать завтра же!.. Нет, политиканствовать и вилять в таких делах мы не будем... Всего доброго!

Ильич вешает трубку, снимает другую.

— Я жду сводки с фронтов. Дайте, пожалуйста, сюда, как только будут.

Он замечает Василия и быстро идет к нему.

— Товарищ Василий! Здравствуйте, здравствуйте, дорогой мой!

— Здравствуйте, Владимир Ильич!

— Садитесь сюда, вот здесь, поближе...

Ильич усаживает Василия в кресло, пристально вглядывается в его лицо и вдруг, быстро обойдя вокруг стола, берет свой стакан чая, свой ломоть хлеба и ставит все это перед Василием.

— Ешьте обязательно. Немедленно.

— Что вы, Владимир Ильич... я совершенно сыт.

— Ну, тогда рассказывайте скорее, с чем приехали? Привезли хлеб?

— Два маршрута — девяносто вагонов.

— Хорошо. Очень хорошо! Отлично! Рассказывайте, все рассказывайте подробно...

— В Царицын я попал как-раз, когда Ворошилов прорвал казачье кольцо и вышел к Дону. Сформировали отряд. Дал мне Сталин восемьдесят тысяч пудов хлеба и отправил. Вот и все.

— Все?

— Все.

— А что это мне говорили, будто вы были ранены, что вас обстреляли в пути кулаки?

— Ну, так, ведь, не без этого, Владимир Ильич, не в игрушки играем.

Звонит телефона. Ильич снимает трубку.

— Простите, товарищ Василий... Я слушаю!.. Слушаю, Яков Михайлович... Да, да, конечно, вы правы, так им и скажите: большевики люди упрямые, мы готовы совершить тысячу попыток и после тысячи попыток мы приступим к



Из фильма «Ленин».

тысяча первой... Теперь еще вот что,— я хотел вас просить подготовить проект декрета о централизации радиотехнического дела... что? уже готов? (Смеется.) Знаете, Яков Михайлович, ваше «уже» скоро войдет в поговорку. Ну, спасибо, спасибо большое!

Ильич кладет трубку. Быстро что-то пишет.

— Вот что, товарищ Василий, необходимо вам взять себе в помощь еще несколько товарищей чекистов и срочно заняться переброской в деревню рабочих отрядов... Как вы на это смотрите?

— Ответа нет.

— Товарищ Василий!.. — тревожно повторяет Ильич.

Василий неподвижно сидит в кресле, голова упала на грудь, руки повисли вдоль колен.

Ленин вскакивает, бросается к нему:

— Товарищ Василий... товарищ Василий, что с вами?.. — Он берет его за плечи. — Боже мой! Что же это? —

Бежит к двери, открывает ее. — Кто тут есть? Товарищ Бобылев — врача! Скорее бегите за врачом! Сию секунду достаньте врача!

Ленин наливает воду в стакан, не знает, что делать с ней, ставит на стол. Он присаживается на корточки перед Василием. Берет его за руку. Страшно волнуется.

Голова Василия безжизненно опущена, веки закрыты, худое, обросшее бородой лицо очень бледно.

По коридору Совнаркома бежит Бобылев. За ним еле поспевает доктор Рабинович. Они входят в кабинет.

— Константин Николаевич, пожалуйста сюда! — торопливо подзывает Ленин врача, — Скорее... Что с ним?

Доктор Рабинович приподымает Василию веко, щупает пульс.

— Не беспокойтесь, Владимир Ильич, ничего страшного, типичный голодный обморок...

— Да?..

Ленин прошел по кабинету, остановился около Василия.

— Этот человек, доктор, только что привез нам девяносто вагонов хлеба...

Василий пошевелился.

Ленин быстро наклоняется к нему:

— Скажите, доктор: можно дать ему сейчас поесть?

— Можно. И хорошо бы горячего чаю.

— Товарищ Бобылев, — говорит Ильич, — попросите срочно дать горячего чаю и непременно с сахаром.

Бобылев уходит.

Василий приоткрывает глаза. Растерянно смотрит вокруг.

Ленин протягивает ему свой хлеб. Василий берет его. Жадно ест. Ленин отворачивается, достает носовой платок. Заметив, что в дверях стоит машинистка, сердито машет ей рукой. Машинистка исчезает.

Василий ест хлеб, держа его двумя руками. Его руки дрожат.

В комнату вбегает Бобылев с телеграфной лентой.

— Владимир Ильич, — говорит он прерывающимся от волнения голосом, — Муравьев поднял мятеж, повернул фронт... на нас...

Ни один мускул не дрогнул на лице Ильича. Он протягивает руку:

— Дайте сюда.

Берет ленту.

Звонит телефон.

Ленин снимает трубку:

— Слушаю. (Пауза.) Когда пала Тихорецкая? Когда?..

Василий, забыв о хлебе, тревожно глядит на Ильича.

— Тихорецкая...

★

Музыка.

Зал Большого театра. Идет представление «Лебединого озера».

Среди красноармейцев и рабочих кое-где сидят лощеные балетоманы.

В ложе бенуара английский посол, дипломаты.

Музыка.

Задняя портьера ложи раздвигается. Сидящий рядом с послом Константинов оглядывается, встает и идет в аванложу.

Там, прислонившись к стене, стоит бледный, запыхавшийся человек.

— Почему вы тяжело дышите? — презрительно спрашивает Константинов.

— Бежал. За мной увязались.

Он наклоняется к уху Константинова:

— Пал Симбирск!

— Это не ново, — брюзгливо отвечает Константинов и выходит в ложу.

Там он наклоняется к послу:

— Господин посол, у большевиков взят Симбирск.

Посол коротко взглянул на Константинова.

Наклонился к соседу. Шепчет.

Музыка. Балет.

Рядом с ложей дипломатов, разложив на алом бархате барьера рваную газету, тихонько закусывают тощей воблой несколько морячков. Они пришли сюда, видимо, прямо с поезда с винтовками и вещевыми мешками.

Балет. Трепещут пачки. Мелькают обнаженные руки.

В глубине дипломатической ложи, рядом, посол и Константинов. Они внимательно следят за балетом, в руках у них бинокли.

— Что еще нужно, мистер Релтон? — спрашивает посол.

— Господин посол, я имею удовольствие в третий раз напомнить вам, что я не Релтон, а Константинов.

— Так что же еще нужно, мистер Константинов?

— Нужно купить возможность вернуться в Кремль.

— Через кого?..

— Через коменданта Кремля... Он откроет ворота.

— Кто войдет в эти ворота?

— Офицерские дружины... У нас три тысячи человек... На-днях будет смотр...

— Этот... комендант Кремля взял деньги?

— Возьмет...

— Сколько вы ему даете?

— Если не возражаете, три миллиона.

— Недорого...

Конец акта.

Занавес опускается. Финальные аккорды. Аплодисменты.

Дипломаты встают.

В соседней ложе восторженно аплодируют морячки.

Занавес снова раздвигается. Вместо балерины на авансцене стоит человек в кожаной тужурке, обвешанный бомбами, с гигантским маузером на боку. Аплодисменты обрываются. Человек в кожаной тужурке поднимает руку.

— Товарищи и граждане! — громовым басом объявляет он. — Имеются два внеочередных вопроса. Первое: по постановлению Екатеринбургского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов расстрелян бывший царь Николай Романов. Желает кто-нибудь высказаться?

Шум.

— Вопрос ясный! — кричат из зала. — Какие есть предложения? — спрашивает человек в кожаной тужурке.

— Принять к сведению, — предлагает матрос из ложи.

— Есть предложение принять к сведению. Возражений нет? Принято.

Шум. Публика поднимается и идет к выходу.

Но человек в кожаной тужурке вновь поднимает руку.

— Второй вопрос: есть предложение не расходиться, потому что все равно никого не выпустят. Сейчас будет проверка документов.

Сильный шум. Эффект второго сообщения громадный.

В дипломатической ложе из-за портьеры высовывается встревоженная физиономия. Константинов сердито оборачивается. Голова исчезает.

— Кто это? — спрашивает посол.

— Мой человек. За ним гнались.

— Хорошо, пройдет со мной. Когда будет беседа с комендантом Кремля?

— На-днях, господин посол...

★

Кремль. Комендантская.

Входят комендант Кремля Матвеев и Константинов.

Красноармеец в вылинявшей гимнастерке, еще хранящей темные следы погон на плечах, хлебает деревянной ложкой суп из котелка.

Константинов останавливается в дверях.

— Выдь-ка отсюда, — говорит Матвеев. — Там доешь.

Красноармеец встает.

— Тут и твоя порция, товарищ комендант.

— А мою порцию оставишь. Я потом похлебаю. Садитесь...

Красноармеец выходит.

Константинов садится.

Матвеев рукавом стряхивает крошки со стола.

Константинов поворачивается к нему:

— Ну, вы решились?

— Да как вам сказать, — мнется Матвеев.

— Начало мне не нравится...

— Ну, может, конец будет лучше подходящий, — с наивной улыбкой отвечает Матвеев.

— Что вызывает в вас сомнение?

— Видите ли... Будем говорить напрямик. Должность у меня хорошая, харч, правда, так себе, небогатый харч.

— Ну?

— Однако, ничего, живу. Почет. Уважение... Наши — большевики то-есть — почти целый год просидели, может, и еще просидят.

— Дальше.

Константинова раздражает наивность коменданта.

— Ну, а ваша-то власть; она из каких будет? — продолжает Матвеев. — Я в смысле надежности. А вдруг да не угадаешь?..

— Вы положение на фронтах знаете? — резко спрашивает Константинов.

— Да, вроде знаю.

— А если знаете, то должны понимать, что все равно большевикам не удержаться.

— Это-то верно, — вздохнул Матвеев, — похоже, не удержаться.

— Дальше. Должность мы вам дадим не хуже. «Харч» будет во всяком случае лучше. А кроме того, господин комендант, мы в крайнем случае обойдемся и без вас. Смотрите, не прогадайте.

— Зачем же сразу сердиться, — примирительно говорит Матвеев, — Я ведь только интересуюсь. Вот, например, интересно — какие партии вас поддерживают, или, может быть, государства?

— Возьмете деньги, дадите расписку, начнете с нами работать — и все постепенно узнаете.

— Так. А денег сколько дадите?

— Назовите сумму.

— Виноват. Мой товар — ваши деньги...

— Мы не на базаре, господин комендант.

— Ну, да ведь вам виднее! Человек я в таких делах неопытный, продешевить не хочется, а вы-то уж, верно, не впервой... Скажите правду, с кемнибудь из наших вы уже... (выразительный жест).

— Знаете, господин комендант, вы очень хорошо спрашиваете и очень плохо отвечаете. Мне это перестает нравиться. Я просил вас назвать сумму.

Матвеев вдруг решился, наклоняется к самому уху Константинова и отчаянным шопотом выпаливает:

— Два!..

— Пишите расписку.

Матвеев отрывает клочок бумаги, садится писать.

— Миллион рублей получите сейчас, второй по выполнению операции, — говорит Константинов.

— Операция... — со вздохом бормочет Матвеев. — Ох, наживаешься ты на мне.

— Господин комендант! Повторяю, мы не на базаре!

— Ну, ну... Только тихо!.. — примирительно говорит Матвеев. — Деньги на бочку...

Константинов начинает выгружать из жармана деньги.

★

Ленин идет по коридору. Видит — в пустой комнате свет. Заходит, гасит свет, идет дальше.

Столы телеграфистов. Стучат ключи.

Ильич подходит к старшему телеграфисту.

— Есть сводки с фронтов?

Берет сводки.

Откуда-то раздается детский крик.

Из комнаты, смежной с кабинетом Ильича, быстро выходит товарищ Ры-

бакова. Она ведет за руку маленькую, грязную девочку.

— Товарищ, это что такое? — взволнованно и возмущенно говорит она часовому. — Откуда она? Как она попала? Ходит по коридору, залезает в кабинет. Мало того! Крадет у Владимира Ильича сахар! Возмутительное безобразие!

Рыбакова больно дергает девочку за руку. Рёв.

Ильич быстро подходит.

— Оставьте девочку, — резко говорит он. — Чья это девочка?

Рыбакова смущенно молчит.

— Приблудная, товарищ Ленин, — отвечает часовой.

Ильич берет девочку за руку.

— Пойдем со мной, я тебе дам сахару.

Сразу стихнув, послушно идет она за Ильичом.

Ильич ведет ее в кабинет, берет с блюда сахар, дает ей.

— Если хочешь, побудь тут у меня, будем работать. Ты будешь рисовать, а я буду читать

Ильич дает ей бумагу, карандаш и углубляется в чтение сводок.

На картах, лежащих на столе, на картах, висящих на стенах, Ленин отмечает флажками перемены по сводкам.

— Тебя как звать? — спрашивает он девочку.

— Наташа.

Наташа деловито рисует, сидя прямо на полу.

— Вот и превосходно.

Ильич звонит.

Входит Бобылев.

— Товарищ Бобылев, подготовьте мне, пожалуйста, прямой провод Царицын, со Сталиным — десять часов. С северным фронтом — десять тридцать. Востфронт — одиннадцать часов. Необходимо связаться сегодня с Фрунзе. В любом часу.

— Хорошо, Владимир Ильич.

Девочка продолжает рисовать, грызя сахар. Сосредоточенно пыхтит.

Ильич вновь углубляется в сводки.

— Что ж это тебе мама платье не зашьет? — спрашивает он.

— Мама нет. Они все с голода померли. Сирота я.



Из фильма «Ленин»:
В. И. Ленин в коридоре Совнаркома.

Мгновение Ильич еще пишет, потом резко отстраняет бумаги, встает, подходит к девочке и высоко поднимает ее двумя руками. Смотрит ей в глаза, ставит на пол. Быстро, на носках, проходит по комнате. Раз, другой. Останавливается у стола и снимает трубку телефона.

— Два тридцать восемьдесят семь... Наркомпрос? У товарища Крупской кончилось совещание? Попросите ее, пожалуйста, к телефону... Надя, скажи, кто из наших работников может взять ребенка? Может быть, Гиль возьмет? Или Анна Ильинишна? Выясни это, пожалуйста, срочно.

Ильич вешает трубку, снимает другую...

— Феликс Эдмундович, у вас там арестованы спекулянты хлебом. Необходимо их немедленно расстрелять и широко оповестить об этом все население. И впредь каждого спекулянта расстреливать, как организатора голода.

Вешает трубку и сейчас же снимает ее.

— Еще два слова. Как вы думаете — что если бы ВЧК взяла бы на себя заботу о детях? Необходимо немедленно все силы бросить на спасение беспризорных детей... Что? Ну, вот. Прекрасно! Ну, я ведь знал, что вы к этому народу равнодушны... Значит, отныне ВЧК заботится о ребятах.

★

Кабинет председателя ВЧК.
Дзержинский у телефона.

— Хорошо, Владимир Ильич. (Слушает.) Спасибо, чувствую себя вполне прилично. С чехословацкого фронта? (Слушает.) Да... плохие вести...

Секретарь открывает дверь:

— Феликс Эдмундович, явился комендант Кремля.

— Просите... Хорошо, Владимир Ильич, до утра! Спокойной ночи!

Входит Матвеев. В руках пакет.

Дзержинский встает навстречу.

— Здравствуйте, товарищ Матвеев, садитесь, пожалуйста. (Секретарю.) Оставьте нас. (Матвееву.) Извините. Минуту. (Снимает трубку.) Четвертый. Говорит Дзержинский. Будьте любезны — займитесь вот каким делом: нужно срочно найти место, пока для десяти, хотя бы, очень больших детских домов. Нет, крайне спешно. Что? Откуда у вас такие бюрократические навыки? Можно подумать, что вы заведывали царским департаментом, а не ковали лошадей... То-есть, как это нас не касается? ВЧК все касается, что нужно советской власти. Даю срок до завтра. Мебель мы дадим из буржуазных особняков. Только надо пропустить ее через дезинфекцию, — чорт знает, какая сволочь спала на этих кроватях. (Вешает трубку.) Я вас слушаю, товарищ Матвеев...

Матвеев снимает фуражку, вытирает лоб, кладет на стол пакет.

— Вот миллион.

— Значит, приходил?

— Приходил.

Дзержинский звонит. Входит секретарь с бумагой в руках.

— Не входите и никого не пускайте, пока я не позволю. Что это у вас? (Секретарь кладет бумагу на стол.) Хорошо, я подпишу. Возьмете потом.

Секретарь уходит. Дзержинский хочет отодвинуть в сторону бумагу, но взгляд его останавливает какая-то фраза.

Дзержинский читает. Бледнеет от злости. Снимает трубку телефона.

— Тридцать второй. (Матвееву.) Извините. Минуту. (В трубку.) Говорит Дзержинский. Вы что? В своем уме? Что вы мне прислали? (Слушает.) Какие у вас основания? (Слушает.) Это все? И на этом основании вы предлагаете расстрел?..

Мы видим другой телефон, у телефончика чекист Синцов.

— Феликс Эдмундович... — говорит он. — Какие там основания! Расстрелять его — и крышка! Это враг! Я печенкой чувствую...

— Печенкой? — отвечает Дзержинский. — Скажите Петрову, что я вас

арестовал на трое суток. (Слушает, морщась.) В другой раз будете думать не печенкой, а головой. До свиданья.

Дзержинский запирает дверь кабинета.

Возвращается на место, садится.

— Рассказывайте.

— Пришел час назад, ко мне в коммандантскую, — говорит Матвеев.

— Назвал себя?

— Константиновым.

Дзержинский мгновение сосредоточенно подумал.

— Продолжайте.

— Держался на этот раз гораздо определеннее. Я должен нейтрализовать охрану, в назначенную ночь открыть ворота Кремля и впустить какие-то части.

— Ни больше, ни меньше?

— Ни больше, ни меньше. За это я получаю миллион чистоганом — вот он — и второй по выполнению «операции».

— Щедро! Как вы держались?

— Как мы с вами договорились.

— Какие-нибудь дополнительные сведения от него получили?

— Как ни крутил — ничего. Только сомневаться во мне начал. Хитер!

— Боюсь, что здесь дело не только в Кремлевских воротах, — говорит Дзержинский. — Как у вас условлено с этим Константиновым?

— Я должен явиться тридцатого, в пять часов вечера, по адресу Малая Бронная 2, квартира тринадцать, со двора, второй этаж.

Дзержинский записывает.

— Тридцатого в пять вечера явиться туда, — говорит он. — Я пошлю отряд, дом будет окружен. Поручим это Василию.

— Приехал? — обрадовался Матвеев. Звонок телефона.

— Да, Дзержинский. (Слушает.) Обязательно арестовать. Выдайте ему мандат. Что? Не знает фамилии? Ну, так и напишите: «Право на арест человека, обидевшего ребенка». Пришлите, я подпишу. (Вешает трубку. Матвееву.) С Василием вы заранее повидаетесь. Но помните, товарищ Матвеев: о заговоре мы знаем еще не все, он может быть го-

раздо шире, чем мы с вами думаем. И глубже. Смотрите, не спугните их преждевременно.

— Понимаю.

— Держитесь спокойно... и правдоподобно, — говорит Дзержинский.

— Я, Феликс Эдмундович, вахлячка такого изображаю. Жадного такого.

— Но не чересчур.

— Будьте покойны, Феликс Эдмундович.

— Ну хорошо, до свиданья.

Дзержинский ключом открывает дверь, выпускает Матвеева, возвращается к столу, звонит, перелистывает настольный календарь.

Входит секретарь.

— Попросите ко мне начальников отделов. Всех.

Дзержинский открывает листок календаря:

«30 августа. Пятница».

Он делает на листке пометку.

★

Вечер. Никитский бульвар.

По бульвару сплошным потоком тянется солдатня.

Гармонь. Песня.

Солдатня проходит от Страстной.

В сторонке группа людей в штатском.

В центре группы человек, одетый под мастерового.

Рядом с ним Константинов.

— Третий батальон пошел, — говорит Константинов.

— Кто впереди? — спрашивает «мастеровой».

Мимо проходит, демонстративно нюхая цветок, лощеный приказчик, в каготье, с галстуком бабочкой.

— Командир батальона подполковник Аристов, — говорит Константинов.

Идут, гуляя парами, четверками, солдаты. У всех шинели нараспашку, у всех бантики на правой стороне груди, все идут в одну сторону.

— Лучший батальон, — говорит Константинов. — Сплошь офицерский состав. Смотрите, как идут.

Проходит солдатня.

— Пошел второй полк, — говорит Константинов. — Командир полка полков-

ник Сахаров. Командир первого батальона — капитан Граббе.

Мимо группы проходят под-руку путейский инженер с каким-то потрепанным коммерсантом в котелке. У обоих в руках по цветку. Оба одновременно, подчеркнуто нюхают.

За ними вновь идет солдатня.

К группе подходит человек в кожаной тужурке:

— Чего смотрите, граждане, а? Я извиняюсь.

Все молчат. Константинов отвернулся и, сделав вид, что прикуривает, тихо говорит «мастеровому»:

— Похож на чекиста...

— Происшествие какое-нибудь? А? — не унимается человек в кожанке.

— Чего пристал? — грубо отвечает ему Константинов. — Иди своей дорогой.

— Да нет, я ничего... Только смотрю — солдат что-то много.

— А ты что, солдат не видал? Пора привыкать.

— Извиняюсь.

Человек отходит.

— Нет, кажется, ничего... — глядя ему вслед, говорит «мастеровой». — На когда назначен сбор?

— Тридцатого, в пять.

★

Тридцатое августа.

Прихожая в квартире Ленина, вряд стоит несколько разных кресел. Около кресел — заведующий хозяйством Совнаркома.

Входит Ленин, останавливается.

— Это что такое?

— Для вашего кабинета, Владимир Ильич, выберите, пожалуйста.

Ильич стоит, наклонив голову набок, сунув руки в карманы брюк. Перед ним кресло с резными деревянными львами.

— Гм... Эткими дикими зверями мы, пожалуй, отпугнем всех рабочих и крестьян, которые приходят в Совнарком, — улыбаясь, говорит он. — Скажите: а можно раздобыть обыкновенный человеческий стул на четырех ножках, со спинкой? Можно? Ну, вот и поставьте его мне...

Ленин входит на кухню.

У плиты возится Евдокия Ивановна.

— Евдокия Ивановна, не приходил ко мне тот товарищ, которого я жду? С Урала?

— Нет, Владимир Ильич, не приходил.

Сидящий в углу человек поднимается, услышав имя «Владимир Ильич». Это крестьянин в лаптях, в посконной рубахе, в солдатской шинели без хлястика.

Ленин замечает его.

— Вы, товарищ, не ко мне?

— К вашей милости, товарищ Ленин, — смиренно и почтительно говорит крестьянин.

— Земляк мой... — ворчит Евдокия Ивановна, косясь на крестьянина, — двадцать лет не видались. Пристал: покажи ему Ленина — и все.

— Земляк? — Ильич подходит к крестьянину. — Значит, тамбовский? Садитесь товарищ. Как там дела в ваших местах?

— Да что ж дела, товарищ Ленин... Вот пришел к вам... Правду у вас искать. Мужичкую.

— Мужичкую? А разве есть такая отдельная мужичья правда?

— Выходит, что есть.

— Мужичья отдельно, и рабочая отдельно? Это очень интересно.

— А как же, товарищ Ленин? Мужик за советской властью пошел? Пошел. Сказала советская власть: «Кончай войну», — мужик штык в землю. Верно?

— Ну, дальше!..

— Сказала советская власть: «Отбей барскую землю», — мужик отобрал. Верно?

— Ну-те-с...

— Собрал мужик с барской земли хлеб... и что же получилось? Пришли рабочие отряды — и хлебушко — фью!.. Вот оно и выходит: рабочая правда отдельно, а мужичья отдельно.

Ленин внимательным, быстрым взглядом оценивает «земляка»:

— А сколько у вас отобрали хлеба?

— Да я не про себя...

— Нет, у вас лично — сколько было хлеба? — настойчиво повторяет Ленин.

— Сколько было, столько и сплыло. Не обо мне речь, — глядя в сторону, уклончиво отвечает крестьянин.

— Так вы, значит, не от себя? Вас послал кто-нибудь?

— Мандатов не имеем, а кой-какой народишко за мной стоит.

— Ага, понятно... А все-таки вы не все сказали, что думали. Верно?

«Земляк» молча косится на Евдокию Ивановну.

— Евдокия Ивановна, — говорит Ленин. — Можно вас попросить выйти на минутку?

— У меня молоко на плиге, Владимир Ильич, — недовольно ворчит Евдокия Ивановна.

— Ничего, я посижу...

Ленин провожает Евдокию Ивановну до двери, прикрывает за ней дверь и вновь оборачивается к «земляку».

Евдокия Ивановна, выйдя в коридор, подзывает Бобылева и встревоженно указывает ему на дверь кабинета Ильича.

«Земляк» несколько секунд молча смсрит на Ленина и, вдруг переменяет тон, говорит:

— Ну, что ж, ладно... — Он встает, подходит к столу, берет кусок хлеба. — Хлебушко кушаете... А кто его сеял? Мужик. Кто потом-кровью полил? Мужик! Кто жал, кто молотил, кто на горбу таскал? Опять же — мужик!..

— Мужика нет, — спокойно перебил Ленин. — И вы это очень хорошо знаете. Есть бедняк. Есть середняк. Есть кулак (при слове «кулак» Ленин указывает пальцем на «земляка»). Верно?

«Земляк» на мгновение смутился.

— Нет, не верно! Есть мужик справный, хозяин... И есть лодырь.

— Лодырь — это бедняк?

— По-вашему — бедняк, а по-нашему — лодырь!

— По-вашему — хозяин, а по-нашему — кулак, мироед, который эксплуатирует деревню, старается подорвать Советскую власть рабочих и беднейших крестьян. И это у вас — у кулаков — не выйдет.

— Ну, что же, гражданин Ленин... Россия — страна мужичья. Мы и без города проживем! Ситца не дадите — в



Из фильма «Ленин».
Выступление В. И. Ленина на заводе Михельсона.

холстину оденемся. Сапог не дадите — в лаптях проходим!.. Но уж если мужик хлеба не посеет!..

— Измором, значит, возьмете?

— Город сам подойдет! — с наглой угрозой отвечает «земляк», не замечая, что в дверях стоят вошедшие во время разговора Свердлов и Бобылев.

— Вы нарисовали страшную картину, — с нарочитой тревогой в голосе говорит Ленин. — Прямо волосы дыбом становятся!.. Значит, вы пришли как бы войну нам объявить?

— Вы — человек ученый. Вам виднее.

— Ну, что ж! Запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть — штука прочная. Рабочие и крестьяне создали ее не на год и не на десять лет! Назад пути не будет. Никому! Пока вы, кулаки, существуете — хлеб вы будете отдавать. Не отдадите — возьмем силой. Пойдете войной — уничтожим. Вот вам и вся

правда. Настоящая рабоче-крестьянская правда.

— Запомним... ваше превосходительство, — тихо и угрожающе говорит кулак. Он надевает котомку на плечи.

Ленин улыбается.

— Ну вот, и договорились... Товарищ Бобылев, проводите.

Кулак испуганно поворачивается. Только сейчас он заметил, что в комнате есть еще люди. Он берет палку из шапку, низко, с притворным смирением кланяется Ленину.

— Прощеньца просим.

— Прощайте!

Бобылев идет вслед за кулаком.

Ленин быстро подходит к Свердлову.

— Слыхали? — с веселым возбуждением говорит он.

— Как он к вам попал?

— Кулак. Пришел поговорить по душам... прошупать... проведать, а не пойдет ли Советская власть на уступки? Это чрезвычайно любопытное явление.

— Он открыто грозил, — говорит Свердлов.

— Ну, разумеется. И обратите внимание — все лозунги — эсеровские: бедняки — лодыри, Россия — страна мужицкая...

— Деревня без города проживет, — вставляет Свердлов. — Знакомая фраза!

— Да, да! И, наконец, все крестьянство — едино. Прямо Камков какой-то переодетый!.. Яков Михайлович, вы что-нибудь понимаете в молоке? Как узнать, что оно кипит?

Свердлов подходит и заглядывает в кастрюлю:

— Не беспокойтесь. Я вас буду консультировать. Во мне пропадает великолепный повар. Еще рано.

— Мы слишком мягки, — говорит Ильич, — наша власть иногда больше похожа... на молоко, чем на железо. Диктатура — это большое слово. Мы сказали это слово.

— Я считаю, что мы слишком церемонимся с эсерами, Владимир Ильич.

— Верно! В конце-концов это был их представитель, их агент на местах. Яков Михайлович, пожалуйста сюда...

Свердлов подходит. Оба внимательно смотрят на молоко.

— Нет, — говорит Свердлов, — еще не скоро.

— При этом кулаке просто случайно не было бомбы или револьвера... они скоро стрелять в нас начнут... А пузырьки? Это, ничего, что пузырьки?

— Не имеет никакого значения, — категорически говорит Свердлов, — поверьте моему опыту.

Оба отворачиваются от плиты. В то же мгновение раздается шипение, и за их спинами взвывается облако пара.

Молоко растеклось по всей плите, дымит, горит.

Свердлов хватается кастрюльку, бьет по плите тряпкой, суетится.

Ильич хохочет. Он смеется безудержно, вытирая набегающие на глаза слезы, и вдруг смолкает.

На пороге кухни стоит бледный Дзержинский.

Ленин быстро подходит к нему.

— Я должен ехать в Петроград, — говорит Дзержинский.

— Что случилось?

— Убит Урицкий.

★

Дачный поселок.

Рутковский входит в калитку. Быстро поднимается на террасу и проходит в комнату.

В комнате Новиков, Соколинский; в углу, сгорбившись, сидит рабочий Петров.

— Урицкий уничтожен, — говорит им Рутковский.

— Уже знаем, — отвечает Новиков.

Рутковский подходит к Петрову.

— В чем дело? Что вам помешало?

Петров молчит.

Соколинский тоже подходит к Петрову:

— Петров, дайте объяснения.

Петров молчит.

Рутковский садится рядом с Петровым:

— Вы были на митинге?

— Был.

— Почему вы не совершили террористического акта?

Петров молчит.

Новиков подходит к ним:

— Вас спрашивают, Петров!

— Не мог... Я раньше его никогда не видал. Он небольшого роста... Старый пиджак. Стал говорить... Каждое слово понятно... говорил про рабочего... Взял в пример мою жизнь. Все—прява. Стрелять не мог...

Рутковский мягко кладет руку на плечо Петрову:

— Пойдите, Петров, на террасу... отдохните.

Петров встает:

— ... он за рабочих...

— Идите, идите, Петров.

Петров выходит.

Рутковский резко поворачивается:

— Он очень опасен. Соколинский, вы возьмете его на себя.

— Сейчас?

— Да. Только не здесь. Уведите его подальше.

Соколинский выходит.

Рутковский быстро проходит по комнате вперед и назад.

— Я говорил: убийство Ленина рабочим — бредовая идея.

— Это произвело бы мировой эффект.

— «Мировой эффект»... Идиоты! Просто провалили дело. Есть еще?

— Каплан.

— В нашем распоряжении три часа. Я еще должен быть в штабе.

— Вы точно установили, что он сегодня выступает?

Рутковский наклоняется к Новикову:

— Я лично говорил с Бухариным. Он страшно нервничает и торопит. Ленин будет сегодня на митинге. Каплан здесь?

— Здесь.

Маленькая прокуренная комнатка. Всюду окурки. На кровати, заложив руки за голову, лежит Фанни Каплан. В губах папироса.

В комнату входят Рутковский и Новиков. Каплан не обращает на них никакого внимания, продолжает курить.

— Фанни Каплан!.. — окликает ее Рутковский.

— Да...—беззвучно отвечает Каплан.

— Решено.

Каплан молчит.

— Вы назначены исполнителем.

— Когда?

— Сегодня.

Каплан молча курит.

— Встаньте! — резко говорит Рутковский.

Не глядя на него, Каплан медленно садится на постели, берет с ночного столика пузырек, капают лекарство в рюмку.

— Фанни Каплан, — говорит Рутковский, — наступает твой день. Ты прожила 28 лет, но тебя не знает никто. А завтра твое имя вспыхнет на небосклоне истории...

Каплан продолжает отмеривать лекарство.

— ... Тобой будет интересоваться весь мир, Фанни Каплан! Каждый будет знать это имя — Фанни Каплан! Это та женщина, которая подняла руку на грозу всего земного шара — на Ленина,

Каплан выпивает лекарство, морщится.

— Перестаньте разговаривать, — вдруг вскрикивает она истерически. — Дайте револьвер.

Новиков передает ей револьвер, вынимает обойму, показывает.

— Первые три пули надпилены. Видишь? Они отравлены ядом кураре...

В то же мгновение раздаются два далеких, глухих выстрела. Каплан вздрогнула. Рутковский испуганно оглядывается.

Новиков подходит к окну:

— Это, вероятно, Соколинский...

— Но я же сказал, не здесь. Болван! Еще один далекий выстрел.

★

Дом на Малой Бронной.

Сквозь чердачное окно виден пустой двор, во дворе — двухэтажный дом.

На чердаке, из которого мы видим двор, — Василий, Матвеев, чекисты. Здесь установлены пулеметы.

— Так помни, Василий, — говорит Матвеев, — если мне не удастся выйти, сигнал — выстрел. По выстрелу сразу давайте.

— Ладно, ладно. Иди. Тебе пора.

Матвеев спускается в чердачный люк.

Василий следит за ним сквозь окошко.

Матвеев проходит по двору, переходит улицу, скрывается в парадном.

Стучит в дверь квартиры.

Ему открывают.

— Ярославль, — говорит Матвеев.

— Рыбинск. Проходите.

В дверях столовой Матвеева встречает Константинов.

— Мы вас ждем.

Он вводит его в столовую. Здесь человек двадцать — переодетые офицеры.

Все поворачиваются и разглядывают стоящего в дверях человека в ненавистном для них кожаном костюме.

— Здравствуйтесь, граждане! — говорит Матвеев.

— Комендант Кремля, Матвеев, — представляет его Константинов.

Матвеев галантно щелкает каблуками.
— Очень приятно.

Он начинает обходить стол, пожимая всем руки и внимательно вглядываясь каждому в лицо.

По двору, к парадному проходит Рутковский.

— Замкнуть кольцо, — приказывает Василий, увидя его из чердачного окна.

Рабочий побежал вниз исполнять приказ.

Перелезая через заборы, пробегая задними дворами, чекисты окружают штаб заговорщиков...

Матвеев в столовой среди заговорщиков.

Говорит Константинов:

— ... Выступление сегодня ночью. Особых сигналов не будет. Сбор частей в полной готовности в час тридцать. Задания известны всем?

Молчание.

— У командиров вопросов нет?...
Прошу сверить часы: сейчас двадцать семь минут шестого.

Все проверяют часы.

— Господин комендант, — обращается Константинов к Матвееву. — В два часа ночи вы откроете ворота Кремля.

— Слушаюсь.

В комнату тихо входит Рутковский и останавливается в дверях за спиной Матвеева.

— Имейте в виду, господа, — продолжает Константинов: — на первое время наряду с эсерами в правительство войдут левые коммунисты: Бухарин и Пятаков. Кроме того, с нами Троцкий, Зиновьев и Каменев.

Матвеев бледнеет.

— Помните, господа, действовать надо со всей решительностью. Момент самый удобный: Дзержинского нет, он расследует убийство Урицкого в Петрограде...

— До Петрограда он еще не доехал, — вставляет начальник штаба.

— А когда доедет, — продолжает Константинов, — то вынужден будет немедленно вернуться, потому что в течение ближайшего получаса будет убит Ленин...

Смертельно бледный Матвеев встает и идет к двери.

Рутковский заступает ему дорогу:

— Куда?

Пауза.

— Я забыл план кремлевских караулов. Сейчас привезу.

— Подождите.

Рутковский берет его за руку.

Матвеев отталкивает его, вырывает револьвер из кобуры. Но он не успевает выстрелить: Константинов и Рутковский обезоруживают его.

Офицеры вскакивают, выхватывают оружие.

— Не стрелять! — кричит Константинов, — только не стрелять! Душите его.

Матвеев извивается в руках офицеров.

— Я вас заставляю стрелять! — крипит он. — Стреляйте!

Матвеев вырывается, бросается к скну.

Выстрелы.

— Василий! — кричит Матвеев, вышибая окно, и прыгает вниз.

— Вперед! — командует Василий.

Цепи чекистов бросаются к дому.

Пулемет бьет по окнам.

Перестрелка.

Матвеев лежит на мостовой.

Чекисты атакуют дом. Стрельба. Взрывы гранат.

Над Матвеевым склонился Василий.

Матвеев открывает глаза, пытается заговорить.

Василий обнимает его за плечи, помогает приподняться.

— Говори, говори... Я пойму.

Матвеев с трудом набирает воздух:

— Спасай... Ильича... беги... сейчас... скорей... беги...

Василий понял все.

— Блинов! — кричит он. — Принимай команду!

— Есть! Принято! — слышен сквозь стрельбу ответ Блинова.

— Эй, кто здесь есть? — не выпуская из рук Матвеева, кричит Василий. — Синцов!

Подбегает чекист Синцов.

— Синцов, отнеси его в безопасное место... Перевяжи.



Из фильма «Ленин»:
И. В. Сталин на Царицынском фронте.

Василий осторожно передает Матвеева с рук на руки Синцову и опрометью бросается бежать. Синцов поднимает Матвеева и относит в сторону.

Матвеев лежит на камнях мостовой, голова его на коленях Синцова. Уже не в силах открыть залитые кровью глаза, он шепчет:

— Троцкий... Бухарин... изменники... передай ЦК...

Последним усилием воли удерживая уходящую жизнь, Матвеев шепчет, припав к уху Синцова.

— ...Скажи Феликсу...

— Тсс!.. Тихо... Тихо... — Синцов гладит голову Матвеева и другой рукой достает наган. Быстро оглядывается.

Улица пуста.

Вдруг Синцов приставляет наган к виску умирающего и спускает курск.

Стрельба. Чекисты атакуют штаб.

Константинов перепрыгивает через забор.

Он бежит, заворачивает за угол и вдруг натывается на Синцова. От неожиданности замирает.

Синцов молча делает ему знак рукой: пробегай, мол.

Константинов мгновенно исчезает.

Суетливо Синцов всовывает наган в кобуру. Рукавом стирает кровь убитого со своей гимнастерки.

Труп Матвеева лежит на камнях мостовой.

Оглянувшись по сторонам, Синцов бежит.

★

Двор в Кремле.

Ильич выходит из под'езда, идет к машине. Он идет быстро, опустив голову. Лицо его сурово.

К Ильичу подходит Бухарин.

— Владимир Ильич... как ужасна смерть Урицкого...

Ильич резко останавливается.

— Это вы виноваты в ней! Вы виновны в его гибели!

Во взгляде Бухарина мелькнул смертельный испуг, но он тотчас же взял себя в руки.

— Позвольте, Владимир Ильич, причем тут мы?

— Неужели не ясно, что каждую нашу слабость, всякий элемент разложения в наших рядах враг немедленно использует, чтобы нанести нам удар. А вы только и делаете, что ослабляете нас, разлагая партию, раскалывая партию...

— Владимир Ильич... — пытается перебить его Бухарин.

— Ваша борьба против Брестского мира стоила уже нам неисчислимых жертв...

— Владимир Ильич...

— Не пора ли нам перестать верить вашим «левым» и дать политическую оценку вашего поведения!..

— Я хочу сказать... — лепечет Бухарин.

Ленин останавливается прямо против него, глядя ему в упор в глаза.

— Не пора ли мне, лично, перестать верить вам, Бухарину, лично?

Бухарин делает жест, как бы пытаясь обнять Ильича:

— Владимир Ильич, перестаньте, не волнуйтесь, вам нехорошо это... И потом — вы не знаете, с чем я пришел к вам. Выслушайте. Я говорил с рядом товарищей — мы складываем оружие, мы прекращаем всякую фракционную деятельность и согласны дружно работать со всем ЦК, рука об руку!..

Ленин, прищурясь, бросает на него косой взгляд.

— Ой ли?

— Я клянусь вам, Владимир Ильич! Я многое передумал и все понял. Это конец! Вот моя рука!

Ленин не берет его руку.

— Я буду рад, если это, действительно, так, — говорит он.

— Значит, мир, Владимир Ильич? Мир?

Бухарин обнимает и целует Ленина.

Ленин подходит к машине.

— Товарищ Гиль, на завод Михельсона.

— А ведь вы, кажется, хотели ехать в Лефортовский манеж? — улыбаясь, после «примирения» говорит Бухарин.

— Нет, я еду к Михельсону.

Ленин закрывает дверцу машины.

Василий, задыхаясь, бежит по улице. Навстречу машина.

Василий преграждает ей путь. Останавливается. В машине иностранец.

— Вылезай! — говорит Василий.

— ?! ?!

— Вылезай! — яростно кричит Василий.

Он выбрасывает иностранца из машины и вскакивает на его место.

— В Кремль!

Бухарин все еще стоит там, где его оставил Ильич.

Василий под'езжает на машине.

— Ильич! — кричит он.

Бухарин вздрогнул. Поворачивается.

— Что?

— Где Ильич?

— Уехал на митинг.

— Куда?!

— Кажется...

Едва заметная пауза.

— Да, да! В Лефортовский манеж.

Машина Василия вылетает из ворот Кремля.

На заводе Михельсона.

Гром аплодисментов.

Заводской цех набит людьми до отказа. Люди сидят на скамейках, на длинных столах, стоят в проходах.

На трибуне Ленин. Он пытается жестом восстановить тишину.

Наконец, аплодисменты стихают.

— Советская Россия окружена врагами, — продолжает Ильич. — Бежит огоньком с одного конца России на другой полоса контрреволюционных восстаний. Эти восстания заведомо питаются денежками империалистов всех стран, они организуются усилиями эсеров и меньшевиков. Империалистические хищники пользуются молодостью и слабостью Республики, чтобы рвать из нее душу. Кулацкие восстания, чехословацкий мятеж, англичане в Мурманске, восстание эсе-

ров, бело-казачье наступление, все эти фронты, движущиеся на нас с севера, с востока, с юга — все это одна война, надвинувшаяся на Советскую Россию! Мы истекаем кровью от этих тяжелых ран...

Ярко, резко и ясно текла его речь. Был он прост, богат неистребимой бодростью, силен неистощимой силой. Тысячи глаз ловили каждый яркий жест его, любовались милой фигурой его, тысячи ушей вбирали в себя его родной голос, звучавший на весь мир. Трепет правды бежал по рядам людей, горели лица, сверкали взоры. Не мог Ленин хладнокровно говорить, и не могли Ленина хладнокровно слушать.

В углу цеха сутулый, нервно подергивающийся человек. Он быстро пишет записку и бросает ее в толпу. Записка переходит из рук в руки — к трибуне. — ... мы переживаем неслыханные трудности, — продолжает Ильич. — Мы голодаем. Мы отрезаны от нефти, от угля...

— Хлеба нет, а заградилки отбирают? — слышится женский голос. — Вон у моего свояка...

— Тише!.. Тсс... Тише ты!..

— Товарищ, относительно хлеба я вам позже отвечу... Товарищи! Труднее удержать власть, чем ее взять! Революция идет вперед, развивается и растет. Вместе с нею развивается и растет наша борьба. Чем сложнее и глубже делаются задачи, стоящие перед нами, тем напряженнее, сложнее и ожесточеннее становится борьба!

В этот момент до Ильича доходит брошенная ранее записка. Он разворачивает ее, продолжая говорить:

— Переход от капитализма к социализму есть самая сложная, в высшей степени трудная борьба. Наша революция вызывает содрогание империалистических классов.

Ильич читает записку.

— Вот, товарищи, очень кстати: поступила записка. — Он высоко поднимает записку. — Послушайте, что здесь написано... «Власть вы все равно не удержите. Шкуры ваши натянут на бабаны».

Гул. Рев возмущения.

— Спокойно, товарищи! — говорит Ильич. — Я вижу — это писала не рабочая рука. Вряд ли написавший эту записку осмелится выступить здесь...

Шум. Крик. Голоса: «Пусть попробует».

Ленин поднимает руку:

— Я думаю, товарищи, что он не попробует.

Смех.

— Когда происходит революция, — говорит Ленин, — когда умирает целый класс, дело происходит не так, как со смертью отдельного человека, когда умершего можно вынести вон. Когда гибнет старое общество, труп этого буржуазного общества, к величайшему сожалению, нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и заражает нас самих!.. Он смердит! — гневно восклицает Ильич, потрясая запиской.

Рев наэлектризованной массы, громовые аплодисменты.

Двор завода. Глухо доносятся аплодисменты.

Во дворе машина Ленина. За рулем шофер Гиль.

К машине подходит Каплан.

— Кто выступает? — спрашивает она. Гиль бросает на нее косой взгляд.

— Не знаю.

— А кого привез?

— Оратора какого-то, почему я знаю...

— Шофер, а не знаешь!

Каплан отходит.

У двери цеха ее ждет Новиков.

Они входят в цех.

Ильич на трибуне заканчивает речь:

— Тройная бдительность, осторожность и выдержка, товарищи! Все должны быть на своем посту. Предатели, уже осужденные волей народа, должны быть беспощадно уничтожены. Не может быть успешной революции без подавления сопротивления эксплуататоров!.. Мы гордимся, что делали и делаем это!..

Каплан и Новиков стоят в задних рядах.

— Как кончит, прямо на двор, — тихо говорит Новиков, — Я постараюсь задержать толпу...

Каплан едва заметно наклоняет голову.

Ильич взмахивает рукой.

— Пусть хнычут дрянные душонки и бешенствует буржуазия! Удержать Советскую власть, удержать и закрепить победу трудящихся над помещиками и капиталистами можно только при строжайшей железной власти сознательных рабочих! Помните, товарищи рабочие: у нас один выход — победа или смерть!

Загремели овалции. Тысячи рук тянулись к Ильичу. Тысячи лиц были обращены к нему.

Ильич взял свою кепку, надел пальто, спустился с трибуны.

Стена аплодирующих рабочих разошлась, пропуская его.

Ильич шел по узкому проходу, провожаемый гулом восторга, он глазами отыскивал кого-то.

Вспыхнул «Интернационал».

Вставай, проклятем заклейменный
Весь мир голодных и рабов... —

запели сотни голосов.

— Товарищи! — крикнул Ильич сквозь гром аплодисментов и звуки гимна, обращаясь к женщине, задавшей ему вопрос. — Вы, кажется, спрашивали насчет реквизиции хлеба?

Смущенную женщину подталкивали к Ильичу.

Ильич жестом подозвал ее.

Гремел «Интернационал».

Ильич шел рядом с женщиной, объяснял ей что-то, неслышное за «Интернационалом».

Он наклонил голову, вслушивался в ответ женщины.

Восторженная толпа, смыкаясь, катилась за ними.

Ильич поднялся по узким ступенькам и вышел из цеха.

Вдруг — давка, замешательство.

Чей-то крик:

— Не напирай, не напирай, товарищи! Дайте выйти товарищу Ленину!..

Новиков упал, преграждая дорогу толпе.

Веселый Ильич, окруженный группой женщин, шел по двору завода. Он отвечал женщинам. Шутил, смеялся. И милая его улыбка освещала окружающих.

Гиль завел мотор, открыл дверцу машины.

Гремел «Интернационал»:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем...

Ильич протянул руку. Он прощался с женщинами.

Садилось солнце. Последние его лучи играли на лице Ильича. Он щурился, и громадный лоб его был ярко освещен.

В эту минуту, за спиною Ленина, из-за плеча одной из женщин, показалась рука с револьвером.

Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем...

Гремела песня.

Грянул выстрел.

Толпа колыхнулась и замерла.

Раздался крик.

Еще выстрел. Еще.

Гиль выскочил из машины.

Каплан выстрелила четвертый раз, почти не целясь, швырнула браунинг под ноги Гиллю и бросилась бежать.

Ленин медленно опускался на землю.

Из цеха выбежал Новиков, он кинулся к лежащему Ильичу, хватывая на бегу револьвер. Из цеха валила толпа.

Гиль своим телом закрыл Ильича.

— Стрелять буду! — закричал он Новикову.

Новиков резко свернул, бросился к воротам. Рокот ярости и ужаса катился по заводскому двору.

Кричал чей-то голос:

— Убили! Убили Ильича!

Задыхающийся Василий столкнулся с Новиковым в воротах. Не останавливаясь, на бегу он подставил Новикову подножку. Новиков полетел кувырком.

Василий вырвал у него револьвер, навалился всем телом.

Подбегали уже рабочие.

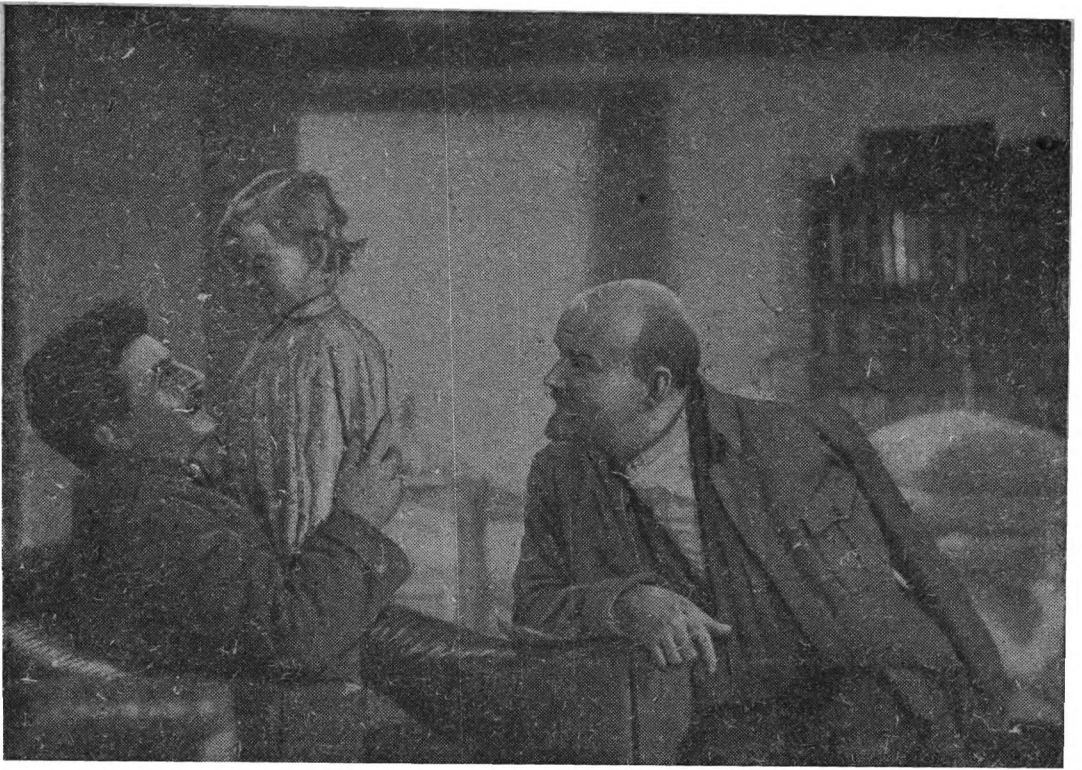
— Держите его! — крикнул Василий. Новикова схватили.

Василий бросился к машине.

Машину окружила тысячная толпа. Василий пробирался к Ленину.

Ильич лежал, окруженный плотным кольцом рабочих.

Василий опустился на колени, нагнулся к Ильичу.



Из фильма «Ленин»:
И. В. Сталин и В. И. Ленин с девочкой Наташей.

— Владимир Ильич... Владимир Ильич... Владимир Ильич... — шептал Василий.

Мертвая тишина.

Зарыдала какая-то женщина.

Губы Ильича дрогнули. Василий приложил ухо к его рту.

— Скажите... — едва слышно произнес Ильич,—никакой... паники... пусть... товарищи рабочие... берутся за оружие...

Держа голову Ильича в своих руках и прижимая ее к груди, Василий поднял лицо, искаженное горем. В мертвой тишине звучал его голос:

— Владимир Ильич Ленин передает вам, товарищи, — беритесь за оружие!

Гул прошел по толпе и снова стих.

— ... победа... за нами... — теряя силы, шептал Ильич.

— Победа за нами, товарищи,—громко повторил Василий дрожащими губами.

Солнце село. Легкие летние сумерки начали спускаться на город.

Ильич попытался подняться.

— Товарищ Василий... я сам... спасибо.

Он потерял сознание. Василий и Гиль подняли его и на руках понесли к машине.

Толпа загудела.

— Да здравствует Ленин! — крикнул кто-то.

Толпа расступилась. Машина тронулась.

Толпа недвижно глядела вслед ей, не смыкаясь, не шевелясь, — казалось, из тела толпы вырван кусок.

И вдруг откуда-то донесся яростный вопль.

Толпа разом повернулась.

Вели Каплан.

В толпе нарастал грозный гул. Тысячи глаз, горящих слезами и ненавистью, устремились туда, где, окруженная тесным кольцом рабочих-коммунистов, защищавших ее от разъяренной толпы, шла Каплан.

— Бей ее! Смерть убийцам! Смерть! Смерть!

— Товарищи! Товарищи! — кричали измученные рабочие, из последних сил сдерживая натиск толпы, — не до-

пускайте самосуда! Ее надо допросить, товарищи!

Вокруг яростно кипела толпа.

— Смерть буржуазии!.. Смерть убийцам! К оружию, товарищи... Красный террор!

Какой-то рабочий, с лицом, мокрым от слез, взобравшись на ящик, кричал сквозь гневный рев толпы, высоко подняв сжатую в кулак руку:

— За каждую каплю крови Ильича! За каждую каплю! Они нам ответят... Так будем мстить! Так ненавидеть! Так громить, что весь их проклятый мир убийц содрогнется от нашего рабочего ответа! Красный террор!.. К оружию, товарищи!

— Красный террор! — кричала толпа.

Машина остановилась у под'езда.

Гиль выскочил, открыл дверцу. Ильич вышел, Василий поддерживал его.

Они медленно вошли в парадное.

Перед лестницей Ильич остановился.

— Владимир Ильич, мы вас понесем...

— Нет, нет... я сам. Снимите только пиджак...

Медленно, осторожно сняли Гиль и Василий пиджак с раненых плеч Ильича. Короткая судорога боли пробежала по его его лицу.

Ильич двинулся к лестнице.

Он шел, упорно сжав губы, преодолевая ступеньку за ступенькой.

Небольшое пятно крови расплывалось на рукаве рубашки.

Василий и Гиль шли вслед за Ильичом.

— Владимир Ильич!

— Нет, я.. дойду сам...

★

Весть о ранении Ильича мгновенно облетела всю страну. Трудящийся народ встал, как один, на защиту революции. Массовой расправой с буржуазией, расстрелами белогвардейцев ответила страна на гнусное покушение.

Вечер.

Дверь в комнату Ильича закрыта. Из

коридора глухо доносятся разноголосые телефонные звонки и тихие голоса отвечающих по телефону товарищей. Слышно постукивание телеграфного ключа.

У окна Евдокия Ивановна. Старое лицо ее залито слезами. Она стоит, опершись всем телом о косяк, точно сдерживаясь, чтобы не упасть на колени.

За окном темно.

Огромная масса людей залила Красную площадь. Тысячи глаз с тревогой обращены к Кремлю. Двор Кремля, лестницы Совнаркома заполнены молчаливыми толпами людей.

Коридор Совнаркома.

Стучит телеграфный ключ.

Шопотом диктует Свердлов:

— «...на покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Победа над буржуазией — лучшая гарантия безопасности вождей рабочего класса. Теснее ряды! Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Свердлов в 30 августа 1918 года. 10 часов 40 минут вечера».

Рядом, у дверей квартиры Ильича сменяется караул. Тихо подходит курсант и разводящий.

— Еще ничего не известно... Ждут профессора, — шопотом говорит сменяющийся. И, сдав пост, остается стоять тут же у двери.

По коридору быстро проходит Василий с профессором Минцем.

Свердлов стремительно встает, идет навстречу.

— Профессор?

— Да, здравствуйте...

Они вместе идут по коридору.

Свердлова бегом догоняет командир. Худое лицо давно не брито, глаза воспалены.

— Товарищ Свердлов! — шопотом окликает он, идя рядом со Свердловым. — Пала Чита... Сарапул окружен.

— Лихачев?

— Убит.

Мицц останавливается:

— Я прошу вас, — резко говорит он, — больному ничего этого не сообщать.

— Да, да, конечно.

Мицц и Василий входят в квартиру Ильича.

К Свердлову подходит Бобылев.

— Взорван мост через Белую. Продо-
вольственные эшелоны, шедшие в Пет-
роград, сброшены под откос. ЧК арес-
товала исполнителей.

— Петровск держится?

— Петровск взят англичанами...

— Тише. Все сводки передавайте мне...

В проходной комнате Надежда Кон-
стантиновна и Мария Ильинична.
Мицц надевает белый халат. Дверь в
комнату Ильича приоткрыта, видны
врачи, склонившиеся над постелью.

Мицц проходит в комнату Ильича.

У постели Величкина, Обух и Раби-
нович.

— Морфий?—спрашивает Мицц, едва
войдя в комнату.

— Впрыснут.

Мицц наклоняется к постели.

Ильич лежит, запрокинув голову на
подушки. На лбу его крупные капли
пота.

Мицц быстрыми и ловкими движе-
ниями пальцев ощупывает плечо
Ленина.

— Так... Осторожней... Немножко
поверните... Осторожно! Так... Здесь,
вы думаете?

— Одна здесь, — говорит Обух,—
но другая?..

Мицц на мгновение прекращает ос-
мотр, молча глядит на рану. Потом,
объятый мучительным беспокойством,
начинает осторожно ощупывать шею.
Вдруг пальцы его останавливаются.

Он коротко взглядывает на врачей.
Врачи мгновенно поняли смертель-
ную опасность. Они переглядываются.
Рядом, в проходной комнате, у две-
ри Ильича, Надежда Константиновна
и Василий.

— Не беспокойтесь... — шепчет Ва-
сий, — все будет хорошо...

— Не надо меня утешать, —

тихо отвечает Надежда Константиновна.

Мицц поднялся.

Обух наклонился к нему, шепнул
ему что-то на ухо.

— Да, приготовьте на всякий слу-
чай, — ответил Мицц и вышел.

Обух знаком подозвал сестру:

— Приготовьте кислородные по-
душки.

Ильич тихо застонал и приоткрыл
веки. Боль затуманила веселые глаза
его. Стрдание потушило улыбку.

— Доктор... — прошептал он.

Обух наклонился к нему.

— Это конец?..

— Что вы, Владимир Ильич!.. С
чего вы взяли?

Ильич взглядом останавливает его.

— Вы коммунист?

— Да.

— Вы должны понимать... если это
конец... я должен знать... правду... ус-
петь... ряд дел... успеть... вызвать
Сталина...

— Владимир Ильич! Вы будете
жить.

— Смотрите же...

— А если нужно будет... я вам ска-
жу.

— Обещайте...

— Даю слово. Постарайтесь заснуть.
Пожалуйста...

Обух выходит из комнаты.

В проходной комнате, в углу, тихо
разговаривают Свердлов и Мицц. К
ним подходит Обух.

— Ваше мнение, профессор? — спра-
шивает он Мицца.

— Плохо. Слабая деятельность серд-
ца, холодный пот... Странно, что так
скоро после ранения...

— Нет ли здесь признаков какого-
то отравления?

— Не исключая...

Бобылев приоткрывает дверь:

— Товарищ Свердлов, Царицын на
проводе.

Свердлов входит в переговорную.

Телеграфист протягивает ему рас-
шифровку телеграммы.

— Сталин.

Свердлов читает. Потом тихо дик-
тует ответ:

— Пуля повредила легкое. Застряла в правой стороне шеи. Кровоизлияние в плевру. Поврежден ли пищевод, пока неизвестно. Вторая пуля раздробила плечевую кость. Пульс плохой. Положение тяжелое.

Стучит телеграфный ключ. Поползла лента. Телеграфист пишет расшифровку.

Свердлов читает ответ. Потом диктует:

— Хорошо. Будет сделано.

Ползет лента. Ответ.

Свердлов диктует:

— Будет немедленно сделано. Обязательно.

Ждет. Читает ответ. Диктует:

— Положение и на других фронтах тяжелое. От исхода вашего наступления, может быть, зависит его жизнь. Желая удачи.

Проходит Бобылев.

— Товарищ Свердлов, вас к телефону. Из ВЧК...

— Иду.

Кабинет Ленина. Свердлов подходит к телефону, тихо говорит:

— Слушаю... Да, Свердлов у телефона... Кто говорит? Блинов?... Говорите тише и отчетливее!

Окровавленный, перевязанный Блинов в какой-то комнате у телефона:

— ... мы упустили двух человек, — говорит Блинов. — Да, да, на Бронной. Они спрятались в посольстве... Оттуда палая по нашим из пулеметов... вот мы и не знаем, что делать, все-таки иностранное посольство, дипломатическая неприкосновенность... Что? Есть, товарищ Свердлов.

Блинов кладет трубку.

Он выбегает на улицу, дает знак.

Чекисты бросаются в атаку.

— Даешь! — кричит Блинов, срывая кольцо с гранаты и забрасывая ее в окно посольства.

Чекисты ломают прикладами дверь и ворота. Врываются в дом.

Константинов стреляет из окна. Позади него появляется посол.

— Мистер Релтон, надо бежать!

— Сколько раз я вам говорил — я

не Релтон, а Константинов... (Стреляет.) Константинов... (Стреляет.) Константинов... (Стреляет.)

Взрыв гранаты, Константинов отскакивает от окна, убегает.

На лестницах, в коридорах и залах посольства идет бой.

Константинов мечется по комнатам, вбегает на кухню. Отсюда винтовая лестница ведет наверх.

Он подбегает к лестнице, но в это мгновение в кухню врываются два чекиста. Константинов стреляет из маузера. Один чекист падает. Другой бросается к лестнице. Константинов нажимает собачку — револьвер пуст. Константинов бросается навстречу чекисту. Схватились. Борьба.

Константинов, высвободив руку, хватает со стола кухонный нож и вонзает его в спину чекиста. Потом взбегает по лестнице и исчезает.

Блинов с несколькими людьми вбегает в кухню. На полу лежат два трупа.

Блинов бросается вверх по лестнице. Константинов, захлопнув чердачный люк, выбирается на крышу дома и попадает прямо в об'ятя лежащего над чердачным окном чекиста.

— Здесь он, — кричит чекист, — товарищи, сюда!

По крыше бегут люди.

★

Узнав страшную весть, Дзержинский спешил из Петрограда в Москву.

Гудки паровоза. Ночь. Мелькают тусклые огни какой-то станции. Пестом снова лес и тьма.

Дзержинский стоит на площадке вагона, запахнувшись в шинель.

Однообразный стук колес.

В нетерпении, в страшной тревоге Дзержинский то высовывается в окно, то открывает дверь, то опять ходит по маленькой тесной площадке, не в силах победить мучительную тревогу.

Ленин должен жить.

Комната в квартире Ильича.

Василий сидит за столом, положив

голову на руки. Свердлов ходит из угла в угол.

Светаёт.

Через комнату к Ильичу быстро проходит сестра, неся в руках подушку с кислородом.

Входит Бобылев, оглядев лица, полные тревоги и горя, садится недалеко от двери.

Из комнаты Ильича выходит профессор, два врача. Все бросаются к ним.

— Остается только ждать... — говорит профессор. — Все средства испробованы... Будем надеяться. Но...

Василий с мольбой смотрит на него.

— Профессор... товарищи доктора... Ну, что... что еще можно сделать? Может, осталось еще что-нибудь, что... что можно сделать?..

Профессор разводит руками:

— Будем надеяться на силы его могучего организма.

— Хорошие вести?.. — как бы про себя негромко произносит доктор Обух.

— Да, пожалуй, — поняв его мысль, говорит профессор. — Пусть ему сообщат что-нибудь, что считается у вас хорошим известием.

Василий переглядывается с Обухом.

— Может быть, просто... как бы сказать... — Обух недоговаривает.

— Нет, нет. Лгать нельзя, — отвечает Свердлов на недосказанную мысль. — И все равно, он не поверит. (Пауза.) Пойдемте со мной.

Он выходит с Бобылевым.

Сестра приоткрывает дверь из комнаты Ленина.

— Кровохарканье, — тихо говорит она.

Врачи быстро идут к Ильичу.

Василий подходит к закрывшейся за ними двери и, напряженно вслушиваясь, ждет.

Явственно в мертвой тишине раздается глухой стон.

Не в силах больше сдерживаться, Василий садится, закрывает лицо руками.

Плачет.

В углу Надежда Константиновна. Она сидит молча, выпрямившись, бледная и суровая.

Василий смущенно вытирает слезы.

— Простите... Надежда Константиновна...

На прямом проводе Свердлов и Бобылев.

Ползет лента, стучит ключ. Бобылев медленно читает:

«Сталин запрашивает бюллетень здоровья Ленина».

Свердлов молчит несколько секунд.

— Передайте товарищу Сталину... Положение очень тяжелое, пульс плохой...

Царицын. Вагон Сталина. За окнами ревет ливень. Слышна глухая канонада.

Над телеграфным аппаратом Сталин.

Телеграфист читает ленту:

— «... положение очень тяжелое... пульс плохой... началось кровохарканье...».

Аппарат смолкает.

Тяжело опираясь на стол руками, опустив голову, стоит Сталин над смолкшим телеграфным аппаратом.

Близкие разрывы снарядов прорываются сквозь рокот ливня.

Овладев собой, Сталин выпрямляется, грузно ступая, проходит по вагону и резким движением распахивает дверь.

Он входит во второе отделение вагона.

Здесь, над картой, сидят военспецы.

— Продолжайте, — негромко и сдержанно произносит Сталин.

— Как Владимир Ильич? — тревожно спрашивает седой командир.

— Кровохарканье... — тихо отвечает Сталин. — Продолжайте, — повторяет он.

Военспец, чей доклад был, очевидно, прерван уходом Сталина, продолжает бесстрастно докладывать о положении на фронте.

Положение тяжелое, и пока военспец ровным, тягучим голосом перечисляет одно за другим поражения, показывает на карте пути отступления наших войск, определяет линии выхода белых, — Сталин, слушая его, звонит по телефону.

— Ворошилова, — тихо говорит он, не прерывая докладчика, — выехал? Хорошо.

В эту минуту докладчик называет станицу, которая занята белыми сегодня.

— Когда? — переспрашивает его Сталин.

— Сегодня в первой половине дня.

— Точнее.

— Примерно в двенадцать тридцать.

— А где был ваш отряд?

— К сожалению, я не успел подойти...

Сталин звонит. Входит вестовой.

— Просите ко мне товарища Терехова... (Военспецу). Продолжайте.

— Таким образом, в положении нашего участка мы на сегодня можем констатировать тенденцию к дальнейшему отступлению.

— Так... — говорит Сталин. — Все?

— Так точно, все.

Входит Терехов.

— Товарищ Терехов, — говорит ему Сталин. — Примите командование отрядом. А вам придется сдать командование.

Докладчик резко выпрямляется.

— Но позвольте, товарищ Сталин...

Сталин обводит суровым взглядом присутствующих:

— Мы воюем плохо. Занимаемся картами, чертим чертежи — и отступаем. Карты хороши тогда, когда с их помощью можно наступать. Завтра на рассвете мы начнем наступление по всему фронту. И без тенденций к отступлению... (Он бросает быстрый взгляд на докладчика.) Конкретные задания получите у командующего фронтом товарища Ворошилова. До свиданья.

Военспецы собирают карты.

В соседнее отделение вагона стремительно входит Ворошилов. Поток воды стекает с его кожанки. Мокрые пряди волос пересекают лоб.

Ворошилов идет прямо к телеграфному аппарату. Он берет ленту и жадно читает ее.

Сталин входит и останавливается рядом с ним.

Ворошилов прочел ленту и осторожно опускает ее на стол.

Молчание.

— Так... — говорит, наконец, Ворошилов, — так...

Снова пауза.

Сталин разворачивает на столе карту.

Ворошилов подходит к нему.

— Завтра Краснов будет за Дном... — стиснув зубы, говорит Климент Ефремович.

Входит вестовой и подает Сталину телеграмму.

— Из Реввоенсовета от Троцкого.

Сталин читает. Протягивает Ворошилову:

— Прочти.

Ворошилов читает.

— Если перевести этот приказ на русский язык — что он означает?

— Расформирование фронта и сдачу Царицына белым, — отвечает Ворошилов. — Ничего больше.

Сталин, склонившись над столом, пишет на телеграмме:

«Не принимать во внимание. Нарком Сталин».

Ворошилов берет у Сталина перо и под его подписью дописывает: «Командующий фронтом В о р о ш и л о в».

— Возьмите.

Сталин отдает телеграмму вестовому и вместе с Ворошиловым склоняется над картой.

Ворошилов проводит карандашом первую черту на карте, затем откладывает карандаш и поднимает на Сталина полный мучительной тревоги взгляд:

— Кровохарканье... Это очень страшно?..

Сталин молча кладет руку на плечо своего друга.

★

Ленин боролся со смертью.

Ночь. В комнате полумрак. Неяркая лампочка освещает стол, накрытый белым.

Поблескивают хирургические инструменты.

В комнате Надежда Константиновна, доктор Рабинович, Василий. Он стоит в ногах кровати, не спуская взора с Ленина. Лицо Ильича мертвенно блед-

но, черты обострились. Тяжелая одышка колеблет грудь.

Начинается гроза.

Доносятся далекие раскаты грома.

Ильич на мгновение раскрывает глаза, затуманенные болью.

— Почему... мне не несут... сводки с фронтов? — говорит он, стараясь побороть одышку, но страшная усталость снова опускает веки.

Пауза.

— ... не говорите Наде ничего... я сейчас встану... Отойдите, Феликс... Эдмундович... Вы видите... Надо быть осторожнее... Отойдите... не угодно ли вам беречь себя... Они мстят...

Ильич бредил.

Доктор Рабинович подошел к сестре.

— Камфору...

Близкий удар грома. Яркая молния освещает комнату.

— Нужно как можно... скорее брать Симбирск... хлеб... могут сжечь... мы были... слишком мякотель... пора встать...

★

Ильич затихает.

Слышно тяжелое, частое дыхание больного.

Начинается дождь. Он шумит все сильнее и сильнее.

Удары грома становятся глуше. Ветер колотится в окно.

Дверь приоткрывается.

Ленин прислушивается к голосам за дверью.

— Кто это? кто там пришел?

— Лежи, лежи спокойно... — отвечает Крупская. — Там никого нет.

Ленин слушает.

— Горький пришел. Это Горький.

— Пустите его. Алексей Максимович... Надя, позови Горького, это его голос.

— Тебе кажется, Володя. Там никого нет. Это дождь.

Ленин пытается подняться.

— Нет. Горький. Пусть войдет.

Надежда Константиновна и Василий переглянулись.

Василий выходит.

Тихо открывается дверь:

Горький.

Он подходит к постели Ильича. Садится рядом.

— Где же Алексей Максимович? — шепчет снова в забытьи Ильич. — Почему он не идет..

— Я здесь... — тихо говорит Горький.

Но Ленин не слышит его.

— Почему... он не идет ко мне... Алексей Максимович...

— Владимир Ильич... — незаметно утирает слезу Горький.

Но вот Ильич открывает глаза. Сознание вернулось к нему. Он видит Горького.

— Алексей Максимович... дорогой Горький.

Легкая тень улыбки появляется в усталых глазах Ильича.

— Меня пустили к вам только с условием, чтобы мы оба молчали... — тихо басит Горький. — Давайте помолчим.

— Хорошо... — шепчет Ильич, — помолчим.

Он протягивает свою ослабевшую руку, опускает ее на руку Горького.

Так лежит Ильич, и сидит возле него Горький.

Молчат, держась за руку, два великих человека.

Шумит дождь.

★

В проходную комнату входит Бобылев.

— Товарищ Василий, — шепчет он. — Вас к телефону товарищ Дзержинский.

— Он разве не здесь?

— Нет, уехал в ВЧК.

Василий у телефона.

— Да, товарищ Дзержинский... Матвеева? Передал его на руки Синцову... Синцову!.. Рядом никого больше не было... Матвеев был ранен. Нет, больше

ничего не сообщил... Владимир Ильич плохо... Бредил все... Был у него Горький... Сейчас опять без сознания.

Дзержинский кладет трубку на рычаг.

— Ленин без сознания...

Он закрывает обеими руками лицо, сидит неподвижно.

Под яростным ударом Красной Армии бежали казачьи полки.

Гул канонады. Рев снарядов. Разрывы.

Взметаются столбы огня.

Бежит белая армия, бежит без оглядки, бросая раненых, бросая орудия и боеприпасы.

Со сверкающим клинком, занесенным над головой, несется на взмыленном коне Клим Ворошилов. Лавина конницы летит за ним.

Как ураган, налетает на врага красная конница.

Гремит «ура».

Рубка.

Без оглядки летит белая армия к Дону.

Яростной лавиной несутся красные войска и опрокидывают белых казаков в Дон.

Снаряды бьют по воде, усеянной людьми.

Гремит «ура».

Машина Сталина пронесится по линии фронта.

Рядом с машиной рвется снаряд, взметнувшийся столб земли забрасывает машину, но она несется дальше. Сталин невредим.

Машина останавливается. Запыленный, с сурово сдвинутыми на загорелом, смуглом лице бровями, спускается в землянку Сталин.

— Свяжите меня с вагоном, — говорит он телефонисту.

Телефонист вертит ручку полевого аппарата.

— Вагон Сталина?... Вагон Сталина?... Будешь говорить.

Телефонист передает Сталину трубку.

— Дежурный? Говорит Сталин. Пе-

редайте по прямому проводу в Москву для товарища Ленина...

★

Коридор Совнаркома.

— Товарищ Василий... — взволнованно шепчет телеграфист. — Смотрите... смотрите...

Василий быстро берет в руки телеграфную ленту.

«Немедленно передайте Владимиру Ильичу...»

Рядом с Василием склонился над лентой телеграфа доктор Обух.

Читают.

Дрожащей рукой Василий отрывает ленту.

Вместе с доктором Обухом они бегут в комнату Ильича.

— Владимир Ильич... — громко шепчет Василий. — Владимир Ильич...

Надежда Константиновна, сидящая у постели Ильича, приложила палец к губам, но Обух успокоительно кивает головой.

Веки Ильича дрогнули. Не открывая глаз, он тихо говорит:

— Я слушаю вас, товарищ Василий.

— Слушайте телеграмму, — громко шепчет Василий:

— «Наступление советских войск Царицынском районе увенчалось успехом»...

Он читает торопясь, глотая слова.

— «... Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Горячий привет товарищу Ленину. Наступление продолжается. Нарком Сталин».

Глаза Ильича открыты. Он смотрит на Василия, затем переводит взгляд на Надежду Константиновну, на доктора.

— Еще раз... прочтите... — говорит он.

Василий еще раз читает телеграмму. В усталых глазах Ильича появляется улыбка.

— Передайте ему...

Ильич говорит тихо, с трудом, ему, видимо, много хочется сказать, но произносит он только одно слово:

— Спасибо...

★

*Три раза в день узнавала страна о
здоровьи Ильича.*

В цеху толпа рабочих.

— Тише! — кричат в толпе, — тише!

— Читай!

На возвышении стоит предзавкома.
Он держит в руке бюллетень.

Наступает тишина.

— «Официальный бюллетень, — громко читает предзавкома, — о состоянии здоровья председателя Совета Народных Комиссаров товарища Владимира Ильича Ленина».

— Тише! — кричит кто-то, хотя и так стоит тишина.

— «Температура 38,2...».

По цеху прокатывается гул огорчения.

— Жар держится, — говорит кто-то.

— «Пульс 120, хорошего наполнения...».

— Как, как?

— Наполнения хорошего!

— «Дыхание 24...».

Тишина. Никто не знает, как это понять.

— «Ночь спал сравнительно спокойно...».

Гул одобрения, где-то сзади раздались отдельные хлопки.

— Спал! — проносится по рядам.

— Сон ему сил прибавит.

— Читай, читай дальше! Тише!

— «Кашля не было...».

Аплодисменты.

— «Чувствует себя бодрее...».

Бурные аплодисменты.

— Идет на поправку Ильич!

— Тише, не мешайте! Давай дальше!..

— «Глотание свободное и безболезненное!».

Громкие аплодисменты, буря восторга, крики «ура».

— Качать Михеева!

— Качать!..

Предзавкома подхватывают десятки рук.

Качают.

На ящик взбирается молодой рабочий.

— Товарищи! — кричит он. — Товарищи! Напишем Ильичу письмо!..

— Верно!

— Напишем письмо!

— Тише!

— Пиши: «Дорогой Владимир Ильич...»

— Нет, не так, — сердито говорит старый рабочий.

— Верно, не так! Не так!

— Михеев пусть говорит!

Михеев взбирается на ящик:

— «Дорогой, любимый наш Ильич...»

— Вот это верно!

— «...весь пролетариат стоит у твоей постели», — продолжает Михеев.

— Правильно, — говорит кто-то в наступившей тишине.

★

Ильич начал поправляться.

Идет по коридору доктор Обух. На встречу ему бежит Евдокия Ивановна.

— Вышел! Подумайте! Встал и вышел из комнаты!

Доктор вместе с Евдокией Ивановной бросаются в комнату Ильича.

Пустая постель. Посреди комнаты стоит растерянная сестра милосердия.

— Вы почему разрешили ему встать? — кричит ей доктор.

— Я говорила ему — нельзя. А он: «ничего, ничего». Не могу же я держать силой вождя мирового пролетариата...

— Он для вас больной, а не вождь и должен вам подчиняться. Где он?

— Не знаю. Вышел в эту дверь.

★

Ильич в кабинете. Жадно нагнулся над грудой бумаг. Рука на перевязи. Звонит телефон.

— Слушаю. Ничего, он поправляется, чувствует себя хорошо... Да, да, температура нормальная... Что? Да, конечно, лежит в постели. А кто это говорит? Ах, очень удачно, вы-то мне, батенька, и нужны... Да, да... Это Владимир Ильич говорит, представьте себе... И напрасно вы так бурно радуетесь, товарищ Поляков, я вам сейчас снова

задам такую головоломку... что... Согласно на любую? Ну, так вот: объявляю вам строгий выговор с предупреждением. Вы думаете, я не знаю, что вы...

Входит доктор. Всплескивает руками. Ильич увидел его.

— Я вам немного попозже позволю...— тихо говорит он в трубку и вешает ее на рычаг, смотря на доктора с видом виноватым и озорным.

— Это безобразие! — сердито говорит доктор. — В постель сейчас же! Я буду на вас жаловаться!

Ленин идет с ним из кабинета, взяв его под руку:

— Ладно, ладно, доктор, вы не ябедничайте, это нехорошая черта. Воздух Совнаркома для меня очень полезен.

Комната в комиссариате.

Распахивается дверь, влетает в совершенном восторге Поляков, тот самый, которому влетело от Ильича при Горьком.

— Ура! — кричит он, разбрасывая все вокруг себя.

Один из сидящих за столом поднимает голову.

— Чего ты радуешься?

— Выговор получил!

— Странная причина для веселья.

— От кого, от кого, спроси? От Ильича, дурья голова!

Все всакивают.

— От Ильича?

— От Ильича! — кричит Поляков, пускаясь в пляс. — Ильич здоров, товарищи! Лично выговор закатил! Строгий! С предупреждением!

Ильич и доктор входят в проходную комнату.

На столе раскрытая посылка: булки, колбаса, сахар, чай, плитка шоколада.

Бобылев извлекает из ящичка еще круг колбасы.

— Это вам посылка, Владимир Ильич!

— Зачем же вы ее раскрыли?.. Отправьте в детский дом.

— Владимир Ильич, вы больны, и я от вас никаких распоряжений не принимаю, — говорит Бобылев.

— А от кого посылка?

— Да вот сам же могу понять, ничего не сказано. Отправитель неизвестен.

Ленин указывает на газету, в которую завернут хлеб.

— А ну-ка, посмотрите эту газету. Царицынская?

— Царицынская.

— Ну, так ясно. От Сталина.

Все смеются.

— Ай, ай, ай! — говорит Ленин. — Такой старый конспиратор, а так проморгал.

Доктор провожает Ильича в следующую комнату и подводит его к постели.

— Ну, ложитесь!

— Позвольте мне посидеть в кресле, — просит Ильич.

— Хорошо. Только сидите недолго и ни в коем случае не читайте.

Ильич садится в кресло у окна. Доктор уходит.

Ильич тихонько вынимает из-под подушки газету и начинает ее читать, поглядывая на дверь.

— Владимир Ильич! Телеграмма! — кричит, вбегая, Бобылев: — «На рассвете нами взят ваш родной город Симбирск—это ответ на первую вашу рану. За вторую будет Самара!»

В ЧК. Рассвет. За столом Василий. Против него Константинов.

Константинов мрачно подписывает протокол допроса.

— Давно вы так.

Василий вытирает со лба пот, звонит. Входит караульный.

— Вести арестованного.

Вводят посла.

— Садитесь, пожалуйста, — говорит Василий.

Посол садится.

— Я вам выражаю протест. Вы не имели права делать арест на посла (встал, говорит театрально) его королевского величества.

— Да сидите, тут вас никакой король не увидит.

— Потом я приношу жалоба на грубый обращение.

— А именно?

— Ваш красный армеец сказал на меня: «Так бы тебе морду дал».

— Ай, ай, ай! Жаль, что он так сказал! Давайте бросим этот балаган. Вы, гражданин посол, обвиняетесь в том, что воспользовались своими дипломатическими правами и организовали вместе с русскими буржуями, белогвардейцами, эсерами и меньшевиками заговор для свержения советской власти, убийства Урицкого и покушения на Ленина. Признаете себя виновным?

— Я возмущен на эти обвинения.

Василий кладет на стол бумагу.

— Что это такое?

— Не знаю.

— Это «не знаю» лежало у вас в кармане. Признаете себя виновным?

— Нет. Я ничего не имею сказать.

Василий поворачивается к Константинову:

— Гражданин Сидней Реджинальд Релтон...

Посол вздрогнул, услышав это имя. Вскочил. Он с ужасом глядит на Константинова. Переводит растерянный взгляд на Василия и бессильно опускается на стул.

Василий, коротко взглянув на него, снова обращается к Константинову:

— Вы подтверждаете, что главным организатором заговора был гражданин посол?

— Да...

Посол в ужасе смотрит на Константинова.

— Мистер Константинов, что вы говорите... как можно так говорить... Ах, мистер Константинов.

— Теперь, господин посол, вы можете смело называть меня настоящим именем, — мрачно говорит Константинов.

Василий придвигает к себе бумагу, берет перо.

— Ну, хватит. Рассказывайте все по порядку...

Звонок телефона.

— У телефона... Слушаюсь, товарищ Дзержинский... Через час буду у вас с докладом. (Послу, нетерпеливо). Ну, давай, говори... не задерживай!..

Приготавливается писать.

Другая комната в ВЧК. Кабинет следователя Синцова.

За столом Синцов, против него арестованный.

— Вы признаете, что формировали отряды для переброски к Краснову?

Арестованный держится нагло.

— Признаю.

Синцов записывает.

— Для чего вы вернулись от белых в Москву?

— Для установления связей.

— Харитоновна знаете?

— Знаю.

— Он у белых?

— Да.

— А Шевырев?

— Шевырев арестован в Царицыне.

Синцов вскакивает, в ужасе, смертельно побледнев, смотрит на арестованного.

— Не может быть! Шевырев арестован... Как же быть?..

— Садись, баба... Пей!

Арестованный протягивает ему стакан.

Синцов садится, обхватывая голову руками.

— Слушай меня... — говорит арестованный... — Где Константинов?

— Здесь, арестован... — тихо отвечает Синцов.

Арестованный вскакивает в смертельном ужасе.

— Константинов арестован?!..

Несколько мгновений он смотрит на Синцова, потом медленно садится, жадно выпивает воду.

— Ну, ладно... Слушай... В какой камере сидит Константинов?

— В шестнадцатой... — отвечает Синцов.

— Посадишь меня к нему, понял?

— Ладно.

— Кто из наших уцелел в Чека?

— Павлов.

— Кем работает?

— Шофер.

— Это хорошо. Пригодится... Ну, переведи меня к Константинову... Сейчас же...

Синцов звонит. Дверь открывается.

Вместо караульного входит Дзержинский, за ним часовой.

Дзержинский подходит к столу.

— Увести арестованного.

Арестованный и часовой выходят.

— Садитесь... — говорит Дзержинский Синцову. — Скажите, Матвеев умер у вас на руках?

Синцов бледнеет, отвечает тупо, по-солдатски.

— Так точно, на руках, товарищ Дзержинский... Тяжелая утрата.

— Да, — спокойно отвечает Дзержинский, — тяжелая утрата... Он успел что-нибудь сказать вам перед смертью?

Пауза.

— Успел...

— Что именно?

Синцов отвечает, не глядя в глаза:

— «Да здравствует мировая революция»...

— Посмотрите мне в глаза... — говорит Дзержинский. Вдруг ударяет кулаком по столу. — Провокатор!

Синцов отскакивает, как ужаленный, хватается за кобуру.

Дзержинский негромко говорит ему:

— Оружие на стол!

Он смотрит прямо в глаза Синцову, и Синцов не выдерживает взгляда. Медленно, словно загипнотизированный, отстегивает он кобуру, дрожащими пальцами кладет револьвер на стол.

Дзержинский стоит перед ним безоружный, заложив руки за спину.

— Как же я раньше не замечал, — говорит, как бы размышляя вслух, Дзержинский. — Глаза предателя... Ну, конечно, глаза предателя...

И вдруг в страшном приступе гнева он кричит:

— Мерзавцы! Забрались в самое сердце революции!..

Неожиданно он начинает кашлять. Хриплый, отрывистый кашель рвется из груди Феликса. Мучительная гримаса искажает лицо.

Дзержинский отворачивается к окну, кашляет, держась рукой за грудь.

Взгляд Синцова переходит с Дзержинского на стол, на лежащий на столе наган. Синцов пытается даже сделать движение, протянуть руку к револьверу.

Дзержинский оборачивается.

Синцов, словно ожегшись, отдергивает руку и вдруг падает на колени.

— Не виноват!.. Феликс Эдмундович, я не виноват!..

— Вы не только предатель, но еще и трус...

— Клянусь вам!.. Честное слово чекиста — не виноват!

— Не смейте называть себя чекистом! Что сказал Матвеев перед смертью?

Пауза.

Синцов, стоя на коленях, глядит снизу вверх на Дзержинского.

— «Да здравствует мировая революция...»

Дзержинский звонит.

Входит часовой.

Дзержинский:

— Отвести арестованного.

На подлый выстрел взбесившихся контрреволюционеров, на ранение вождя мирового пролетариата, гения революции Владимира Ильича Ленина советский народ ответил массовым красным террором и победоносным наступлением на всех военных фронтах.

Советский народ, измученный четырехлетней войной, голодом, интервенцией, поднялся, горя великим гневом, и страшен был гнев народа.

Ураганным натиском советских войск была взята Казань, взят Грозный, взят Уральск. Из Вольска, из Симбирска, из Хвалынска, из Чистополя, из Буинска бежали белые полки, преследуемые и уничтожаемые огнем великой Красной Армии.

Ильич, одетый, полулежит в кровати. Ноги закрыты пледом. Рука на перевязи. На похудевшем лице едва заметная, легкая и грустная улыбка, которая бывает у тяжело переболевших и выздоравливающих людей. Он спит. Раннее утро.

Дверь открывается, и в комнату тихо входит Сталин. В брезентовом плаще, выгоревшем, продымленном, вымоchenном яростными дождями и высушенном жгучими ветрами, в военной фуражке, бурой от беспощадного солнца,

в высоких сапогах, покрытых пылью боев и побед, он стоит на пороге комнаты и смотрит на Ильича. На цыпочках он подходит к его постели. Он долго, с огромной тревогой, вглядывается в бледное лицо, измененное болезнью, смотрит на раненую руку.

Вдруг Ильич открывает глаза.

— Сталин!.. дорогой мой!

Сталин бросается к Ильичу, он бросается к нему и осторожно-осторожно обнимает его, боясь причинить боль.

Ильич говорит очень тихо, как всегда, когда он волнуется:

— Я очень боялся, что вы не успеете приехать! Но мы, кажется, послали к чорту ангела смерти!.. — Он начинает смеяться, но боль заставляет его перестать, и Ильич только улыбается задорно и радостно, держа Сталина за руку: — А вы выгнали к чертям Краснова! Рассказывайте немедленно. Все. Скорее.

Сталин придвигает стул.

Садится возле Ильича.

ВЧК. Кабинет Дзержинского.

Дзержинский и Василий за столом. Похудевшие, небритые, с глазами, воспаленными от бессонных ночей.

Дзержинский просматривает бумаги, беспрерывно курит.

— А что это? Допрос посла? Ну-ка, ну-ка...

Дзержинский читает. Время от времени с его губ срываются короткие восклицания:

— Гм...

— Вот как!..

— Ах, сволочь!..

Подчеркивает какое-то показание.

— Сейчас привезут Синцова, — говорит Дзержинский. — Он что-то знает... Он должен знать!.. Трус, мелкая мразь... долго запирается не будет... Ну, что у вас еще?

Открывается дверь, входит бледный, растерянный секретарь.

— Феликс Эдмундович...

— Ну, что Феликс Эдмундович? — говорит Дзержинский, не поднимая головы от протокола. — Ведь я давно просил привезти Синцова. Где он?

— Несчастье, Феликс Эдмундович...

Дзержинский резко поднимает голову.

— Что такое?

— Синцов убит.

— Что?..

— Его везли на Лубянку. Шофер с полного хода всадил машину в стену дома, разбился сам, убил Синцова, каральных...

Дзержинский встает.

— Был с ними кто-нибудь еще из арестованных?

— Был...

— Кто?

Секретарь молчит.

Василий, вдруг поняв, подскакивает к нему, хватая его за грудь.

— Константинов?

— Да.

— Бежал?!

Секретарь молчит.

Дзержинский быстро надевает шинель.

— Едем на место катастрофы, — говорит он Василию. — Она нам еще дорого обойдется... эта катастрофа... Борьба не кончена, товарищ Василий! Нет, борьба не кончена!

Комната Ильича.

Ильич и Сталин заканчивают разговор.

— Да, да, — говорит Ильич, — конечно, это ясная, яснейшая, очевиднейшая истина: мы должны немедленно, коренным образом изменить методы борьбы. Без жесточайшего подавления сопротивляющихся классов, без железной... нет, стальной, диктатуры наша революция, да и всякая революция, неизбежно погибнет...

Скрипнула дверь.

В комнату входит девочка Наташа.

— Входи, входи. Наташа, — говорит Ильич, — не бойся. Это наш Сталин. Тебе его бояться нечего. Вот генералам Мамонтову и Краснову его действительно следует бояться. Познакомься.

Сталин нежно кладет свою руку на белобрысую головку.

— Вот ради кого, — говорит он, — мы должны быть беспощадными к врагам. (Помолчал). Она будет жить уже не так, как мы... лучше, чем мы...

Пауза.

Ленин тихо говорит, сжимая ноющую

раненую руку. Задумчиво блистают ясные его глаза.

— Да... они будут жить лучше, чем мы... И все-таки я не завидую им... нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значимости.

Наташа трогает Ильича за рукав:

— Ленин, дай мне конфетку.

— Конфетку... — Владимир Ильич крайне огорчен. — Ну, где же я тебе ее возьму...

Наташа поворачивается к Сталину:

— А у тебя есть?

Сталин очень смущенно:

— Нет... к величайшему сожалению, нет... Что же это выходит, Владимир Ильич, — мы с вами вдвоем не можем достать одну конфетку?

Входит Бобылев.

— Товарищ Сталин, Царицын на поводе.

Ильич встал.

— Пойдемте, передадим телеграмму от нашего общего имени.

Ленин и Сталин вышли в коридор Совнаркома.

Навстречу им шел работник СНК. Увидав Ильича, он остановился и вдруг побежал обратно.

И, пока Ленин и Сталин проходили расстояние, отделяющее дверь квартиры Ильича от телеграфного аппарата, одна за другой отворялись двери, и в коридор выбегали совнаркомовские работники.

Когда Ленин остановился у аппарата и оглянулся — весь коридор был заполнен улыбающимися ему людьми.

Они смотрели на своего Ильича, вернувшегося к работе.

Он стоял рядом со Сталиным у телеграфного аппарата.

— Можно, — сказал телеграфист.

«Царицын, Военсовет Командующему фронтом товарищу Ворошилову, — начал диктовать Сталин:—Передайте наш братский привет героической команде, всем революционным войскам Царицынского фронта, самоотверженно борющимся за утверждение власти рабочих и крестьян. Передайте им, что Советская Россия с восхищением отмечает их подвиги. Держите красные знамена высоко, несите их вперед бесстрашно, искреннейте помещичью и кулацкую контрреволюцию беспощадно...».

Ленин наклонился к телеграфисту.

— И докажите всему миру, — продиктовал он, — что социалистическая Россия непобедима!

И как бы в ответ на слова Ильича зазвучала торжественная музыка. Вооруженный народ поднимался на защиту молодой своей республики. Вся советская земля поднялась в ответ на призыв Ильича.

Смятые страшным ударом, бежали белые полки; бросая оружие, в ужасе и смятении бежали враги.

Великая Красная Армия неудержимо двигалась вперед, чтобы навсегда смести с лица советской земли всех, кто станет на пути народа, кто дерзнет поднять руку на самое дорогое, что есть у народа, — на ее вождя!

Неудержимо двигалась вперед Красная Армия¹.

¹ Режиссер фильма «Ленин» — М. Ромм.

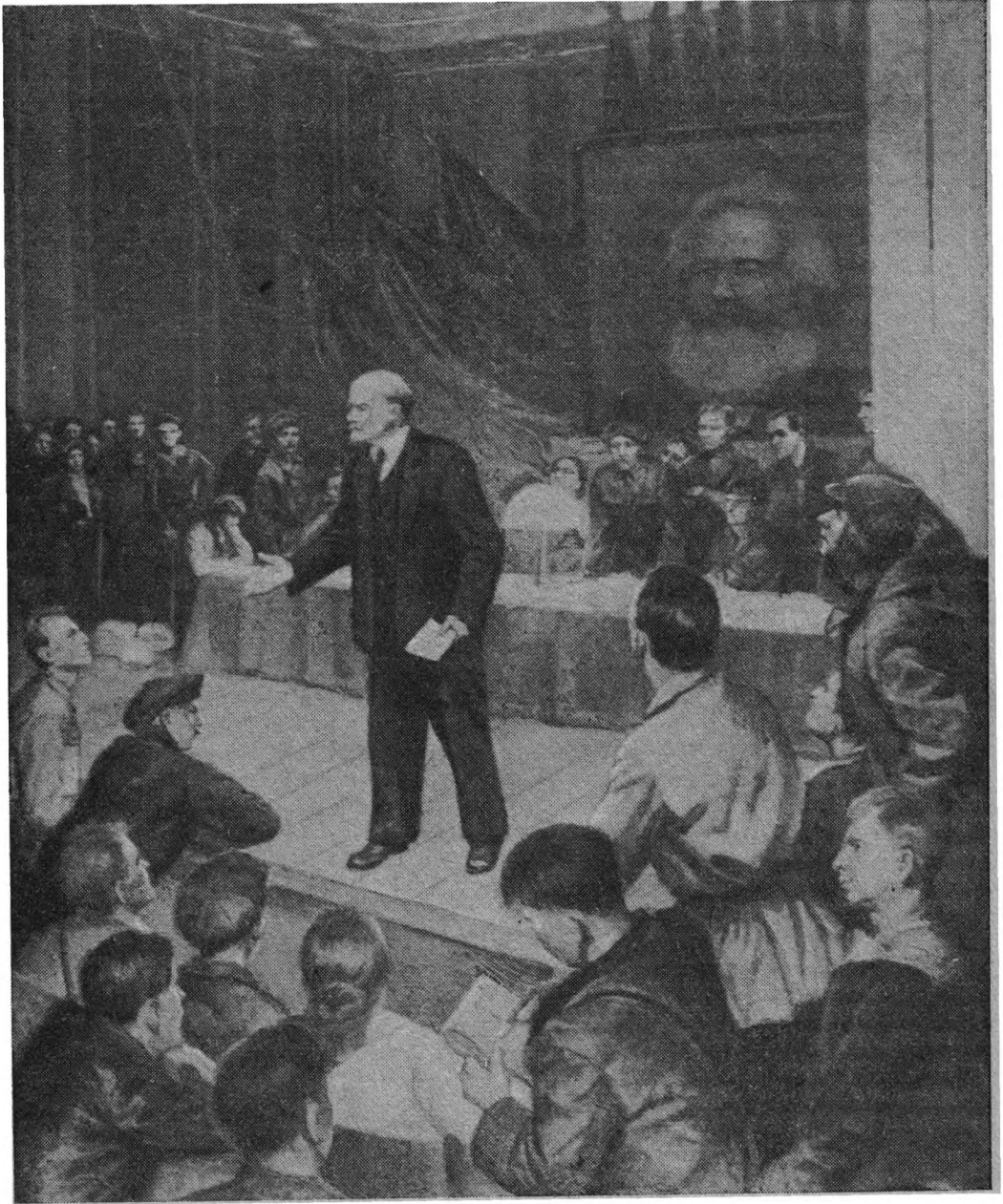
Роли исполняют:

В. И. Ленина — нар. арт. СССР Б. Щукин.

И. В. Сталина — арт. М. Геловани.

А. М. Горького — засл. арт. Н. Черкасов.

Рабочего Василия — засл. арт. Н. Охлопков



В. И. Ленин на III съезде РКСМ (1920 г.).

С картины худ. А. В. Моторной.

Две песни о Ленине

ЛЕВ ОШАНИН

★

ВСТРЕЧА

Еще громовый первый выстрел
С борта «Авроры» не звучал,
Еще продажные министры
Не выгнаны из царских зал, —
Еще в снегах чужого края,
Не зная, где враги сидят,
О мире и земле мечтая,
В окопах погибал солдат, —

Тогда, как вихрь, как наступленье,
Промчалась весть, что близко Ленин.

Он близок, близок час расплаты:
Глазами зоркими следя,
Матросы, слесаря, солдаты,
Встречали своего вождя.

В простом пальто демисезонном,
Как он всегда ходить привык,
Он быстро вышел из вагона
И поднялся на броневик.

И город был, как море, всенен.
Близка победа, с нами Ленин.

В КРЕМЛЕ

За окном пролетают ночные ветра.
Провода запевают во мгле.
В них тревога звучит. И опять
до утра
Совнарком заседает в Кремле.

Ленин молча сидит, опершись на ладонь.
Он устал от бессонных ночей.
Но лишь веки поднимет — под ними
огонь, —
Столько силы в родном Ильиче.

Секретарь телеграмму ему подает.
В ней короткая строчка одна.
Он на подпись глядит и внезапно
встает.

Наступает вокруг тишина.

Это рапорт от Сталина с тех берегов,
Где враги преграждали пути.
Волга снова свободна. И бандам врагов
От штыка никуда не уйти.

За окном пробегают ночные ветра.
Ленин пишет, склонясь над столом.
И гудит телеграф. И опять до утра
Заседает в Кремле Совнарком.

★

Ленин в Швейцарии

НИКОЛАЙ ПАНОВ

★

Раскрытых томов
Громоздятся глыбы,
Под стулом
Потертый блестит ботинок...

— Какой удивительный
Чтения выбор
У этого странного господина...

Женева.
Читальня.
Начало века.
И смотрит хранитель библиотеки
На скромно одетого человека,
Который читает, прищулив веки...
Женева, Женева!
Чудесный город!

Посмотришь из пансионатских окон:
На горизонте белеют горы —
Хребты, протянувшиеся высоко.
А главное, можно, поднявшись рано,
С окраины путь прошагавши дальний,
Засесть, не боясь никаких охранок,
В Société de lecture — в читальне.

Вот строки струятся в поспешном беге
В тетрадной, белобокой раме:
Карл Маркс, Генри Джордж,
Сен-Симон и Гегель.
Бок о бок с пузатыми словарями.
Чего не читал он?
Каких вопросов
Пытливая мысль не касалась эта?
Кто он?
Энциклопедист-философ?
Профессор?
Доцент университета?

Но вот он рассеянно глаз прищурил
На небо швейцарское голубое,
К шкафам подошел, утонул в брошюре
Об уличном баррикадном бое...
Склоняясь над извивами карт и планов,
Науку сражений постигнуть хочет...

Так кто ж он такой — гражданин
Ульянов,
Сидящий в читальне с утра до ночи?

... В кофейнях мерцают пивные кружки.
Женевец спешит на свиданье к даме...
На Rue de Carouge, на камнях
«Каружки»¹,

Заложен великих побед фундамент.
Здесь люди беседуют не о звездах,
Стремятся не к неземному раю:
Свинцом типографским пропитан воздух,
Здесь гранки газетные набирают.
Сюда не проникнет
Жандарма лапа,
Шпики не провалят
Обманом лисьим...

Вот светом бессонным сияет лампа
Над белым прибором статей и писем.
Преследуемый меньшевистской злобой,
Выводит марксизм из болотной тины
Живой, ясноглазый, высоколобый
Трибун революции,
Вождь партийный.

¹ Так русские политэмигранты называли женевскую улицу Rue de Carouge (см. воспоминания Н. К. Крупской).

Вот связей партийных тугие нити
 На сотни километров протянулись.
 Инструкции мчатся в Москву и в Питер,
 Воззвания для пролетарских улиц.
 Вот письма друзей из российской
 дали...

Шлют вести
 Московские пропагандисты...
 Отчеты из Питера...
 Пишет Сталин,
 Бежавший в Баку из Сибири льдистой.
 Читает и пишет
 Владимир Ленин,
 Склонясь над бумагой неумоимо.
 Стол письменный
 Бурей рабочей вспенен.

Ночные часы проползают мимо.
 Желанное время настанет скоро:
 Он с радостью город покинет дивный —
 Озерную синь, снеговые горы —
 Для русской квартиры конспиративной.
 Пока же, с утра, за работу снова...
 Вбирает страницы
 Усталым взглядом,
 Чтобы научных трудов основа
 С борьбой каждодневной вставала
 рядом...

Ряды фолиантов,
 Смотрящих строго...
 Женевская маленькая квартира...
 И отблески лампы
 На страстных строках,
 В которых решаются судьбы мира.

★

Утро

РОМАН

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ

★

I

Кто это скребется там под окошками? Это веселый псаломщик, пьяный, как стелька, разносит по избам последнюю новость: после обедни Льву Толстому, графу, возмутителю и еретику, будут говорить анафему.

Ради такого дня отец проснулся с петухами. Он сидел на крыльчке босой, в упругих подтяжках, в цветной сорочке, в рейтузах. Работник Гриша, перезрелый жених, ваксил его сапоги, не жалея ни слюны, ни локтей: русая прядь танцовала на его лбу.

Ну, и зорька: холодком так и продергивает! В гусиной травке под ветлами настилем лежала роса, таяла на вставшем солнце.

Отец командовал:

— Начищай до блеску, малец, до блеску! Начищай до северного сияния!

Ударил колокола: отошла ранняя. Отец поддел за ушки сапоги, повертел их, лицо его розовой медузой расплылось в блестящих голенищах — и пошел в комнаты одеваться. Наталья в одном лифе и кружевной нижней юбке охорашивалась перед стенным зеркалом, сделанным в форме сердца. Варварка держала перед ней пудру и румяна. Она восхищенными глазами глядела, как от румян и пудры мать хорошеет на ее глазах, становится еще красивей, чем была.

Оглянувшись на отца, мать притвор-

но вскрикнула, скрестила руки на груди и, легко неся сытое тело, убежала в спальню. «Все-то играютя, — подумала Варварка, — все-то играютя, а живут, как собаки».

Отец надел парусиновую гимнастерку, взбил усы. Со стены снял шашку на ремне, долго прилаживал ее на боку. Варварка так же восхищенно, как на мать, смотрела на него и любовалась им и немного боялась его великолепия.

Отец, посапывая, натянул сапоги, встал; раскорячивая ноги, несколько раз кряду сделал приседание, чтобы ловко сидели и не теснили новые рейтузы. Лицо хмурое, может, ночью опять поссорился с Натальей?

Он невесело, с брезгливой жалостью оглядел тощенькое тельце Варварки, кое-как обтянутое батистовым, неумело пошитым платьем.

Что может нравиться в этой девчонке? Жидкая косица, плоские ступни, кривые коленки. Гоняет по улице, как бешеная, — волосы выплели. Глаза у нее серые и крупные, как у матери. Девчонка отец не ставил ни во что: пока маленькие, прикидываются овечками, а вырастут, будут стервы.

Он толкнул Варварку к зеркалу, велел охорашиваться.

Варварка, кусая покрытые корочкой большие и бледные губы, покорно разгладила платье на мальчишеских бедрах. Ни она сама себе, ни платье ей не нравились.

— Какого чорта, — угрюмо сказал отец, — мать у тебя статная, жаркая, царица Савская, а ты в кого пошла, в кого вышла, от какого проходимца прижита?

«От какого проходимца я прижита?» — подумала Варварка, разглядывая себя в постылое зеркало. И вправду: лоб широкий, нос остренький, уши большие и желтые. Неприглядная. В мочках ушей голубые глазки сережек. В ней еще не проснулась потребность нравиться людям, а ее товарки давно воровали у старших сестер цветные гребешки, ленты, платочки с кружевом. В церковь ее товарки входили мелкими монашьями шажками, прислушиваясь, не говорят ли мужики, какие на селе красивые растут невесты.

— Ни ладу в тебе, ни складу, — бурчал отец, поворачивая Варварку за плечи. — Обнова на тебе сидит, как шляпа на галке. Живем, слава богу, сыто, а тебя коснуться боязно, такая костлявая. Ни ласки в тебе, ни веселья, ребячьей злости, и той нет. Вся ты какая-то, чорт тебя знает, текучая. Такой и обновы дарить не хочется. Что ты рот разеваешь, как жаба? Что ты все молчишь, души у тебя, что ли, нет? На улице жужжишь, как шершень, а дома все молчишь. Такие молчат, молчат, а вдруг и зарежут родителей.

Он отпихнул Варварку от зеркала и, приблизив к нему мясистое, все в широких порах лицо, стал разглядывать порезы от бритвы. При этом он корчил такие рожи, что хоть святых выноси.

Варварка взяла в руку подол платья, стала вытирать держак его шашки.

Отец никогда не бил ее, но она до смерти боялась нахального скрипа его сапог, его скучных глаз и нравоучений. Больше всего она боялась длинных, глухих разговоров отца с матерью. Он гудел, как труба, но за его монотонным голосом Варварка угадывала скрытое мученье темных и трусливых чувств.

Разговоры всегда были про то, что мать обманщица и дрянь.

Если разговоры случались днем, то мать садилась, пригорюнясь, у окна и смотрела на улицу, как несется вскачь на голодной кобыле мальчишка, как

идут бабы с ведрами, и о пыль, выплескиваясь, шлепает вода, как петух, треща по земле пером, охаживает курицу.

Ночью же мать уходила от отца в горницу и, вздыхая, ложилась к Варварке на диван. Отец, в одном исподнем, шел за ней следом и все говорил, что мать змея и лисица, а он, отец, добросовестный человек, слуга царю и опекун людей. Он бормотал, пока сон не склеивал его веки. Тогда, натываясь в темноте на стулья, отец возвращался в спальню.

А все-таки отец был первосортный, и Варварке хотелось верить, что она не только боится, но и любит его: он был в полном соку, от него по-мужски пахло ваксой, табаком, а иногда и водкой, у него была тяжелая шашка и револьвер в кобуре. Он был поглавней попа и старшины, и народ перед ним ломал шапки. На двор, ближе к ночи, приходили к нему старухи и румяные молодки, приносили кур, берестяные лукошки с яйцами, звонкие мерки яблок. Не каждому будут так-то носить, не всякого так почитают! Отец, стоя в тени дома, щупал кур, про яйца говорил всегда одно и то же: «Мельковатенькие носите. На тебе, боже, чего мне не гоже. Знаю я вас!».

— Чего новое платье мараешь? — сказал отец Варварке. — Дура!

— Я не дура.

— Дура.

— Ан не дура!

Отец, разглядывая себя в зеркало, прислушивался к тому, что делается в спальне.

— Пап! — сказала Варварка, глядя на отражение отца в зеркале, на его крупные зубы, по которым он стучал ногтем.

— Чего?

— Это какого графа будут в церкви срамить?

— Толстого.

— За что?

— Он богу непослушный.

— И не боится?

— Еретикау чего бояться? Бойся, не бойся, ему все равно в аду кипеть.

— Жарко ему в аду-то кипеть. Больно.

— Умел грешить, умей и покипеть. Неважно.

— Небось, дети у него есть, — жалостливо сказала Варварка, — мальчики и девочки.

— А детей всех в Сибирь. Царь не поглядит, что они графы, он их всех — в Сибирь. На земле должен быть порядок. Мышь слушается кошки, кошка слушается собаки, собака — человека, человек — царя, царь — бога. Никто не должен вылезать из своей мерки. Раз вылез, то тебя — в Сибирь.

В спальню мать уронила стул. Послышались ее легкие шаги, затем под ее ладонями просвистела шелковая юбка. Отец, как голодный кот, наострил уши, Он всегда следил за женой, слушал шум, производимые ею, обдумывал каждое ее слово — ни в чем ей не верил. Это было у него вроде болезни.

— Наталья! — крикнул он.

Она ответила певуче:

— Ой-я?

— Готова, что ль? Не в маскарад идешь, к обедне.

— Ой-я?

— К богу, говорю, идешь, к молитве. Готова, что ль? Скоро ударят к «Достойной».

— Да я готова, — ответила Наталья, выходя из спальни, — по мне хоть сейчас итти.

Она была в темнозеленой юбке, отливающей струящимся светом, в белой кофточке, из которой свободно подымалась полная и гладкая шея. Румяна слишком явно лежали на щеках и молодили ее и делали какой-то грешной и неприятно доступной. Но глаза у нее были так ясны и доверчивы, что эта доступность казалась чужой, приставшей со стороны. Наталья была в городских высоких башмаках, а на плечи накинута зеленую косынку с красными розами по кайме.

Она улыбнулась мужу; послунив ладони, пригладила Варварке волосы.

Варварка отвела голову. Ей тоже хотелось думать, что она любит мать. Ее трудно было не любить: мать не дралась и была красивая, как женщины из имения князя Апаркова, но в то же время ее было трудно любить, потому что,

несмотря на доброту, она всем доставляла мучения: мужу тем, что он боялся ее неверности, Варварке тем, что мало ласкала ее, бабам тем, что они завидовали ее бездельной жизни и тому, что муж ее урядник Броков.

Было заведено раз навсегда: Наталья и Варварка идут в церковь к «Достойной», а отец к «Отче наш».

Отец поправил косынку на плечах жены.

— Когда начнут анафематствовать графа, — сказал он, — стой прямо, глаза в землю. По сторонам чтобы не глядеть, и дякону в пасть тоже не гляди. Анафематствуют по распоряжению его преосвященства, нашего архиерея.

— Понимаю уж, не командуй. Я тебе не стражник.

— А тебе, Варварка, чтобы не шептаться. Ну, с богом!

— С богом, — повторила Наталья, перекрестилась и, толкнув Варварку в плечо, поплыла с нею к двери.

Отец вышел проводить. Гриша метлой подметал двор. Когда вышли хозяева, он бросил метлу и обеими руками стал разгонять пыль, клубящуюся над крыльцом. Отец, думая себе в усы, глядел в спину удаляющейся жены, и ему опять было неприятно, что рядом с ней, дородной и статной, идет нескладная, костистая девка, ни рыба, ни мясо, чорт его знает, что за девка, как такая уродилась!

Ударили к «Достойной». С ветел стайкой поднялись воробьи. Броков вернулся в горницу, чтобы перечитать бумагу, привезенную вчера от станового. Становой приказывал, чтобы лиц, замеченных в беспокойстве, переписывать, а говорящих открыто отводить в холодную. С тех пор, как губернатор выпорол пригородных мужиков за дерзкий разговор с властями, по всей губернии ждали возмущения. Завод в городе стоял. По рукам ходили листовки, призывающие бастовать.

Броков взял бумагу, стал писать донесение. «В нашей волости, — писал он, — противозаконных действий пока не наблюдается, а те, которые замышляют, пока не обнаружены. Раненых солдат никаких не вернулось, посему

пока спокойно, за исключением женщин, которым не под силу вести хозяйства».

Воробей сел на подоконник. Броков подмигнул ему и задумался о жизни.

II

Народу сошло и с'ехалось столько, что церковь не могла всех вместить. Перед оградой в кружок сидели девки в новых коленкорových и ситцевых сарафанах, терпко пахнувших фабричной краской. Чтобы не замарать о траву платья, они сидели, задрав подолы, изпод которых видны были их белые чулки, перевязанные под коленками цветными тесемками. Парни-щеголи, самодовольные, как реполовы, молча бродили за их спинами.

Поджидали, когда отойдет служба. Ни шутить, ни пересмеиваться не полагалось.

Старые женщины в черных платках, в черных кофтах и юбках стояли неподалеку от них, крестились на колокольню и полицейскими глазами следили за девками.

У самой ограды теснились телеги, тарантасики на легких рессорах, двухколесные скороходки. В стороне от них Варварка увидела лакированную коляску помещика Апаркова, такую нарядную и чистую, что хоть ввози ее прямо в церковь. Возле лошадей, гордясь их сытостью и лоском шерсти, похаживал немолодой и презрительный к народу кучер; круглая шапка у него с перышками, синий казакин с позументом. В коляске, на сиденьи, лежали пыльники господ.

Наталию кучер оглядел презрительно-чувственно, а Варварку просто презрительно.

Девки оценивающими взглядами прощупали новый наряд Наталии и ничего ей не сказали: ни «здравствуй», ни «с праздником». Мать и дочь вошли в ограду. На рябинах качались ребятишки, наслаждаясь зрелищем большого народа. Народ сидел и стоял на паперти, под зеленой железной крышей, которая уже успела накалиться на солнце. Пробраться сквозь стену людей было трудно, хотя они и потеснились, чтобы

дать дорогу семейству урядника Бровка.

Варварка очень обиделась на девок, не сказавших матери ни «здравствуй», ни «с праздником», и теперь она была довольна, слыша, как многие из народа либо молча кланялись матери, либо полушопотом желали ей встретить в божьей радости праздник. Церковные двери были открыты; виден алтарь, спина попа, играющая, как чешуя рыбы, цветные стекла в оконной раме. Над тесными рядами молящихся плавали испарения тел и кадильный дым. В боковые окна ручьями вливалось солнце. Дым, будто котенок, кувыркался в его лучах.

Уже пели «Достойно есть», и рявкала надтреснутая октава начальника почты.

Среди молящихся пробиться было легче. Они расступались, оглядывая Наталию и Варварку с симпатией людей, которые делают общее сочувственное дело. Наталия, взяв Варварку за руку, прошла с ней на левую сторону и стала в первом ряду, против иконы божьей матери-троеручицы. На клиросе согласнo, но как-то чересчур правильно гудел хор.

Варварка любила церковь за то, что люди в ней рядятся во все лучшее и тщеславятся друг перед другом нарядами. Возле матери вздыхала, наслаждаясь пением, старшиниха, женщина в зените своего цветения; муж не неволил ее ни работать, ни рожать, и поэтому она вся пошла в богатство тела, как и Наталия. Обе они друг друга не любили.

Впереди матери, локоть в локоть с Варваркой, молилась и кланялась иконостасу Лизутка, дочь старшины.

Эта девчонка была озорная. рот злой, глаза юркие.

— Чох на ветер, шкура на шест, — шепнула Варварка, толкая ее локтем.

Лизутка ответила, крестясь и кланясь:

— Голова — чертям, в сучку играть.

— На речку побежим после обедни?

— Не...

— Чего ж не?

— После обедни будут графа клести.

— А тебе жалко?

— Не жалко, а папаня не велит. Он сказывает: скорбеть надо.

— За графа-то скорбеть?

— А я знаю?

— Эк тебя свожжял папаня-то!

— Ничего не свожжял. Ты сама сволоча.

— От сволоча слышу.

Мать ткнула Лизутку тяжелой рукой в шею. Лизутка болтнула головой, не устояла, свалилась на колени. И, чтоб не заметно было для других, прижалась лбом к прохладной плите пола, будто молится.

Варварка тоже опустилась на колени и лбом прижалась к плите.

— Слышь, Лизка, — зашептала Варварка, скосив глаза, — побегем ввечеру на усадьбу. Сказывают, князь мужикам будет графовы сказки читать.

— По книжке? — Лизутка тоже скосила глаза.

— По книжке.

— Да, небось, грех?

— И Адам греха не миновал.

— И Ева?

— И Ева.

— Пойдешь?

— А то как?

Старшиниха ногой толкнула Лизутку в зад, та встала, принялась глядеть в рот поющего начальника почты. Мать дернула ее за руку и поставила рядом с собой в ряд.

Молясь, она прошипела:

— Вот ужо, отойдет обедня-то. По выдеру косы-то.

Варварка тоже поднялась на ноги, застучала. Что делать, об чем думать? Солнце доползло до троеручицы и осветило ее мягкий, плавный подбородок. На нем безопасно охорашивалась муха, суча лапками. Хор давно отгудел «Достойную». Отец дьякон, цветущий мужчина с длинной спиной и короткими ногами в кованых сапогах, на сильных и глухих нотах возглашал ектенью. Хор отвечал ему с левого клироса, сливая слова, выводя их так, будто его кормили кислым: господил, господил, господил.

Об чем думать? Врата задернуты. Золоченые деревянные иконки на них

похожи на сусальные пряники. Чего делает поп в алтаре? Женщинам, девкам и девчонкам в алтарь входить не велят, опоганят престол. Поганые.

Варварка поджала губы. А мальчишки не поганые? Мальчишки бранятся по-матерному, а девчонки нет. Мужики водку хлбыщут, в карты режутся, в кости, а бабы нет. А если бабы родят, то ведь через мужиков же. Без детей и поле сирота, и солдат не будет, царь обнищает. Дева Мария целого бога родила, спасителя. Ей-то можно в алтарь?

Отец Павел отдернул завесу и, открыв врата, вышел на амвон. Седые кудри он припомаживал, они тесно облепляли его маленький кошачий череп, будто поп только-что вышел из бани. Он весь был необыкновенно желтый и вздутый, старый, больной.

«Тоже не без греха, — подумала Варварка, — а дары носить и причащать, и исповедывать, все-таки достоин».

Поп трепещущим от слабости голосом сказал с амвона, что положено, и опять ушел во врата. От скуки Варварка стала мучительно креститься. Вдавливала пальцы в лоб, плечи, в грудь так сильно, что на теле вспыхивали красные пятна. Потом она стала бухаться на колени, стараясь не сгибать спины, и так же вставать.

Лизутка ревниво следила за ней.

— Богородица дева, — сказала Варварка свистящим шопотом, подражая бабам, которые, неотрывно и жарко глядя на икону, могли так свистеть без-устали, — мать бога мово, милосердная мати, спаси и помилуй. Чтобы мне, отроковице, жилось хорошо, чтобы есть да пить сладко. Чтобы слез мне не лить, а замуж нипочем не итти.

— Уйми Варвару-то, — прошипела старшиниха Наталье, не отводя взгляда от «Тайной вечери».

Мать ответила тихо:

— Чего ей мешать? Девочка молится.

— Охальничает она, а не молится.

— Детская молитва всегда чистая.

— Ты уж научишь чистому, — прошипела старшиниха, крестясь, но кривя губы, — про тебя все село замечает, какая ты чистая.

— А ты, — вмешалась Варварка, не оборачиваясь, — завидуешь на то, что мы урядницкие.

— А мы старшинские, — сказала Лизутка.

— Старшинские не главные, мы одни главные, — ответила Варварка.

Мать тронула ее за плечо, сказала ласково:

— Молись, дочка, молись.

Опять стало скучно и душно, и не о чем думать. Троеручица доверчиво, как подружка, глядела на Варварку. Небось, тесно сидеть в таком окладе-то. Зато три руки. Матери бы столько-то. В одной ребенка держать, если родится, другой пищу есть, третьей волосы зачесывать. А если отцу три руки, то с ним совладу не будет. Да, пожалуй, сопьется: из трех-то рук пить? А если ей, Варварке, три руки?

Она даже задохнулась, так это было интересно. Но в церкви произошло движение. По плитам прозвучали шаги: скрипели сапоги. Шел отец, держа фуражку с белым верхом у живота и высоко вскинув бритый квадратный подбородок. Тоненький порез бритвы он заделал слюной.

Броков прошел к амвону и встал среди самых достаточных на селе мужиков, немного впереди старшины и лавочника Ананьева, который по-городски рядился в пиджак.

Ряды мужиков подались назад, и у самого клироса Варварка увидела княгиню Юлию Душановну Апаркову, бледную, начинающую полнеть женщину с усталым, но легкомысленным лицом. Поверх белого платья, на плечах ее — черная кружевная мантилька. На белую шляпу закинута вуаль. Когда княгиня опускалась на колени, за локоть ее поддерживал старик-лакей, в бакенбардах, в белых перчатках, сухой, как кость. Княгиня этим летом привезла его из Петербурга. Он был глух и, кажется, нем — потеха для всей деревни.

Варварке было интересно, как молится княгиня. Но мужики надвинулись снова, и это видение женщины, не похожей на других женщин, пропало из ее глаз.

— И сподоби нас, владыко, со дерз-

новением... — негромко, но ясно произнес отец Павел в алтаре.

Запел камертон, на различные тона замурлыкал регент, и хор старательно запел «Отче наш».

III

Народ все прибывал. На паперти шумели, нарушая благочиние. Каждому вновь приходящему думалось, что одинок он, несмотря на тесноту, всегда во мнётся. А если он был с бабой и ребятами, то думал: что в церкви, что на базаре, купленных мест нет. Приходи и домашествуй.

Уминаясь, стоящих впереди притиснули к самому амвону. Наталью, Варварку и старшинских прижали к правому клиросу. Знакомые девчонки из хора, завидя Варварку так близко, начали заноситься: глядели не в глаза Варварки, а поверх бровей. Важничали.

Когда в школе делали пробу, Варварка понесла голосом: и все не в тон, все в сторону, то повыше, то пониже, чем требовалось.

Регент закил от разочарования, сказал ей:

— Замолчи ради Иисуса Христа!

А она все несла голосом, боясь стыда, который ей предстояло испытать, если она остановится. Регент вывел ее за дверь и тихонько толкнул в лопатку. Она шла среди улицы и все несла голосом и плакала навзрыд. С тех пор девчонки, отобранные в хор, перед ней важничали.

Дуры. Пролезли к притвору, а в алтарь все равно ходу нет. Поганые, как и весь женский пол.

Сзади на Варварку навалилась старшиниха. Варварка, боясь, чтобы не лопнули ребра, локтем уперлась в ее податливый живот. Дышать уже вовсе было нечем. В середине церкви затиснули старосту и церковных служек, обходящих церковь с медными кружками. Уронили блюдо, со звоном покатались по плитам медяки.

Броков не раз подымался на первую ступеньку амвона и, оборачиваясь к молящимся, показывал грозно сдвинутые брови.

Вскоре он ринулся в толпу, грудью пробивая в ней проход: старик-лакей повел к выходу княгиню Юлию Душановну, обморочно повисшую на его слабый, конвульсивно дергающей руке. Княгиня была зеленая и прижимала к губам платочек.

У лакея взмокли седые бакенбарды. Он боялся уронить княгиню и вместе с тем оскорбить ее слишком заботливым прикосновением.

Вслед за княгиней ветерком провеял и завял в духоте нежный запах духов.

Несмотря на раскрытые боковые окна, воздух был спертый, залезал в гортань и сушил внутренности. Кадильный дым занавесил потолок, расписанный не церковно яркими красками. Серая борода бога Саваофа сливалась с пеленой, и казалось — не кадильный дым, а борода Саваофа веером висит над головами молящихся, над бабьими платками, над лентами девок, над волосами мужиков, стриженными в скобку и под дубинку. Бог Саваоф, держащий в руках стеклянный глобус мира, был похож на Льва Толстого, каким Варварка видела его на портрете в именин Апаркова.

Варварка уже не чаяла дожидаться, когда начнут проклинать графа. Оглушенная хором, распаренная и злая, она села на пятки. Спину ей год платьем щекотал пот.

Вся она была мокрая, жаркая и слабая, таяла, как сахар в чаю.

Она прислонилась лбом к решетке клироса и задремала так сладко, что душа в ней зашла.

Голос дьякона вернул ее к жизни. Анафематствование началось. Разлепив глаза, Варварка уставилась в раскрытый рот дьякона, глубокий и черный, как дупло, из которого, все нарастая, неся густой и толстый его голос, подобный звериному реву. Прочно стоя на увесистых коротких ногах, подымая орарь в правой руке, в левой дьякон держал бумагу и скашивал на нее выпученные, сверкающие белками глаза.

Живот его сотрясался и толкал руку, бумага в ней дрожала.

— Во имя всемогущего бога отца, — ревел дьякон, — сына и святого духа, священного писания, святой и непороч-

ной девы Марии, матери бога, во имя всех славных добродетелью ангелов, архангелов, престолов, могуществ, херувимов, серафимов, во имя патриархов, пророков, евангелистов, святых преподобных мучеников и исповедников и всех прочих, спасенных богом...

Захлебнувшись, он перевел дух; в тишине слышно было, как свистит его дыхание в прокуренных бронхах.

Вся церковь была полна гулом его голоса.

Догоняя собственное эхо, голос дьякона ревел:

— Мы провозглашаем, что отлучаем от церкви и анафематствуем того злодея, который именуется гра-Фомм... Льво-ом... Толсты-ым... и изгоняем его от дверей дома божия! Да будет он проклят всюду, где бы он ни находился: в доме, в поле, на большой дороге, на лестнице, в пустыне и даже на пороге церкви! Да будет проклят он в жизни и даже в час смерти! Да будет проклят он во всех делах своих, когда он пьет, ест, алкает и жаждет, когда постится, спит или бодрствует, когда гуляет или отдыхает, когда сидит или стоит, когда, раненый, он истекает кровью!

У Варварки затряслись, ослабели колени. Она зажмурила глаза, чтобы не видеть дьякона. Да и дьякон ли это был? Он часто приходил к ним в гости — шутил с матерью, пахал наравне с мужиками землю; на святой, подоткнув полы, в тяжеловесных сапогах ходил от избы к избе, собирая крашенные яйца и ломтики домашней ветчины. К нему можно было залезть в карман, бездонный, как колодезь.

Он все терпел, на людях больше помалкивал, и можно было думать, что он боялся зашибить людей голосом, как оглоблей.

Округлившимися глазами Варварка сейчас смотрела на него, как на чудо. Дьякон? Не дьякон? Страшный мужик со вздутыми на короткой шее жилами, с трясущимися щеками, чужой мужик, ревуший во всю силу могучей глотки:

— Да будет проклят он во всех частях своего тела — внутренних и внеш-

них. Да будет проклят он во всех суставах членов его! Чтобы болезни грызли его от макушки головы до подошвы ног. Чтобы Христос, сын бога живого, проклял его всем своим могуществом и величием! И чтобы небо и все живые силы обратились на него, чтобы проклинать до тех пор, пока не даст он нам открытого покаяния. Аминь, да будет так, да будет так, аминь!

«Аминь, да будет так, аминь» — прошелестело по рядам молящихся.

За самой спиной Варварки забулькало что-то, будто из бутылки в стакан наливали водку. Варварка обернулась. Мать стояла, закрыв глаза, подрисованные брови изумленно выгнулись, губы стиснуты. Румяна со щек потекли на горло. Очумев со страха, Варварка глядела, как судорога ходит по горлу матери, надувая его, как воздух надувает пузырь.

Вдруг Наталья крикнула, раз, другой, схватилась за груди и всей тяжестью тела обрушилась на Варварку. Вместе с ней Варварка свалилась на пол, тело матери придавило ей ноги. Варварка уперлась руками в ее плечо, но не смогла сдвинуть ее тела. Мать билась и вопила, повернулась на спину, потом на живот, ее полные руки тяжело шлепали по каменным плитам.

Сейчас же из глубины церкви откликнулся ей другой бабий крик. Зашаркали ноги, зашумели голоса.

Бледный поп, придерживая камилавку, медленно слез с амвона и накрыл бьющуюся мать епатрихилью, но она не унималась, крича волчьим голосом:

— Да будет так! аминь! аминь!

Со всех сторон надвинулся народ, прозвенели шпоры отца. Варварка зажмурилась. Ногам ее полегчало: мать сволокли в сторону. Но Варварка лежала, закрыв глаза, веря в то, что наступило светопреставление со всеми его шумами, мучениями и вечным огнем.

Она вдруг стала бесчувственной, только где-то в голове текла, как ручеек, слабая мысль о том, что достанется от матери за новенькое платье, измаранное о грязный пол.

Она очнулась на руках отца. Посреди улицы скрипела телега. Под новенькой мешковиной лежала мать, глазами в небо. Броков нес на руках Варварку, бранился. Варварка тоже глядела в небо, там качался белый и рыхлый полумесяц, будто слепленный из снега.

За телегой, как за покойником, понуро плелись бабы. Девчонки семенили за Броковым, смертельно завидовали Варварке, что все ей удивляются. Ей захотелось прикинуться неживой, но отец увидел, что она очнулась, поставил ее на землю и, задрвав юбочку, дал шлепка под зад.

Девчонки вежливо засмеялись.

Она пошла с ними, смиренно-тихая, и вдруг вспомнила про графа, как он истекает кровью, но не стала бояться, потому что был светлый день и кругом все знакомо: веселая улица с избами, ветлами и прудами, голубец с черной иконкой, обитой фольгой, гуси у прудов.

Она пошла за телегой. Перед ней на соломе прыгали подошвы материнных городских ботинок. Притворяется или вправду бессильная? Матери ей было не жаль, а только завидно, что все идут за матерью и удивляются ей.

Бабка Евтевна сказала осудительно:

— Наталья порченая. Сколько лет от людей прятали, а в божьем храме все и повылазило наружу.

— О, господи! — вздохнула другая бабка.

— Может, от духоты это с ней, — сказала третья, — тело у нее шибко раскормлено, жир выходу и просит.

— Порченая она, — сказала бабка Евтевна, — крикуша, копытом дьявола бита, рогами его бодана. И родить не может.

— А меня родила, — заступилась Варварка за мать.

— А ты не перекодь. Подрастешь, поглядим, какая ты есть. Тоже, небось, криком кричала.

— А я испугалась, потому и кричала.

— В божьем храме чего бояться?

— Графа.

— Оттого и боишься, что порченая.

— А пройдет, бабка Евтевна?

— Чего пройдет?

— Порча.

— Нипочем не пройдет, — отозвалась Евтевна, — до самой кончины навечно останется.

Вторая бабка сказала:

— Если в монастырь пойдешь, то отстанет. Пойди, поклонись мощам, святой водицей покропись.

Третья бабка:

— С верой, с верой! Без веры и не думай ходить.

Из ворот выбежал Гришка, испугался, затоптал ногами.

Броков крикнул ему:

— Отворяй ворота!

Гришка вбежал во двор, раскрыл ворота, телега вехала во двор. Народ остался на улице. Пока Гришка и отец вводили мать на крыльцо, Варварка снова выбежала на улицу, чтобы на нее еще раз поудивлялись люди. Но народ разошелся по домам: нынче в зажиточных избах пекли пышки и варили щи с мясом.

У ворот стояла Лизутка и еще несколько девчонок. От сознания, что на них праздничные обновы, девчонки держались чинно.

На Варварке платье измарано плитами церковного пола, измято, что его жалеть?

Варварка подошла к Лизутке и громко сказала — девчонки с завистью слушали:

— Я порченная.

— Сказывай!

— Ей-богу! Бабку Евтевну спроси. И мамка порченная. Нас дьявол рогами бодал.

Лизутка и девчонки перекрестились, губы у них запрыгали.

— Он нас, дьявол-то, копытами бил, как лошадь. Страшней! Волосатый весь, а глаза — угли, и дышит он гееной огненной.

— А ты б окстилась.

— Как окстишься-то, если он тебя огнем палит?

— Как же ты теперь будешь?

— Да так.

— Замуж, небось, не пойдешь?

— Нипочем!

— Теперь тебе и в церкву нельзя ходить.

— Не заплачу. Что в ней сладкого, в церкве? Стоишь, стоишь, только ноги плачут. Теперь я, что хочу, делаю. Надо мной никому власти нет.

— И не боишься?

— Чего мне бояться? Я ото всего заговоренная.

Лизутка ничего не нашлась сказать, примирилась с тем, что Варварка теперь во всем правая.

Боясь потерять ее дружбу, сказала искательно:

— Ты нынче приходи в обед, старший брат на гармонии «Мажурские соборки» знает, и «Ясный месяц», «Барыню» и «Зачем, дева, плачешь». Придешь?

Варварка раздумывала.

— Придешь? придешь? — повторила Лизутка и заплакала от обиды.

IV

К ночи отца вызвали в соседнюю деревню Ловцы: ловецкие мужики поймали политика, говорившего против войны и за крестьянский класс. Стражник, прискакавший верхом, рассказал, что пойманный мужчина не барский, а скорее похож на фабричного или на конторщика из торгового заведения. После убийства министра внутренних дел Плеве и смутных, темных разговоров о том, как в Питере побили рабочих, шедших к царю за помощью, после порки неспокойных крестьян, учиненной здешним губернатором, и многих других происшествий в России политики стали появляться в деревне часто.

Броков всех их считал своими личными врагами. Несмотря на бравый вид, усы и офицерский голос, он был человеком миролюбивым, любил, чтобы все шло традиционно, по раз заведенному порядку, чтобы простые люди уважали людей высших и чтобы на свете поменьше случалось происшествий.

Заслыша о происшествии, в которое ему по долгу службы необходимо вмешаться, он всегда чувствовал растерянность, потом досаду; в таких случаях он приводил себя в душевное равновесие надеждой на выгоды, которые несомненно произойдут для него от такого вмешательства.

Стражник был знакомый, с большой грудью и глупый парень, никогда и ни в чем не умевший проявлять инициативу. Броков, чтобы на время забыть о больной жене и почувствовать злость к исполнению службы, выпил на дорогу шкалик водки.

Темная и звездная ночь, обступившая их со всех сторон, и даже шкалик водки не сообщили Брокову той немногочисленной ясности, которую он любил ощущать в себе при исполнении служебных обязанностей. Вместо того, чтобы почувствовать себя злым, он чувствовал себя человеком незавидной доли: изволь качаться в седле, когда люди спят, а дома лежит больная Наташка.

Речонку Полколенку переехали вброд. О бабки коней взвезла черная вода, полная звезд. За Полколенкой дорога бежала лугом; хозяйство в руках баб шло бестолково: кой-где уже косили, сейчас темнели стога, укрытые веретями. И скоро в темноте засветилось окно волостного правления.

Броков отдал повод коня стражнику и прошел в правление. В сенях, освещенных стеной лампой, не было никого. В углу пузатая кадушка с водой: поливать пьяных мужиков, посаженных в холодную. Броков дернул дверь, обитую рогожей. В большой комнате волостного правления тоже не было никого. Крестильник — березовый венчик — был сунут за большую икону. На киоте — пузырьки с маслом и водою. Лампа светила прямо в стену, в старинную лубочную картину на стене, изображающую Хмель в виде душепротивного чудища, под ним надпись: «Аз есмь хмель, высокая голова, более всех плодов земных — силен и богат, а добра у себя никакого не имею; ноги мои тонки, а утроба прожорлива — руки же обдержат всю землю».

Заслыша вошедшего Брокова, из соседней маленькой комнатки вышел ловецкий старшина, старик, похожий на холеного мерина, весь лоснящийся. Густая каштановая борода с проседью, умное широкое лицо, одет, как в праздник. Из-под локтя его вынырнул волостной писарь: мужик-карлик неприятного и раздражающего вида, с голым, как

живот, лицом и детским, но дребезжащим голосом.

Оба были заспанные, прятали зевки в горсть.

— Урядник приехал, — сказал карлик своим ужасающим голосом, издевательски разглядывая Брокова, — готовым товаром торговать.

Старшина протянул Брокову большую, архиерейски мягкую руку и проговорил озабоченно:

— Как засветает, я дам общественную подводу. Вези ты его, Броков, в город к полицмейстеру: нам, чем подале от таких людей, тем спокойнее. У нас некоторые мужики говорят: это человек невиноватый. Не разбойник, не поджигатель, трезвый, ничего плохого не делал. А у народа, говорят мужики, язык теперь развязался, и что если такого хватать, так пол-России надо хватать. Потом я опасаюсь, что к утру и те мужики, которые его ловили, обойдутся, остынут. Народ сейчас сильно озлобленный.

— С чего это озлобленный-то, не с похмелья ли? — спросил Броков, чувствуя себя на людях уверенней, чем наедине с самим собою.

— А как же — война, — сказал старшина, вздохнув и оглаживая бороду. — Бабы с землей не справляются, нищета, земский взятки берет — отсюда и злость.

— Тебе-то, старшина, не к бороде такие слова говорить, — сказал Броков, чтобы оставить последнее слово за собою, прежде чем перейти к происшествию.

Он сел на венский стул, под лубочной картиной. Спросил строго, снят ли с политика опрос и имеется ли протокол происшествия. Старшина ответил, что политик о себе молчит, а что писарь плохо умеет снимать опрос, но протокол составлен.

— Зачитай господину уряднику, — приказал старшина карлику.

Писарь вынул из ящика стола бумажку, разгладил ее маленькой ручкой. В протоколе, написанном витиеватым, мало доступным для понимания языком, излагалось происшествие нынешнего вечера.

Некий человек, зайдя к бабе Василисе старой, расположился, как дома, попросив молока и кусок хлеба за спасибо. У Василисы старой оба сына на войне, один в пехотинцах, и другой в денщиках. Этот некий человек вызвался написать ей письмо на фронт. Тогда зашла к Василисе старой ее невестка Василиса меньшай, солдатка, и он тоже ей написал письмо. Потом в хату набилась много солдаток, он всем писал письма, и с такой жалостью, что бабы завывали, «как животное под ножом». Когда же крестьянин Чесноков, услыша вой, зашел в хату, то там было много народу, и некий человек говорил, что война несчастная, а народ страдает. Чесноков взял человека за ворот, а бабы стали отбивать, Василиса меньшай повредила Чеснокову глаз. Некий человек кинулся бежать через плетни, но Чесноков подал голос, сбежались мужики. Человека настигли у Полколенки, а когда повели его в волостное, то бабы села Ловцы кричали: «Отдай нам солдаток, отдай нам мужиков, а войны не хотим!».

О письмах, отобранных у солдаток, в протоколе было сказано: «При сем прилагаются написанные письма, откуда видно, что народом правят злодеи, а народ страждет».

Но этих писем при деле не было: пропали, как в воду канули.

— Эх, вы, дяди Митяи, деревенские дуры, — проговорил Броков уже с полным превосходством и почувствовал ту немного молодецкую ясность в себе, без которой не умел вести служебных дел. — Опроста нет. Писем, кои есть вещественные доказательства, тоже нет. Протокол писан глупый. Вообще, можно сказать, о чем думает волостное правление?

Он велел вести себя в холодную, но писарь, увидя, что урядник пришел в раж, круто изменил поведение и с побобострастием подхалима сказал, что в холодной сидят бабы-буйки: Василиса старая и Василиса малая. Политика поэтому заперли в сарайчике.

Броков, прежде чем итти к арестованному, велел привести к себе баб-буйнок. Старшина встал, уступая место за столом. Карлик вынул и положил на

стол бумагу, придвинул к себе чернильницу.

Стражник, привезший Брокова, привел баб.

«Ну, посмотрим, что за буйки» — сказал себе Броков, поднял глаза и встретил молодой, горячий и обидно насмешливый взгляд Василисы меньшой. Она была в атласной рубашке, в кованых сапогах, из-за голенищ которых свешивались напуском каемки домовязных чулок, в узкой юбке, бессовестно обжавшей ее крупные чресла. Атласная рубашка ее была порвана на плече, светилось поцарапанное тело. Старшая Василиса, уже погнутая годами, с желтым лицом и седенькой бородкой, казалась напуганной.

— За что сидим? — сказала молодая и подвинулась к столу, свободно неся грудь, не прикрывая голого плеча. — Это такой у тебя закон, чтобы женщин бить и в холодной держать? А ты, старшина, чего смотришь? Или у тебя на войне никого убитого нет?

— Угодники божьи, милостивцы, — вздохнула Василиса старая, — изба растворена — ворота настезь, все покрадут злые люди, все вынесут. А и красть нечего, — добавила она тихо.

— Доказывайте — кто такой неизвестный человек? — грубо крикнул Броков, стараясь не глядеть на голое плечо молодой. Но светлое пятно тела, округлое, нежное и перехлестнутое яркой полоской царапины, само лезло в зрачки, будило в нем воспоминание о Наталье.

— Фамилии не сказывал, — бойко ответила молодая.

— Письма писал?

— Письма писал.

— По доброте писал, — вставила старая, — бесплатно.

— Иде ж эти письма?

— Не знаем.

Писарь сморщил безбородое личико, сказал с усмешечкой:

— Вот дуры-то: все одно подстрекательные письма до солдат не доедут. Имеется в каждом полку военная цензура.

— Этого не, знаем, — сказала старая, — не знаем, батюшко мой.

— Ты за что с Чесноковым дра-
лась? — спросил Броков.

— А так, баловалась, — ответила
молодая с усмешкой.

— Отвечать за это будешь.

— Недолго.

— Чего недолго?

— Отвечать нам придется недолго.

— Что так?

— А вот, сказывают, скоро вернутся
солдаты и всю Россию овчиной вверх
вывернут.

— Пиши, — сказал Броков писарю,
тыча пальцем в бумагу, — пиши ее сло-
ва! — Он опять обратился к моло-
дой: — Кто такие слова тебе говорил?
Этот политик? За такие слова и ему,
и тебе тюрьма.

— А тебе что? — все с той же
усмешкой, открыв влажные зубы (опять
Броков вспомнил Наталью), спросила
молодая.

— А? — переспросил он.

— А тебе награда? Медаля на шею?

— Это тебя не касается.

Она вдруг опустила глаза, спросила
тихо, притворяясь покорной:

— И что это народ какой баламутный
стал? Нас, баб, и то с чести сбивает.
А бабы что? Глупая баба и песту мо-
лится. По всей Расеи, говорят, бомбы
швыряют, министров убивают, крестья-
нам, говорят, такую волю дадут, что ни
земских начальников, ни вас, урядников,
не оставят у нас на шее. Правда, что
ли, говорят, или брешут? Как вы, уряд-
ники, про это думаете?

— О, господи, — вздохнула Васили-
са старшая, — грехи. Забыли бога лю-
ди, а он-то все помнит. Он все видит.
И тебя, урядник, видит, как ты оби-
жаешь баб.

Карлик перестал писать и, подняв
лицо, прищурясь, сказал обиженной
скороговоркой:

— Чего-то, господин урядник, дело
идет не по форме: она тебя опрашивает,
а ты отвечаешь, и отвечаешь неладно.
Ты ее должен опрашивать, а она отве-
чать. Я вот здесь от этого и протокол
пишу сбивчиво.

Молодая опять усмехнулась и вдруг
толкнула старуху локтем. Обе они
букнули уряднику в ноги. Платок, ко-

торым молодая была повязана, при по-
клоне сполз ей на затылок, и опять, с
прежней болезненной восприимчивостью
ко всему, что ему напоминало жену (он
неотступно ею мучился), Броков уви-
дел белую полоску шеи и курчавый пу-
шок на ней.

Когда бабы упали в ноги, Броков
вздрогнул, а писарь засмеялся, сказав:

— Так-то, бабы, попову собаку не
батькой звать.

Василиса старая затянула молитвен-
ным голосом:

— Отпусти ты нас, милостивец, ни
в чем не повинны, век будем бога мо-
лить.

— Отпусти нас, ваше благородие, —
сказала молодая, не подымая головы.

Броков знал, что она боится, как бы
по ее лицу он не прочитал ее тайных
мыслей. Он чувствовал, что опрос
этих баб выходит у него плохо и ма-
рает его авторитет в глазах писаря и
старшины. «Вот язва баба, — подумал
он о Василисе меньшей, — еще
погоди, за побои будет требовать,
плечо-то у нее, гляди, как расцара-
пано».

Он искося поглядел на старшину.
Старшина дремал, скрестив руки на
груди. Почувяв взгляд Брокова, он встре-
пенулся:

— По совести, надо их отпустить по
домам, урядник. Бабы они у нас извест-
ные, расстроенные: одна — солдатка,
другая — мать воинов. С горячего
сердца чего не скажешь! Уступи им
по их женскому состоянию, у них вре-
мя рабочее, сенокос.

— Ладно, ладно, — сказал урядник
с облегчением, — до утра пусть поси-
дят в холодной, там будет видно. Ве-
ди их на замок!

Писарь, послушав пальцы, сложил
листок протокола вдвое, потом вчетве-
ро, положил его в ящик стола и повел
баб в холодную.

Бабы утомили и разозлили Брокова.
Долго было слышно, как в холодной
кричит молодая Василиса. «Вот язва
баба!» — опять подумал Броков. Ему
было неловко перед старшиной, и он не
знал, что сказать ему, а старшина мол-
чал, дремал на стуле.

Наконец вошли писарь и стражник с фонарями в руках; за грязными стеклами горели церковные свечки с золотыми тесемками по воску.

Писарь сказал, что можно итти за политиком.

Броков вызвался итти сам.

Стражник и писарь повели его на ва-рок, светя фонарями. Здесь, на старом навозе, мелком и желтом, как опилки, валялась старая сбруя, усохшие дегтярки, большой портрет царя в красном мундире с галунами, изодранный в волостном пьяными буянами и брошенный здесь, — лишь бы с глаз долой. Слабый и ныряющий свет фонарей на долю минуты озарил всю эту ветошь. На переметах шумно возились куры, испуганные людьми. Второй ловецкий стражник при кобуре и шашке сидел у двери сарайчика, дремал. Широко раскрытыми, детскими глазами он посмотрел на фонарь, поднесенный к его лицу.

— Так точно, — сказал он, поднимаясь на ноги и козыряя Брокову, — это я его настиг у Полколенки, и в ухо дал я, и шапку сбил, — все это я. Здравия желаю, господин урядник.

— Отворяй! — сказал Броков громко, чтобы политик слышал за дверью его начальственный голос.

Дверные петли были перехвачены молчалкой. Стражник засунул за нее палец, согнутый крючком, дернул, молчалка порвалась. Стражник потянул на себя дощатую, звонко занывшую дверь. Писарь прошел вперед, подняв над головой фонарь. Охалками валялась сопревшая прошлогодняя солома, торчали оглобли саней с лубочным козырьком. Никого в сарае не было. В проломе под верхней балкой тихо светила звезда.

— Утек! — сказал писарь с восторженным удивлением, поставил фонарь под ноги и зябко потер руки. — Надо было его по рукам связать. Вот шельма, вот прохвост.

У Брокова перехватило дыхание. Он обошел весь сарай, пиная носком сапога в стены, поглядел на звезду в проломе, потом на писаря, потом на чахоточного стражника, который привел его сюда, потом на второго стражника, сторожившего политика. Стражник

взял у писаря фонарь, осветил им здесь и там, молча поставил фонарь к себе под ноги.

Броков поманил его пальцем. Стражник подошел и встал вплотную.

Броков размахнулся и четко, верным движением ударил его в рот, растянутый бессмысленной улыбкой. Голова стражника откинулась назад, но он устоял на ногах. Броков еще раз завел руку и ударил с такой силой, что стражник откачнулся, задев затылком о стену, но опять устоял на ногах. Броков ударил в третий раз, окровавив себе руку о его рассеченные губы; стражник упал на землю, рукой потянулся к соломе, чтобы утереть лицо.

Броков пошел в правление. Карлик бежал за ним, говоря с восторгом подхалима:

— Здорово дерешься, Иван Стигенич, вот бы мне бы так подучиться!

Войдя в сени волостного, Броков сорвал с кадушки крышку и обмыл кровавленными руками. Фонарь, поставленный на пол, светил ему на сапоги. В руках писаря появилось полотенце. Броков вытер руки, бросил полотенце на землю. Потом он шагнул к двери, крикнул в темноту:

— Ударить в набат! Все село поднять! В церкви взять фонари! Если не съедете — всех в тюрьму!

Голос его лился свободно, утешил и ободрил его. Он прошел в волостное, старшина стоял и крестился широкими, машистыми движениями руки. «Теперь крестись, — мстительно подумал Броков, — а раньше — какие песни пел?». Он припомнил, что во время проезда императорского поезда этот старшина подавал царю хлеб-соль и за это имеет медаль. «Хлеб-соль подавал, — подумал Броков, — поморить бы тебя в остроге, длинная борода!». Не заговаривая со старшиной, он сел у стола и вынул папиросы «Ананасные». Старшина, не смея его тревожить, с легкостью, неожиданной в его крупном теле, прошел в соседнюю комнату и там затих.

Броков выкурил одну папиросу, вторую. Ночную тишину пронизали частые удары колокола: на церковной ко-

локольне бил набат. Руки у Брокова дрожали, табак сыпался ему на колени.

Броков подождал, пока на улице слышался топот ног, голоса, неверные спросонок.

Тогда он встал, снял фуражку и, перекрестясь на икону, сказал себе:

— Ну, с богом, легкой удачи, с богом, с богом!

У

«Дура я, дура — чего испугалась? попа? дьякона? Экие страхи! экая важность». У нее от страха еще и сейчас немели колени. С вечера она велела Варварке затеплить лампадку. В металлической шишке кровати горел, не мигая, пунцовый зрачок. Пахло лампадным маслом.

«Заболела, что ли, дура?». Под одеялом она погладила мягкий живот, сильную грудь. Она любила свое тело, — такому-то телу болеть?

По улице прошло гулянье; трехрядка, дыша мехами, как загнанная лошадь, хрипела на всю улицу; тонкие голоса девок пели гибкую, незнакомую Наталье песню. В ее девичьи годы такой песни не певали.

Вот тогда-то всего было в жизни полно: подруг, посиделок, смеха, всякий парень, который приглянется, мог стать женихом. С подружкой бегали под лавочников забор мечтать о счастье. Сидели в крапиве, глядели на зябру, на запоздалый цвет журавельника, хохотали до рези в животе. Весной под забором цвел красный, как медь, пламенный жабник, а осенью — журавельник. Если на ночь в отваре попить журавельнику — приснится будущий муж, а если жабнику — любовник.

«Бень, бень, бень, бень» — в церкви ударили часы.

— Варварка! — позвала Наталья, сев в постели и ладонями поглаживая свои теплые плечи.

«Бень» — отбил колокол двенадцатый час.

Слушала, как в горнице Варварка села на диване, еще оглушенная сном. Девочка спустила босые ноги, по-

шла, пошатываясь, счастливая тем, что ее позвала мать. Края у лампадки высокие, свет цедится сквозь стекло; рубашка на Варварке казалась пунцовой.

— Ложись со мной, — жалобно проговорила Наталья, — сердце во мне стонет.

— Ишь ты! — сказала Варварка.

Мать откинула край одеяла, и Варварка влезла на постель, привалась костлявым телом к боку Натальи.

— Все-то думаю, думаю, — сказала мать, — сама не знаю, об чем. Очень я напугалась в церкви.

— А ништо!

— Люди больно злы.

— Какие люди-то?

— Властные. Чем властней человек, тем он и злей, будто кабан дикий. И, главное, к себе в сообщники бога тянут. Ты думаешь, это угодно богу?

— Граф-то, он грешник.

— Кто его грехи считал? Граф в книжках пишет: в церкви, говорит, не попы, а фарисеи, нажрали себе брюхо и облапошивают народ. Разве не так? Любите, говорит, бога в себе, перед богом нет ни властных, ни безвластных, а все одинаковы. Разве не верно? А они его анафемой, кабаны дикие!

Варварка кончиками пальцев коснулась плеча матери, поцеловала его. Мать не улыбнулась. «Красивая, — подумала Варварка про мать, — вот красивая, страсть!».

— Может, анафему не примет бог? — спросила она с робкой надеждой.

— Анафему нельзя не принять. Где сказано анафема, там ничья воля ничего сделать не может. Графа, поди, и в живых нет.

— Помер?

— Весь, поди, отмер по кусочкам. Сказано: да будет проклят волос его — и волос его отвалился. Да будет проклят мозг его — и мозг его усох.

Она повернула лицо к свету и говорила, словно без памяти; лицо ее искалось:

— И кисти рук его, и руки его, и поясница его, и ноги его. Ой-я, как страшно-то, доченька! Как сердце трогается!

— Ништо, мам, ништо, — сказала Варварка, греясь теплом ее тела, его близостью, и ей стало так хорошо, что хоть век с матерью лежи.

— Ты б полюбила меня, мам. Что я, как щенок, в твоём доме живу?

— Да кто ты, кто ты? — шептала мать, тиская ее, глядя на нее жадными, бешеными глазами.

— Варварка я.

— Ни кровинки в тебе нет моей, ни волоска, ни мысли! — Отчаяние и страх перехватывали ее голос. — Вся ты в Броква. Ухи у тебя, как у него, — лопухом. Ноги голенастые. Косишь, как он, чорт постылый!

Она оттолкнула Варварку от себя, грудью упала на подушку.

— Душу мне всю измотал отец твой!

— Он тебя ласкает, жалеет, не ври, — сказала Варварка.

— Палач, взяточник, мордобоец!

— Не ври, он тебе платяг дорит, Ишь, сколько их: один сундук доверху, и другой до половины. Сережки у тебя есть, кольчики. Шелковая шаль есть.

— Так кто ж я за человек? — спросила Наталья, ртом прижавшись к подушке. Слова ее донеслись, словно из-под земли. Вдруг она вскинулась, тяжело поднялась в постели на колени и, высоко вскинув веки, прижала ко лбу пальцы, сложенные для креста. Так она замерла на полминуты, потом прижала пальцы к груди, к правому и левому плечу.

Она прошептала в сторону божницы:

— Прости, господи, твою рабу Наталью, стерву продажную.

— Прости стерву, — повторила Варварка, так же исступленно крестясь.

— Пошли, господи, силы уйти ей из этого проклятого дома! Чтобы тебя не бояться и жить без стыда.

— Без стыда, без стыда!

— Варваре, дочери моей, не дай, господи, такой жизни, какую дал мне!

Помолившись, упала на спину, натянула на себя одеяло, затихла. По всему телу ее разлился болезненный покой, какое-то крайнее, горькое бессилие. Варварка, чтобы не тревожить ее

покоя, села в ногах, поджала пятки. Ей было жалко мать, а она не знала, как сделать, чтобы ей стало лучше.

Время шло.

Варварка позвала:

— Мам!

— Что? — ответила мать чуть слышно.

— Зачем же ты за него шла?

— За отца-то?

— Иль других не было?

— Молчи, доченька, молчи, — прошептала мать, боясь потревожить свой покой.

Но и в покое ей было страшно остаться одной, она положила свою руку на колено Варварке. Та опять потянулась к ней, радуясь матери и тому, что мать не гонит ее.

И Наталье захотелось рассказать ей, почему она пошла за Броква без любви и как она себе самой приказала думать, что у ней к нему нет ненависти, и как она любила молодого князя Апаркова, Илью Сергеича, а тот не знал об этом. Но она чувствовала такую слабость, что не могла пошевелить губами. Она редко вспоминала об Илье Сергеиче — что было толку в этом? Не маленькая в игрушки играть! А теперь, держа Варварку за колено, вспоминала — будто рассказывала другому человеку, чтобы пожаловаться на свою несостоящуюся радость.

В пору первой встречи с ним она была девчонкой, приемышем сельского купца, иногда сидела за прилавком названного отца. Названный отец рассказывал, что подобрал ее зимой, в чистом поле. Ехал домой с товаром, глядит: чернеется что-то в сугробе. Подошел, попихал кнутовищем. Ворох тряпья, а в тряпье — ребенок. И как не замерз? Божье чудо!

А люди говорили, что мать ее — господская горничная в генеральском доме. Служила в городе и понесла дитя. Сельский лавочник усыновил дитя, а откуда он знал эту горничную, попрыгушку в крахмальной наколке и в белом фартучке, люди не говорили. История была темная.

Как-то летом Илья Сергеич, проживавший на каникулах в имении отца,

зашел в деревенскую лавку. На за-тылке фуражка реального училища с желтым гербом, в руке ременный хлыстик.

Лавочник оперся суставами согнутых пальцев на прилавок, почтительно спросил:

— Чего позволите, барин?

Илья Сергеич поглядел на сыромятные хомуты, висевшие под потолком, потом глянул на Наташку и засмеялся во все щеки. Многие люди смеялись, любуясь ее миловидностью. Щеки у Илья Сергеича были розовые, губы припухлые. Он купил у лавочника горсть длинных конфет, перевитых, как церковные свечи, золоченой тесьмой, и бросил их Наташке.

Конфеты покатились по прилавку, одна упала Наташке под ноги.

Илья Сергеевич залился краской, выбежал из лавки, пинком толкнув дверь.

Лавочник внимательно поглядел на дочь, сказал с удивлением:

— Ой, девка, растешь!

Вот тогда-то, пересмеиваясь с подругой, она рвала под забором журавельник и пила его в отваре на ночь, и Илья Сергеич виделся ей, как суженый.

Но тем летом она не видала его больше. Кем он был для нее? Барин, помещик, князек.

Сам князь Апарков в деревне почти не жил: зимой — в Петербурге, летом — за границей. В селе говорили, что он знаменитый художник и к мужикам добрый. Но в чем его доброта, Наташка не знала, она знала только, что княгиня Апаркова с мужиками надменна и часто с ними судится, пользуясь тем, что князь не бывает в деревне.

Илья Сергеич не приехал в деревню ни в следующее лето, ни во все другие лета, когда Наташка наливалась телом и парни всей округи засылали к названному отцу сватов. Она уже не пила с подругой журавельнику; только кое-когда вдруг вспыхнет, зажжется сердце: вспомнит, как Илья Сергеич покраснел, как бросил ей конфеты, как взмахнул ременным хлыстиком.

Парней сваталось много, но ей прожужжали все уши о ее красоте. Свою красоту она ставила выше жизни. Ей было все равно, за кого итти.

Ее выдали за урядника Брокова, только-что назначенного в их село. Он ей не нравился, но отвращение к нему и ненависть проснулись в ней только с первой брачной ночи. Ее выдали за Брокова потому, что у него имелись в городе благодетели, его обещали сделать становым приставом, как только он выкажет усердие и способности.

Первый год она еще кое-как справлялась с собой, да и он старался казаться Наталье лучше, чем был по натуре. На людях Наталья представлялась довольной. Ей это было нетрудно: она была веселая, молодость била в ней через край. И все ждалось, что ее женская жизнь переломится к лучшему.

Спустя год из имения прибежала девчонка — князь Апарков требовал к себе Брокова. Броков был в волости, а девчонка грозилась, что Апарков наказал ему непременно быть, и Наталья пошла в имение, чтобы сказать, что Броков в волости. Дорогой девчонка сказала, что приехал молодой барин.

Наталье при этой весте стало весело: она была здорова, жила во всю силу молодости, ей всегда было весело слышать о молодых мужчинах и думать, что она нравится им. Она вспомнила реалиста и золоченую конфетку, которая скатилась ей под ноги.

Девчонка проводила ее на кухню. Скоро ее позвали наверх, в барские комнаты. Княгиня Юлия Душановна сидела за большим, накрытым к завтраку столом, глаза у нее были заплаканы, и в своих мягких маленьких руках она держала серебряную ложку, тиская ее пальцами.

Она сказала, всхлипывая и не глядя на Наталью:

— Вы пришли, голубушка, но князь против полиции... не нужно, не нужно. У меня пропал золотой паук. Пожалуйста, не беспокойтесь и уходите. Паук мне дорог, как память, он недорого стоит. Но вы, пожалуйста, уходите.

Наталья поклонилась княгине, ей стало смешно при мысли, что княгиня поссорилась с мужем. На лестнице Наталья столкнулась с Ильей Сергеичем. Он отклонился к перилам, давая ей дорогу. Мельком взглянув на него, Наталья поймала нечестный, трусливо-жадный взгляд его глаз. Она остановилась, ожидая, что он что-нибудь скажет ей или опять, как тогда — реалистом, — засмеется во все щеки ее красоте. Он очень возмужал, но был все такой же розовый и свежий.

— Здравствуйте, Илья Сергеич, — сказала она, не опуская веселых глаз.

Он спросил ее шопотом:

— Ну, как твой урядник, хороший муж? Поздравляю с законным браком!

И вдруг, покраснев, ущипнул ее в бок, растерялся и побежал наверх, стуча сапогами по ступенькам.

Вот и все встречи. Они встали в ряду ее встреч, какие случайно происходят в жизни, — разве что помнились сильней, потому что Илья Сергеич был помещик, барчук, князек. И то, что тогда на лестнице он хотел ее обидеть, ее не обидело, потому что его слова она поняла так, что он — князек, а она — жена какого-то сельского грубияну-урядника, и в своем доме Илья Сергеич не может и не должен с ней разговаривать, как с равной. Или то любовь была? Или выдумка? Каждой женщине, обездоленной счастьем, хочется тайно от людей иметь неразменную монетку чувства: никому не показывать, а только самой изредка вынимать из тайничка и глядеть на ее блеск.

Наталья заснула. Варварка осторожно спустила ноги на пол, постояла возле матери. Лампадка накоптила. В неясном свете утра плавали легкие мурашки копоты, садились на одеяло и на спящее лицо Натальи.

Праздник кончился. Опять Варварка была чужим щенком, которому пощекотали брюхо, а потом пнули ногой.

Закричали петухи, пастух пошел по деревне, стуча кнутовищем по ставенькам.

Осторожно ступая, Варварка вышла в сени испить воды и услышала, как

во дворе фырчит и бьет копытами конь, как Гриша говорит ему: «Н-но, не-наездный, балуй!». Это вернулся отец. Он рывком открыл дверь и сослепу налетел на Варварку. Выругался. От него пахло лошадиным потом. Варварка покосилась на золотое кольцо на его пальце, сказала:

— Потихе не можешь, леший?

— Чего мать? — спросил Броков.

— Спит.

— А ты чего?

— А мне сна нету.

— Чего ж так?

— Замучили вы меня с матерью, заездили, — жалобно проговорила Варварка, губы ее дернулись, но отец сказал ласково:

— Вона, нашла мучителей! Дай сюда...

Он взял у нее кружку, зачерпнул воды в кадушке, стал пить, воркуя горлом, как голубь. Остатки он плеснул Варварке на ногу. Поджав ногу, Варварка собиралась спросить, одолел ли он политика. «Не одолел, — подумала она, — ишь, кот нашкодивший, а глаза не глядят». И она не спросила его ни о чем.

VI

За ночь Капитон Иванович Редутов отлежался в орешнике; в Настасьиной балке, как он заметил со вчерашнего дня, когда шел со станции, бил ключ. Редутов спустился в балку и среди лохматой росной травы увидел ключ, клубящийся легким сонным туманом.

Он лег на траву и потянулся губами к воде. В прозрачном ложе ключа видны песчаное дно, обточенная водой галька, черная пиявка, танцующая в воде, будто акробатка без костей. У самого бережка дно ключа заросло зеленой травой.

В воде отразилось лицо Редутова: косматые брови, твердые губы, разбитые кулаком стражника. Губы припухли — больно улыбнуться. Пятно крови запеклось на русой, мягкой, чуть кудрявой бородке. Правое ухо тоже распухло, он плохо слышал.

Редутов, наклонившись к роднику, тронул губами воду. Она шла быстро, ее холод обжег его воспаленные губы. Он стал пить, как лошадь, вдыхая ноздрями ледяную свежесть воды. Течение донесло до его губ листок орешника, он втянул его в рот, пожевал. Он был голоден.

«Э, жив, жив!» — сказал он себе. Всю ночь он валялся в кустах и слышал, как в Ловцах бил набат, созывая людей; сперва он подумал, что где-нибудь в округе занялся пожар, но небо всюду было черно, звезды шли по нему в своем обычном строю. Когда же в темных лугах появились световые точки, он понял, что в Ловцы, вероятно, прибыло начальство и выгнало людей ловить сбежавшего арестанта. Световые точки рассыпались по лугу, они двигались медленно, иногда казалось, что они стоят на месте. Три из них шли повыше и быстрее: это были фонари в руках конных. Две из этих высоких точек сошлись вместе и, оторвавшись от остальных, покатались в сторону: конные выехали на большую дорогу.

Это было бессмысленное занятие — ловить арестанта с помощью мужиков, которым было интереснее не поймать его, нежели поймать. Светлые точки то рассыпались в черном пространстве веером, то сбивались в кучу. Донесся звонкий лай собаки. «Эй, Миш-ша-а, э-эй!» — кричал одинокий, голый мужской голос.

Спустя час точки вновь сошлись и вдруг дружно, одна за другой, погасли. Облава кончилась. Уже перед самым рассветом, на дороге показались двое конных, возвращавшихся из погони. Лошади брели шагом, опустив морды, словно приносиваясь к дороге. Фигурки конных выгнулись крючками: люди дремали в седлах. Видны были шашки и черные козырьки форменных фуражек.

Напившись воды из ручья, Капитон Иванович почувствовал себя свежее; он решил переждать в балке до сумерок и тогда осторожно двинуться в имение Апаркова. Из газет, читанных в поезде, он знал, что Апарков выехал в

поместье заканчивать большое полотно, над которым работал три года; о сюжете картины усердно строили предположения газетные репортеры. Апарков был из тех людей, которые предоставляли свои городские квартиры для явок революционерам.

Редутов хорошо помнил: в поезде, в Рязани, когда пассажиры, теснясь и стуча жестяными чайниками, вывалились из вагона, в отделение вошел высокий, бледный студент и, покосясь на Редутова, незаметно положил на лавку три открытки: запрещенные репродукции с картины Апаркова «Казак».

Потом он быстро вышел. Редутов видел, как он, пробираясь в толпе по платформе, оглядывается на окно вагона.

Пассажиры вернулись, поставили падающие чайники на откидные столики. Один из них взял открытки, повертел в руках, спросил:

— Это чьи?

— Не знаю, — ответил Редутов, — я выходил на станцию.

Сюжет их был давно знаком Редутову. Казак, изогнувшись с седла вздыбленной лошади, бил нагайкой рабочего. Казак был миловидный, молодой, в глазах его не видно ни зверства, ни ярости, но из них художник вынул все осмысленное, все сознательное, все человеческое. Это были глаза одушевленной машины, которая приходит в действие при первом оклике: «бей». Рабочий ладонью прикрыл глаза, заслоняясь от удара. Но в его приподнятых плечах, в выпрямленной спине, во всем настойчивом и негибком поставе тела можно было угадать человека, который сам не бьет только потому, что у него голые руки. «Откройте ему глаза, художник, — писал в свое время либеральный художественный критик, — откройте ему глаза! Пусть Россия увидит всю ненависть, скопившуюся в его душе!».

Открытки пошли по рукам. Тучная женщина, благожелательная, доверчивая, похожая на больничную сиделку или на сиделицу из казенной лавки, спрятала открытку в большой клетчатый дорожный мешок.

— Случится послать родне под праздник. Жаль только, что блессток нет, зато в красках.

Средних лет мужчина, балагур, не то мелкий лавочник, не то приказчик из хлебного лабаза, подержал открытку на растопыренной ладони, сказал:

— Сын мой тоже в кавалерии, а форма другая. Это форма казацкая, а у кавалеристов другая. За бои сыну пожалован георгий. Пишет, что флот подвел, а то пехота и кавалерия давно бы справились.

— Мне военное не нравится, — сказала сиделица, — смотри, какой гром идет по всей России. В старину лучше жили, зато и богаче.

Редутов сказал как бы вскользь:

— Этот казак рабочего бьет. Русского рабочего.

— Стало быть, есть за что, — озлобленно сказал лавочник. — Рабочие — дармоеды. Каждый месяц ему — жалованье. Не сеет, не пашет, за скотиной не ходит, только у машины стоит, а она сама по себе вертится. Механической силой. А ты кто таков? — спросил он Редутова добродушно.

— А тебе зачем?

— Вместе путешествуем, так мы из вежливости обязаны каждый с каждым знать: кто, куда, какого сословия, какое занятие. Сам я не крестьянствую, но из крестьян, из-под Сасова, могу деревню назвать, волость, фамилию. Мне скрываться незачем. А ты мне должен сказать, зачем подкидываешь открытки и денег за них не требуешь.

Сиделица из-под пухлых век испуганно и подозрительно мигнула небесными глазами, вынула мешок, стала развязывать его. Достав открытку, она положила ее на край лавки, сама отодвинулась к окну. Редутов вышел на площадку и, когда поезд замедлил ход, соскочил в канаву, заросшую земляничным листом.

До Москвы оставалось сто восемьдесят верст, а деньги у него все вышли. На нем была драповая тужурка, под ней рубаша в черный горох, суконные штаны и высокие яловые сапоги, еще совсем новые. При такой парадной внешности нищим не прикинешься. Он

решил пешком пройти через уезд и добраться до имения Апаркова и открыть ему, что бежал из ссылки, с Минусинского этапа.

Князя Апаркова он знал давно и доверял ему. Это был высокий, немного чопорного вида, красивый и словоохотливый барин, один из тех людей, которыми богата либеральная интеллигенция. Революционные симпатии его были широко известны даже за пределами России: он пользовался мировой славой, как художник, газеты называли его славой России. В его петербургской квартире бывали революционеры. Перед ним заискивала власть, барская квартира его на Сергиевской, с бородачатым швейцаром, с собственным выездом, была удобна для явок.

... Капитон Иванович дождался сумерок, вышел из балки и медленно побрел дорогой, поросшей низкой ольхой. Несмотря на побои, на голод, на две бессонные ночи он чувствовал себя бодро. Присев у ольхи, он стал снимать сапоги: итти было около двух верст, а он намял себе ноги.

Снимая сапоги, он увидел на дороге крестьянскую девочку, в чистеньком платье, в белом платочке, повязанном по-бабьи. Проходя мимо Редутова, девочка сурово посмотрела на него, светлые глаза ее немного косили.

VII

— Здорово, красавица! — сказал Капитон Иванович. — Как величать?

— А тебе что?

— Все-таки. Вон собак, и тех по имени кличут. Не может быть, чтобы тебя никак не величали.

— Ну, Варварка.

Девчонка остановилась, Редутов заметил, что понравился ей, а больше всего ей понравилась его черная драповая куртка.

— Имя довольно нарядное, — одобрил он.

— А твое как?

— Фридрих Барбаросса.

— Чего ты?

— Имя у меня такое: Фридрих Барбаросса. Я средневековый король.

— Врешь!

— Да не вру.

— Врешь. У королей сабли есть, царские венцы. А ты городской мужик. Чего у тебя ухо-то припухло, или дрался?

— Дрался, — сказал Редутов и потрогал безобразно распухшее, зудевшее от боли ухо.

Он снял сапоги, связал ушки травой и повесил сапоги на плечо. Варварка доверчиво потрогала сапоги, с крестьянской хозяйственностью оценила мягкость кожи, неизношенность, добротность подошв. Детей Редутов завоевывал легко, он был с ними на короткую ногу. Спросил Варварку, далеко ли до поместья Апаркова. Варварка сказала, что тоже идет к князю: просить лекарства для больной матери. «Из леска выйдем, сразу тут и господ, — сказала она, — каменный дом, парк, куры у них заграничные и злющие, как гуси». Они пошли вместе.

— Старый князь дома? — спросил Редутов.

— Где ж ему быть? Дома.

— А сынок?

— Илья Сергеич?

— Вот-вот.

— Ему у нас не живется. Он студент.

— Старый князь ничего, хороший?

— Бес его знает. Для нас все господа хороши, если не ругаются.

Дорога долго шла ольховым леском, сумерки сгущались быстро, только еще кое-где на краях облаков доцветала яркая краска заката. Редутов шел по белой стежке, боясь наколоть ноги.

— Ты чего все шейей вертишь? — спросила Варварка, поправляя на голове новенький, специально для усадьбы надежный платок. — Ждешь, что ли, кого, или темноты боишься?

— Признаться тебе, темноты боюсь. Я пугливый.

— Такой здоровый мужик, а пугливый. Я ночью куда хошь пойду. В лес, в луга. Только разве на погост не пойду, не к ночи будь сказано, — добавила она потише и перекрестила лоб.

— Вот видишь: на кладбище не пойдешь.

— Не пойду, — сказала она совсем тихо. — Разве с тобой вместе...

— Куда нам, мы трусливы! Со страху помрем.

Разговор, натолкнувшись на страшное, прервался.

Чтобы рассеять молчание, Редутов спросил:

— Ну как, Варварка, живешь, небось, весело?

— Как же.

— Мать, небось, балует?

— Мать-то не балует, а вот мы графа в церкви проклинали. Толстого Льва.

— Да ну?

— И! По всем кускам тела, аминь ему, аминь, да будет так! Мать до того испугалась: захворала. Лежит не то жива, не то нет. Чистое горе!

— Интересно.

— Ей-богу. А нынче в ночь мы политика ловили. Его в Ловцах мужики сграбили, а он утек. Такой хитрый. Всю ночь его с фонарями — и пешие, и конные.

— И ты ловила?

— И я.

— Как же не поймала-то?

— Да я не ловила.

— А говоришь: ловила.

— Я бы ловила, а кто с матерью станет сидеть? Лежит, что колода, плачет, молится, жалко глядеть.

За леском дорога, все расширяясь, скатывалась вниз и пробегала межъездными столбами князевой усадьбы. Ворот на столбах не было. С хилых камней кой-где слезла известка, кой-где облапил их мохнатый мох. Усаженная старыми кедром, коленчатая и разбитая дорога вела прямо к усадебному дому. За стволами кедров блеснул пруд, отражая свет погасающего неба. Брошенная купальня торчала на бережку, от нее тянулись по пруду деревянные мостки, на мостках прачки забыли ушат.

Капитан Иванович присел под кедром и натянул сапоги. Присмирившая в чужом месте Варварка закусила хвост платка, озираясь, как зверек.

Дорога упиралась в черный подезд, крытый старым, пробитым ржавчиной железом. Все здесь говорило о том,

что помещики бесхозяйственны или не любят хозяйства. В окно (без занавески и без ставней) видна просторная кухня; толстая баба, болтая грудями, вытрясала из самовара уголь. Капитон Иванович вынул из бокового карманчика обгрызанный карандаш, нашел под окном бумажку (оказался счет из сельской лавки: соли 2 фунта, перцу 2 баночки) и на обороте ее написал:

«Приехал Пеший».

— Вели сейчас же передать князю, — сказал он, — скажи, что я жду в парке, возле дома.

Он обогнул дом и вышел на площадку перед террасой: за темными стеклами — длинный стол, покрытый скатертью, на столе в узких вазах полевые цветы. Весь дом по фронтону был темен, только во втором этаже освещены два окна; одно раскрыто. Спорящие голоса, то вырастая до крика, то падая, неслись оттуда.

Редутов сел на нижнюю ступеньку террасы, снял картуз. К нему из кустов подошла собака, такая старая, что не отличала своих от чужих. Она понюхала колено Редутова, села, задние лапы ее бессильно расплзлись на песке.

Редутов прислушался и легко узнал монотонный голос Апаркова, лишенный всякой музыки: он мог быть то громче, то тише, но никогда не менял основного тона. Второй голос был старческий и полный слез.

Живя в подпольи, Редутов рзвил в себе наблюдательность, непринужденную и цепкую, и он тотчас же определил, что второй голос принадлежит священнику.

— Я не могу понять, — монотонно восклицал князь Апарков, — куда вы идете, что вы видите, да и есть ли у вас самое простое, самое животное чувство самосохранения? Чувство, которое имеет кошка, мышь, собака, ящерица, муха? Вы потеряли чувство действительности. По вековой инерции паства заполняет ваши храмы. У них у всех, у мужиков, в сердце не смирение, а бунт. Они давно сменили бога. Вы проповедуете бога всепрощения, а они молятся богу мести. Богу воздая-

ния. Вы анафематствуете Толстого, а они анафематствуют нас с вами: помещиков и попов, власть и церковь.

— Не своей волей, — возражал старческий, полный слез голос, — на анафематствование меня благословил преосвященный.

— Если в синоде не потеряли голову, вашего преосвященного заточат в монастырь. Воскрешать память об отлучении, когда под ногами горит земля! Император, вместо оружия, одел всю армию образками Серафима Саровского. Слыхали, что сказал генерал Драгомиров? Он сказал: «Вот мы японцев все хотим бить образами наших святых, а они нас лупят ядрами и бомбами, мы их образами, а они нас пулями». А революцию вы хотите запугать анафемой? Анафемы даже Гапон не боится.

— Гапон есть еретик и провокатор, — сказал поп с жалкой запальчивостью.

— Если бы я был единомышленник ваш, право, я лишился бы рассудка: мало того, что вы свалились в могилу, но вы сами же бессильными руками заваливаете себя землей. Но я не единомышленник ваш. Заваливайте православию, самодержавию, полицейшину, насилию, церковности, произволу. Заваливайте ваших преосвященных, тушите восковые свечки: чем темней в церквах, тем светлей за их стенами. Но я человек культуры, отец мой. Я патриот. Я не буду молчать, когда именем Христа люди, одетые в ризы милосердия, на потеху всей Европе, хватают великого старца за волосы и волочат его по нашей отечественной, истинно-русской грязи.

— Христос, спаситель наш, изгонял торгующих из храма. И он не гнушался взять бич в персты.

— Теперь за бич взялся народ.

— Народ с царем, а не с Гапоном. С Гапоном только мастеровщина, развращенная кабаками и агитаторами.

— За что же губернатор порол мужиков Заломского уезда?

— За бунт.

— Против кого бунтовали мужики? Или они не народ?

— «Соблазниши единого из малых сих...».

— Ну, батюшка, диалектики вы не проходили в семинарии, — сказал все тот же монотонный голос князя Апаркова, но, видимо, сила иронии одних слов его была так ясна, что Редутов усмехнулся.

За окнами сдвинули кресло.

Полетела на пол металлическая пепельница.

Полный рыданий и рыхлый, как мокрый песок, старческий голос священника сказал:

— А бомбы... а кровь мужей государственных... ваше сиятельство... а разврат... а мученическая смерть князя Сергия... оправдываете?

Князь Апарков ничего не ответил. За окнами стало тихо. Потом шаги князя мягко простучали по паркету. Редутов догадался: князю подали его записку. Старый пес попрежнему сидел против Капитона Ивановича, глядя на него пустыми глазами. Слеза блестела в гноящейся расщелине его век.

Спустя минуту открылась дверь террасы, вышел поп в белом летнем подряснике и соломенной шляпе с загнутыми кверху, широкими полями и в зимних высоких калошах. Стуча перед собой палкой, шаркая ревматическими ногами, согнутый, старенький, он прошел мимо Редутова, не заметив его. Он плохо видел, палка его натыкалась то на куст, то на стену дома, то на ствол дерева.

Наконец, он выбрался на аллею. Старый пес, вихляя облезшим задом, поплелся вслед за ним.

На террасу вышел князь Апарков в белом шевиотовом костюме, как всегда, корректный и подобранный. Лица его Редутов не мог разглядеть в темноте. Князь остановился в дверях террасы и сказал негромким голосом в темноту:

— Где же вы? Я рад вас видеть.

VIII

Князь Сергей Аврелиевич Апарков последние дни чувствовал себя нездоровым. Причиной этого нездоровья не столько была лихорадка, мучившая его

по ночам, сколько события, потрясавшие Россию, и та страстность, с которой он переживал их. Несмотря на свой чопорный, сдержанный, хоть и общительный, характер, он обладал большой мерой внутренней страстности, которую постоянно в себе обуздывал.

Он жил слишком многообразной душевной жизнью, чтобы не опасаться силы своих внутренних движений.

Хотя поместье было запущено, а деньги, вложенные в строительство окраинной железной дороги, были под угрозой потери из-за нечестности дельцов и общего спекулятивного разгула, — он всегда чувствовал себя обеспеченным своими картинами; они охотно покупались как в отечестве, так и за границей.

Он был питомцем Академии художеств и в полной мере оправдал ее надежды. Талант князя Апаркова развешивался с годами все шире, в равной мере заставляя говорить о себе и узких знатоков живописи, и людей, которые не отрывали искусства от жизни и в живописи хотели видеть воплощение ее самых передовых идей. Живя, как он был уверен, душа в душу с передовой Россией, стремившейся наверстать отделившее ее от Европы столетие, он в творчестве своем воплощал чаяния либеральной и даже радикальной интеллигенции.

Семья не нарушала гармонии его жизни.

Старший сын, Николай Сергеевич, был в армии. Он пошел на театр военных действий не потому, что сочувствовал правительству, но потому, что ненавидел правительство и сочувствовал народу, страдания которого стремился разделить. В чине рядового-добровольца он отступал сейчас к Мукдену вместе с потрепанными и деморализованными войсками Куропаткина.

Этот сын был любимцем отца.

Илья, любимец матери, ни в чем не походил на брата. Он был веселый, полнокровный молодой человек, легко увлекающийся, мало даровитый, восприимчивый ко всему, что имело моду. Отец и сын встречались почти официально: за обеденным столом, иногда в комнате

у Юлии Душановны; мать не чаяла в сыне души.

Илья любил валяться у нее на кушетке. Задерет ноги в домашних прюнелевых туфлях, жует мундштук папирасы, слушает милый и звонкий, безобидный щебет Юлии Душановны. Он вел беспорядочную и, в общем, мерзкую жизнь праздного молодого негодяя: много тратил, попадал в темные истории с карточными долгами и с ростовщиками, влюблялся в актрис и женщин высшей бюрократии, любил давать взаймы людям громкой моды.

Часто думая о сыне и почему-то не решаясь открыто поговорить с ним, Сергей Аврелиевич видел, что сын кончит плохо.

После шумной истории с карточным проигрышем Ильи князь Апарков объяснился не с ним, но с Юлией Душановной. Корректно, но твердо он высказал ей, что у него нет ни желания, ни средств поощрять в сыне наклонности вертопраха.

Юлия Душановна поцеловала мужа в висок и сказала, чтобы он не беспокоился, что такие большие деньги нужны Илье в последний раз, что он, наверное, вскоре сделает выгодную партию. Она с милым восторгом назвала мужу громкую фамилию плутократа, одного из столпов империи.

Князь так же твердо, как только-что говорил о деньгах, заявил Юлии Душановне, что помешать плану сына не в праве, но что родниться с семьей плутократа не намерен.

Дух семьи князя — это был дух оппозиционности в отношении к правительству и дух полной свободы в отношении к членам семьи. Княгиня Юлия Душановна, боготворя мужа, не желала иметь собственных принципов. Вопрос о сыне больше не поднимался.

Князь Сергей Аврелиевич считал, что отечество и революция — синонимы; отечество рождает революцию, революция же, в свою очередь, рождает новое отечество; из этого процесса и возникнет будущее России. В кругах высшей бюрократии, к которой он принадлежал по связям жены, его считали оригинальным, но ложным умом,

артистом, модернизированным барином, но человеком невинным и совершенно неопасным. Опасны были его картины, но не он сам. Картины же можно удалить из галлерей, репродукции с них запретить. У него была репутация кристально честного, даже до смешного честного человека.

Но, не будучи политическим деятелем, князь Апарков видел, что картины его работают за него, и работают на революцию, то-есть на замену старых, несправедливых правил жизни новыми и справедливыми. Одно время он был близок к придворным кругам. Но последняя выставка его, где он обнаруживал ряд блестящих по краскам, свежих по чувству и смелых по мысли полотен, оборвала эту близость.

Выставка не состоялась. Состоялся только вернисаж. Наряд безупречно вежливой полиции запер двери и пригласил гостей удалиться по черному ходу. Князь Апарков расценил это как свой величайший жизненный успех; заснув накануне «гордостью русской живописи», он проснулся «учителем» и «великим творцом великих полотен». Уже тогда передовое общество дало ему свою присягу на преданность.

Умный и мыслящий человек, он не мог не понимать, что, отрицая официальную Россию и ее смрадный полицейский строй, сам он не имеет ясно-го представления о том, какую Россия должна быть. Называя себя демократом и врагом бесправия, он видел, что народ темен, опоен царской казенкой, запуган попами и урядниками. И поэтому, сравнивая европейские народы с русским, он не верил в русское народоправство и считал, что Россия должна пройти через какой-то временный или компромиссный строй. Этот строй, по размышлениям его, не должен быть простой копией строя любой европейской страны, но должен быть таким строем, который вберет в себя все своеобразие русского народа, своеобразие его быта, чаяний, условий исторического развития.

Размышляя над этим, он видел, что его не убеждают методы социал-революционеров, слегка пугают марксисты

и уже просто отталкивают анархисты. Меньше всего он верил людям типа Гессена и Милюкова: этих-то он знал ближе всех, слишком видны были нитки, за которые дергал их новый хозяин, капитал, пробирающийся к жизни. Учености этих людей Апарков не уважал, искренности их не верил. Если они еще не были капиталистами, то лишь потому, что не имели капитала. Фразеология их вызывала в нем брезгливость.

Не составив себе собственной положительной программы, он и на людей революции, которых знал довольно хорошо, смотрел как бы одной стороной своего внутреннего зрения. Он уважал и ценил в них волю к разрушению монархии и не понимал, а поэтому и не хотел видеть волю к созданию нового политического и социального строя.

В доме князя на Сергиевской, чопорном, безмолвном, с лепными потолками, с породистой обстановкой, были две комнаты в первом этаже, называемые в семье «идейными». В этих-то идейных комнатах, выходящих окнами на глухой двор, он давал ночлег нелегальным, потому что люди «действия» ему доверяли и не ошибались, оказывая Апаркову доверие. В эти комнаты, помимо дверей из внутренних комнат квартиры, можно было попасть и со двора, через наружную галлерею.

Людьми, посещавшими Апаркова, не интересовались ни швейцар, ни горничные, ни княгиня Юлия Душановна; в доме эти люди назывались «князевыми учениками» или учениками академии.

Последние три года князь Апарков писал большое полотно, названное им: «И эти стены падут». Это должно быть тюремной камерой, одиночкой, последним жилищем смертника. Серые стены, влажные от сырости. На них зеленый дневной свет. Бессильный свет. Он просочился в щель тюремного двора корпуса и, отраженный, упал в камеру. -

Пусть в этом зеленом, как бы разоренном, опустошенном свете чувствуется, что он, все-таки, рожден солнцем, что где-то «там», под широким небом,

он дает жизнь людям, животным, траве. Но, пробиваясь в мрачных переулках тюрьмы, свет потерял свою жизнеродную силу и упал «здесь», в каменной щели, затравленный, переставший жить и жить.

Этот свет не светит, но умирает. Он тоже заперт в каменном мешке. Голые камни, — вот что дали люди человеку, который сидит на койке, положив на тюремный стол крепко сжатый и худой кулак.

Бесстрашная мышь, встав на задние лапы, смотрит на него. Он так худ, что и вправду похож на кость, — быть может, пора глотать ее?

Лицо и вся фигура смертника в тени. Распределение света по картине создает впечатление, что смертник сделан из камня: худые, острые скулы, бугор подбородка, выпуклый лоб. Не плоть, а порода. И так же тверды глаза.

Смертника надо писать так, чтобы внешний облик его был образом его воли. Надо его писать так, чтобы камень стен, залитых светом из тюремного окошка, показался рыхлым и дряблым, нестойким рядом с тем камнем, из которого высечена фигура.

Этим замыслом князь Апарков болел так долго и так сильно, что у него в характере появились странности: был то угрюм, то говорлив без меры. Композиция далась сразу, так же сразу дались краски: и свет, и камень тюремный.

Но ему не давалось лицо смертника. В тюрьмах, которые он посещал, в больницах, на академической бирже натурщиков, в трактирах, на рынках он встречал много лиц, замечательных по выразительности; но в них он находил только какую-нибудь частность, одну какую-нибудь черту замысла. Были волевые складки, упрямство, настойчивость, но не было каменной породы. Каждое лицо имело свою тему и этим разрушало его замысел, этим толкало Апаркова в сторону от того, что он видел в своей будущей картине и что хотел передать людям.

Тогда он перестал искать натурщика, решив писать «из себя». Он сделал много этюдов, когда ему стало ясно,

что камень человеческий, заточенный в тюремном камне, — это неверно и, быть может, пошло, что духовную силу человека должно выразить иначе.

Но как — он еще не знал.

То он уходил в себя, замыкаясь от людей, то снова кидался в жизнь, ища в ней ключа к самому себе.

Революция прорвала заставы полиции и вышла на улицы. Правда, она не опрокинула еще всего фронта полиции и войск, в центре которого судорожно сжимал в руках порфиру маленький, не слишком глупый, не слишком умный коронованный человек, но многие заставы были уже смяты. Апарков не мог не видеть этого и не радоваться этому.

Война (ее теперь именовали несчастной и преступной) развязала свежие, рвавшиеся наружу силы революции. Война была затеяна не только из корысти великих князей и спекулянтов, окружавших их. Из уха в ухо передавали фразу, сказанную Куропаткину перед самой войной министром Плеве (ныне он был разорван бомбой террориста):

— Алексей Николаевич, вы внутренне-го положения России не знаете. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война.

Побойце, учиненное на камнях Дворцовой площади, «Потемкин», стачки, мятеж в Риге, вооруженные столкновения с полицией в Баку, Одессе, Киеве, Харькове и Вильне, погромы имений в деревнях, убийства сановников, губернаторов и полицейских чинов — все это были уже не беспорядки, а революция.

Апарков видел это и радовался этому. Он бросил кисти и «слушал» жизнь. Она толкала его на действие, но он не знал, как ему действовать в жизни, и оставался взволнованным зрителем.

В глубине души он не верил в победу неорганизованного народа. Действовать же без веры в победу нельзя. Но если бы он и верил, он не мог действовать, потому что был оторван от народа, хотя и служил ему: он не знал и не умел войти в народ, как не умел войти в круг тех людей, которым отда-

вал для целей революции свои «идейные» комнаты.

Он был честолюбив в душе, хотя не признавался сам себе в этом, и ждал, что народ позовет его с собою, когда победит.

Однако его позвал не народ, но люди, которые — как он верил — бескорыстно служили народу.

В июне месяце князь Апарков был привлечен к делегации земских и городских деятелей, собиравшейся посетить царя. Имя князя Апаркова было достаточно громким в России. Он был нужен делегации как вывеска и сам был убежден в том, что его позвали как общественную силу, которая может действовать в эти дни. Среди делегатов были: старый земский деятель Петрунkevич, побывавший в свое время в ссылке, князь Трубецкой, профессор московского университета, — люди, которых князь Апарков уважал, — точно так же, как он уважал и людей, собиравшихся у него в «идейных» комнатах.

Людей из «идейной» комнаты он уважал за то дело, которое они самоотверженно творили; но это уважение было в нем несвободно: он знал, что не смог бы разделить с ними ни их работы, ни их ответственности. Князя Трубецкого и Петрунkevича Апарков уважал свободно: он мог бы работать с ними, если бы его позвали.

Он искренно был уверен, что и люди из делегации, и люди из «идейной» комнаты сольются в едином действии, как только самодержавие будет опрокинуто и новый строй, сам собой, как столб живого огня, подымется из его обломков.

Министерство двора и министр внутренних дел долгое время не пускали делегацию в Царское. Царь боялся Петрунkevича, который, от имени черниговского дворянства, оставил когда-то крамольный адрес. Вероятно, царь полагал, что земец Петрунkevич, социалист-революционер или анархист — все одна сатана, все носят в кармане бомбу.

Однако, озлобленный бомбами, в клочки разносящими его слуг, напуганный народом, вышедшим на улицы, царь

принял делегацию земцев и даже Петрункевича в ее числе.

Делегатов ввели в зал. Они надели белые перчатки, ожидая царского выхода. Петрункевич забыл перчатки дома. В зале было тихо, сияли паркетные полы, отражая колонны. Шумел ветер в деревьях парка. Лейб-гвардии полковник Путятин снял свои перчатки, снисходительно протянул их Петрункевичу. У полковника были добротные, широкие лапищи, перчатки на руках Петрункевича повисли, как тряпки на частоколе.

Царь вышел, стараясь казаться обаятельным. Глядя спокойными, немного усталыми глазами на делегатов, он выслушал то, чего не мог не знать и что было делом его рук: о потрясениях, постигших отечество, о морях народной крови, бесполезно пролитой в Манчжурии, о тысячах матросов, лежащих на дне морском, и о том, что, быть может, пора пойти на уступки народу.

Апарков впервые видел императора так близко, он не испытал к нему той ненависти, которую питал к его отвлеченному образу. Маленький человек в полковничьих погонах, очень похожий на свои портреты, слушал внимательно, с прилежанием примерного ученика. Солнечное пятно лежало на его розовой щеке.

Апарков подумал: этот застенчивый по виду, почти игрушечный полковник артистично льет русскую кровь на поля битвы, на камнях Дворцовой площади, на улицах городов и у завалинок деревенских хат.

Выслушав речи, император ответил сразу, безо всякой паузы (в этом тоже было что-то от примерного ученика):

— Благодарю вас, господа, за выраженные вами чувства. Я верю в ваше желание работать вместе со мной над учреждением нового государственного устройства, основанного на новых началах. Мое желание созвать народное собрание непоколебимо. Я думаю об этом каждый день. Вы можете сегодня же объявить это населению городов и деревень. Моя воля будет исполнена. Народное собрание восстановит единение между Россией и ее императором. Оно

станет основанием устройства, которое будет покоиться на русских народных началах.

Несмотря на то, что князь Апарков не верил в единение народа и императора и сам был против такого единения, речь царя не произвела на него плохого впечатления. Это был тот компромисс, та дорога, на которой императору рано или поздно придется обронить мономашью шапку. Снимая в вестибюле дворца белые перчатки, он вспоминал слова императора: «мое желание созвать народное собрание непоколебимо» и разделял удовлетворение делегатов.

Спустя некоторое время делегации был сообщен официальный текст царского ответа. Вместо слов, которые он вспоминал в вестибюле, князь Апарков прочел слова: «Моя царская воля непоколебима». Упала не мономашья шапка, но слова о народном собрании.

Вслед за тем Апаркову дали понять, что дальнейшее его участие в политической жизни империи не только нежелательно, но и опасно для него. Княгиня Юлия Душановна лежала больная, вызывала врачей, тревожилась за судьбу мужа. Она была беспомощна, трогательна; на печаль ее лица было больно смотреть.

Она настояла на выезде в деревню. Там было беспокойно, но, по ее мнению, князь Апарков мог не опасаться ненависти крестьян: он был такой «добрый» и «отзывчивый».

После посещения царя Апарков чувствовал нечто вроде оскомины. В деревню он взял кисти и палитру.

Однако, работалось плохо. Он чувствовал себя больным, потерявшим над собою власть, раздражительным. И, как бы он сам ни скрывал от себя, честолюбие болело в нем: никто из его друзей по делегации не поддержал его в минуту царской немилости, никто не посоветовал остаться в Петербурге вопреки этой немилости. Он был неудобен одним, ненужен другим, казался смешным третьим. Гранд из Ламанча, пробирающийся копьём крылья ветрянок.

Так ли? Все было возбуждено, все кипело в нем, несмотря на то, что внешне он оставался мягким, немного педан-

тичным семьянином, внимательным собеседником и радушным хозяином заупущенного имения.

IX

У князя в Петербурге и в деревне было множество людей самого различного положения в обществе. Появление Редутова ни в ком не вызвало ни подозрений, ни любопытства.

Капитон Иванович слишком устал, чтобы сегодня говорить с Апарковым. При спальне князя, во втором этаже, была отдельная уборная. Капитон Иванович снял драповую куртку и рубаху, которой не менял с момента побега. Она пропылилась, ее проел пот. Он сбросил ее и, оголившись до пояса, долго и с наслаждением тер себя перед большим зеркалом мраморного умывальника. Вскоре тело под резиновой мочалкой порозовело, русые волосы на широкой, но немного впалой груди залоснились.

Встрепанный, освеженный и все же от усталости едва волоча ноги, он вышел в кабинет.

Это была большая пятиугольная комната, вся в окнах, с узкими простенками, завешенными этюдами большой давности среди них Капитон Иванович узнал начальные наброски широко известных произведений, принесших Апаркову славу. Любопытно проследить, как первоначальный замысел Апаркова, то блуждая вслепую, то подчиняясь мысли, находит либо тот, либо иной внешний образ, прежде чем найти совершенный.

Здесь были собраны этюды к «Казак». Первый казак свирепого вида, бородастый, глаза, как у медведя, идущего на рогатину. У второго казака осталась борода, но глаза уже приняли выражение невеселой ярости, ярости исполнителя чужой воли. На третьем этюде борода исчезла, казак помолодел, складки кожи разгладились, сама кожа посветлела и порозовела.

Кабинет был обставлен случайной и, видимо, мало любимой мебелью. Но стояла она, в соответствии с внешним характером Апаркова, в чопорном порядке. Внутренняя страстность характера Апаркова сказывалась лишь в том,

«Новый мир», № 1

что всюду валялись мелко поломанные спички: на гладко зеркальном паркете, на чистых подоконниках, у ножек его кресла.

Апарков имел привычку, задумавшись, ломать спички.

Диван застелен чистой постелью. Капитон Иванович сел на диван, похлопал рукой одеяло, как любимую собаку. На круглом столике, на салфетке, серебряный чайник пускал пар. Стакан в подстаканнике из серебряных листьев, тарелка с холодным мясом.

Князь Апарков жестом показал на столик.

Чувствуя, что ухо его болит, губа болит, чувствуя такой голод, что сводит челюсти, Капитон Иванович взял мясо и, обмакивая его в соль, стал жадно есть.

Апарков из деликатности не спрашивал его ни о ссылке, ни о побеге, ни о том, куда он сейчас направляется. Он принимал Редутова как гостя «оттуда» и, поскольку в нем нуждались, с большей радостью делал то небольшое, что от него требовали. Он окутал себя дымом, ломал спички.

Когда Капитон Иванович кончил есть, князь тем же жестом, как показывал ему на столик, теперь показал на постель. И опять Капитон Иванович потрепал одеяло, как любимого пса.

Вставая, чтобы дать Редутову покой, князь спросил сразу о двух вещах:

— Слышали, как мы здесь Льва Николаевича анафематствовали? Так вы и есть тот агитатор, которого поймали ловещкие стражники?

— Стало быть, так, — ответил Капитон Иванович, думая о князе, что он хороший, но слабый человек, который мучится тем, что жизнь нехороша, и боится, что хорошую жизнь Капитоны Ивановичи начнут ломать силой. Руки у него были бледные. Длинные пальцы, овальные ногти с белыми пятнышками у оснований.

Князь сказал:

— Неосторожно, возвращаясь нелегально из ссылки, вести в деревне агитацию. Я рад, что вы отделались распухшим ухом и разбитой губой. Не сделать ли вам компресс?

— Сойдет и так. Какая агитация? Никакой агитации не было. Солдатки дали мне молока и хлеба, я им за это писал письма.

— Хорошо, скажем, что было именно так. Если у вас нет легального вида, то я, пожалуй, сумею вам помочь. Я дам вам паспорт. Настоящий. На-днях у меня утонул кучер ваших лет. Полагаю, что петербургскому охранному отделению об этом еще не известно. Покойной ночи.

— Покойной ночи, — сказал Капитон Иванович, с наслаждением стаскивая с ног сапоги.

Князь встал, положил коробку спичек в карман и жестом показал на большую керосиновую лампу, горевшую на столе.

Капитон Иванович стянул сапог уже наполовину и вдруг, сощуриив смеющиеся глаза, сказал:

— А ловко вас Николашка в колечко свернул!

— Да, да, — сказал князь, поморщившись.

— Ну, ничего, все-таки сторговались за счет рабочего класса.

Князь Апарков махнул рукой и вышел, притворив за собой дверь. Портьера шелохнулась, тряхнув мохнатыми бубенчиками.

Капитон Иванович стянул сапог, потом другой. Мальчишески он брыкнул ногами, повалялся на спину, поднял ноги и руки, сам для себя сделал вид, что плышет. Тотчас же он вытянул свое изнывшее тело поверх одеяла, голова его ушла в подушку. Он повернул голову, чтобы касаться подушки здоровым ухом, и здесь же глухота, как вата, окутала его.

Глаза его закрылись. «Лампа, — подумал он, — позабыл погасить лампу. Надо погасить лампу». Сон наваливался на него, а он будто ладонями отталкивал его. Сон навалится, а он оттолкнет. «Сейчас погашу лампу, в чем вопрос?». Сон наваливался, а он отталкивал его. «Спусти ноги, встану, протяну руку. Протяну руку, потом прикручу фитиль. Дуну сверху, и делу конец!».

Капитон Иванович с героическим усилием разлепил веки и увидел князя, сидящего против него в кресле. Теперь

князь был в малиновом халате с розовыми шнурами, в круглой плоской, вышитой шелком ермолке. Бритые губы его шевельнулись, но не произнесли ничего. С полминуты Капитон Иванович смотрел на эти безмолвно движущиеся губы. Потом он понял, что ухо его заложило от удара стражника, что он оглох.

Князь, облокотившись на колени, смотрел Капитону Ивановичу в глаза и продолжал шевелить губами. «Извиняется, что вошел, потревожил» — подумал Капитон Иванович, поднял голову с подушки и повернул в сторону Апаркова здоровое ухо.

Князь Апарков спросил:

— А что думает ваш Ленин? Он в Женеве? Третий съезд призвал к вооруженному восстанию? Говорят, поп Гапон являлся к Ленину, предлагал объединение всех революционных сил? Я этого не понимаю: в такой ответственный момент, когда трон поддерживают одни мерзавцы, революционные партии враждуют между собой, — что это, борьба за местничество на пиру революции? Я не понимаю этого. Все истинные противомонархические силы должны быть объединены. Как вы смотрите на террор социалистов-революционеров?

— А, интеллигентские игрушки, — отмахнулся Редутов с досадой, — отжито, неубедительно и вредно. Что они делают? Они швыряют бомбочку в его превосходительство. Сколько бы ни переводили их превосходительств, ничего не изменится. Режим нельзя уничтожить, уничтожая отдельных их превосходительств. Режим плодит своих превосходительств быстрее, чем эсеры делают бомбочки. Не в этом дело, нужен другой террор, террор вооруженного восстания. Взятие народом Бастилии — вот подлинный террор, скорее всего приводящий к цели.

Из кармана халата князь Апарков вынул коробку спичек, сказал, склонив голову:

— В этом я, наверное, согласен с вами.

Капитон Иванович сказал горячо:

— Какие это революционеры? Это «личности». Масса, дескать, темна, слепа, вся во власти суеверий, а они, «лич-

ности», призваны повернуть ход истории, вывести человечество на новые пути. Народовольческое молочко бродит в них. Я так считаю, Сергей Аврелиевич: всё, что не марксизм, — от лукавого. Или революция победит на этом пути, или она вовсе не победит. Или революцию сделают массы, народ, или ее не сделает никто. А если народ ее сделает, то он не станет подчиняться «личностям» с большой буквы. Народ признает только таких вождей, только за такими вождями он идет, которые силой ума, силой таланта, силой кровного убеждения до самого конца осуществляют его классовые чаяния. Эсеровские вожди никаких чаяний народа не осуществляют, между ними и народом пропасть.

— Ленин? — спросил князь Апарков.

— Да, Ленин. В революции он лучший из лучших. Поэтому он вождь.

— Я много думаю о Ленине, — сказал князь Апарков, ломая спички, — и должен признаться вам, что во многом согласен с ним. Я читал его статью «О боевом соглашении для восстания», — там приводится письмо Гапона. Ленин развенчивает эсеров. Там есть такие слова: «Нам неизбежно придется *getrennt marschieren* (врозь идти), но мы можем не раз и мы можем именно теперь *vereint schlagen* (вместе ударять)». Сказано с жестковатой откровенностью, но зато честно. Однако непримиримость его меня пугает. В этом я не понимаю его. Но он очень интересует меня. Расскажите, что это за человек?

Разломив спичку, князь Апарков бросил мелкий деревянный сор на простыню. Гоня сон, Капитон Иванович сказал с живостью:

— Это революционер и ученый.

— Ученый?

— Да, человек, поставивший науку на службу революции. Его знания огромны. Он читает и пишет с быстротою, какой я не видел ни у одного человека. Он не торгует наукой. Он отдал ее на службу пролетариату, потому что знает, что наука должна принадлежать пролетариату, как революционному классу, который сумеет перестроить общество.

Что еще сказать вам? В этом человеке нет противоречий. Его личная жизнь именно в том, что он делает. А делает он революцию.

— Он женат?

— Да.

— Его жена революционерка?

— Конечно.

— Нет, я не во всем понимаю его, — сказал Апарков, потирая виски, — нетерпимость, нетерпимость! Раскол в собственной партии! Не слишком ли слепо он верит в свои силы?

— Он крепко верит в свои силы.

— Что дает ему основания?

— Я же сказал вам, — Капитон Иванович усмехнулся, — воля Ленина — воля пролетариата. Она собрана в нем, сконцентрирована в нем. Поэтому он не боится ни временных поражений, ни тяжести своей борьбы.

— Это интересно, что вы рассказываете мне. И все-таки, голубчик мой, хоть вы и устали, я хочу от вас ответа на вопрос, который меня мучит. Я понимаю непримиримость в борьбе. Но после, когда народ победит? Как, вражда в среде свободного народа? Возьмите меня лично. Этот вопрос мучит меня. Скажите мне, неужели тогда я буду вашим врагом только потому, что вышел из захудалого княжеского рода, который на протяжении всей своей истории получал одни пинки от монархов? Мое имя, мое состояние не в счет. Все это не стоит медной копейки, я живу личным заработком. Но предположим, что я и богат, и помещик, и родовитый князь. Неужто эта моя, как вы говорите, классовая натура сильнее мысли, убеждения, веры в революцию? Я не понимаю этого. И еще, говоря откровенно, я не понимаю, как можно стихийное движение народа втиснуть в формулы. Разве революция — шахматы? Нужно столкнуть царя — формулы выведет сама жизнь.

Разговоры такого рода Капитону Ивановичу доводилось вести с князем не раз. Он всегда тяготился ими. Он не мог видеть в князе врага, поскольку Апарков искренно помогал движению, но не мог видеть и ребенка, который, по малости лет, не отличает черного от бе-

лого; не мог не уважать правильного, здорового таланта князя, но и не мог доверять до конца руке, держащей кисть художника, работающего на революцию, — рука могла изменить. Он не мог не верить искренности князя, но не мог пройти и мимо того, что князь пожимал руку монарха. Капитон Иванович пошарил возле дивана, достал сапог, князь Апарков смотрел на него с любопытством, ломал в пальцах новую спичку. Со дна сапога Капитон Иванович извлек смятую бумажку, распрямил ее.

Это была листовка Российской социал-демократической рабочей партии: «Три конституции или три порядка государственного устройства».

«Чего хотят полиция и чиновники? — спрашивалось в ней. — Самодержавной монархии. — Чего хотят самые либеральные буржуа (освобожденцы или конституционно-демократическая партия)? — Конституционной монархии. — Чего хотят сознательные рабочие (социал-демократы)? — Демократической республики».

И дальше, на вопрос — какое значение имеют эти порядки государственного устройства — шли такие ответы. «С а м о д е р ж а в н а я м о н а р х и я. 1. Полная власть над народом полиции и чиновников. 2. Советательный голос крупной буржуазии и богатым помещикам. 3. Никакой власти народу. К о н с т и т у ц и о н н а я м о н а р х и я. 1. Третья доля власти полиции и чиновникам, с царем во главе их. 2. Третья доля власти крупной буржуазии и богатым помещикам. 3. Третья доля власти всему народу. Д е м о к р а т и ч е с к а я р е с п у б л и к а. 1. Никакой самостоятельной власти ни полиции, ни чиновникам; полное подчинение их народу. 2. Никаких привилегий ни капиталистам, ни помещикам. 3. Всю власть, единую, полную и нераздельную власть всему народу».

— Прочтите там в конце, — сказал Капитон Иванович, — там есть ответы, чему должны служить все эти порядки. Там все сказано, все ясно. Слов с горсточку, а ответ дан на все.

Князь Апарков покорно сложил на колене листовку, потом спрятал ее в

карман. Капитон Иванович закрыл глаза. Князь жестом указал на лампу, встал и, оглядываясь на Капитона Ивановича, протянул руку к горелке, но опять разгладил листовку; простая сила слов, написанных рукой Ленина, не могла не поразить его.

И все же навстречу этой простой силе слов в нем самом подымалась какая-то смутная протестующая сила, как будто он увидел простоту правды, но эта простота оскорбляла его своей наготой, он привык украшать свои мысли, как украшал оттенками цвета и игрой света свои полотна. Эти неукрашенные слова оскорбляли в нем что-то, что он мог называть «чувством», «душой», «искусством».

Погасив лампу, он прошел в свою спальню. Обычно он не засыпал до рассвета, так было и на этот раз. Он лежал в постели, и вдруг мысль его от предмета разговора с Капитоном Ивановичем как-то необычайно скоро перенеслась на другой и посторонний предмет: на сюжет его картины, который так долго не давался ему. Слово «украшение», как пышная и разодетая рождественская елка, кружилось перед ним: мелькали цветные свечи, золоченые орехи, хлопущие, канитель, серебряный дождик.

«Украшение, украшение, — думал он, — украшение».

Он вдруг с большой ясностью увидел, что смертника на картине не нужно делать из «человеческого камня», что человеческий камень — это и есть украшение в картине, которое мешало ему, отводило его в сторону и оскорбляло своей надуманной красотой. Смертника нужно писать человеком с теплой кровью, охваченного предсмертной тоской, плотского, подверженного всем слабостям и силам человеческой души. Надо писать его человеческую душу, в которой силы побеждают слабости, потому что эта душа раскрыта правде и ради нее отдала себя на смерть.

Ему показалось, что он увидел подлинную красоту неприукрашенной правды, тогда, взволнованный, он подошел к окну. Уже был рассвет, в ветвях деревьев кричали грачи, между стволами зеленеет пруд, затянутый ряской.

Князь распахнул окно. Свежесть утра влилась в комнату через его плечи.

Он увидел Капитона Ивановича, который бодро шел по аллее к вездным столбам. С вечера князь Апарков дал ему ключ от террасы. Апарков забеспокоился, не забыл ли Капитон Иванович взять со стола деньги и паспорт утонувшего кучера. Он прошел в кабинет, убедился, что ни денег, ни паспорта на столе нет.

Тогда он вернулся в спальную, чтобы постараться уснуть. Уснул он, как убитый.

Х

После анафематствования Льва Толстого с Натальей всё чаще стали случаться припадки падучей болезнью. Что за темная сила родилась в ней? Несмотря на то, что Наталья не умела по своей воле управлять этой силой, она ждала ее проявления без страха, даже с мучительной радостью. В минуты припадков, как она говорила, к ней приходило откровение.

Вся ее жизнь поделилась на две неравные части: на короткие минуты, когда она была во власти этой силы, и на все остальное время, когда она ждала откровения.

Минуют дни — и пропадет охота к смеху. Повянет белая кожа. Себе будешь в тягость, людям на помеху. Вот валяешься в постели колода-колодой. Сомлелому телу жарко. Жужжат, липнут мухи, Брокова, слава богу, дома нет: старается царю и отечеству. Варварки тоже дома нет. Непоседа.

Катится долгий летний день.

На обрешетке посылный рисунок: коричневый домик с огорожей, а дальше роза; опять домик с огорожей, опять роза. Смотришь, смотришь целый день — оторопь возьмет. Скорей бы пришло это. И страшно, и сладко.

Наталья думала, что болезнь ее не такого рода, чтобы ее можно лечить лекарствами, и со времени болезни она сначала нехотя, а потом жадно стала ловить слухи о чудотворцах, о знахарях и о некоем отроке Никифоре, которого в народе называли голубиным.

Приходили бабы, плакали, глядя на

то, как она лежит в подушках. Завидовали наволочкам, пододеяльнику, нарядному подзору. Рассказывали об отроке.

Есть такой отрок-целитель, голубиный, а где проживает — неизвестно.

Она стала видеть его во сне: то худым и бледным, то краснощеким, то в старинном кафтанчике, как боярское дитя с календаря, то в черной схиме, как монах.

Но и сны, и думы об отроке посещали ее только в дни, когда проявлялось откровение. Грудь ее как бы раскрывалась, вбирая в себя свет и воздух всего неба. Наталья слышала щебетанье веселых птиц, обильно населяющих землю, и серебряный смех детей, легкой толпой окружающих ее; она погружала свое тело в волны ясного света, и все тело ее таяло и обращалось в этот свет, она теряла ощущение плоти, и — когда она выкрикивала беспамятные слова — жгучее счастье терзало ее душу.

Падала, как скошенная; губы закушены. Бабы на селе судачили: одержима бесом.

Броков, жалея жену, в то же время считал ее болезнь грешной, а поэтому жену свою — виноватой в ней. Все это было неприятно и могло ему повредить. Он полагал, что пришло время выдвинуться. В России шли забастовки, то здесь, то там политики стреляли в сновников, недавно бомбой разорвало Плеве. Кой-где волновались мужики.

Волость его была спокойна: с одной стороны, он гордился ею, рапортуя, что его ревностная служба тому причиной; с другой стороны, он жалел, что в волости все спокойно, потому что не на чем было отличиться. Политик, удравший из хлева в Ловцах, лишил его сил и покоя: прозевал случай, упустил из рук! О новых политиках не было слышно.

Дурная слава, приставшая к его жене из-за ее болезни, раздражала Брокова: он любил ее без памяти, но считал, что она виновата в своей болезни, и сердился на нее.

Позвать фельдшера? Земский фельдшер неуч, скотина-скотиной, пьяница. Броков с'ездил за доктором, несмотря на то, что доктор слыл либералом и печатал в губернской газете статьи под

общим названием: «Суеверие и темнота народа, как злейшие враги народного здравоохранения».

Из тарантаса вылез немолодой симпатичный человек в чесучевом пиджаке и в пенсне на широкой ленте. Он был похож на Чехова и любил, когда его спрашивали, не родня ли он Чехову. Чехов этим летом умер в Баденвейлере от чахотки, и теперь доктор, по слабости своей, любил врать о том, что не однажды бывал у Чехова в Ялте.

Доктор долго чистился на крыльце, подставляя веничку (веничком работала Варварка) то спину, то живот, то ноги. Он наперед сказал Брокову, что с народа денег не берет, но с урядника возьмет, потому что деньги урядникам даются легко и несраведливо.

Броков послушал его добродушный смех и подумал: доктор шутит. Но глаза у доктора были серьезные, и Броков подумал: издевается. Наталья поглядела на него молча, равнодушная ко всему. Доктор недолго мучил ее. Помавив пальцем Брокова, он вышел в горницу. Броков презирал доктора за то, что он либерал, и немного уважал за то, что берет деньги.

— Не импотент ли вы, урядник? — спросил доктор с серьезными глазами, но с добродушной усмешкой.

— Как говорите? — спросил Броков.

Доктор в осторожных выражениях, но цинично по смыслу, начал выспрашивать урядника о его половой жизни. И опять Броков подумал, что доктор — очень почтенный человек, если предупреждает его о дурном поведении Натальи.

Доктор не прописал никакого лечения, сказав, что нужно довериться времени и стремлению самого молодого организма к самоисцелению.

Однако шли недели, а откровения не оставляли Натальи. И как-то само собою вышло, что в дом Брокова стали заглядывать всякие пешеходные безадресные люди: страннички, носящие железа, молитвенные бабки, болеющие религиозной страстью, монашки, бездомные процальги, похожие на разбойников, но знающие всех угодников на русской земле и их адреса.

Все они давали советы, как лечить припадочную, и ловчились заночевать у Брокова, чтобы даром покормиться. Броков подолгу ходил меж них, как барышник среди лошадей, приглядываясь, которому можно верить, а которого гнать взашей.

Но и от этого народа долго не было никакого толка. От речей кругом шла голова. Одни советовали ехать в Печерскую лавру, другие на Афон, третьи к Иоанну Кронштадтскому. И хотя Броков верил, что во всех этих местах можно вымолить исцеление жены, но он понимал также, что это будет стоить дорого, да и не с кем отпустить жену.

Одна старушка сказала, что не так далеко от здешних мест спасется некий блаженных дел отрок Никифор, по званию — голубиный. Но дороги к нему она тоже не знала, говоря, что дорога откроется во сне, если перед сном усердно и доходчиво помолиться богу. Старушка была живая, руки и лицо высохшие, голос — бас. Она ночевала подле Натальи, уча ее молитве громким шопотом, от которого просыпались мухи.

Но и во сне не открылась дорога к отроку. Однако через странников по округе пошел слух, что Броков ищет отрока, и однажды — вскоре после петровок — во двор вошел здоровенный, цветущий и угрюмый мужчина в курчаво-цыганской бороде, в расшитой крестиками косоворотке под двубортным пиджаком. Ступал он грузно, на правом глазу носил бельмо.

Броков сидел на крыльчке с захожим старичком, который шатался по России из любопытства, чтобы не застоялось сердце.

Брат Сергей снял перед Броковым большой кучерской картуз с глянцевым козырьком, обнажив розовую лысинку, светящуюся в дремучей чаще его волос.

— Мир дому твоему, хозяин, — сказал он неповоротливым языком и, увидя в руках старичка ломоть хлеба, густо усыпанный крупной солью, прибавил: — Хлеб да соль.

— Ешь, да свой, — язвительно откликнулся старичок.

Наклонясь к уху Брокова, он зашептал суетливо:

— Знаю его, сынок: мерзавец он первых сортов. Вот слушай, какие загибы пойдет загибать, шушера дорожная.

Брат Сергей покосился на него здоровым глазом.

— Имя мое — брат Сергей, слышали, надо знать?

Броков подвинулся, давая пришедшему место, и брат Сергей, сев, вынул табакерку с райской золотоперой птицей на крышке, отогнул большой палец на руке, насыпал в соколочек понюшку и вообрал ее в ноздри с соколочка. Табак его не пронял. Он насыпал понюшку побольше на ноготь пальца и понюхал уже с фырка.

Старичок дожевывал хлеб, собрал в горсти крошки и кинул курам. Потом он вскочил на ноги и, раззадорясь, спросил брата Сергея в упор:

— Отвечай, кто ты есть?

— Раб господен.

— Власть имеешь каку?

— Власть господина бога моего.

— А откуда власть взял? Кто подарил? На дороге подобрал или в трактире из чужого кармана вытащил? Может, ты забастовщик или смутьян, или японский шпион. Как такой? Почему такой? Какой паспорт имеешь?

Зыркнув на него бельмом, брат Сергей ответил сдержанно:

— Паспорт дело земное, а мой разговор о небесном.

— Ты паспорт-то все-таки покажи, — сказал Броков осторожно и удивился, когда брат Сергей, запустив пальцы за голенище, действительно вытащил потрепанный, весь в черных пятнах, паспорт. Уже это одно, что брат Сергей носил при себе паспорт, показалось Брокову нечистым делом. Он поглядел странички на свет, проверил печать. В паспорте значилось, что брат Сергей — крестьянин Томской губернии. Броков похлопал паспорт ладонью и вернул его владельцу.

— Издалека приходишь, — язвительно проговорил старичок, — из самых каторжных и ссылочных мест. А почему ты оказался посерединке России, это неизвестно.

— Ничего, — сказал Броков, не зная еще, доверять или не доверять брату Сергею, — паспорт у него справный.

— И все можешь содейть? — не унимался старичок, ища сочувствия у Брокова. — Людей можешь лечить? Можешь женщину вернуть к здоровой жизни?

— На то воля господня.

— Каждый может сказать: воля господня, деньги взять, а женщина попрежнему лежит больная в постели.

— Захочет бог, сегодня ты жив, а не захочет — умрешь и сотлеешь. Все дело в том, чтобы бог захотел.

— И священного отрока место тебе известно?

— Про то с хозяином станем говорить. Что же, хозяин, — сказал он, переводя взгляд на Брокова и показывая, что старичок не имеет для него никакого значения и что он сейчас прищепит его пальцами. — Я не какой-нибудь расстрига, не беглый послушник, при мне бумаги, я и в гостинице могу иметь постой, коли захочу. Я не какой-нибудь побродяжка, которому давно в богадельню пора, а он, гляди, рыщет по зажиточным домам, зубы заговаривает, а там — гляди — и кошелечек у хозяина стоштит.

— Кто это стоштит? — заволновался старичок, — кто стоштит?

Его белые дряблые щечки вспыхнули, он так был обижен, что, казалось, сейчас сотлеет от обиды у всех на глазах. Броков, глядя на него, вдруг удивился, как мог сидеть с таким ущемленным стариком и слушать его суетливое бормотанье.

— Молчи, — прикрикнул брат Сергей на старичка, — молчи-и! Брата Сергея сибирская гайга знает, алтайские реки Бия и Катунь, а теперь все центральные губернии, и от московских купцов у меня есть благодарственная грамота. Я не помимо бога целую, а с богом. Брат Сергей — уши русской земли, все горе людей слышат, слезы сирот, а также то, как червь болезни людское тело точит. Есть еще брат Никифор, тот — глаза русской земли. Куда ни глянет, там расцветает радость. Оба мы на русской земле исключительно

одни. Все остальные целители либо притворщики, либо шельмы.

— Что касается меня, — сказал старик, с мучительным усилием собирая крохи своего изветшавшего достоинства, — то я не целю. Я хожу по России исключительно из любознания, и меня все люди любят. Куда ни приду, там меня и любят.

— Ну и ступай дальше, если тебя везде любят.

— Очень меня везде любят, — бормотал старик, уже не надеясь, что Брокков встанет на его защиту, и видя, что ему здесь, с приходом брата Сергея, делать больше нечего.

— Верно, ступай себе, — сказал Брокков и равнодушно махнул рукой.

Старик поднял на него глаза, полные слез. От бездомной жизни он, видимо, устал, и у него не было решено, куда идти дальше. Брокков нетерпеливо грыз травинку, постукивал пяткой по ступеньке крыльца. Слеза соскочила с белого века старичка.

Он сказал прыгающими губами:

— На дорожку мне пышечек бы.

— Ступай, ступай, — раздраженно сказал Брокков и опять махнул рукой, а брат Сергей прибавил угрюмо:

— Скатертью дорога, буераком путь.

Волоча ноги, старик пошел к калитке, но злость, которую он носил в себе, пряча от людей, кидавших ему милостыню, вдруг охватила его с резкой силой. Терять здесь было нечего. Углы его сухих лиловых губ оттянулись книзу, открыв черенки сгнивших зубов.

— Пропади с бабой твоей, чортов фараон! — крикнул он с визгом, плюясь слюною. — Перевешать вас, полицейских собак! Ну-ка, проезжай когда ночью по дороге, попробуй-ка...

Он повернулся и резво побежал проулком, собака, вышугнув из подворотни, увязалась за ним, захлебнулась в лае.

В горнице сидела на полу Варварка, скучала, томилась. Ей велено было ждать, не позовет ли Наталья: помочь, в чем придет нужда.

Она подняла испуганные глаза на брата Сергея.

— Твоя, что ли? — спросил брат Сергей Броккова.

— Моя.

— Хорошая, — сказал брат Сергей, проходя мимо, — примерится к жизни, обойдется.

От его неясных слов в комнате будто потемнело. Брокков провел брата Сергея к жене. Наталья загородила глаза руками, испугавшись его черного лика. Она была так слаба, что от этого легкого движения в ней поднялось сердцебиение. Брат Сергей молча отвел ее руки. Не открывая глаз, она кожей почувствовала его взгляд. Ей захотелось натянуть на плечи одеяло, да не достало сил.

— Выйди, — сказал брат Сергей Броккову.

Тот прошел мимо Варварки, вышел на крыльцо. Насидел себе местечко, никак не расстанется с ним! Каретник с новой тесовой дверью, хлев под соломой, лохмоногие плимутроки в ямках, выкопанных в пыли, слезы, курчавая дворовая травка, — Брокков вдруг почувствовал, что у него ни к чему нет вкуса.

Что Наталью жалеть-то? За что жалеть? Лежит, как бревно в болоте, смотреть тошно. Да и верна ли? Слова доктора бередили сердце — верна ли?

Он подумал: «Вот отдышись только, возьму вожжу, я у тебя попытаю!».

Но он знал, что никогда не поднимет на нее руку, презирал себя за это и ужасался силе своей любви к ней. Жалость сидела в груди, как чахотка. «Узелком завязала мою жизнь, присосалась, как пиявка. Уж померла бы!».

Он вспотел от ужаса, представив, как Наташка лежит мертвая, губы легкие, а не говорят и не целуют.

XI

Расходы предвиделись порядочные. Решили ехать без напутственного молебна. Гриша подал к крыльцу легкий вымытый тарантасик с плетеным кузовом. Наталья, бледная, как облако, но счастливая тем, что долго не увидит мужа, проворно и без чужой помощи забралась на сиденье, на подушку в красной наволочке.

Варварку посадили рядом с нею, а брат Сергей сел рядом с Гришей, накрыв козлы.

Броков заботливой рукой подбил сена под ноги жены. Под сиденье засунул узелки со снедью, неприметно пощупал на жене, хорошо ли пригнан под грудь гайташек с деньгами.

Наталья отдернулась: последнее время она с трудом сдерживала в себе отвращение к мужу.

— Коня не опои, — скучно сказал Броков Гришке, — на Бабушкином спуске ось не поломай. С целителями там не пьянствуй, хозяйке не дерзи.

Гриша, держа руку на отшибе, показал коню кнутовище, тарантас мягко выехал за ворота, запылал по дороге. Придерживая ворота и слыша, как легкий ветер шевелит его ус, Броков глядел вслед тарантасу, ждал, что Наталья оглянется.

Она не оглянулась.

Как деревянная, сидела возле дочери, полные руки на коленях, взгляд уперла в широкую спину брата Сергея.

Когда миновали село, вздохнула, улыбнулась солнцу. «За что жизнь моя сломалась, — подумала она, — за что ненавижу мужа?». Теперь она думала, что никогда не любила, не жалела, даже не забавлялась им. Всегда он был нехорош и груб, и любовь его обижала ее. Была молода, на все закрывала глаза. А теперь стала болеть да стареть. Перед кем теперь притворяться, перед кем тщеславиться?

Но тут же, словно испугавшись, она думала о себе: «Какая раскормленная баба едет, чего ей надо, другие на полосе спину гнут, детей рожают каждый год, сносят побои, не цветут, а доцветают, не расцвев. У других мужья, братья, сыны на войне или в царских тюрьмах. А ты? И до старости далеко. Не так уж короток женский срок».

Ей подумалось, что отрок не примет ее молитвы: богатые и сытые у бога не в милости. Так оно и выйдет на поверку: короток женский срок.

Она ждала, что ей станет тоскливо, а вместо этого радовалась всему: как у коня под'екивает селезенка, как стелются вокруг заказанные к покосу луга,

полные звона: пчелы пошли за взятой.

Над цветным ковром лугов разлита радость бытия: насекомое и зверь, птица и растение, всяк дышит, наслаждается, живет на свой лад, а уж человек не проживет ли?

Сейчас, в солнечном дне, даже брат Сергей, давеча напугавший Наталью, не был страшен. Мужик, как мужик, курчавая борода, басистая глотка. Опять Наталья ко всему была ласкова и легко смешлива. Она не догадывалась, что ласковость ко всему есть равнодушие, а смешливость — только подмена радости.

Ей захотелось посмеяться над Гришей, над братом Сергеем. Еще ей захотелось, чтобы встречные бабы кланялись ей, говоря между собой:

— Кто такая?

— Или не знаешь? Жена урядника: Дочка лавочника.

И вот она снова была прежней: ни гром церковного проклятия, ни Илья Сергеевич, ни темная сила, от которой она ехала лечиться, не тревожили ровного состояния ее духа.

Варварка подметила, что мать ласковая, сползла на дно тарантаса на рептух, набитый сеном, обхватила материнские колени.

Глядела ей в лицо снизу:

— Мам!

— Что, доченька?

— Папку-то я не жалею. А ты?

— Чего его жалеть? Он живет, как хочет.

— А ты, что ли, не так?

— Я-то вот хвораю.

— Перехвораешь как-нибудь. Поклонимся отроку, денег подарим, — он тебя разрешит.

— Поклонимся, доченька.

Колени у матери теплые. Солнышко жаркое. Ветер пахнет травой.

Варварка опять:

— Мам!

— Что, доченька?

— Ругают в народе урядников-то. Говорят: царевы псы, фараоны.

— Кто говорит?

— Народ говорит. Какой народ побойчей, тот и говорит.

Наталье захотелось верить, что народ ругает Брокера, это было смешно и приятно ей: так остыла в ней душа к мужу.

Наталья принялась расспрашивать Варварку, как еще ругают урядников.

— Сволочами, — сказала Варварка.

Наталья засмеялась. Варварка приснула в ладонь.

— А еще как?

— Селедками, — сказала Варварка.

Наталья смеялась, вскидывая полные плечи. Варварка закисло от смеха.

Брат Сергей пристыдил ее, не оборачиваясь с козел:

— Стыдись, женщина, своего смеха. За милостью едешь, а дьявола тешишь. Дважды тяжел твой смех: над мужем смеешься и еще над властью, поставленной от бога.

И хотя слова брата Сергея были разумны, но сказал он их так невсамделишно и картинно, что Наталье стало еще смешней, она прижала свой лоб ко лбу Варварки, и обе оне смеялись, зажав ладонями рты. Так они ехали очень долго, запылились, разомлели от солнца. Конь бежал ровно, потянулись луговые озера, заросшие густым коленчатым хвощом.

В селе Дединове остановились ночевать. На въезде в село, на плешивом утоптанном бугре стоял постоянный двор вдовы Прасковьи Митревы, известный на весь уезд, и ее большой трактир с широкими итальянскими окнами, которые в ту пору на селе были в редкость.

Уже загустели сумерки, окна трактира были освещены, на крылечке толпился народ, больше бабы.

Митревна, высокая, мужиковатая старуха в высоких сапогах и короткой юбке, в чистой кофте, вышла сама принять лошадей и молча поклонилась Наталье. Старухе уже было известно, что Наталья страдает падучей и что она едет к отроку Никифору.

Она пошептала с братом Сергеем. Брат Сергей спросил, нет ли в трактире пьяных.

— Пьяных нету, — ответила Прасковья Митревна, — а два отпусных

солдата на побывку идут, раненые, по этому и народ собрался.

— Тогда веди дамочек в трактир, пой чаем. А я погода приду.

В трактире за столом возле стойки сидели два солдата, сначала показавшиеся Наталье на одно лицо. Народ, пододвинув табуретки к их столу, сидел вокруг них.

Малый в ситцевой рубашке, по-трактирному расторопный и услужливый, согнал с дальнего стола, у окна, двух молодых баб и встряхнул залитую чаем и засаленную скатертку.

Наталья села сама и велела садиться Варварке. Брезгуя трактирным и сберегая деньги, она велела малому принести из тарантаса кулек и заказала пару чая.

Разговоры за солдатским столом оборвались. Народ косился на Наталью. Она услышала, как один из солдат спросил громко:

— Это чья же будет лебедка?

— Брокера, урядника жена, — сказали в народе.

— Штучка, — сказал солдат. — Видать, с больших доходов урядник разжился.

Никто не засмеялся, и Наталье стало не по себе, и она ждала, когда на нее наглядятся, наконец, и забудут про нее.

Под потолком от движения воздуха слегка покачивались две большие висячие лампы под жестяными абажурами. Дверь на улицу была раскрыта. С шумом чертили воздух повечорки и расширились о стекла ламп.

Малый принес кулек, подал чай в больших белых, с голубенькими вензелями, чайниках. Тогда, из-под пара, бывшего из чайников, Наталья оглянула народ и подивилась, что баб больше, чем мужиков, а мужики все старые. Она поглядела на солдат и вспомнила, что идет война и что в деревнях мало осталось молодых мужиков.

Солдаты оба были нестарые, оба страшные своей худобой, но теперь она увидела, что они вовсе не похожи друг на друга. Тот, который сидел прямо против нее, был высокий, с узкими плечами. Взгляд у него был дерзкий, а губы мягкие. Его товарищ тоже был худ, но

широкоплеч, лицо черное, под подбородком и кой-где на щеках, кустиками, отросла борода.

Женский, не то жалеющий, не то иронический, голос сказал из народа:

— А мы-то за вас молебны поем. Во-на как вы там воюете.

— Так мы там и воюем за Россию,— сказал злой солдат с жаром, поднял кулак вверх и отогнул указательный палец. — Приходит однажды к микаде ихний японский шпион и говорит: ихний Порт-Артур силен, да Стессель слаб, нужно того Стесселя деньгами поманить. «Что ж, — говорит микадо, — это, пожалуй, можно». Поманили Стесселя деньгами, получили все военные секреты, побили солдат и завоевали Порт-Артур. «Еще чего скажешь?» — спрашивает микадо шпиона. А тот отвечает: «Войско у русских сильное и дерется богатырски, но Куропаткин у них слаб, надо поманить Куропаткина деньгами, чтобы велел своему войску быть битому». «Что ж, — говорит микадо, — это можно». Поманили Куропаткина деньгами, тот отнял у войска оружие, японцы долбят по безоружному войску и берут города.

— Вон как! — сказали из народа.

— А однажды приходит к царю наш русский шпион и говорит: «Ваше, — говорит, — величество, все вызнал, все выведал, у японцев сильна артиллерия, а наша будет послабей». «Наша послабей? — спрашивает царь, — а ихняя посильней?». «Так тебе честно говорить» — отвечает шпион. «А раз ты так честно говоришь, то, видать, тебя перекупили японцы, иди ты на казнь». Он и ушел на казнь.

— Не поверил, стало быть, царь-то? — спросили из народа.

— Не поверил.

Старик в зипуне оглянулся на Наталью, сказал сердито:

— Ты про царя дурного не говори. Его бог наследником подарил, России на славу. Не царь виноват, что нас японцы бьют, а министры и генералы, и полиция, и урядники.

— Ты потише про урядников-то.

— А чего от урядников правду скрывать? Каков Савва, такова ему и слава.

— Вот ты покричи, покричи, — сказал дерзкий солдат, поднял толстые веки и ненавидящими глазами поглядел на Наталью, — она тебя послушает да и запомнит.

Народ повернулся к Наталье. Она поднесла блюдце к губам, тянула из него чай, с удовольствием слушая рассказ солдата, чувствуя, как ясно насыщается ее спокойное любопытство разговором этих людей, а тело — пищей, и вдруг рука ее дрогнула, чай пролился на скатерть. Она увидела, что солдат и народ смотрят на нее. Она долго не могла понять, что случилось, почему народ, который всегда кланялся ей, как жене урядника, теперь ожесточен против нее.

Она растерялась, ей вдруг подумалось, что Барварка, быть может, сказала что-нибудь озорное или еще чем-нибудь обидела солдат.

— Запомнишь? — повторил дерзкий солдат и вдруг стал шарить рукой позади себя. Откуда-то из-под стола он вытащил большие костыли с обтянутыми парусиной, темными от пота подмышниками.

Он долго прилаживал их — они раз'езжались по полу.

Но он овладел ими, встал и оперся на них: Наталья увидела, что правая нога у него отхвачена по колено и из-под шинели торчит култышка. Легко ставя костыли и тяжело здоровую ногу, он прошел между столами и остановился против Натальи.

Он отвел полу шинели и, постучав кулаком по обрубку ноги, закричал каким-то взмывающим, почти веселым голосом:

— В работнички не возьмешь, хозяйка? Пашу, столяру, клей да мыло варю, а опричь всего, танцы танцую, самое подходящее дело. Сейчас иду до дому, да боюсь, баба заругается: куда, скажет, ногу дел, очень ты мне без ноги нужен! Так не возьмешь ли в работнички?

Прасковья Митревна громко сказала из-за стойки:

— Ты что к ней пристал, воин? Воевал бы лучше, вот и был бы с ногой.

Наталья отвернулась к стене, расстегнула кофту, стала нашаривать гайташек на груди.

Пока она доставала деньги, в чайной зашумели, какая-то молодка, вспомнив мужа, вдруг заплакала, а солдат все стоял перед Натальей, оживление сошло с его лица, заменившись растерянностью.

Наталья достала полтинник, положила его на край стола, сказала тихо:

— Возьми, служивый.

Он поглядел на полтинник, ответил так же тихо:

— Не надо.

Потом медленно протянул руку, поставил к столу ладонь и двумя пальцами другой руки смахнул полтинник на ладонь. Полтинник со стороны орла был потертый, по краям надкусан. Наталья глядела не на солдата, а на полтинник в его ладони.

Солдат выпрямил пальцы, зажал монету в кулаке и вдруг, размахнувшись, швырнул ее на пол. Вихляя, она ударилась о стойку.

Потом, все так же бухая здоровой ногой по полу и стуча костылями, он среди молчания дошел до стойки. Потом он, привычно изловчаясь, сел против товарища, положил костыли на пол.

— Угощаю, служивые! — закричал в народе лохматый старик, полез за пазуху.

Прасковья Митревна ушла в соседнюю комнатушку, за красную занавеску, вернулась и, обтерев подолом донышко, поставила бутылку перед солдатами. Злой солдат лихим движением взял бутылку, поднял ее над головой. Водка зарокотала, забулькала, вливаясь в стаканы.

Народ опять тесней сдвинулся вокруг солдатского стола, — глядеть, как угощаются раненные солдаты.

Спала Наталья с Варваркой в дальней — ко двору — летней клети, куда Прасковья Митревна гускала на ночлег редких проезжих. В комнатке окно не растворялось, было душно. Варварка спала, высвистывая носом. Под навесом во сне всхрапывал конь. Наталья слышала, как вернулся во двор брат

Сергей и, ворча, полез на сеновал, — видно, бегал по селу, искал страждущих для отрока Никифора.

И долго она слышала, как в трактире, угощаясь, невесело поют раненные солдаты.

XII

Едва занялся рассвет, брат Сергей постучал к Наталье в окошко. Наталья разбудила Варварку. Они вышли во двор. Знобко, зевота сводит челюсти. Гриша, выкатив тарантас из-под навеса, впрягал вычищенного, уже накормленного коня. Брат Сергей, давая советы, как лучше и скорей запрягать, сел на нижнюю ступеньку крыльца, в ногах Натальи, насыпал табак на ногу большого пальца, потянул с фырка.

Сейчас же из-под навеса, положив слабую руку на плечо мальчика в длинной свитке, вышел древний старец, слепец. Узнав от Гришки о женщине, едущей к отроку за исцелением, он давно ждал выхода Натальи, сидя под соломенным навесом, среди мазниц, из которых торчали вымаранные в дегте квачи. Старец был широкой кости, прямой, с коричневым румянцем на гладких, как стекло, щеках. На голове его торчала шляпа, называемая в народе буфеткой: из овечьей шерсти, заваренная в кипятке и сушеная на солнце. Он свободной рукой снял шляпу, обнажив густые и крепкие седые волосы.

Слепец и поводырек остановились перед Натальей, глядя ей в лицо: один ненавидящими и тусклыми, другой зрячими, живыми и маслянистыми глазами.

Старик надавил пальцами плечо мальчика, и оба запели:

Как расплечется мать сыра-земля
Самому Христу, царю небесному:
Как много на мне, на земле,
Скверности и бедностей,
А больше того — беззакония.

У мальчика голос хриплый, у старца альтовый и чистый. Наталья растрогалась тем, что слепцы поют для нее, зная ее горе.

От их заунывного пения ей стало жалко себя, она полезла за гайташеком, но Варварка сказала:

— Чего им давать? Может, они не божьи, а обманщики.

— Дай им творожников, женщина, и дело с концом, — сказал брат Сергей, нюхая табак.

Старец, услыша их разговор, перестал петь. Мальчик, выйдя голосом вперед, дотянул фразу и тоже замолчал, прерзительно глядя на людей.

Видя, что песнопение не нравится, слепец передохнул, потом гармоникой наморщил лоб, все лицо его собралось в прямые, гнутые и кривые складки.

Он надавил пальцем на плечо мальчика и вдруг выкликнул нараспев, напряженным голосом:

— Смерть, а, смерть, это ты?

Мальчонка ответил хрипло:

— Это я, это я!

— А откуда ты пришла?

— Где была, где была!

— А пришла ты не за мной?

— За тобой, за тобой!

— А уйдем мы далеко?

— Далеко, далеко!

Они пели поочередно и очень прочувствованно: один — будто умирающий — вопрошал смерть, а другой — будто смерть — отвечал ему; от этого пение их производило сильное и мрачное впечатление.

Наталья вложила в руку слепца деньги и вдруг стала торопить ехать.

Отоспавшийся и хорошо кормленный конь вез тарантас легко, уже совсем рассветло, дорога с высокой местности сбегала в низину. К самой дороге с правой стороны подступило яркозеленое, жирное болото. По нему, бесстрашно вонзая свои длинные ноги в топь, бродили кулики.

Гать дробно застучала под колесами тарантаса.

«Господи, зачем люди так мучают друг дружку? — думала Наталья, туже стягивая свои плечи платком, — я мужа мучаю и Варварку не люблю, генералы мучают солдат, посылают их в Манчжурию, слепцов бог мучает, отнимает зрение, слепцы меня мучают, пугают смертью. Варварка козявск мучает, кошек».

Ей странно было вспомнить, как вчера она весело думала про жизнь, а ведь

и сильный зверь терзает слабого, и траву точит червь, и даже дерево в лесу глушит более слабое дерево. И ей так страшно стало смерти, будто смерть села к ним в тарантас; она-то, Наталья, думала, что, чем ближе к отроку, тем дальше от смерти, а от смерти никуда не уедешь.

Варварка задремала, прислонившись к Наталье плечом и головой. В смятении души Наталья схватила ее, прижала к себе; во сне Варварка улыбнулась, замычала.

За что Наталья не любила Варварку? За что гнала от себя? Варварка вспомнилась маленькой. Ручонки красные, глаза нахальные. Давая ей грудь, Наталья испытывала облегчение оттого, что молоко перестает ее мучить.

Но после кормления отшвыривала Варварку. Почему? Уже в младенчестве Варварка напоминала отца: косила, как он, и ее мягкие игрушечные губки обещали стать толстыми и многомясыми, отцовыми губами. Навязал господь обузу!

Кажется, никого на свете Наталья не любила. Кого любить? Отец хоть не дрался, да был чужой — посторонней крови. Матери не знала. Муж постылый: мордобоец, а трус и баба. Варварка — его семья.

Никому Наталья не хотела счастья и веселья, — только себе одной.

Полюбить бы Варварку от такой сердечной пустоты? Как суки любят: чтобы за щенка горло перегрызть. Найти бы силу-волю для такой любви.

«Вот выздоровлю, — подумала она с надеждой, — найду в себе такую силу-волю».

От этой надежды, где-то далеко забрезжившей перед нею, от бессонной ночи и тягот долгого пути Наталья задремала, обняв Варварку. Тарантас, в'ехав в сосновый лес, покачивался на вязкой корневистой дороге. Зяблик позванивал в ветвях, по лесу, шумя, ходили валы ветра.

Больше Наталья ничего не слышала: заснула изо всей мочи.

Ее разбудил громкий голос брата Сергея, сказавший:

— Ну, приехали.

Лошадь шагом тащила тарантас по немощеной улице городской слободы. Вилась пыль, над крышами убогих, похожих друг на друга домов охорашивалась вечерняя заря. У колодца корова хлестала себя хвостом по пятнистым бокам. На рогу у нее сидел щегленок.

Иные домишки стояли без заборов, со всех сторон открыв гнилую наготу своих стен. Мальчишка с башкой, покрытой лишаями, пускал змея. Трещотка ползла к небесам по туго натянутой, гудящей бечеве.

Сидя на тумбе, опрятный старичок в люстриновом пиджачкепил водку из граненого стаканчика, бутылка стояла у него в ногах, в траве. Босяк поплясывал около старичка, поджидал «на-доньшка».

— Откуда, перещипанный, жалуеть? — засипел босяк, блестя на брата Сергея цыганскими глазами.

Старичок, аккуратно вытерев губы полой пиджака, ответил за брата Сергея:

— Да уж бесперечь от тех мест, где его теперь нету.

Брат Сергей скинул шапку; не глядя на слободских, соскочил с передка, отряхнул пыль со штанов и пошел рядом с лошадью. Он взял лошадь под уздцы и повел ее к дому с трех окон, низко вросшему в землю, так что окна почти касались заморенной городской травы, покрывшей тротуар.

— Здесь пока остановишься, — сказал брат Сергей Наталье и, наклонившись, постучал в окно. — Люди они хорошие, за постой возьмут недорого. Поживешь, пока не призовет отрок.

Наталья разморилась с дороги, устала. Думала: поскорей бы приткнуться куда-нибудь. Распустить на юбке тесемки.

Вскоре из калитки вышла молодая женщина, плохо одетая, белая кофта ее в подмышках и у груди пропотела. Она с любопытством оглянула Наталью. Глаза быстрые, так и бьют.

— К Никифору, что ли, за помощью? — спросила она низким и сочным голосом.

— К Никифору, — ответил брат Сергей, — здравствуй, пожалуй, молодка.

Он стал с ней шептаться, женщина согласно кивала головой, не сводя с Натальи блестящих черных глаз. Любопытство еще жарче разгорелось в них. Наталья так устала с дороги, что ноги ее, когда она вылезала из тарантаса, подогнулись. Варварка охватила ее бедра руками, но не смогла сдержать.

Женщина легко отвела ее руки, подхватила Наталью подмышки.

Комнату они занимали большую, разгороженную дощатой перегородкой, не доходившей до потолка. Чисто, но бедно. Железная кровать, накрытая шалью, подушка без наволочки, самодельная этажерочка с книгами. Над этажерочкой типографский портрет молодого парня: усы, могучие скулы, плечи кузнеца. Подпись: М. Горький.

Женщина посадила Наталью на лавку, стала проворить обед.

Так и летали ее локти.

— Дитёв у вас нету? — спросила Варварка с интересом.

— Нету, милая, нету, не дал бог.

Погремела печной заслонкой, сунула в зев печи ухват, вылез горшок. Вот он уж на столе. Вот и тарелки, солонка с солью. Ножом раз-два: два ломтя хлеба. Наталья закрыла глаза, чтобы не видеть мельканья ее сухих желтых локтей: с дороги у Натальи ослабела голова.

Подав на стол, хозяйка села против гостя, подперла ладонями щеки.

— Пока не обессудьте тем, что есть, сударыня, — сказала она на господский лад, — а потом, если дадите средства, я стану покупать для вас отдельно, как укажете. У меня хоть бедно, но чисто. Муж слесарь на заводе, денег носит мало. Отдает на забастовку, чем это кончится, разве скажешь? А еще я вас предупреждаю: мужу, сударыня, не говорите, что у вас супруг урядник. Он очень у меня до всякой полиции лютый.

— Хорошо, не скажу, — ответила Наталья, покраснев.

XIII

Фамилия хозяев была Качуровы; хозяйку звали Лизаветой, хозяина Алексеем. Наталья прожила у них уже не-

сколько дней, а отрок Никифор все не призывал ее. Она спросила у Лизаветы, нет ли здесь какого обмана, и оказалось, что многие дома в слободе заняты под постой людьми, приехавшими к отроку за помощью со всех концов губернии.

Лизавета сказала, что архиерей призывал отрока в свои палаты и поил чаем; что сам губернатор приезжал в слободу, пробыл у отрока около часу, а в коляске все это время сидел полицеймейстер, и городские отгоняли от дома отрока народ.

Наталья несколько раз ходила к дому отрока: он снимал четырехконный каменный флигель у чиновника казначейства. Двор порос высокой, по колена, травой, собака бегала на проволоке, со скрежетом возя кольцо; к отроку пускали только по вызову.

Брат Сергей опять уехал в губернию.

Наталья то верила в отрока, то начинала подозревать, что ее обманывают. Лизавета была внимательна к ней, Алексея она почти не видела: приходил поздно ночью, уходил на заре. В Лизавете она никак не могла разобраться, ее порывистые движения и быстрый говор досаждали ей. Верила она в отрока или не верила? Может быть, она и в бога не верила? Она все валила на мужа: «Мужу не говорите, сударыня; муж у меня неверующий, поэтому и не держим икон; муж говорит, что это мракобесие, а так слышала, что отрок помогает многим».

Наталье казалось, что Лизавета просто любит деньги и только из-за денег держит ее.

В город Наталья не ходила и не пускала Варварку: боялась, что ее на главной улице перережет конка. Прежде, раз или два в год, на святки или на масляной, муж привозил Наталью в город, чтобы она повеселилась. Он нанимал на постоялом дворе сани, лошадь была вся в красных ленточках, они часа два кружили по городу в веренице других разряженных саней — в этом и заключалось развлечение.

Однажды он повел ее в приказчий клуб на танцы, но там какой-то румяный молодой человек, неумеренно зави-

той, выпил за ее здоровье рюмку водки, и этого молодого человека она помнила весь год: при случае и без случая муж попрекал ее этим молодым человеком.

Города она не могла представить себе иначе, как зимой. На тротуарах сугробы, сады в охлбучинах снега. Город угрюмый, невеселый, стоял на тракте, по которому гнали ссыльных. Она не раз видела их. Позванивают кандалы, индевеют усы и бороды, слышны окрики солдат. В санках, укрыв ноги тулупом, покачивается конвойный офицер, пьянький по случаю мороза.

Ссыльных гнали со всех концов России, из Москвы и с Украины, с Оки и с Невы. Муж говорил о них: иродово семя. А ей было что? Не ее гонят!

Она не любила города. Не любила глядеть, как город карабкается в гору, выпустив из печных труб неподвижные хвосты дыма. На зимнем солнце горят кресты его восьми широкозадых церквей. Самое большое здание в городе — тюрьма; стены прочной кладки, на века; узкие окошки, затянутые железными брусьями; часовые в тулупах. Шумит базар. На снегу дымятся кучки конского навоза. Распаренные мужики пьют по трактирам чай и водку.

Чего глядеть в городе? Скука.

Сейчас, летом, в городе было и того тошней. Из-за пыли небо мутное, как помой. Все раскалено, отовсюду пышет жаром, душно.

Слобода больше напоминала деревню, и Наталью не тянуло из слободы. Она норовила отужинать пораньше, залезть под одеяло. Варварка калачиком свертывалась у ее бока, засыпала, как звереныш. Лизавета ложилась, не раздеваясь, чтобы в любую минуту открыть дверь мужу, когда постучит.

Лампу прикручивали. Наталья скукала по иконам, по лампадному свету. Стены голые, только Максим Горький глядит с портрета, усатый и долговолосый. Вот без вкуса живут люди!

— Ничего-то у вас нет, голые, как мыши, — пожалела Наталья.

— Это верно, что ничего нет, — быстро ответила Лизавета и прибавила непонятно: — ничего — кроме цепей.

Нет, Наталья не понимала Лизаветы и никак не могла сдружиться с ней. Она видела, как Лизавета бьется, чтобы на столе был хоть малый харч, чтобы белье было постирано и домохозяйину не должать, вносить квартирную плату без городского; она слышала, как за глаза Лизавета ругала мужа и забастовщиков. Но ей казалось, что Лизавета ругает его от внешней насады, а на самом деле рада, что муж отдает деньги на забастовку и что у них на этот счет любовное соглашение.

Они лежат — каждая на своей постели. Лизавета на полу, на сеннике, а Наталье дали перинку, взятую напрокат у соседней.

Наталья спрашивает:

— Скажи, Лизавета, чего это ваши мужья бастуют?

— Делать им нечего, вот и бастуют. Цари-лодыри.

— Вот и я думаю так-то.

Молчание.

Лизавета быстро говорит:

— А как тебе иначе думать?

— А что?

— Твой муж забастовщиков обязан бить. Разве он может бить их, если они не лодыри? Как же он тогда может бить их? Хороших-то, трудолюбивых людей он разве может бить?

— Трудолюбивых кто станет бить!

— Вот я и говорю: правильно думаешь о забастовщиках. Иначе тебе не годится.

В голосе ее, где-то в самой глубине его, слышится холодок. Опять Наталья не может понять Лизаветы и не может говорить с ней с той безоглядной свободой, с какой говорят между собой женщины-ровесницы. То ли Лизавета сердится, то ли смеется. Она — как речка: сверху тепла, а зайдешь поглубже — так и ожжет холодом.

Наталья лежит, насторожившись. В лампе огонь притушен, желтыми точками светятся дырки горелки; на скатерть от лампы падает тень; дырочки горят и на скатерти.

Вот куда захала — деньги идут, отрок не призывает, того и гляди, что Бровок осердится на долгую отлучку, придет стражника.

— Лизавета, — говорит Наталья, отталкивая Варварку, которая локтем уперлась ей в живот, — слышь, Лизавета, а ты отрока видела?

— Очень мне нужно, — говорит Лизавета, не то сердясь, не то насмехаясь, — какая я богачка, чтобы мне деньги на святость переводить. У меня все деньги считанные, до копейки. Как живут рабочие? У них ни в одной щелке света нет. Им все дорого. Бог — и тот недоступен.

— Бог бедному человеку куда скорей доступен.

— Как же! Без соборования не погрешь: не похоронят, ребенка без крестин в люди не выпустишь: заключут. Рабочий человек везде платит. Небось, и мужик платит так же. Небось, урядники за все берут: и за то, что подать не сешь, и за то, что не несешь, и за то, что шапку перед ними ломаешь, и за то, что не ломаешь.

— А злая ты женщина, Лизавета.

— Нет, я ничего. У меня детей нет. У кого у рабочих семьи большие, так вот те, действительно, злы.

— Как же сделать-то? Человек с рождения зол: родится голенький, его оденут в рубашку, а ему уже вторую хочется. Вторую дадут, он за третьей потянется. Нет, в достатке добра нет, Лизавета. Иные нищие счастливей богатых, у них этой жадности, этого зуда нет. Надо счастья искать, не денег.

— А ты отдала бы нищим деньги, — проворно говорит Лизавета, — может, взяли бы.

«Вот она какая нравная» — думает Наталья, лежит, смотрит на горелку лампы.

Она хочет говорить о всех людях, о всех женщинах земли, а Лизавета только о себе, о том, какая черствая корка ваяется на ее столе.

Она представляет себе черные глаза Лизаветы, ее сухощавое, быстрое тело. Ей уж не хочется говорить с ней. Неискренняя. На делах проворна, а в любви, наверное, холодна, как рыба, оттого и детей нет. Раньше Наталья думала, что все женщины крепко держатся друг за дружку: ревнуют, завидуют, бранятся, тщеславятся — а как дело дойдет до

горя, так все родные сестры. А Лизавета — щучка в бабьем карасевом пруду, скорей проглотит, чем даст себя проглотить.

Она еще не встречала таких женщин. Ей стало беспокойно, будто в тесной и уживчивой семье нашлась изменница.

Сквозь сон она слышала, как в ставень постучал Алексей. Лизавета схватилась с сенника, унесла лампу. За перегородкой озарился потолок.

Алексей вошел тихо, они говорили шопотом. Она расслышала: «Гони их к бедовой матери, Лизавета, не такое время».

Потом они погасили свет, она слышала, как они бросают одежду на стул, взбивают подушки. Ее охватила тоска по мужскому объятию, она разметалась в постели, и наутро Лизавета сказала ей, что ночью она смеялась во сне.

XIV

Наконец, появился брат Сергей и сказал, чтобы она собиралась идти с ним к отроку. Она, раскидывая пену, лихорадочно мылась над шайкой душистым мылом, собираясь, как на венчанье. Румян не стала класть: лицо осталось голое, простое, под глазами круги. Надела чистое белье, а поверх скромное платье. Лизавета сказала ей что-то, она не разобрала и не ответила: ах, поскорей, поскорей, она боялась опоздать.

Она вышла во двор, как в тумане, и ей вдруг показалось, что она ищет совсем не выздоровления от болезни, которая больше не докучала ей, а чего-то нестерпимо яркого, что прожжет ее до самого сердца. Она была, как в лихорадке, и уши, и глаза ее будто ошалели: хватала все, что ни подвернется: любой звук, любой предмет — и выбрасывали из сознания долой.

На крыше сарая в исподних штанах, в бесцветной рубашке с открытым воротом стоял старый рисовальщик Мишаил, кругами махая над своей головой мочало, присвистывая, садился орлом и разбитым дискантом кричал в небо: — Кысь-кысь-кысь!

В небе кружили чистяки, воркуны и плюмажные. Толстоногий рыжий турман

бросался на крыло, кувыркался через хвост и голову, катался вразнобой. То падал камнем, то взмывал к небу — и, увлекшись, не рассчитав расстояния, вдруг ударился об острую крышу голубятни. Рыжее тело его камнем свалилось в лопухи.

Мишаил горестно схватился за голову, стал сползать с крыши. «Вон как убили голубь» — ясно подумала Наталья.

Она вышла с братом Сергеем на улицу. «Вон пыль-то какая» — подумала она. Пыль была так обильна и жирна, что сквозь нее можно смотреть на солнце. Облезлый котенок подкатился под ноги Натальи, пестрый, в рыжих пятнах, мокрый. «Взять, что ли, котеночка? Что ты, что ты, — с испугом оборвала она свои мысли, — руки об него измарашь».

Кажется, она видела все, что было вокруг нее, и сбоку, и сзади, все замечала и все тотчас же выбрасывала из сознания долой.

Она узнала двор казначейского чиновника и лохматого гнедого яса на кольце и вдруг так свободно почувствовала себя на чужой усадьбе, будто родилась здесь, знает все закоулки двора, выгребную яму под дощатой перекрышей, могучие лопухи за баней, а во флигеле знает каждую комнату: жерваля поменьше, вторая побольше, во второй, в футляре красного дерева, старинные стоячие часы.

Брат Сергей шел молча и торопливо, закрывая от нее спиной крыльцо. Когда они подошли к крыльцу, брат Сергей полез в карман за табакеркой, и Наталья увидела на каменных ступеньках двух нищих.

Ей не нужно было вглядываться: она сразу признала в них старика-слепца и поводыря-мальчика с постоянного двора в Дединове. Дед, подняв гладкое лицо к солнцу, вслушивался в шаги Натальи. Она не удивилась, увидев их здесь: так все разумно, целесообразно, мудро и ясно развертывалось перед нею, и все было нужно, и если бы этих слепцов не оказалось здесь, то нарушилась бы гармония жизни.

Наталья сделалась легка, неуязвима и

воздушна. Блаженство все усиливалось, усиливалось в ней — и вдруг перешло в страх, и страх перешел в ужас: старик положил свою хилую, но цепкую руку на плечо мальчика.

Она увидела этот жест, и тотчас же услышала, как старик натужным, горловым альтом пропел:

— Смерть, а, смерть, это ты?

Мальчонка подхватил грозным голосом:

— Это я, это я!

— А откуда ты пришла?

— Где была, где была!

— А пришла ты не за мной?

— За тобой, за тобой!

— А уйдем мы далеко?

— Далеко, далеко!

С последним звуком песнопения Наталья шатнулась и, с пеной на губах, бесшумно упала на кирпичную дорожку, к ногам слепца.

Она очнулась в комнате, незнакомой ей: это была довольно большая комната, так тесно увешанная иконами, что на стенах ни для чего больше не оставалось места. Только в узком простенке между двумя окнами стояли часы в старинном футляре красного дерева, большой медный маятник ходил с приглушенным шорохом, и на резном футляре играли разноцветные огоньки многих лампадок.

Наталья уже не помнила своего откровения, она была так слаба, что сил у нее хватило лишь на то, чтобы поднять веки и смотреть прямо перед собою.

Перед ней по стене в три ряда тянулись иконы разных размеров, все в киотах, в серебряных и золоченых окладах. В отверстия их глядели черные богмазные лики спасителей, богородиц, мучеников и божьих угодников. Лампадки или спускались перед иконами на длинных металлических цепочках, или были вправлены в широкие стенные подлампадки. Огоньки лампад горели ровным, ясным светом.

Вдруг язычки шатнулись, будто пытаясь сорваться с фитильков, Наталья почувствовала движение воздуха, и перед ней, заслоня иконы, всплыло лицо, показавшееся ей почти бестелесным.

Лицо это было нежное и женственное. Щеки так худы, что ближе к ушам можно увидеть форму челюстей, обрисованных под розовой кожей. Нос с высоко вырезанными, похожими на миндалины ноздрями под углом, без переносицы, переходил в лоб. Глаза непостоянного, голубого или серого, очень светлого цвета. Брови русые, длинные волосы, стриженные в скобу — желтые, как зерно.

Быть может, в этом лице не было ничего необыкновенного, оно не было ни дурно, ни красиво, но эти непостоянного цвета глаза сообщали ему странную, полубесплотную зыбкость — хотелось коснуться этого лица, чтобы убедиться, что оно телесно.

Наталья опустила веки. Она была слишком слаба, чтобы волноваться, но сознание здесь же подсказало ей, что перед нею Никифор, отрок голубиный, который даст ей исцеление от болезни.

Испуг ее прошел.

Она уже не способна была ощутить прежний восторг, но доверие к отроку было так сильно в ней, что она вдруг успокоилась, открыла глаза, стала смотреть на отрока и слушать, как си движется и что станет говорить.

Когда она открыла глаза во второй раз, головы отрока уже не было перед ней. Светили лампы, сияли на окладах накладное серебро и золото, темнели лики.

Она услышала голос Никифора, идущий сбоку. Ей нехватило сил повернуть голову.

— Как имя? — спросил голос отрока Никифора.

— Наталья, — ответила она одним движением губ.

— Чем живешь?

Она подумала, потом сказала:

— Богом.

— Чем еще жива? — продолжал спрашивать он плавным и свободным голосом.

Снова подумав, она ответила одними губами:

— Грехами моими. И еще надеждой исцелиться.

Отрок бродил где-то в ее головах; был, вероятно, босой — шагов не слыш-

но. Только опять скопились, грозя улечь, язычки пламени на фитильках.

— Безрукий клеть обокрал, — сказал отрок быстрым голосом, — голопузому за пазуху наклаал, слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой караул закричал, безногий в погонь погнал. Что это?

Наталья молчала, не зная, что сказать.

— Или так, — сказал отрок все тем же быстрым говорком, — диво варило пиво: слепой увидал, безногий с ковшом побежал, безрукий сливал, ты пила да не растолковала. Что это?

Она опять не знала, что ответить. Отрок Никифор положил ладонь на ее лоб. Ладонь была прохладная и скользкая, как рыба.

— Молись богу, Наталья, — сказал отрок Никифор, — и думай про то, что я тебе задал. Ответишь, дам другие вопросы. Чем скорей ответишь, тем сильней исцелишься.

Она стала думать, думала до ночи и заснула. Так как она дала брату Сергею тридцать рублей вперед, то ее не гнали к Лизавете. Ей отвели чулан в конце коридорчика: там она и спала эту ночь на полосатом матрасе, набитом морской травой. Она спала здесь и следующую ночь и послала сказать Лизавете, чтобы та приглядела за Варваркой.

Она вдруг очень успокоилась: ее перестали мучить плотские желания, ничто не тревожило ее: все дни, в большой душевной слабости, она валялась на своем матрасе. Брат Сергей приносил ей пищу и каждый раз говорил, что отрок Никифор молится за Наталью и молитва его успешна.

XV

На то, чтобы добраться до города, Капитону Ивановичу пришлось затратить три дня. Часть пути он сделал пешком, часть на крестьянских подводах, груженных новенькими решетками, лаптями, табуретками, выпустившими на белоснежное дерево едкий сосновый сок: недавно мужики справили Онуфрия, когда всей деревней идут в лес, с песнями драть лыко.

Теперь мужики везли товар в город.

По дороге Капитон Иванович говорил с ними о земле. Они смотрели на дело просто: если в городе подсобят рабочие, то взять землю без выкупа, потрясти портами да и засеять.

В полдень третьего дня подводы проехали плашкотный мост через Медведицу, Капитон Иванович простился с мужиками и через город пошел на вокзал. Он решил уехать с первым поездом в Петербург, через выборгскую организацию связаться с петербургским комитетом.

Он чувствовал себя здоровым, и губа, и ухо поджили, только еще оставалась легкая глухота. Капитон Иванович шел Базарной улицей, мимо маленьких, плохеньких лавок, на раскрытые двери которых были натянута цветные ситцы. Купцы стояли в дверях, кидали голубым хлеб.

Когда мимо лавок проходили обыватели, купцы кричали, оживляясь:

— Новые ситцы, получены новые ситцы!

Кучер князя Апаркова, покойник, не носил бороды, в остальном особых примет не имел. Капитон Иванович внимательно огляделся, увидел в окне восковую красотку, розовую грудь которой покрывал слой старинной пыли, и толкнул застекленную дверь. Звякнул колокольчик.

В магазине два зеркала висели на стенах одно против другого. За одним, откинув голову на подпорку кресла, сидел пасмурный человек; подмастерье, сделав рот буквой «о», брил ему щеки. Бритва скрипела, как дверная петля.

Хозяин магазина с желтым коком на лбу, молодой и полненький, похожий на Бобчинского или Добчинского, как их изображают в провинциальных театрах, щипал гитару, пел развратным тенорком:

Напрасно, разносчик, ты в окна глядишь
Под бременем тягостной ноши,
Напрасно, разносчик, ты громко кричишь:
— Пельцыны, лимоны хороши!

Завидя вошедшего Капитона Ивановича, хозяин бросил гитару на кушетку, она еще долго гудела.

Капитон Иванович сел перед свободным зеркалом на венский стул и позволил повязать себя салфеткой, покрытой ржавыми пятнами. От рук хозяина пахло душистым мылом, а от кока виртуозным запахом шампуня.

— Побрить — постричь — голову помыть? — спросил парикмахер, прижимаясь животом к плечу Капитона Ивановича.

— Бороду снять. Уж и пахнешь же ты, друже! Не человек, а прямо вишня в цвету.

— Для удобства клиентуры. Бороды не жалко-с?

— Нисколько-с.

— Красива-с!

— Ничего. Летом в бороде жарко-с.

Парикмахер, увидя, что клиент веселый, здесь же показал искусство разнообразной и совершенно бессмысленной речи, не имеющей никакой общей становой темы, а лишь одни побочные. Но стриг и брил он мастерски.

Когда, подбывая височки, он отошел в сторону, перед глазами Капитона Ивановича, в противоположном зеркале, встал отражение второго клиента. На щеке этого пасмурного человека лежала распяленная лапа подмастерья, клиент скосил глаза в потолок. У него был совершенно квадратный подбородок с выпуклым родимым пятном под губой. Он оторвал глаза от потолка, и сначала рассеянно, а потом внимательней поглядел в глаза отражению Капитона Ивановича. В полном противоречии с формой лица глаза у него были легкие.

Капитон Иванович не отводил от него глаз.

«Пеший?» — спросили глаза клиента.

«Он самый» — ответили глаза Капитона Ивановича.

Оба они зажмурились, потому что напряжение, с которым вглядывались друг в друга, вызвало резь в глазных яблоках. Похлопав веками, оба сразу открыли глаза.

«Нил?» — спросили глаза Капитона Ивановича.

Глаза клиента ответили: «Нил!».

Это был Нил, член петербургского комитета. Легкая краска появилась на

щеках у Капитона Ивановича. В мыслях он представил себе, как сгреб Нила и тискает в своих железных руках и целует его в губы. Он утешился тем одним, что очень ярко представил себе все это. Он даже вспотел от радости видеть Нила и от невозможности затискать его. Парикмахер вытер Капитону Ивановичу лоб.

Нил поднялся со стула, отдал подмастерью деньги и нагнулся к зеркалу, как бы разглядывая, нет ли пореза на родимом пятне. Подмастерье, запуганный малый, в страхе ждал осужденья. Нил повел глазами в сторону. Капитон Иванович в этом одном движении взгляда разгадал: пойду направо, буду ждать в том скверике, что против Купеческого собрания.

Затем Нил вышел из парикмахерской, поглаживая побритые щеки.

— Если вы зайдете в кассу и купите место поближе, то увидите, какая это адская красота, — трещал парикмахер, выгибая душистый мизинец и держа бритву наподобие того, как воспитанные барышни держат кусочек бисквита. — Во втором действии на ней одна прозрачная тюника. Оркестранты в обморок падают-с. На нее наши купцы открыли текущий счет. Слышно, Степан Яковлев, галантерея, летит в трубу, а сынок Павла Жиркова, скобяные товары, залез к папаше в кассу. Ядовитая дева.

«А чтоб тебя!» — нетерпеливо подумал Капитон Иванович.

Парикмахер приблизил губы к самому его уху:

— Прошел слух, что она из этих, с бомбами. Очень может быть.

«Чтоб ты провалился!» — Капитон Иванович утерял веселость и приказал брить скорей.

Выйдя из парикмахерской, он неторопливо, делая вид, что поглядывает в витрины лавок, дошел до переулка. Сквер против Купеческого собрания был обнесен решеткой. Дул ветер. На чаклых акациях дымилась пыль. В будке розовая старуха продавала лимонад. Нил поднялся с лавки, и они пошли рядом. Они говорили скупно, короткими, энергичными фразами. Нил только-что

приехал, явка у фельдшера, живущего за Медведицей, в слободе.

— Вот ты как нужен мне, как нужен! — сказал Нил глуховатым, бархатным баском, — ты останешься здесь, у нас с организаторами плохо. Пропагандисты есть, а с организаторами — плохо. Будем опять работать вместе.

По его словам, дела в Питере и в Москве очень хороши. Влияние большевиков на предприятиях сильно. «Серые» и «седые», эсеры и меньшевики, клеветают на Ленина. Ладно, — сеют клевету. В Царском паника. Опальный Витте пугает царя «сознательным пролетариатом» — вот как прозрели очи! Но «весну» Святополк-Мирского, минув лето и осень, сменила зима Трепова, завернули каленые морозы реакции, это хорошо, на морозце-то, — сказал Нил, — и драка жарче, играют все жилки.

Нил сильно изменился за два месяца, как Редутов его не видел: не тó, что похудел, а как-то стал старше, лицо желтое, кожа мятая. Говорит жестче, смотрит злей. Нил сказал, что видел Горького, Алексей Максимович много помогает, доставая деньги. Вспоминал о Капитоне Ивановиче, сказал баском: «Ну, этот в ссылке дня не усидит!».

Капитон Иванович живо представил себе дачу возле Куоккалы, густое финское небо. Горький сидел в саду, грея широкую спину на солнце. Знаменитый борец Лурих и писатель Куприн боролись на дорожке. Красный песок скрипел под их ногами. «Ты всерьез, всерьез, — кричал Куприн, тяжело дыша, — не поддавайся, чухонский бог». Лурих шевельнул плечом, и Куприн упал под ноги Горькому. Лурих смущенно стал счищать песок с его широких панталон.

Еще Нил сказал, что местная организация переживает острейший финансовый кризис.

— Придется поголодать, — сказал Нил, оглянув Капитона Ивановича, — ничего, кое-какое дородство, несмотря на тюрьмы, в тебе осталось. Народу здесь мало, все революционеры-профес-

сионалы, а работы столько, что нет времени приработать на харч. Положим тебе двадцать пять целковых, да и то условно. В этом месяце организаторы у нас перебивались на пятнадцать-двадцать копеек в день.

Капитон Иванович сказал, что был у Апаркова, Апарков дал денег на организацию.

Время шло.

Они расстались с тем, что Капитон Иванович пойдет на явку к фельдшеру и тот на первое время устроит ему ночлег.

Пароль, сообщенный Капитону Ивановичу, был сложный. Он состоял из трех фраз. Каждая фраза соответствовала степени доверия к товарищу, подходящему на явку. Если товарищ знал только первую фразу, то и работу ему давали третьестепенную; все три фразы пароля знали немногие испытанные.

На явку нужно было являться вечером, и Капитон Иванович весь день просидел в трактире, слушая, как народ за пузатыми чайниками толкует о войне, о своих нуждах и о забастовках. Тряся длинными кудрями, разнося железные подносы, мелькали полые.

Толпа, беспрестанно меняющаяся, была недружная, затевались ссоры, и старший буфетчик то-и-дело звал городского, который подходил к буянам и скучно спрашивал:

— Участка захотел?

Тогда все стихало. Наклонясь друг к другу, вполголоса говорили о черной сотне, о свирепости Дубасова и о том, что народа теперь не остановишь, надо давать ему всякие милости. Капитон Иванович просидел в трактире до вечера, а когда на улицах засветили керосиновые фонари, пошел по указанному адресу в слободу.

Домик с белеными стенами, перед домом серебряная ветла. По Медведице плывут лодки с барышнями и офицерами в белых кителях, гребут денщики. На корме горят фонари, роняя в воду мячики света.

Капитон Иванович вошел в сени, где пахло огуречным рассолом и дохлая

мышь с прокушенной шеей валялась у двери.

Открыл сам фельдшер, волосатый, с робкими глазами.

Они вошли в прихожую. Капитон Иванович огляделся, выговорил единым духом:

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром.

Фельдшер тотчас же ответил:

— Москва, спаленная пожаром.

Они поглядели друг на друга и невольно рассмеялись, так нелепы были слова людей, встретившихся впервые.

Но фельдшер Капитону Ивановичу не понравился: каждую минуту схватывался с места, подбегал к окну, позаячи прислушивался к шагам редких пешеходов. Было видно, что он тяготится и тем, что к нему пришел Капитон Иванович. Быть может, он тяготится и паролем, который знает.

Такие люди не часто встречались в подполье; Редутов называл их спутниками движения; в большинстве случаев они шли с движением до первого ареста, были ненадежны, высокомерны и на себя смотрели, как на мучеников.

Ночью фельдшер отвел Капитона Ивановича к Алексею. Лизавета не сказала ни слова и молча, своими резкими движениями, стала стелить постель на той кровати, где раньше спала Наталья. Варварка спала теперь в сенях. Когда, светя лампой, Лизавета вела Капитона Ивановича через сени, Варварка вскочила с мешка, набитого травой, поглядела на него очумелыми глазами, пробормотала: «Барбаросса, а борода-то где же?» и, улыбнувшись, опять свалилась на подушку.

XVI

Революционная ситуация в этом городе складывалась так или почти так, как и во всех не очень крупных городах того времени. В каменном доме с облупленной колоннадой сидел губернатор, такой же или почти такой, как и во всех не очень крупных городах России. Нежинский запасной полк и триста сорок чинов полиции были опорой его власти. В длинных каменных ка-

зармах на гористой окраине города стояла казачья часть, вытребованная на случай уличных беспорядков: запасные из Нежинского полка, пожилые мужики, которым сбрили бороды, еще слишком пахли землей и мало пропахли казармой, чтобы можно положиться на них.

Войска и чины полиции были вооруженной опорой губернатора. Он мог доверять старшему поколению купечества и верхних чиновников и, будучи в меру дальновидным, мало доверял младшему их поколению: среди молодого чиновничества и поповичей все чаще проявлялась «болезнь века», а молодые купчики, вместе с заводчиками, договаривались до того, что им пора вставать во главе государства.

Интеллигенция губернатор никогда не любил, но он и не боялся ее, несмотря на то, что она бросала в губернаторов бомбы: в этом вопросе губернатор стоял обособленно среди прочих губернаторов России. Он был из кадровых генералов, кастовое небрежение штатскими и презрение к ним побеждало в нем чувство личного самосохранения. Он не видел в интеллигенции сплоченной силы, это были одиночки, фантазеры, кровавые истерики — каждый из них был опасен не больше, нежели взбесившаяся лошадь на улице.

А ниже стоял народ. Он пугал губернатора, прежде всего, своей численностью. Понятие «народ» губернатор толковал по-своему. Он валил сюда всякого: и мужика, и мастерового, и фабричного, и бездомного бродягу с толкучки, и богомолка, и девок с ночной улицы. Народ он наблюдал либо на базарах, либо — в праздники — в храмах и у дверей казенки. Народ, толпа, быдло, рвань. Губернатор цитировал: бунт бессмысленный и беспощадный! Охранка доносила, что народ волнуется. Ну, что там говорить: вся империя корчилась в судорогах смуты!

Он винил во всем этом покойного Плеве, — покойник-мученик зубатовскими организациями развратил и разнуздан народ.

Губернатор не строил себе иллюзий, он знал: рано или поздно на мостовых

города прольется кровь. Он не был брезглив: только бы эта кровь смыла с булыжников города смуту последних лет.

Революционная ситуация в городе была такова, что народ в любой день мог выйти на улицы: ломать заборы и фонарные столбы на баррикады. Капитон Иванович видел: головной задачей комитета была задача организовать это выступление — чтобы народ не вышел стихийно, чтобы движение не было расстреляно первым же залпом войск. По заводу и мелким промышленным предприятиям шныряли трусливые, гаденькие человечки, звали на бунт. Пиджаки на них сидели как-то глупо: будто брезговали обнимать такие вертлявые плечи. Рабочие, — те, что помоложе и погорячей, — легко поддавались на хорошо рассчитанную, но грубо выполненную провокацию, и это было опасно.

Губернатор в доме с облупленной колоннадой чувствовал себя хозяином положения и сам вызывал народ на восстание, спрятав в казармах войска, а в лабазах — ражих молодцов со свинчатками в карманах.

Среди населения усиленно говорили о том, что в ближайшие дни в город ожидается важное должностное лицо из Петербурга, правая рука генерал-губернатора и диктатора Трепова.

Официально это лицо должно было прибыть якобы для того, чтобы обследовать город: пригоден ли он для постройки в нем большой пересыльной тюрьмы; отечество испытывало нужду в такого рода зданиях. Неофициально же должностное лицо везло в город свою дочь, больную странной болезнью кожи. Видимо, Петербург испытывал большой кризис в народных целителях, — должностное лицо, вняв письму губернатора, решило доверить провинциальному отроку Никифору здоровье своей дочери.

Также в народе открыто говорили и о том, что в городе на это должностное лицо готовят покушение. Где-то на Вокзальной улице либо устанавливают пушку, либо роют под мостовую подкоп. В связи с этими открытыми тол-

ками полиция арестовала певичку из оперетки, но при ней не нашли ничего, кроме обезьяны из плюша и банковской книжки.

На заводе, где работал Алексей Качуров, было два политических кружка: большевистский (к нему принадлежал Алексей) и меньшевики; эти гнули в сторону безоружной экономической борьбы, сдерживая политические требования рабочих. Сейчас завод бастовал. Цеха стояли, воинские патрули не допускали рабочих собираться во дворе завода.

Алексей был парень молодой, русский, курчавый, вдумчивый, уже изрядно развитой. Он напоминал Капитону Ивановичу его самого в молодые годы, — вероятно, поэтому они сразу сошлись, как братья.

И свежесть тела, и свежесть чувств подкупали в Алексее. Он однажды вышел на главную улицу, держа листовки в руках, и, остановившись подле газетчика, торгующего телеграммами с фронта, начал раздавать листовки прохожим.

Иные совали их в карман, не читая, иные, остановясь у края тротуара, читали и молча шли дальше, не оборачиваясь на Алексея. Чиновник в фуражке акцизного ведомства поблел до голубизны щек. Веснушчатые руки его вспотели. Он сунул листовку в карман, потом торопливо вынул ее, скомкал в комочек, побежал дальше. Алексей видел, как, изловчась, он швырнул комочек в дверь магазина. Из магазина выходила женщина в платке, в стоптанных башмаках. Комочек ударился ей в грудь, она нагнулась, подняла его, разгладила на животе и, вчитавшись, вдруг стала серьезна, сунула прокламацию в корзинку и медленно, вразвалку, пошла улицей.

Алексей засмеялся. Он роздал почти все прокламации, когда услышал за собой неторопливые шаги. Он перешел на другую сторону, но шаги не отставали от него. Он вошел в чужой двор, обернулся и увидел соборного дьякона с осуждающе поднятым пальцем. Он посадил дьякона на землю и, перепрыгнув через него, долго бежал переулками, потом посидел на берегу Медведи-

цы и, счастливый, вернулся на квартиру.

У Капитона Ивановича от бешенства затряслись губы.

— Ты что, щенок, — спросил он страшно тихим голосом, — в озорство играешь или революцию делаешь? Или, может, ты «герой»? Комитету нужны не герои, а работники.

Алексей притих, весь день ходил за Капитоном Ивановичем, как побитый.

XVII

Спустя месяц после того, как завод объявил забастовку, заводчик Паровышников, розовый сорокалетний мужчина с усами, подстриженными на английский лад, проснулся с тяжелой головой. Накануне, в Благородном собрании, ужин был слишком тяжел, слишком жирен. Губернатор за ужином шутил тяжело-весно: предлагал взаймы золотой, пока завод не пойдет.

Паровышников сел в постели, потер грудь и большим пальцем ноги выдвинул из-под кровати шлепанец. Возвратясь вчера поздно, он забыл задернуть на окне штору. Смородиновый куст, облитый солнцем, царапался о стекло.

Паровышников прищурился, рот его изумленно раскрылся: к оконному стеклу, снаружи, был приклеен узкий, серенький листок бумаги.

«Что такое, что такое?» — пробормотал Паровышников, еще не очнувшись от сна. Окно выходило в сад, обнесенный кирпичным забором. Детей у Паровышникова не было. Прислуга — вышколена и бесшумна. Паровышников медленно подошел к окну, одна нога босая, другая в шлепанце.

«Российская Социаль - Демократическая Рабочая Партия» — прочитал Паровышников, сел на стул против окна и положил локти на подоконник.

— Очень хорошо, — проговорил он, по спине его как бы прошел ветерок. Читал дальше:

«Братья! Кровь рабочих-стачечников обогрела улицы Москвы. Да падет эта мученическая кровь огненными каплями...».

— Очень хорошо, — повторил Паро-

вышников, зажмурился. Читать против солнца — глазам больно. Он потер глаза. Одним духом прочел всю листовку и сначала ничего не понял.

Распахнул раму, сорвал листок и приблизил его к глазам.

«Вставайте, товарищи! Бросайте работы, вооружайтесь, кто чем может. Бейте подлецов, которые вас бьют и ваших братьев, стреляйте в тех, кто в нас стреляет, истребляйте их всех без жалости и сострадания! Пусть капиталисты и правительство поймут наконец, что мы не забитые, безответные животные, с которыми они могут делать, что им угодно, пусть они увидят силу пролетарских масс, увидят и ужаснутся. Бастуйте, товарищи, остановим все фабрики, заводы, конторы, конки, железные дороги, остановим все работы, все производства — пусть вся буржуазная жизнь замрет и смолкнет над трупами павших пролетариев.

Долой самодержавие!

Да здравствует стачка!

Да здравствует вооруженное восстание измученного народа!».

Паровышников сложил листовку вдвое, потом вчетверо. Внезапная слабость сковала его. Кажется, дело становится серьезней, нежели он привык думать. Он осторожно прикрыл окно, спустил шпингалет. По небу шли кисейно-прозрачные облачка, как хорошо было бы жить: себя не обижать и от других не терпеть обиды.

Надевая штаны, он думал о себе, какой он хороший, но никто не подозревает об этом; он вспомнил о том, что в столе у него лежит проект заводской больницы — ведь он собирался построить больницу для рабочих.

Оттого, что он был по природе глуп, ему казалось, что он очень умный, очень прозорливый — умный и прозорливый представитель российской молодой буржуазии, которой уже тесно в объятиях неограниченной монархии.

Он снова перечитал листовку. Там было сказано: «Пусть капиталисты и правительство поймут, наконец...».

— Как можно смешивать, как можно нас соединять вместе! — сказал Паровышников, повязывая галстук, морщась.

Обида его была так велика, что он забыл о страхе. Надутый, сошел к завтраку. У него была жена, похожая на бубенчик: маленькая, звонкая, но умнее его. Он не стал слушать ее приветствий, скушал одно яйцо и по телефону переговорил сначала с полицеймейстером, потом с губернатором. Потом он переговорил с швейцаром и садовником.

Все они сказали ему, что волноваться не нужно. Полицеймейстер обещал прислать городского — ночью дежурить в саду.

— Пошлите ему в беседку графинчик, — сказал Паровышников буфетчику и велел вызвать к себе главного заводского инспектора.

Здоровый инстинкт подсказал ему, что пора принять рабочих делегатов. Он пожелал принять их в своем кабинете на заводе. Жена, прощаясь, спустила ему в карман «талисманчик».

По пути на завод, в коляске, Паровышников сунул в карман руку. Браунинг.

Паровышников встревожился. Разве положение так опасно? Но полицейский патруль у завода успокоил его.

Странно было идти пустым коридором, не слыша за стенами гула машин. Над столом висел портрет Паровышникова-отца, большого человека с мясистым лицом и купецкой окладистой бородой. Это был папашен, непросвещенный человек, вышедший из низов, из ночлежек. С пристаней Медведицы. А сын был просвещенный человек.

В кабинет вошли старший инспектор и жандармский ротмистр, похожий на голодного ястреба, служака.

— Стрелять в рабочих — глупость и варварство, — сказал он с улыбкой, будто говорил не с заводчиком, а с барышней, — мы с его превосходительством, господином губернатором, выезжая на крестьянские беспорядки, не стреляли в мужиков, а пороли их. Гуманно и хорошо действует.

— Рабочим нужны не репрессии, а больницы, общества трезвости и читальни, — сказал Паровышников слегка дрожащим голосом. — Не надо забывать, что они наши...

Он хотел сказать: «союзники против монархии», но во-время спохватился. Напротив Паровышникова-отца, на другой стене, висел поясной портрет Николая II в красном гусарском мундире. При царе и при жандармском ротмистре неудобно было выставять себя конституционным монархистом. Ротмистр спросил, не думает ли Паровышников принять требования рабочих?

— Быть может, мы найдем компромисс, — сказал Паровышников и позвонил, чтобы к нему впустили рабочих делегатов.

В лицо он знал только мастеров. Вошли три человека, которых он не знал. Двое — пожилые, в пиджаках, хмурые. Третий — молодой, голубоглазый и, кажется, забияка. «Забияка? — подумал Паровышников, разглядывая молодого и чувствуя, что он главный верховод. — Хорошо, посмотрим». Он решил держать себя спокойно, сдержанно, скорее приветливо, нежели холодно, не обнадеживать, но и не лишать надежды на благоприятный ответ.

— Фамилии? — резко спросил ротмистр, выхватил из кармана книжечку с маленьким карандашиком на цепочке и глазами ястреба уставился в молодого.

— Лишнее, лишнее, — проговорил Паровышников, морщась и выставив в направлении ротмистра ладонь.

Но молодой, вскинув голову, сказал громко:

— Качуров Алексей. А вас как?

Степенные рабочие хмуρο улыбнулись в усы. Ротмистр, вспыхнув, крикнул:

— Я для вас только начальство!

— Очень приятно, — спокойно сказал Алексей, — будем знакомы.

Он был в русской рубашке, шитой по вороту красными ромашками, в новых сапогах. Подпоясан желтым пояском с кисточкой. Паровышникову не захотелось смотреть ему в лицо, в котором он не нашел ничего приятного, и он стал смотреть на эту кисточку, болтавшуюся у Алексея на бедре. Вдруг у него, как это бывает у маленьких ребят, возникло неодолимое желание — желание потрогать кисточку, ощутить ее висюльки кожей пальцев. Он протянул руку и вдруг

отдернул ее, боясь, что Алексей подумает: «Э, заводчик фамильярничает со мной!». Он покраснел и рассердился на себя. Алексей понял его движение так, что Паровышников протягивает ему руку для пожатия.

Сказал почти злобно:

— Сначала разговаривать будем. Руки жать нам не к лицу. Не товарищи.

Паровышников покраснел еще гуще.

— Хорошо, ваши требования, господа! — крикнул он фистулой, откидываясь на спинку кресла; и глаза его сделались так же тяжелы, как глаза папахена, висящего над его головой.

Алексей вынул из кармана плотный лист бумаги, расправил его, хлопнул по нему тыльной стороной руки. Оба пожилых подошли к Алексею и через его плечи стали смотреть в бумагу. Кисточка на поясе Алексея раскачивалась; слушая, Паровышников все смотрел на нее; и эта кисточка была так же неприятна ему, как и лицо Алексея.

Алексей читал:

— ...в-четвертых, удалить с завода старшего инспектора Иванычева... в-шестых, установить уполномоченных от цехов для облегчения передачи директору завода личных просьб и жалоб рабочих... учредить восьмичасовой рабочий день... мастерам и подмастерьям вменить в обязанность обращаться с рабочими не так грубо, как до сего времени... повесить цеховую плату всем рабочим...

Кончив читать, он положил лист на стол перед Паровышниковым. Один из пожилых рабочих сказал внушительно: «Наши окончательные и решительные пункты». Наступило недолгое молчание. «Качуров, Качуров, — мучительно припоминал Паровышников, — эта фамилия...». Эту фамилию он слышал и прежде, и, кажется, в связи с чем-то беспокойным, нехорошим, тревожным. Он так и не смог ничего припомнить. Он приподнялся в кресле и сказал официально:

— Через двадцать четыре часа стачечный комитет будет иметь от меня ответ по всем приведенным здесь пунктам.

Если до этого он думал, что между ним и рабочими происходит недоразумение, что забастовка на его заводе — дух времени, мода 1905 года, что рабочие скоро одумаются, то теперь он перестал думать так. Рабочие могли казаться разумными только издали — вблизи они были самонадеянны, нахальны и вовсе неразумны, как этот парень с голубыми глазами и желтой кисточкой на пояске. Качуров... Качуров... где он слышал о нем? Паровышников поднял на Алексея глаза и сказал холодно:

— Можете идти, господа представители моих рабочих.

Инспектор притворил за делегатами дверь. Лицо у него было скучающее, бледное от злости.

Жандармский ротмистр взял из корбки, стоящей на столе, сигару, срезал ее перочинным ножом, сказал мстительно (не любил либерализма):

— Они пишут: восьмичасовой день, читай — долой самодержавие. Это политическая забастовка.

— Ах, понятно, хорошо, хорошо. — Паровышников тотчас же заторопился ехать домой. Свернул лист с требованиями рабочих в трубку, сунул в боковой карман. Инспектор хотел спросить, не ужели выбросят с завода его, цепного пса Паровышниковых, который служил еще папахену...

— Еще ваш батюшка... — начал он.

— Хорошо, хорошо, — оборвал его Паровышников, побежал к двери.

Назавтра стачечный комитет был извещен, что все требования рабочих отклонены.

XVIII

Такая жара стояла — хоть вой. Трава во дворе пожухла, сгорела. Глиняный скат погребницы растрескался. Птицы не садились на телефонные провода, боясь обжечься.

Барварка никуда не отлучалась со двора, сторожила пустую квартиру. Сидеть в комнатах — пропадешь от мух. Выйти к воротам — пропадешь от духоты, от пыли, от запаха раскаленных камней и кровельного железа.

Вся распаренная, липкая, Барварка пошла к колодцу. Соседка с натугой

крутила ручку ворота, кашляла, как овца. На плечах платок, ноги в дырявых калошах. Хворенькая.

— Лизавета дома? — спросила она по-злобному.

— По господам стирает, — ответила Варварка, — день-денской, день-денской. С петухами встает, с филином ложится. Работница.

— Алексей-то, небось, все шлендрает?

— Все шлендрает.

— Забастовщик! — сказала соседка злобно, перестала крутить ворот, долго кашляла и плевалась. — Пролетарии всех стран! Дома дети мрут, жены последние юбки стащили на толчок, а они Паровышниковы хотят пересидеть. Ему хорошо сидеть в каменном дворце, разносолы жрать. В карты играть. Небось, и у тебя, девочка, эта забастовка в животе урчит.

— Пускай урчит, — сказала Варварка, — я на нее не жалуюсь.

— Еще пожалишься: при живых отце-матери сирота.

— Жизнь-то не сказка, — сказала Варварка.

Ворот опять занял. Показалась бадья. Вода плеснула Варварке на ноги. Холодная, обожгла ноги.

— Тётъ, попить можно? — спросила Варварка.

— Пей, вода не купленная. Этого добра рабочим даром дают.

Варварка лицом ткнулась в воду, пила жадно.

Это было поутру, а в обед Варварку стало трясти. Так трясло, что стучали зубы. Пошла в дом, легла в лизаветину постель. Почудилось, что босая бежит по снегу. Сняла с гвоздя пиджак Алексея, прикрыла ноги.

Жизнь-то не сказка!

День прошел то в забытьи, то в глубоком сне — безо всяких видений. Иногда открывала глаза, и тогда одолевали мысли, похожие на видения. Что сказала соседка у колодца? «При живых отце-матери сирота». Жалко себя до слез. «Сейчас уроню слезу», — думала Варварка, глядя на пыльные пальцы своей ноги, высунутой из-под одеяла. А слез нет, чего-то не плачется.

И все думала, вспоминая горькое. Жила в деревне старушка Скуратовна, побирушка, пьяница, желала Варварке добра — а что могла? Хатенки у нее не было, бедовала в землянке, неподалеку от кладбища. Варварка бегала к ней затемно то с куском говядины, то с ватрушкой, а то с куском ржаного хлеба. Скуратовна сидит на порожке, дышит вином, вся расхристанная, дикая, от лохмотьев — нечистый дух. На кладбище страсть какой ветер: и шуршит, и стонет, и воет, и ломает горькие ракиты.

«Чего ж ты покойников не боишься, баушка?» — «Да чего их трусить? Живые были страшны, а теперь в своем зле обузданы». Брада из рук Варварки говядину, совала в голые челюсти, единственный черный зуб ее впивался в мясо. Перетирала деснами говядину и любовной рукой ласкала волосы Варварки. Приговаривала: «Где ты, счастье людское, где ходишь, где шатаешься? Вон какая девка растет, а ты не видишь, ты ее обходишь?».

И опять приходил сон, мертвый, бездонный. Когда открыла глаза, был вечер. Краснел закат на стене. По железной спинке кровати полз таракан, красивый в закатном солнце. На табуретке, спиной привалясь к стене, сидел Капитон Иванович. Нил курил у окна, пуская дым в форточку.

Говорил горячо, но вполголоса.

Варварке слышно:

— Есть такие охотнички, говорят: схоласт, кабинетный-де умник. Дурни! С тобой бывало, что ты за человека — хоть в воду? Все, что есть лучшего во мне, Капитон: мысли мои, воля моя, ненависть к этим... кто во дворцах, в усадьбах, в особнячках... преданность моя народу — все это в нем в тысячу крат больше, в тысячу крат сильнее. Видал я его один-единственный раз, на с'езде, а понимаю так, будто еще в детстве в бабки с ним играл.

— Здрóрово он на с'езде меньшевиков помял, — сказал Капитон Иванович.

— Крупно помял, — сказал Нил, усмехнулся. — В тот день, когда шел спор о членстве в партии, я от него сидел близехонько. Мартов встает. В по-

ту, голос пляшет. Пиджачок мятый. Изю всех карманов торчат бумажки. Обронит, подымет, поднесет к глазам. И чешет против Ленина. Ильич говорит: нужна единая партия, верная. А послушать этого — чем больше в партии краснобаев, тем революции сытней. По Мартову выходит: ступай зови в партию Апаркова — приходи, князек, спасай рабочий класс, кланяемся тебе земно нашим пролетарским поклоном. Ленин слушал, слушал — и за карандаш. Я скосил глаза, читаю. Дословно помню: «...отделение болтающих от работающих: лучше 10 раб. не назвать членами, чем болтающих назвать». Понимаешь мысль? Потом дальше: «Повторяю: сила и власть ЦК, твердость и чистота партии — вот в чем суть». Пошурится на Мартова и опять за карандаш. Смотрю, выводит слово **БЕРЕЗА**. Крупно, печатными буквами. В одном углу листа, в другом. Почему **БЕРЕЗА**? И вдруг встала она у меня перед глазами. Будто ветерком потянуло. Русская березка. Стоит вся в солнце, веселая, кудрявая, листочки бьют на ветерке.

Нил засмеялся, тряся тяжелыми плечами, и здесь они увидели, что Варварка не спит. Нил обернулся к ней. Она видела, как оживление краской сбегает с его лица. «Дура, дура, — сказала она себе, — зачем хотела ронять слезу?». Нил, Капитон, Лизавета — они были ей родней отца-матери. С высоты своего роста Нил поглядел на Варварку сначала как одноглазый петух, потом как сердитый поп, потом как дедушка Мишанл, — очень похоже.

Варварка засмеялась, сказала серьезно:

— Ленин-то, видать, добрый?

— К нам с тобой добрый, а к негодяям злой, — сказал Нил.

— А кто негодяи?

— Кто на чужом хребте привык жить, те и негодяи.

— Он родня тебе?

— Родня.

— И Лизавете родня?

— И ей.

— А я Лизаветѣ не родня, — сказала Варварка завистливо.

— Ты ей по жизни родня.

— Значит, и Ленин мне родня, — сказала Варварка с надеждой. О Ленине в доме говорили часто. Она спрашивала Алексея: «Ленин, он какой?». Алексей не умел объяснить: «Вождь пролетариата, понимаешь, госпожа Брокова? Да погоди ты — вырастешь, поймешь!». Однажды, когда Лизавета сидела, бросив вдоль бедер уставшие, изнывшие в работе руки, у Варварки сорвалось: «Ты письмо ему напиши, Ленину. Пожалуйста». Лизавета посмотрела на нее широко, ясно, ничего не сказала, прижала к груди.

Капитон Иванович поднес к губам Варварки рюмочку. Она выпила одним духом, занемела от горечи.

— Дрянь-то какая, — сказала она с жалобой.

— Чего ж ты хочешь от докторов? Сладкого доктора не умеют. Небось, спала, ничего не слышала. Прибегала Лизавета, фельдшер был. Натворила ты делов, глупая баба.

— Барбаросса, — сказала Варварка.

— Ну?

— Помирать мне не охота.

— А кто велит? Обойдешься и так. Спи. Скоро Лизавета придет, посидит с тобой.

Варварка вдруг испугалась, что Лизавета приведет мать, и та унесет ее к отроку. Но ей не достало сил, чтобы попросить Барбароссу не звать мать. Она заснула крепко, держа Капитона Ивановича за руку.

Проснувшись она оттого, что выпалась. На столе горела лампа под абажурчиком из газеты. Лизавета и Алексей постелили себе на полу, собираясь ложиться. Варварка ужаснулась, что они из-за нее постелили себе на полу. Но сказать ничего не смогла: слова рождались, но не слетали с языка. Она закрыла глаза, чтобы они не увидели, что она проснулась, чтобы Лизавета не вскакивала подать ей лекарство или напиток. Умаялась за день, работница! Жизнь-то не сказка.

Варварка лежала под одеялом, тихая, как мышь, слабенькая, будто ей раздробили кости и помяли тело. Слушала.

— Варварка не помрет, Алеша?

— Да нет. Фельдшер говорит: нет показаний на серьезную болезнь.

Он встал, собираясь выйти в сени — покурить. Мимоходом взглянул на Варварку. Шепнул Лизавете: «спит», осторожно вышел на крыльцо. Варварка слышала: Лизавета сняла кофточку, юбку, расчесывала волосы. Легкий шум ее движений западал Варварке в самое сердце. Лизавета подошла к кровати, встала на колени, наклонилась над Варваркой. От ее лица и голых плеч шло тепло.

Варварка открыла глаза, спросила, мучась нежностью к ней:

— Ты отчего такая добрая, Лизавета? Отчего?

— Девочка моя!

— Кто тебе велел такой доброй быть?

— Ленин велел, — тихо сказала Лизавета.

— Ленин, — повторила Варварка, — Ленин.

Лизавета прижала щеку к ее щеке, и они дышали вместе, как один человек. А потом пришел Алексей, прикрутил лампу, но Варварка этого не слышала: спала.

(Продолжение следует).

Два стихотворения

М. КОЧНЕВ

★

1. МАТЬ

После свадьбы в кровать на подклети
Ты легла, жениха не любя.
На дешевом поблекшем портрете
Я, родимая, вижу тебя.

Я не помню тебя. Говорила
Наша добрая бабушка мне:
Ты в ту осень на сносях ходила.
Молотила горох на гумне.

С мужем затемно вместе вставала,
Становилась к настилу с цепом, —
До забора дошла, застонала,
Повалилась на землю снопом.

Приносили мякины и грязи,
Клали лед на живот и виски,
Через сутки просили у князя
Две сухих да сосновых доски.

На дешевом поблекшем портрете,
В бедном платье, с цветком на груди..
Как живут твои милые дети,
Подымись, моя мать, погляди!

Загляни к нам в колхозные клети,
Погляди на сады, на дома,
Где резвятся счастливые дети..
Не дома, а как есть терема.

Как у нас твое имя любимо,
Мне словами тебе не сказать.
Как у нас дорога и хранима,
Гражданина советского мать.

2. КТО ОН

Из вагона от насыпи близко,
Над курганом, в чужой стороне,
Угловатую грань обелиска
Вижу я из окна при луне.

На далеком, глухом перегоне
Схвачен белою бандою был.
Генерал впопыхах на перроне,
Убегая от красных, грозил:

— Ваших заживо жарю я в топке,
Жить желаешь — веди паровоз!
А не хочешь, тебя я, как пробку
Из бутылки... и кончен вопрос.

С рысьим, жадным и мстительным взглядом,
Нажимая головку курка,
Офицер недоверчивый рядом
С револьвером стоял у виска.

Под уклон покатилаь дорога,
Вековые схватились враги,
Охватила конвойных тревога:
Он рванул на себя рычаги.

Не догнал до конца перегона, —
И разбился, махнув под откос,
Друг на друга бросая вагоны,
Захрапел на боку паровоз.

И не ведали многие годы —
Кто он? С ближних иль дальних сторон, —
Верный сын трудового народа,
Что разбил на куски эшелон.

Кладовщик краевого музея
В куртке ветхой, спустя много лет,
Отыскал невзначай в бумазее
Большевистский партийный билет.

Январская песенка

ЛЕВ ДЛИГАЧ

★

В январе бы, на заре
Очутиться во дворе:
Отперты чугунные ворота,
Дворник смотрит на часы,
Крутит мокрые усы —
Уходить, как видно, неохота.

Переулок неширок.
И веселый ветерок,
Словно дуновение свирели —
Робкий вздох и слабый свист.
Воздух светел, воздух чист
И куда вкуснее, чем в апреле.

Для того, кто спит с утра,
Остаются вечера,
В горностае, в искрах и рубинах.
Посветлевший город мой,
Словно выбелен зимой,
Стало тихо в переулках длинных.

На свету блеснут коньки.
Вспыхнут в окнах огоньки.
Вверх рванется быстрая ракета.
Это — Чистые Пруды,
Всплеск воды и взлет звезды —
Все в себя вобрали льды.
В них и свет, и отраженье света.

Это — бодрая зима
В песню просится сама
И сама шагает с нами в ногу.
Смех доносится с катка.
Снег, покинув облака,
Так легко ложится на дорогу.

★

Братство

С. ЗАРЕЧНАЯ

★

Нехай житом-пшеницею, як золотом,
покрита, нерозмежованою останется на-
віки од моря і до моря славянська
земля!

Т. Г. Шевченко — „Гайдамаки“.
Передмова.

— Покажи кольцо.

Первым движением было отдернуть руку, вторым — протянуть ее новому другу.

Шевченко усмехнулся добродушно и лукаво.

— Ну, ну, не буду. Коханка подарила?

— Нет, не коханка. — Лицо Костомарова стало серьезным. — На, смотри. Я все равно хотел сказать тебе.

На гладком широком ободке — чеканными буквами — «Кирилл и Мефодий. Январь 1846 г.».

Шевченко поглядел на Костомарова. — Ну?

— Славянские первоучители, — сказал тот.

— Первоучители... знаю.

— Ну... общие истоки культуры... — и процитировал несколько строк из тетради еще не напечатанных стихов, которые поэт недавно принес ему:

Щоб усі славяне стали
Добрими братами
І синами сонця правди.

Шевченко нахмурился.

— Ты мне загадок не загадывай. Говори прямо.

Они сидели на садовой скамейке под окнами квартиры Костомарова. Вишня в цвету струила тонкое благоухание лепестковых одежд. На ветвях груш и яблонь цветочные почки слабо розовели. В кустах еще не распустившейся сирени гомонили птицы.

Костомаров молчал, обдумывая слова. Они познакомились всего несколько дней тому назад. Недоверчивый, сдержанный, с заурядной внешностью украинского простолюдина, поэт с первого взгляда произвел не особенно благоприятное впечатление на историка. Но не прошло и часу, как они разговорились. Речь Шевченко, насыщенная страстным правдолюбием, сверкающая природным умом, свежим и богатым, искрящаяся добродушным юмором, очаровала Костомарова. А новые стихи обожгли дыханием буйной воли и острой ненавистью к насилию. Костомаров просил поэта оставить ему тетрадь со стихами, читал, перечитывал и потом всю ночь не мог уснуть.

Поэзия Шевченко отдаленными грозными раскатами предрекала бурю. Поэма «Сон» ходила по рукам в списках в самый разгар работы комиссий по освобождению крестьян, когда все либеральное общество напряженно ждало реформы. Студенты знали эту поэму наизусть. Молодые девушки декламировали волнующие строки:

Латану свитину з каліки здіймають,
З шкурою здіймають, бо нічим обуть
Панят недорослих. А он роспинають
Вдову за подушне, а сина кують,
Єдиного сина, єдину дитину, —
Єдину надію! — в військо оддають.

Наконец, поэзия Шевченко предваряла идею славянского братства. Привлечь его в общество было необходимо.

— Это кольцо — отличительный знак членов нашего братства. Их будет сто человек.

Молодой профессор с увлечением начал излагать цели общества, устав.

Шевченко слушал с просиявшими глазами.

— Федерация славянских республик?.. Общие основные законы?.. Просвещение народа?.. От то добре!

Пункт об отмене крепостного права вызвал бурный взрыв восторга.

Тарас бросился целовать Костомарова.

— Бісова дитина! Як же славно!

Они не могли наговориться до вечера. Когда в саду засвежело, перешли в комнату. На столе уютно пыхтел самовар.

Опорожнив свой стакан, Шевченко пододвигал его к хозяину:

— А всипте, будьте ласкаві, ще чаю!

И подливал изрядное количество ямайского рома. Первый, третий, пятый стакан. Но не пьянел, только речь его становилась жарче и взволнованней.

— Твой добрый гений внушил тебе мысль учредить это славянское братство, — говорил он восторженно, глядя в сверкающие глаза Костомарова. — Какое счастье, что мы с тобой встретились, друже. Писать вирши, або малевать картины, то еще не все. Надо больше, больше делать надо. А мне казалось, что уже захолонул я сердцем, заснул. И так тяжело мне было.

Только на рассвете вернулся Тарас от Костомарова. В номере, который он снимал в трактире на Крещатике, стоял «жилой дух». За обоями шуршали тараканы. Из-за тонкой дощатой перегородки доносился раскатистый храп соседа. Но Тарас принес с собой из вишневого садочка украинскую весну, многоголосую и благоуханную. Только ее он слышал и обонял. Он, наконец, нашел ответ на все мучившие его вопросы.

— Служить родному народу!..

На родине его раздирало двойственное чувство. Не закрепощенный люд, нуждами которого он болел, о страданиях которого пел, а помещики, душе-

владельцы, рукоплескали ему, приветствовали его, как народного поэта, певца украинской самобытности. Теперь все стало ясно. Лучшие из этих патриотов были «синами сонця правди», искренними народолюбцами. Теперь он нашел свое место, знал, что должен делать он, вчерашний «крипак», а ныне народный поэт, для того, чтобы его закрепощенные братья стали свободными, просвещенными, счастливыми.

★

День был базарный. В шинке людно. От запахов дегтя, махорки, чеснока и жаркого человеческого тела не продохнуть.

У стойки спорили, хлопали по рукам, запивали горилкой удачные сделки.

Подвыпивший парубок писал ногами замысловатые вензеля и тянул неуверенным тенорком:

Іде багач, іде дукач,
П'ян шатається,
Над бідною голотою
Насміхається.

Другой, постарше, смаковито сопел носом, уронив чубатую голову на залитый горилкой стол.

Шевченко потребовал шкалик, кусок сала, распахнул окошко, сел за стол. За окошком на горячем ветру трепетали листья тополя. Запряженные в телегу кони с торбами на мордах неторопливо жевали, отгоняя хвостами оводов. По базарной площади, изъезженной колеями, заплыванной подсолнухами, ветер крутил едкую пыль и соломенную труху. Скрип телег, мычание волов, горячий до хрипа торг, божба и ругань. И, покрывая все звуки, пронзительный бабий голос выкрикивал:

— Горшки, кринки! Горшки, кринки, кувшины!

Родные картины, звуки, запахи.

Шевченко опрокидывал чарку, закусывал шматком сала, вытирал густой ус, ухмылялся, записывал что-то на клочке бумаги.

За столом рядом два студента пили мутноватый жидкий чай с бубликами, курили самокрутки, исходили потом и душевными разговорами.

— Глянь, Миколо, — он!

Кучерявый студент обернулся.

— Ну? Он?

— Ну да! Кобзарь!

— Правда?

Оба кинулись к столу у окошка.

— Тарас Григорьевич!

— Вы у нас... в Нежине... Какое счастье!

— Позвольте представиться...

— Мы сразу узнали вас!

— Мы вам не помешали?

— Пишете? В этом гомоне? В грязном шинке!..

Поэт сдвинул густые брови.

— Я сын крипака, Григория Шевченка. Мой батька в таком же шинке закусывал, как на базар приезжал. Здесь все братья мои кровные. Так для меня то не грязный шинок.

Кучерявый молчал, пристыженный.

— Не бегать от грязи надо, хлопцы, а вымести грязь да выскрести, чтобы чисто было. Так добрые хозяева делают. Мужик грязный, мужик темный... А кто виноват, если не мы, просвещенные люди?

Шевченко устремил на студентов насмешливые глаза.

— Сами-то вы, паничи, где гроши на учение берете? Батьки, небось, высылают?

— У меня батька помер, — сказал длинноносый веснучатый студент из бурсаков. Я еще и сам матери помогаю. И летом на кондиции, и зимою по урокам бьюсь.

Кучерявый тоже собственным горбом добывал копейку.

— А что, если бы вам стипендию дали, в сельские учителя пойдете, как университет окончите? — Шевченко недочерчиво сощурился. — Ведь не пойдете? А?

— Что вы, Тарас Григорьевич! — заволновались студенты. — Служить святому делу!.. От такого счастья отказываться!

— Да, по правде сказать, и учиться без помехи. Не думать о куске — тоже счастье немалое.

— Вы не шутите, Тарас Григорьевич? — несмело спросил кучерявый. —

— Откуда эти стипендии?

— С ревнителей просвещения собираем. Народ будем грамоте учить, а помещикам внушать любовь к меньшому брату. И наукой, и поэзией, и словом проповедывать будем, чтобы отпускали своих крепостных. И добьемся, добьемся-таки воли!

От стойки, от соседних столов, спешно прожевывая кусок, обтирая рукавом смоченные горилкой усы, люди тянулись к столу у окошка, послушать про волю.

— Помяните мое слово, скоро и следа панского на Украине не останется. Из разрытых могил гайдамацких, из думок слепых дидов воскреснет снова дух вольного казачества, и забудется тогда срам крепостного житья, и добрая слава Украины воссияет навеки!

Усатая физиономия квартального надзирателя просунулась в дверь. Шинок был единственным местом, где скопление народа не возбранялось, но слова, долетавшие из открытого окна, показались подозрительными.

Толпу словно ветром смело. Его благородие приложил руку к козырьку.

— Тарас Григорьевич! Мое почтение! Как изволите здравствовать? Надолго ли в наши края? — и обратил административный гнев на тщедушного шинкаря.

— Почему сміття посередь шинка? Видишь, гость какой! Мигом убрать! У, свинячье ухо! Погибели на вас нет!

★

— И поздоровел же ты, Соха!

Тарас уписывал вторую тарелку украинского борща, жирного, наваристого, с буряками, с помидорами, со сметаной, и поглядывал на Ивана Максимовича ласковыми глазами проказливого щенка.

Воздух родины и в самом деле пошел на пользу Сошенке. Аскетическое лицо его загорело, посвежело. Впалая грудь распрямылась. И все убранство убогого петербургского подвала — старая маска натурщицы Фортунаты, гипсовые слепки рук и ног, — вместе с хозяином перекочевавшее под ласковое солнце Украины, выглядело на фоне голубых с

палевыми цветочками обоев светлой комнаты свежее, чище, наряднее.

Тарас рассказывал о своей службе в комиссии по разбору древних актов. Он ездил по всей стране, изучал памятники старины, делал зарисовки. Для затейного им издания «Живописной Украины» лучше и придумать нельзя. К тому же служба и материально обеспечивала.

За борщом следовали вареники с вишнями и к ним свежий, вишневый сок в прозрачном стеклянном кувшине, густая сметана в кринке.

Сколько раз, глотая наспех безвкусную стряпню дешевой столичной кухмистерской, Тарас мысленно смаковал произведения родной кулинарии. Теперь Сошенко доставил ему это удовольствие. Милый Соха! Рассказать про славянское братство или не рассказывать? Нет, лучше умолчать. Зачем баламутить мирную жизнь учителя рисования и чистописания нежинской гимназии? И так с приездом Тараса обычный порядок был опрокинут. Приходили студенты знакомиться или списывать ненапечатанные еще стихи, наполняли комнату жаркими спорами и запахом дешевого табаку. Какие-то незнакомые люди дежурили у ворот, чтобы поглазеть на знаменитого кобзаря. Какие-то новые друзья приезжали за ним, увозили с собой, или он уходил с мольбертом и красками и пропадал по-двое, по-трое суток.

Поэтическая слава бывшего ученика мало трогала Ивана Максимовича. Он попрежнему считал, что Тарас отлынивает от настоящего дела, а последние бунтарские стихи Шевченко приводили его в ужас.

— И чего тебе нужно, Соха? Я свободного художника получил?

— Ну получил! А золотая медаль где? А заграничная поездка где? Чтобы лучшего ученика Брюллова за границу не послали! Срам какой!

Шевченко беспечно махнул рукой.

— А ну их к бисовой матери! Мне при Киевском университете должность преподавателя рисования обещали. Вот и пошлют для усовершенствования в Италию. А потом, Соха, мы кафедру

рисования в Южнорусскую Академию художеств обратим. А потом...

— Э, то когда еще сбудется! Доки сонце зійде, роса очі вість. А почему тебе петербургская академия заграничной поездки не дала?

— Так я же программы не выполнил, — жалобно протянул Тарас. — Живописную Украину задумал, — три этюда для нее написал — раз! К изданию «Кобзаря» готовил — два... Когда же мне было?..

— Вирши! — Иван Максимович поднял указательный палец и учительским тоном, каким распекал своих питомцев в нежинской гимназии:

— А що, бач, я тобі казав — покинй вірші. От би і був за границею!

★

Студент Алексей Петров был очень доволен своей новой квартирой в доме священника Андреевской церкви отца Завадского. Чисто выбеленная комната с кисейными занавесками на окнах, с образом Николая-угодника, перед которыми работница Мотря каждую субботу под вечер зажигала лампадку; крашеная деревянная кровать, гладко выструганный стол и такой же табурет перед ним — все было прочное, ладно сколоченное, надежное.

Студент Алексей Петров был примерный юноша. Он аккуратно посещал университет, внимательно слушал лекции и записывал их ровным канцелярским почерком, без помарок.

Он был сыном бедного чиновника из Стародуба. Из дому поддержки не получал и перебивался кое-как уроками.

Возвратившись домой после долгих часов вдалбливания книжной премудрости в тупоумные головы дворянских недорослей, студент Алексей Петров чистил форменное платье, бережно вешал его на гвоздь и, чтобы сэкономить свечу, ложился в постель.

Эти часы вечернего бдения под новеньким, сшитым из пестрых ситцевых лоскутков, одеялом (которым материнская нежность снабдила уезжавшего в чужой город сына), были единственной

радостью его скудного существования. Он предавался мечтам.

Алексей Петров поступил в университет с твердым намерением «выйти в люди».

Только случай мог вырвать его из жалкой нищеты, в которой прозябала семья отца. Он мечтал об этом случае неистово, подстерегал его жадно.

Молодая красавица, единственная дочь богача-помещика, страстно влюбляется в него. Родители и слышать не хотят о бедняке-студенте. Но девушка чахнет от безнадежной любви, родители дают согласие. Исаяя ликуй! — и студент Алексей Петров становится счастливым обладателем ста тысяч душ, доходного имения на берегу Днепра, доходного дома на Крещатике и — вдобавок — молодой жены, первой красавицы Киева.

Или еще: он находит бумажник, туго набитый ассигнациями — целое состояние. В этом случае мечты о женитьбе заслонялись видениями менее законными, но зато более соблазнительными.

На рождественские каникулы Алексей Петров собирался было съездить домой в Стародуб, но раздумал, и на деньги, скопленные для этой цели, заказал парадный студенческий мундир.

В сочельник Алексей ходил ко всеобщей. В первый день, облачившись в новый мундир, пошел поздравить отца Завадского с праздником рождества Христова и получил приглашение отобедать на второй день «чем бог послал».

Очень довольный, Алексей вернулся в свою комнату, снял мундир, сдул с него все пылинки, обернул простыней, повесил на гвоздь и... вдруг заскучал. Занятия в университете прекратились, уроки тоже. Знакомых у Алексея не было. Оставалось только спать. Он лег, закутался в лоскутное одеяло...

В комнате было темно, когда он проснулся. Позевывая и ежась, Алексей сел на кровать. А дома теперь колядуют. Младшие братья и сестры собирали полную торбу всякого добра и колбас, и кнышей с кабаком, и свиного сала. Мать зовет вечерять. На столе галушки, вареники со сметаной, а может быть, даже и поросенок с кашей. Вот дурень,

что не поехал домой! Алексей подошел к окошку. Хлопья снега на голубой елке в палисаднике искрятся алмазными переливами от света, падающего из окон соседней комнаты.

Сквозь тонкую дощатую перегородку — шум голосов. У соседа — гости.

— Повторяю, господа, — говорит кто-то удивительно знакомым голосом, — вербовать в члены можно людей только подготовленных, а идеи нашего общества следует распространять всюду.

— Идеи? Гм, мне хотелось бы, Николай Иванович, именно теперь, перед отъездом за границу, еще раз услышать от вас отчетливое определение целей общества.

— Извольте, Савич: наша задача — распространение идей славянской взаимности и будущей федерации славянских народов на основании полной свободы и автономии их.

Где он слышал этот голос? Не в университете ли? Николай Иванович?.. Костомаров! — догадался вдруг студент Петров.

О чем они толкуют? Федерация... Автономия... Непонятно. Но слово свобода показалось ему подозрительным. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы вникнуть в смысл того, что говорилось.

— Автономія! — подхватил кто-то насмешливо. — Хіба ж тіі самодержавні байстрюки допустять автономію! Дулю вам під ніс замість автономії. Ні, панове, поки царя до ката не поведем, не побачимо ніякої автономії.

Петрова точно кипятком ошпарило. Ведь за такие слова — Сибирь... виселица...

За стеной зашумели, в общем гуле — слов не разобрать.

— Чи не здурів ти, Тарасе! — прорвался снова голос Костомарова. — У нас ученое общество, ученое, понимаешь. Мы можем действовать только посредством идей, отнюдь не насильем. Вспомни наш девиз: «Разумеете истину, и истина освободит вы».

Снова все зашумели. Потом выделился голос того, кого Костомаров называл Савичем.

— Не поеду в Париж! Решено. После всего, что я слышал здесь, это было бы преступлением! Еду в славянские земли распространять идеи братства, а может быть, и вербовать новых членов!

— Ура! За здоровье Савича! Качать его, качать Савича!

Шум постепенно стих. Кого-то упрасивали читать стихи.

— Пожалуйста! Тарас Григорьевич! Шевченко! — чуть не крикнул Петров.

— Прочти «Кавказ». Они еще не слышали.

— Нет, «Сон»! «Кавказ»! «Кавказ»! «Сон»!

Вероятно, поэт читал в отдаленном конце комнаты, потому что голос его доносился глухо. Алексей не мог ничего разобрать.

Но вдруг стихи зазвучали с неожиданной силой.

... Лягло кістями
Людей муштрованих чимало.
А сльоз, а крові! Напоїть
Всіх імператорів би стало
З дітьми і внуками, втопить
В сльозах удових.

Студент Алексей Петров зажег свечу, вынул чистую тетрадь и ровным канцелярским почерком, без помарок, записал все, что слышал. Он писал медленно, обдумывая каждую фразу. Свеча сгорела почти наполовину, но на этот раз он не скупился.

За стеной было тихо. Алексей подождал немного, спрятал тетрадь в ящик стола и потушил свечу. Гости, видимо, разошлись. Он накинул шинель, сбегал в лавочку, купил фунт ситника и на целый пятак колбасы. Потом у Мотри на кухне достал кипяточку и ел долго, медленно, растягивая наслаждение.

В этот вечер, лежа под лоскутным одеялом, он не предавался праздным мечтам. Будущее представлялось ему надежным. Он заснул крепко, без сновидений, как человек, который с пользой провел свой день.

★

Отец Завадский имел похвальное обыкновение собирать за пасхальной и

рождественской трапезой всех своих постояльцев. Приход был богатый, благочестивые приношения верующих не оскудевали, и поместительные кладовые в собственном доме протоиерея Андреевской церкви изобиловали всякими запасами.

Бог посылал ему много. Благообразный, седовласый батюшка с младенчески румяными щеками и круглой, аккуратной, как у Николая угодника, бородой, поживал вокруг стола с закусками, шелестя шелковой подкладкой нового подрясника и угощая сотрапезников то астраханской икоркой, то донским балычком, то солеными рыжиками. Алексей насыщался молча и сосредоточенно, в запас на целую неделю, неумоимо прикладывался и к зубровочке, и к настойке на березовой почке, и к вишнебочке, и к сливяночке. В голове у него сильно шумело, когда гостеприимный хозяин обратил на него благосклонное внимание.

— А вы все молчите, молодой человек? Не надо стесняться! Тут люди свои, добрые христиане. — И сказал, обращаясь к представительному господину с умным серьезным лицом и крупной головой ученого:

— Рекомендую вашему вниманию, Николай Иванович, примерный юноша, благочестивый, уважительный и к наукам усердный, к стати ваш сосед по комнате.

Представительный господин пожал руку Алексея.

— Весьма рад. Гулак-Артемовский.

У того хмель сразу выскочил из головы. Вот это удача!

За обедом он подсел к новому знакомому и повел с ним душевную беседу. Жаловался на свое одиночество среди товарищей болтунов, подменяющих дело словами, и, припоминая речи этих самых болтунов, говорил о своей любви к родине, о жажде послужить угнетенному народу.

Гулак-Артемовский был в восторге от юноши. Увел его с обеда прямо к себе, поил чаем с ромом, долго беседовал с ним на темы славянского объединения и на прощание дал прочитать историю Украины Конисского.

Студент Алексей Петров уже не жалел о том, что не уехал на рождественские каникулы домой. Ему не приходилось скучать. Целые дни проводил он у своего ученого соседа, который вел с ним продолжительные беседы, насыщенные патриотизмом и вольнодумством, водил обедать в дорогие рестораны, угощал чаем с ромом, гаванскими сигарами и снабжал научными книжками.

К концу рождества Гулак-Артемовский решил, что его ученик достаточно подготовлен. Он ознакомил его с уставом славянского братства, показал печать с надписью «Разумейте истину, и истина освободит вы», и подарил кольцо с именами славянских первоучителей.

В тетради, начатой в первый вечер рождества, ежедневно прибавлялись новые записи. К концу праздников тетрадь была заполнена.

Студент Алексей Петров начал посещать собрания братства на правах члена и всем очень понравился.

Январские дни, белоснежные, пушистые, отсырели, расплакались оттепелью. Февраль подул с запада теплыми ветрами. Братчики раз'ехались кто куда: Гулак-Артемовский — в Петербург, Савич — за границу, Шевченко — в Седнев, имение помещика Лизогуба.

Собрания общества прекратились. 28 февраля студент Алексей Петров облачился в парадный мундир и, захватив тетрадь, исписанную ровным канцелярским почерком, отправился к помощнику попечителя Киевского учебного округа Юзефовичу.

★

Лошади были поданы, а уезжать не хотелось. Шевченко в последний раз пожал руку гостеприимному хозяину и сел в бричку. За воротами усадьбы тянулась обсаженная тополями дорога. По обочинам молодая трава вышивала зеленым стриженным гарусом. На деревьях надувались почки, большие и сочные — вот-вот лопнут. Земля просохла, бричка катилась легко. Этой же дорогой он ездил почти ежедневно в местечко Бегич, за три версты от Седнева, писать

князя Кейкуатова. Портрет давно был окончен, а уезжать не хотелось. В бродячую, переменчивую жизнь поэта дни, проведенные в усадьбе Лизогуба, вкраплялись чудесным отдыхом. Мирный труд утренних часов, общение с просвещенным хозяином, теплая атмосфера взаимного понимания. Он оттягивал отъезд до последнего дня, до 2 апреля.

Свадьба Костомарова была назначена на пятое, в воскресенье после пасхи. Шевченко был приглашен шафером и боялся опоздать.

Алина Крагельская — прелестная девушка, нежная, задумчивая, как молодая, склоненная над водой ива.

Он улыбнулся, представляя себе блаженную физиономию жениха. Самые умные люди кажутся немного глупыми от счастья.

Он вспомнил другую недавнюю свадьбу на хуторе Мотроновке, где он тоже был шафером, — свадьбу Кулиша. Вот уж неизвестно, кто чувствовал себя счастливее, — влюбленные друг в друга жених и невеста или он, прославленный народный бард, центр внимания всех гостей. Он был национальным пророком, светочем молодежи, гордостью и славой украинских патриотов, каждое слово его было для них откровением. На этой свадьбе он обнаружил еще один талант. Он исполнял народные песни с мастерством и задушевностью, очаровавшими всех гостей. И голос был мягкий, бархатистый. Просили петь еще и еще. Свадьба превратилась в концерт национальной музыки.

Кулиш отвел его в сторону.

— Я хотел поговорить с тобой, Тарас... насчет заграничной поездки...

— Чи ти дражнишся, чи що! Далась им та заграничная поездка!.. То один, то другой.

— Да ты послушай... Ведь вариться в собственном соку... это... Зацахнешь ведь без художественной среды.

Тарас махнул рукой.

— А... отцепись! Что душу тянешь!

— Да я не зря говорю — случай представляется.

— Ну?! Правда?

— Мы, все твои друзья...—осторожно подыскивая слова, говорил Кулиш, —

просим тебя принять... как бы это... субсидию, что ли, для поездки в Италию... от неизвестного. Деньги будешь получать через меня. Трех тысяч рублей тебе хватит? На три года? Если будет мало, найдутся еще средства...

Тарас молчал, опустив голову. Смешанные чувства волновали его. Ехать на счет благодетеля... быть кому-то обязанным... но и отказаться от помощи, так великодушно предложенной... земляком. Конечно, это был земляк. Разве не мог он принять этот подарок от своего народа, которому сам отдавался всем существом?

— Значит согласен? — тихо спросил Кулиш.

Тарас обнял его, растроганный.

— Только — имя! Скажи, кого благодарить?

— Эта особа пожелала остаться неизвестной...

— Три тысячи рублей... Кто бы это мог?.. — И вдруг мелькнула догадка... Новобрачная... его восторженная поклонница... страстная патриотка... Она больше всего скорбела «о щербатой доле» Тараса. Три тысячи рублей — сумма ее приданого. Но примет ли он материальную поддержку от молодой женщины?.. Зная его щепетильность, она пожелала остаться неизвестной...

Он молча пожал руку приятеля и отыскал в толпе гостей его молодую жену.

— Александра Михайловна!

Солнечные косы слегка растрепались под длинной легкой фатой. Глаза прозрачней днепровской воды.

— Я хочу от вас... что-нибудь на память об этом... счастливом вечере.

Просьба звучит такой горячей благодарностью... Значит, он понял, догадался?

— От всей души, Тарас Григорьевич!

Белый восковой букетик, приколотый в тот вечер к ее подвенечному наряду, хранится между его вещами, как дорогое воспоминание. От него исходит тонкий аромат молодости и счастья.

... По обе стороны дороги бархатные квадраты распаханых полей. К вечеру ветер свежее. Он плотнее заворачи-

вается в плащ, дремлет, вздрагивая от толчков на ухабах.

Все его друзья женятся. Сначала Кулиш. Теперь Костомаров. Э, байдуже! Он не завидует. Вспоминаются недавно написанные стихи:

Не женися на багатій,
Бо вижене з хати;
Не женися на убогій,
Бо не будеш спати.
О женись на вольній волі,
На козацькій долі,
Яка буде, така й буде,
Чи гола, то й гола!

Жизнь была слишком полна, чтобы думать еще и о женитбe. Из письма Костомарова он узнал, что его уже утвердили в должности преподавателя рисования. Он мог выбирать теперь между кафедрой при Киевском университете и поездкой в Италию. А может быть, и совместить то и другое.

Всеобщее признание, любовь, преклонение земляков, молодая звонкая слава открывали перед ним негаданные возможности.

Так счастлив он не был еще никогда, даже в лучшие годы юности, первых творческих успехов и дружбы с великим Брюлловым.

Пятого апреля Шевченко все еще был в дороге. Под вечер он забеспокоился — как бы не опоздать на свадьбу. На последней почтовой станции, пока меняли лошадей, побрился, вынул из чемодана фракную пару, белый галстук и переоделся, чтобы ехать прямо на квартиру Костомарова.

Лошади бежали бодро. Розоватые рыхлые хлопья облаков, опрокинутые в воды Днепра, плыли, меняя очертания и оттенки. Киев надвигался золочеными главами церквей, купами деревьев в весеннем оперении, нежном и прозрачном, зеленеющими кручами.

Радуюсь запахам речных просторов и смоляных канатов, свежести умытых берегов, Шевченко ступил на паром. И вместе с гулом и суетой парома уже просачивалась в эту радость неосознанная тревога. Поэт оглянулся, и струйка озноба скользнула вдоль спины. Чьи-то раскосые глаза смотрели на него в упор. Шевченко с детства почему-то

боялся косых. Теперь под влиянием подстерегающего взгляда незнакомого косоглазого человека этот полузабытый детский страх разросся до подлинного ужаса, безотчетного и непреодолимого.

Весенний вечер с его красками, звуками и запахами, толпа на пароме — все исчезло. Как в тяжком кошмаре, Тарас неотрывно смотрел на косоглазого. Фигура гусара внезапно выросла между ними.

— Ваш чемодан, Тарас Григорьевич... скорее!

Какое знакомое лицо... Где он видел этого офицера? Да... у княжны Репниной. Шевченко приветливо протянул руку. Это ведь родственник ее подруги Дуининой-Борской, большой почитатель его поэзии.

— Ваш чемодан! — настаивал гусар, — скорее... ради всего святого... пока не поздно.

Шевченко смотрел недоуменно. Чемодан очутился в руках офицера. Резкое движение лакированного сапога...

— Да вы с ума сошли!..

Еще секунда — и чемодан в Днепре. Но человек с раскосыми глазами ловко его подхватил. Только одна сторона намекла немного. Гусар обернулся к раскосому.

— Послушайте, мне нужно два-три стихотворения. Я выберу сам. — Он задыхался от волнения. — Всего лишь два-три. Сто рублей! Согласны?

Жадный огонек блеснул в глазах раскосого. Он воровато огляделся. Толпа любопытных окружала их.

Косоглазый сделал начальственное лицо.

— Прошу вас не мешать мне, господин офицер. — И, обернувшись к Шевченко:

— По распоряжению его высокопревосходительства, господина губернатора, я обязан задержать вас, Тарас Григорьевич. Вот приказ.

★

Шевченко сбросил на руки лакея дорожный плащ. Двери приемной распахнулись. Длинная анфилада комнат гу-

бернаторской квартиры в блеске множества свечей, повторенных зеркалами, уходила в какую-то сверкающую бесконечность.

Фундуклей вышел в приемную с лицом озабоченным и нахмуренным, но вид арестованного в бальном костюме привел его высокопревосходительство в веселое настроение.

— Что это вы, Тарас Григорьевич, во фраке, в белом галстуке?.. такой парад в дороге...

— Я приглашен боярином на свадьбу к Костомарову. Боялся опоздать, потому и переделся в Броварах. Думал проехать прямо на квартиру жениха.

Его превосходительство басовито расхохотался.

— Ну, куда жениха, туда и бояр повезут.

«Добре всілля!» — подумал Шевченко.

Через час он уже мчался в Петербург на перекладных в сопровождении квартального надзирателя Гришкова.

Дорога... дорога... полосатые версты... Облака несутся по ветру. Из-под копыт вздымается пыль. Короткий сон с пробуждением на ухабах. Жидкий чай из остывшего самовара на почтовых станциях, пока меняют лошадей.

Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої!
Коли дєброї жаль, боже,
То дай злої, злої!
Страшно впасти у кайдани,
Умірати в неволі,
А ще гірше — спати, спати
І спати на волі...

Ну, вот он ее получил, злую долю, и вместе с кайданами. Он этого сам хотел. И не на кого пенять, и незачем предаваться отчаянью. И он шутил, балагурил с Гришковым, смешил его крепко посоленными народными остротами, громко распевал украинские песни.

На одной из остановок станционный смотритель, записывая подорожную, внимательно оглядел веселого пассажира и его степенного спутника, заложил гусиное перо за ухо и сказал:

— В вашей подорожной значится «чиновник с арестованным лицом». Так

потрудитесь, господа, раз'яснить, кто из вас арестован, а кто везет арестованного. По виду не узнаешь.

Шевченко расхохотался. Подали лошадей. Почтовая повозка помчалась дальше. Станционный смотритель поглядел ей вслед, вздохнул, покачал головой и вошел в дом.

Дорога... дорога... полосатые версты... Чем дальше на север, тем свежее воздух, светлее небо, строже пейзаж. Березы стоят еще обнаженные. Только суровая хвоя зеленеет по обеим сторонам. Веселые мазанки в цветеньи вишневых садочков сменяются серыми бревенчатыми избами. Высокий щебечущий говорок чернобровых дивчин—великорусской медлительной речью. Доведется ли ему еще когда-нибудь испить сладкой днепровской воды?..

Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої!
Коли доброї жаль, боже,
То дай злої, злої!

На двенадцатые сутки злая доля домчала его до Петербурга и привела в Третье отделение.

★

Рушилось. Мечты о возрождении родины, слава национального поэта, профессора, кафедра при Киевском университете, поездка за границу, сладостное общение с друзьями — все рушилось. Весь мир необ'ятных, ослепительных возможностей замкнулся в тесной тюремной камере. Пять шагов в длину, четыре — в ширину. Койка. Привинченный к стене столик. Табурет. Окно за решеткой. Дверь с «глазком». Хоть шагай целый день из угла в угол, хоть пиши стихи, а к вечеру не избыть накопившейся энергии. И по ночам не спится. Он ворочается до самого рассвета на жесткой койке.

В неволе родился, в неволе провел детство, лучшие годы юности и умрет в неволе, на чужбине, никем не оплаканный, всеми забытый.

Он поднимается с койки, ощупью находит карандаш и бумагу и записывает вслепую:

В неволі виріс між чужими,
І неоплаканий своїми
В неволі плачучи умру.

На бумагу падает свет. Привлеченный шорохом часовой подносит фонарь к «глазку».

— Не полагается ночью писать.

Шевченко снова ложится, старается заснуть. Но в пробужденный ритм включаются новые строки:

І не помяне батько з сином,
Не скаже синові: «Молись,
Молися, сину: За Україну,
Його замучили колись».

Он повторяет эти строки, нетерпеливо ждет утра и, едва брезжит свет, вскакивает с койки и пишет:

Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні,
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Приспять, лукаві, — і в огні
Її окрадену збудять...
Ох, не однаково мені!

Стукнула дверь. Солдат принес кружку кипятка, ломоть черного хлеба. Шевченко приписал к стихам первую строфу. Вставил несколько новых строк. Потом начал отделывать. Кипяток остывал в кружке.

★

Пятнадцатого мая была очная ставка всех заключенных. Шевченко несказанно обрадовался встрече с друзьями. Гулак-Артемовский был арестован в Петербурге. Кулиша задержали в Варшаве. Савича вытребовали из-за границы. Костомаров был взят у себя на квартире в день свадьбы. Он побледнел и осунулся. Судьба невесты и матери волновала его.

Очная ставка не дала тех результатов, которых ожидало от нее следствие. Наоборот. Она представила все дело в свете более выгодном для обвиняемых. Из перекрестного допроса стало ясно, что студент Алексей Петров, оклеветал членов Славянского братства, показав, что они затевали народный бунт. По низкому уровню своего развития доносчик просто не понимал, в чем можно обвинить выданных им людей. На оч-

ной ставке выяснилась сбивчивость и противоречивость показаний члена общества студента Андрузского, который растерялся и нес всякую околесицу.

На очной ставке обвиняемым удалось убедить шефа жандармов графа Орлова, что «цель общества заключалась в соединении славянских племен под скипетром русского императора. Средством для достижения цели предполагалось воодушевление славянских племен к уважению их собственной народности, водворение между славянами согласия, склонение их к принятию православной религии, заведению училищ и изданию книг для простого народа».

Все братчики дружно выгораживали Шевченко. Его непричастность к делам общества была признана следствием. Но Тарас понимал, что более серьезным обвинительным материалом против него были стихи, найденные в чемодане, при обыске, те самые стихи, за которые преданный поклонник его поэзии, гусар, предлагал сто рублей козглагому полицейскому чиновнику.

Считая, что дела поэта принимают благоприятный оборот, какой-то благодушный жандармский офицер, присутствовавший на следствии, сказал:

— Бог милостив, Тарас Григорьевич, вы оправдаетесь, и вот тогда-то запоет ваша муза!

— Та який же чорт заніс мене сюди, як не ся проклята муза! — с изменным юмором возразил Шевченко.

Возвращаясь после очной ставки в свои камеры, обвиняемые повеселились. Только Костомаров, который шел по коридору бок о бок с Тарасом, казался печальнее других.

— Не журись, Миколо, — утешал его поэт. — Доведеться ще нам у купі жити!

★

Из докладной записки шефа жандармов и главного начальника III отделения собственной его императорского величества канцелярии, — графа Орлова:

«... Шевченко сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он то выражал плач о мнимом порабощении и бед-

ствиях Украины, то возглашал о славе гетманского правления и прежней вольнице казачества, то с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывая в них личных своих благодетелей

Шевченко приобрел между своими друзьями славу знаменитого малороссийского писателя, и потому стихи его вдовольне вредны и опасны. Судя по тому чрезмерному уважению, которое питали и лично к Шевченко и к его стихотворениям украино-славянисты, сначала казалось, что он мог быть если не действующим лицом, то орудием, которым они хотели воспользоваться в своих замыслах, но с одной стороны замыслы эти были не так важны, как казалось при первом взгляде, с другой — Шевченко начал писать свои возмутительные сочинения еще в 1837 году, когда славянские идеи и не занимали киевских ученых; равно все дело доказывает, что он не принадлежал к Украино-славянскому обществу, а действовал отдельно, увлекаясь собственной испорченностью. Тем не менее по возмутительному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, он должен быть признан одним из важных преступников».

★

Сквозь мутное решетчатое оконце камеры солнечный луч упал на койку. Костомаров зажмурил веки, потом открыл глаза. Дежурный принес кипяток и хлеб. Тюремный день начался Николай Иванович оделся, глотнул кипятку, пахнущего мочалкой, поморщился, потом вынул из кармана самодельный календарь и вычеркнул вчерашнее число. Было 30 мая. Костомаров уселся было за греческий синтаксис, но грохот колес на тюремном дворе отвлек его. Он подошел к окну и сквозь решетку выглянул во двор. Телега, запряженная парой лошадей, стояла у главного корпуса. Приземистый человек в солдатской шинели укладывал на телегу чемодан. Солдат обернулся. Костомаров узнал Шевченко. Тарас тоже узнал его, улыбнулся, закивал и снял фуражку. Его пышная грива была низко острижена, по форме.

В следующую минуту Костомаров ничего не видел. Пришлось снять и протереть очки. Когда он снова надел их, Шевченко уже садился в телегу. Из окон тюрьмы глядели печальные лица друзей.

«Шевченко, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений. Сочинение Шевченко «Кобзарь» из'ять из продажи».

Несколько дней тому назад Тарас с невозмутимым видом выслушал этот приговор. И теперь он казался совершенно спокойным. Темное отчаянье выливалось в стихах, пряталось в глубине сознания, но прощальная улыбка друзьям была ясна и приветлива. Он не хотел лишать их бодрости, растревлять их раны видом собственного страдания.

Ямщик стегнул лошадей. Прогрохотали колеса. Телега выехала из тюремных ворот.

Костомаров отошел от окна и бросился ничком на койку.

Сон

Т. ШЕВЧЕНКО

★

Дух истины, его же мир не может
приятн, яко не видит его, ниже знает
его.

Иоан, гл. XIV, ст. 18.

У всякого своя доля
И свой шлях широкий:
Тот построит, тот разроет,
А тот хищным оком
Высматривает, как ястреб,
Землю, чтобы силой
Заграбастать и с собою
Утащить в могилу.
Третий в карты, словно липку,
Обдирает свата,
Тот тихонько в уголочке
Точит нож на брата.
А тот — тихий да тверезый,
Богобоязливый,
Злую для тебя минуту
Выждет терпеливо,
Подползет да как запустит
Когтище в печенки, —
Не разжалобят злодея
И слезы ребенка!
Ну, а этот, пышный, щедрый,
Храмы воздвигает
И уж так отчизну любит,
Так ей помогает,
Так из родины сердешной
Кровь, что воду, цедит!..
Только смотрят, рот разинув,
Да молчат соседи.
Скажут: «Может, так и надо?
Пусть попьет немного!..».
Так и надо! Потому что
Нет на небе бога!
Под ярмом вы падаете,
Ждете, умирая,
Райских радостей за гробом,
Нет за гробом рая!
Образумьтесь! Поглядите:

Все на этом свете —
И цари и оборванцы —
Адамовы дети!
Тот... И тот... А что же я-то?
Я, добрые люди?
Лишь гуляю да пирую
И в праздник, и в будень;
Вам завидно? Вы скулите?
Ей-богу, не чую!
Не бранитесь! Я свою пью, —
А вы кровь людскую!

★

Так вдоль плетней, тропой знакомой
Идя с пирушки в час ночной,
Болтал я, пьяный, сам с собой,
Покуда не приплелся к дому.
Нет у меня детей, жена
Не дает, встречая.
Дом отрадней рая.
Кругом такая тишина
И покой в избушке...
Склонился я к подушке.
А если пьяный да заснет,
То хоть пали из пушки, —
Он усом не моргнет.

★

И сон же, сон на диво дивный,
В ту ночь мне снился!
Тут и непьющий бы напился,
Скупейший скряга дал бы гривну,
Чтоб глянуть хоть едва-едва...
Да чорта с два!
Вот вижу: вроде как сова

Летит над балками, прудами и лугами,
 Над оврагами и рвами,
 Над широкими степями
 И пустырями.
 А я за нею поднимаюсь
 И вот — лечу, с землей прощаюсь.

★

Ты прощай, земля родная,
 Край скорбей и плача!
 Мои муки, злые муки
 В облаках я спрячу.
 Ты ли стонешь, Украина,
 Вдовой бесталанной!
 Прилетать к тебе я стану
 Полночью туманной.
 Для печально-тихой речи,
 На совет с тобою
 Буду падать о полночи
 Свежею росую.
 Потолкуем, потоскуем,
 Пока день настанет,
 Пока твои малолетки
 На врага не встанут.
 Так прощай, моя родная!
 Пора мне в дорогу...
 Расти деток; жива правда
 У господа-бога!

★

Лечу... Гляжу — уже светает,
 Край неба пылает,
 Соловейко в темном гае
 Солнышко встречает.
 Степи грезят, голубея,
 Тихо ветер веет;
 Меж ярами над прудами
 Вербы зеленеют.
 Разрослись сады густые,
 Тополя на воле
 Встали, словно часовые,
 Беседуют с полем.
 Вся родная Украина
 Повита красою,
 Зеленеет, умываясь
 Раннею росую.
 Хорошеет, умываясь,
 Солнышко встречая,
 Не видать ее просторам
 Ни конца, ни края.
 Не убьет ее, не сломит
 Никакая сила...

Душа моя, ты о чем же
 Снова загрустила?
 Душа моя! Ты о чем же
 Горько зарыдала?
 Чего тебе жаль? Или ты не видала
 Страданий? Не слышала стонов
 людских?

Так слушай! А я поднимаюсь от них
 За синие хмары высоко, высоко;
 Там нету ни власти, ни кары жестокой,
 Там горем ничья не надорвана грудь.
 А в этом раю, что под солнцем сияет,
 Сермягу в заплатах с калеки снимают,
 Со шкурой снимают, — одеть и обувь
 Княжат малолетних. А вон распинают
 Вдову за оброки; а сына берут, —
 Любимого сына, единого сына, —
 В солдаты отраду ее отдают!
 Все мало им! Вон умирает под тыном
 Опухший, голодный ребенок! А мать
 Угнали пшеницу на барщине жать.

А вон видишь? — очи! очи!
 Куда деться с вами?
 Лучше бы вас высушило,
 Выжгло бы слезами!
 — Это девушка под тыном
 С ребенком плетется, —
 Мать прогнала, и все гонят,
 Куда ни толкнется!..
 Нищий даже сторонится...
 А барчук не знает:
 Он — недолюдок — с двадцатой
 Души пропивает!

Видны ль господу сквозь тучи
 Наши слезы, горе?
 Видит он, да помогает,
 Как вон эти горы,
 Вековые, облитые
 Кровью человечей!..

Душа моя! Твои муки
 Мне утешить нечем!
 Так усьемся горьким ядом,
 Усьем под снегами,
 Пошлем думу аж до бога,
 В небо, над звездами,
 Спросим: долго ль кровопийцам
 Царствовать над нами?

Лети ж, моя дума, моя злая мука!
 Возьми всю громаду страданий и зла —

Друзей своих верных! Ты с ними росла,
Ты с ними сроднилась; их тяжкие руки
Тебя пеленали. Бери ж их, лети
И по небу всю их орду распусти!

Пускай чернеет, багровеет,
Пожаром повеет,
Изрыгает змей и землю
Трупами усее!
А пока ты не вернешься,
Сердце укрывая,
Землю я пройду до края,
Не найду ли рая.

★

И вновь я над землею рею,
И вновь прощаюся я с нею.
Тяжко бросить мать-старуху
Без крова, без хаты,
Но страшнее видеть всюду
Слезы да заплаты.

Лечу, лечу, а ветер веет,
Передо мною снег белеет;
Чернеет бор, ночная мгла
Простор болот заволокла.
Безлюдье, глушь, не знать и следу
Злой человеческой ноги.
Враги мои и не-враги,
Прощайте! В гости не приеду.

Упивайтесь и пируйте,
Я уж не почую,
И навеки одиноко
В снегу заночую.
И, пока вы не дознались
О крае далеком,
Где не льются кровь и слезы,
Я в снегу глубоко
Отдохну...

Но вдруг я слышу —
Под землей неясно
Цепи звякнули... Я глянул.
О, народ несчастный!
Ты откуда? Чем ты занят?
Чего ищешь, роясь
Под землею?

Нет! Должно быть,
Я от вас не скроюсь
Даже на небе!.. За что же
Мне такие муки?
Кому что я сделал злое?
Чьи тяжкие руки

В теле душу заковали,
Сердце запалили
И, как тучу галок,
Думы распустили??.
За что, не знаю я, карают.
И тяжко карают!
Иль не будет этим мукам
Ни конца, ни краю?
Не вижу, не знаю.

Пустыня вдруг зашевелилась...
Земля, как тесный гроб, раскрылась,
И из земли на страшный суд
За правдой мертвецы встают...
Не мертвы они, не просят
Жалости у судей!
То идут, премя цепями,
Все живые люди,
Золото из нор выносят,
Чтоб заткнуть иуде
Глотку жадную!..
За что ж их
В рудники сослали?
Знает бог... Хотя и сам он
Вспомнил бы едва ли.

Вон — вор, клеймом отмеченный,
Гремит кандалами,
Другой — кнутами сеченный,
Скрежещет зубами —
Друга он зарезать хочет
Своими руками.
А меж ними, злодеями,
Вон — в одежде рваной,
Царь всемирный, царь свободы,
Царь, клеймом венчаный!
Цепи носит и не стонет
В муке бесконечной!
Кто согрет любовью к людям —
Не остынет вечно!
А где ж твои думы в их буйном
расцвете?
Любовно возвращенные, смелые дети?
Кому ты их, друг мой, кому поручил?
Иль, может быть, в сердце навек
схоронил?
Не прячь их! рассыпь, разбросай их
повсюду!
Взойдут, разрастутся, могучими будут!

Еще мытарство? иль уж будет?
Будет! будет! тут холодно!
Мороз разум будит.

★

И вновь лечу. Земля чернеет.
 И дремлет ум и сердце млеет.
 Гляжу: дома стоят рядами,
 Кресты сверкают над церквами.
 По площадям, как журавли,
 Солдаты на муштру пошли;
 Хорошо обуты, сыты,
 В цепи накрепко забиты
 Маршируют...
 Дальше глянул:
 Вот — в низине, словно в яме,
 Город средь болот дымится.
 Над ними тучами слоятся
 Мгла густая. Долетаю...
 То город без края!
 То ли турецкий,
 То ли немецкий?
 А, быть может, даже русский?
 Господа пузаты,
 Церкви да палаты,
 И ни одной мужицкой хаты!
 Смеркалося... Вдруг всё кругом
 Огнем запылало —
 Аж я струхнул... «Ура! Ура!»
 Толпа заорала.
 «Цыц вы, дурни! образумьтесь!
 «Чему сдуру рады,
 «Что орете?»
 — «Экой хохól!
 «Не видал парада!
 «У нас парад! Сам изволит
 Делать смотр солдатам!»
 — «Где ж найти мне эту цацу?»
 — «К тем иди палатам».
 Я пошел. Тут мне, спасибо,
 Землячок попался
 С казенными пуговками.
 — «Ты откуда взялся?»
 — «С Украины»
 — «Ты ж ни слова
 «Молвить не сумеешь
 «По-московски!»
 — «Э, нет, братец!
 «Говорить умею,
 «Только не хочу».
 — «Послушай,
 «Тут мне всё знакомо.
 «Проведу тебя, коль хочешь,
 «Хоть к царю в хоромы!
 «Но мы, брат, просвещенные,
 «Запомни, любезный!
 «Не поскупись полтиною...»

— «Чур меня! Исчезни
 «Ты, чернильная душонка!»

★

У всех пред глазами
 Я пропал. Вошел незримо
 Во дворец... и замер.
 Вот он, рай-то! Блюдолизы
 Золотом обшиты!
 Царь по залам выступает,
 Высокий, сердитый.
 Прохаживается гордо
 С тощей, тонконогой,
 Как засушенный опенок,
 Царицей убогой,
 А к тому ж она, бедняжка,
 Трясет головою.
 Это ты и есть, богиня? —
 Горюшко с тобою!
 Не видал тебя ни разу
 И попал впросак я, —
 Тупорылому поверил
 Твоему писаке!
 Как дурак, бумаге верил
 И лакейским перьям
 Вишпелетов. Вот — теперь их
 И читай и верь им!
 За двумя богами — бары
 Выступают гордо.
 Все, как свиньи: толстопузы
 И все толстоморды!
 Норовяг, пыхтя, потея,
 Стать к самим поближе:
 Может быть, получат в морду,
 Может быть, оближут
 Царский кукиш!..
 Хоть — вот столько!
 Хоть полфиги! Лишь бы только
 Под самое рыло!

В ряд построились вельможи.
 В зале все застыло,
 Смолкло..

Только царь бормочет,
 А чудо-царица
 Голенастой, тощей цаплей
 Прыгает, бодрится.
 Долго так они ходили,
 Как сычи, надуты,
 Что-то тихо говорили, —
 Слышалось: как будто
 Об отечестве, о новых
 Кантах и петлицах,

О муштре и маршировке...
 А потом царица
 Села молча на скамейку.
 К главному вельможе
 Царь подходит да как треснет
 Кулачищем в рожу.
 Облизнулся старчина
 Да — младшего в брюхо!
 Только звон пошел. А этот,
 Как заедет в ухо
 Меньшему; а тот утюжит
 Тех, кто чином хуже.
 А те — мелюзгу, а мелочь —
 В двери!

И снаружи
 Как кинется по улицам
 И — ну колошматить
 Недобитых православных!
 А те благим матом
 Заорали да как рявкнут:
 «Гуляй, царь-батюшка, гуляй!
 «Ура!.. Ура!.. Ура-а-а-а!»

★

Посмеялся я и — хватит;
 И меня давнули
 Все же здорово. Под утро
 Битые заснули...
 Православные все тише
 По углам скулили
 И за батюшкино здравье
 Господа молили.
 Смех и слёзы!..
 Вот смотрю я
 На город богатый:
 Ночь, как день!
 Куда ни глянешь, —
 Палаты, палаты...
 А над тихою рекою
 Весь каменный берег.
 Я гляжу, как полоумный,
 И глазам не верю, —
 Не пойму, не разумею —
 Откуда взялося
 Это диво?.. Вот где крови
 Много пролилося
 Без ножа!..

А за рекою
 Высокая башня
 Острая, ну, как иголка, —
 И глядеть-то страшно!
 И куранты теленькают.
 Тут я повернулся —

Вижу: медный конь над камнем
 На дыбы взметнулся,
 Не оседлан... На нем всадник —
 В свите — и не в свите,
 И без шапки. Только лавром
 Голова обвита.
 Конь ярится, — вот-вот речку,
 Вот... вот... перескочит!
 Всадник вытянул ручищу,
 Будто мир весь хочет
 Заграбастать. Кто ж такой он?
 Подхожу, читаю,
 Что написано на камне:
 «Первому вторая»
 Поставила это диво.
 О! Теперь я знаю:
 Этот — первый, распинал он
 Нашу Украину,
 А вторая доконала
 Вдову-сиротину.
 Кровопийцы! Людоеды!
 Напились живою
 Нашей кровью! а что взяли
 На тот свет с собою?
 Так мне тяжко, трудно стало,
 Словно я читаю
 Историю Украины!
 Стою, замираю...
 В это время — тихо, тихо
 Запевает кто-то
 Невидимый надо мною:
 — «Из города из Глухова»
 «Полки выступали
 «На линию с заступами,
 «А меня послали
 «На чужбину с казаками
 «Гетманом наказным.
 «И пришли мы в эту землю
 «На муки, на казни!
 «Царь проклятый, царь лукавый!
 «Здесь, в земле пустынной,
 «Что ты сдедал с казаками?
 «Засыпал трясины
 «Благородными костями;
 «Поставил столицу
 «Ты на их кровавых трупах!
 «И в тёмной темнице
 «Умер я голодной смертью,
 «Тобою замучен
 «В кандалах!.. О, царь! Навеки
 «Буду неразлучен
 «Я с тобою! Кандалами
 «Скован я с тобою
 «На века веков. Мне тяжко

«Витать над Невою!
 «Далекая Украина,
 «Может, погибает...
 «Полетел бы, поглядел бы,
 «Да бог не пускает.
 «Может — всё Москва спалила,
 «В море Днепр спустила,
 «Насмеялась и разрыла
 «Старые могилы —
 «Нашу славу! Боже правый,
 «Сжался, боже милый!»

Всё замолкло. Вот я вижу:
 Туча снегом кроет
 Небо серое. А в туче
 Зверь как будто воеет.
 То не туча — белый кричат
 Тучей пал в долину
 И заклокотал над медным
 Грозным властелином:
 «И мы скованы с тобою,
 «Людоед свирепый!
 «На суде последнем страшном
 «Мы могучей крепью
 «От тебя закроем бога.
 «Ты из Украины
 «Гнал нас, голых и голодных,
 «В снега, на чужбину!
 «Ты убил нас, а из кожи
 «Нашей багряницу
 «Сшил ты жилами казнённых,
 «Заложил столицу
 «В новой мантии! Любуйся ж
 «На свои палаты!
 «Веселись, палач свирепый,
 «Проклятый! Проклятый!»

★

... Рассыпались, разлетелись...
 Солнышко вставало.
 Я стоял и удивлялся,
 Так, что жутко стало.
 Вот уж голь закопошилась,
 На труд поспешая,
 Уж построились солдаты,
 Муштру начиная.
 Заспанные, проходили
 Девушки устало,
 Но — домой, а не из дому!..
 Мать их посылала
 На ночь целую работать,
 На хлеб заработать.
 Я стою, а злая дума

Надо мною вьется:
 Как же трудно хлеб насущный
 Людям достается!

★

Вот и братья сыпанула
 К под'езду сената,
 Переписывать и шкуру
 Драть с отца и брата.
 Землячки мои меж ними
 Шустро пробегают;
 По-московски так и режут,
 Смеются, ругают —
 На чем свет — отца, что с детства
 Трещать не учил их
 По-немецки, — мол, теперь вот
 Прокисай в чернилах!
 Эй ты! пьявка! Может — батька
 Последней короной
 Жертвовал, пока усвоил
 Ты московский говор!
 Вот твои сыны, Украина!
 Бездушно-пустые.
 Чернилами политые
 Цветы молодые,
 Московскою беленою
 В немецкой теплице
 Заглушены! Плачь, Украина,
 Сирая вдовица!

Глянуть, что ли, что творится
 В царевых палатах?
 Что там делается? Вхожу я, —
 Множество пузатых
 Ждет царя.

Сопят епросонья,
 Все надувались
 Индюками да на двери
 Косо озирались.
 Дверь открылась; будто вылез
 Медведь из берлоги, —
 Посинел, распух и еле
 Подымает ноги.
 Мучило его похмелье
 От винищ проклятых.
 Поглядел он да как крикнет
 На самых пузатых.
 Все пузатые мгновенно
 В землю провалились!
 Царь, как выпучит глазища, —
 Все, что сохранилось, —
 Затряслось. А он как гаркнет
 На тех, что моложе —

И те в землю. Он на мелочь —
 Мелочь в землю тоже! ,
 Он — на челядь; и вся челядь,
 Как один, пропала.
 На солдат, и все солдаты, —
 Аж даль застонала —
 Ушли в землю!..

Вот так чудо

Увидал я, люди!
 Я гляжу, что ж дальше будет?
 Что же делать будет
 Медвежонок мой? Стоит он,
 Печальный, понурый.
 Эх, бедняжка!.. Куда делась

Медвежья натура?
 Тихий стал, ну — как котенок!..
 Я расхотелся.
 Он услышал, да как зыкнет, —
 Я перепугался
 И проснулся..

Вон какое

Мне приснилось диво
 Страшное!.. такое снится
 Только юродивым
 Да пропойцам. Вы простите,
 Сделайте мне милость,
 Что не свое рассказал вам,
 А то, что приснилось.

8 июля 1844 г.,
 С. Петербург.

Перевел с украинского
 ВЛАДИМИР ДЕРЖАВИН

★

Пять стихотворений

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

★

★ ★ ★

Когда б вы знали, барчуки,
Как слезы бедняков горьки,
То вы б элегий не творили,
Напрасно бога б не хвалили,
Смеясь при виде наших слез!
За что, не знаю, называют
Хатёнку в гае тихим раем?
Я в хате мучился! Я рос,
Пролив немало детских слез,
Горчайших слез! И я не знаю,
Найдется ли у бога зло,
Что в этой хате не жило?
А хату раем называют!

Не назову я тихим раем
Вот те хатёночки за гаем
Вблизи пруда, где край села.
Меня там мама родила
И, пеленая, напевала, —
Свою тоску переливала
В свое дитя; вот в том гаю,
Вот в той хатёнке, в том раю
Я видел ад... и в нем работа —
Неволя тяжкая!.. Заботы
Очнуться людям не дают!
Там мать любимую мою,
Еще не старую, в могилу
Судьба-злодейка уложила.
Там батька, плачущий с детьми
(А были мы малы и голы),
Не вытерпев жестокой доли,
Погиб на барщине... а мы, —
Мы затерялись меж людьми,
Как жалкие мышата.

В школе
Носил я воду школярам,
Браты на барщину ходили,
Покуда лбы им не забрили.
А сестры!.. Сестры?.. Горе вам,
Мои голубки молодые!
Зачем на свет родили вас?
В батрачках вы росли чужими,
В батрачках станете седыми
И встретите свой смертный час.

Мне страшно, чуть я вспоминаю
Ту хату на краю села.
Такие, господи, дела
Творятся в мирных кущах рая
Тобою созданной земли!
В раю мы пекло развели,
На благость бога уповая.
Мы тихо с братьями живем,
В чужих полях мы пашем, жнем,
Слезами пашню поливая.

А может быть, что... Нет, не знаю,
Но так сдается — ты еси...
(Ведь без твоей, наш боже, воли
В раю бы не были мы голы!)
Ты, может, сам на небеси
Смеешься, батюшка, над нами
И сговорился сам с панами,
Как править миром?!

Глянь сюда:
Вот гай зеленый у пруда,
Вот пруд, на солнышке сверкающий,
Лег серебряным полотном,

Вот вербы гнутся над прудом,
В воде тихонечко купая
Тугие ветки... Правда, рай?
Но приглядись-ка и узнай,
Что там творится в этом рае!

Конечно, радость и хвала
Тебе, единому святому,

1850 г., Оренбург.

За дивные твои дела...
Ну, как не так! Хвала? — такому?
Нет! Кровь, и слезы, и хула,
Хула всему! Нет, нет! Святого
На свете нет, наш боже злой!

И мне теперь сдается снова,
Что сам ты проклят всей землей...

Перевел с украинского
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

★

МУЗА

А ты, пречистая, святая,
Подруга Феба молодая!
Меня ты на руки взяла,
Далёко в поле унесла
И на кургане среди поля,
Как эту волю на раздольи,
Седым туманом повила;
И напевала, и качала,
И колдовала ты... И я...
О, ты, волшебница моя!
Ты мне повсюду помогала,
Меня везде оберегала;
В степи, в безлюдной злой степи
В далекой неволе,
Ты сияла, красовалась,
Как цветочек в поле.
Из казармы из нечистой,
Чистою, святою,
Звонкой пташкой ты взмыла,
Взмыла надо мною,

9 февраля 1858 г.
Нижний-Новгород.

Полетела и запела,
Друг золотокрылый,
Будто мне живой водою
Душу окропила.

И я живу, и надо мною
Своею божьей красотой
Ты светишь, звездочка моя,
Моя советница святая,
Моя ты радость молодая...
Не покидай меня! В ночи,
И днем, и вечером, и утром
Следи за мною и учи
Вещать правдивыми устами
Всю правду. Руку протяни,
Найти дорогу помогай.
Когда же я умру, — родная,
Любимая, — ты схорони
Родного сына-сиротинку
И хоть единую слезинку
Из глаз бессмертных урони.

Перевел с украинского
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

★

★ ★ ★

Считаю в ссылке дни и ночи —
И счет им теряю!
О, господи! Как печально
Они уплывают!
А года текун за ними
Ленивой водою,
И с собой они уносят
Доброе и злое...
И не спросят, а уносят, —
Не молись, не требуй, —

Никогда твоей молитвы
Не услышит небо.
В болотах тусклыми ручьями
Меж камышами за годами
Три года грустно протекли;
Всего немало унесли
Из горницы моей унылой
И морю тайно обрекли;
И море тайно проглотило
Мое не золото-серебро, —
Мои года, мое добро,

Мою тоску, мои скрижали, —
 На них — незримых — я в печали
 Невидимым писал пером...
 Пускай нечистыми ручьями
 Текут себе меж камышами
 Года невольничьи... А я...

Кос-Арал, 1849 — 1858 гг.

Таков обычай у меня!
 И посижу, и погуляю,
 На степь, на море погляжу,
 О чем-то вспомню, напеваю
 И в книжку песню запишу
 Как можно мельче. Вновь блуждаю!

Перевел с украинского
 Ник. УШАКОВ

★

★ ★ ★

У той Катри-Катерины
 Хата — что палаты.
 Заходили запорожцы
 К Катерине в хату;
 Один — Семен Босый,
 Другой — Иван Гольий,
 Третий — славный вдовиченко ¹
 Иван Ярошенко.
 — Из'ездили Польшу
 И всю Украину,
 А такой мы не видали —
 Как ты, Катерина!
 Один молвит: «Брат мой! —
 Был бы я богатый,
 То отдал бы все золото,
 Чтоб час лишь единый
 Побывать с Катериной».
 Другой молвит: «Было б
 Во мне втрое силы, —
 Всю ее отдал бы, друже,
 Чтоб час лишь единый
 Побывать с Катериной».
 Промолвил им третий:
 «Нет того на свете,
 Чего б не достал я, дети,
 Не добыл для Катерины
 За час за единый».

Катерина задумалась
 И так отвечает:
 «Есть у меня брат родимый,
 В плену он страдает,
 Он в Крыму — в неволе вражьей.
 Кто его добудет,

Тот, казаки-запорожцы,
 Мужем моим будет».
 Гости тотчас встали,
 Коней оседлали
 И за братом Катерины
 На юг поскакали.
 Один в Днестре сгинул
 Как в темной могиле,
 Другого в Козлове
 На кол посадили,
 Третий, Иван Ярошенко,
 Славный вдовиченко,
 Из лютой неволи
 Из Бахчисаряя
 Брата вызволяет.

Утром двери заскрипели, —
 Люди входят в хату:
 «Вставай, вставай, Катерина,
 Погляди на брата».

Глянула и отступила,
 И заголосила:
 «То не брат мой, то мой милый!
 Я с тобой хитрила».
 «Ты схитрила!» — Катерины
 Голова скатилась.
 «В хате злой и доля злая, —
 Выйдем, брат, на волю!»
 Поехали запорожцы,
 Только ветер в поле.
 Чернобровую ту Катрю
 В поле закопали,
 А славные запорожцы
 В степи побратались.

¹Сын вдовы.

Кос-Арал, 1848 г.

Перевел с украинского
 Ник. УШАКОВ

★

★ ★ ★

На кургане, в чистом поле,
 Над всею округой
 В бой вступили два тополя
 И клонят друг друга.
 И без ветра два тополя
 Качаются в поле.
 Те деревья — злые сестры,
 И злая их доля.

Они обе полюбили
 Одного Ивана.
 Как ведется, были обе
 Казаку желанны.
 То одну он звал любимой,
 То другую милрой, —
 Но однажды над оврагом
 Солнце заходило, —
 И сошлись они все трое.
 Что ж ты, в самом деле,
 Ты над сестрами смеешься!..

И пошли за зельем,
 Чтобы извести Ивана
 Отравой-травой.

Нашли траву, варить стали
 Зелье колдовское.
 Заплакали, зарыдали, —
 Да выхода нету:
 Надо варить! Наварили;
 Ивана отравили,
 На кургане возле роши
 В поле схоронили.

И довольны? Нет, не больно:
 Все они ходили
 На могилу утром-рано
 Плакать над Иваном,
 Пока сами не погибли
 От зелья-дурмана.

А всевышний для примера,
 Карая их злобу,
 Обратил сестер в деревья;
 И тополя оба
 В чистом поле, на кургане
 Над Иваном этим,
 И без ветра склоняются,
 И клонит их ветер.

*Перевел с украинского
 Ник. УШАКОВ*

Кос-Арал, 1848 г.

★

В полярном море

РАССКАЗ

ПАВЕЛ НИЗОВОЙ

★

I

Наживка последние дни почти не ловилась, и часть ловецких судов вынужденно стояла у причала. Колхозная жизнь в становище шла шумливо и беспорядочно. Непрерывно хлопали двери правленческого помещения.

Председатель колхоза, Софронов, пожилой рыбак, горячился:

— Где я вам достану наживку? Не могу же я ее родить! Добывайте сами. Вон, эмересовцы плавали к Черной балке и привезли. — Он хлопнул ладонью по ведомости, которую просматривал. — Довольно дурака валять! Надо самим проявлять инициативу! — С сердцем нахлобучил на голову лохматую баранью шапку, похожую на грачиное гнездо, и зашагал к выходу.

На улице сразу вздохнулось свободнее. Вокруг лежали необмятые мартовские снега с узором фиолетовых прозрачных теней, много было солнца и мирной зимней тишины.

Председатель с юношеской легкостью пошел к базе.

Становище делилось на две части. Крохотные, двух-трехконные дощатые домишки — «станы», крытые толем, — разбегись, и перепрыгнешь через такой убогий дом, — были окружены игрушечными палисадниками, на ветхих заборах висели, догнивая, обрывки старых сетей. На воткнутых в снег веслах торчали ловецкие сапоги с необъятными голенищами; под карнизами сушились гирлянды тресковых голов.

Это — уже отжившее рыбацкое прошлое: бесправное, полуголодное существование, работа на кулака-промышленника. В двух-трех «станах» еще жили одиночники. Остальные доживали век без хозяев.

Рядом с этими лачугами тянулись три порядка больших двухэтажных колхозных домов, резко изменивших облик рыбацкого поселка.

У крыльца нарядно окрашенного обширного дома деятельно шумела группа людей. Молодой парень приклеивал под навесом ярко раскрашенную афишу.

Софронов вспомнил: завтра ставится любительский спектакль. Здание клуба выстроено в прошлом году на колхозные средства; в этом общественном улье есть и его, председателя, капля меда. А там, в бухте и в море, — семнадцать моторно-парусных ботов, не считая мелкой посуды, — все это колхозное добро. Кто может сказать, что председатель Софронов не приложил старания, хозяйственной сметки к накоплению всего этого? Кто скажет, что он плохо руководит делом или не умеет ладить с людьми?..

На лице председателя появилась самодовольная улыбка. «Мы еще покажем себя...».

Он повернул на площадь, и улыбка вмиг исчезла: на сигнальной портовой мачте недвижно висели три лубяных шара, показывавшие, что с норда ожидается шестибалльный шторм.

«Этого еще не доставало! — Софронов досадливо отвернулся. — Все не-

счастья на мою голову. Что я могу тут поделаться?».

Настроение снова было испорчено...

На широком помосте базы идет спешная работа: с моря пришли два судна. Рыбой завален весь пол, а тачки, нагруженные серебрищей треской и пикшей, все продолжают гроыхать. Женщины в белых халатах над чанами с водой рыбу «шкерят», моют щетками. Блестящая снежной белизной, пахнущая морем, она тут же увозится на склады для посолки или в морозилку.

Софронов, перепрыгнув через кучу рыбьих голов, хмуро сует руку заведующему базой.

— Наши сколько сдали?

— Подходяще. «Камбала» — четыре с половиной тонны, а у «Севера» будет пять с излишком.

— А другие как?

— Эмересовцев перекрыли, — дружески смеется заведующий. — У них сегодня неудача.

Председателю становится легче. Он готов злорадно пошутить над директором МРС¹ Ковылем, но в это время приближается новое судно.

Открылся трюм, заработали «ляпы» — острые крючья на короткой палке, — ловко всаживаясь в тресковые головы. Рыбьи тела шлепаются в емкие ящики, через минуту их поднимут на помост базы.

Софронов уже возле борта. Кричит молодому бригадиру-колхознику:

— Где ловили?

— Здесь, возле залива... Сегодня рыба прет здорово. Сейчас опять хотим итти. Как с наживкой, товарищ Софронов?

— Плохо, Евтюков. «Камбала» последнюю забрала. Только тридцать девять тюков наживили. Не знаю, что делать.

— Ничего. Где-нибудь раздобудем. — Евтюков ловко прыгает с бота на помост. — Я сейчас что-нибудь соображу.

К председателю колхоза подходит директор Ковыль — коренастый человек,

с неизменной добродушно-хитровой улыбкой.

— Здравствуй, Софронов. Я тебя разыскиваю. — Ковыль перестает улыбаться. — Хочу поговорить с тобой по-серьезному.

— Что ж, давай поговорим.

Но Ковыль начинает не сразу. Он прежде справляется о сегодняшнем улове, о том, какие бота куда ходили, по сколько тюков ставили. Вполголоса разговаривая, они выходят за ворота и направляются вдоль узкой улочки к песчаной косе, где ловится наживка.

— Софронов, пойми ты, — повышает голос директор МРС. — Мы оба работаем для страны. Мы ведь не частники. Мы выполняем единый государственный план...

— А разве наш колхоз плохо его выполняет? — перебивает председатель. — Мы ловим не хуже других. Наши ударные бригады идут впереди твоих.

— Да, верно, верно, — досадливо машет рукой Ковыль. — Работаете вы не плохо, но можно еще лучше. Мы можем ловить значительно больше, чем сейчас. И простое таких не делать, какие делаем. И бота со снастями держать в лучшей исправности. Но не в этом только дело...

— В чем же?

— А в том, что ты крохоборствуешь. Я тебе дал девять ботов. Три из них самые лучшие, а ты посадил на них негодную команду, которая не может использовать их технические преимущества: Это не социалистический подход! — горячится Ковыль.

Софронов насмешливо щурит ставшие злыми глаза.

— Ты напрасно, Ковыль, горчицу разводишь, — говорит он с иронией. — Я не хочу с'есть твою МРС.

— Да если бы и хотел — не сможешь этого сделать! — запальчиво выкрикивает директор.

Они выходят к заливу и остывают сразу оба.

На песчаной отмели две бригады ловят наживку. Один невод только еще закидывается — это эмересовский, а

¹ МРС — машинно-рыболовецкая станция, обслуживающая рыболовецкие колхозы орудиями лова, моторными судами, инвентарем.

другой, колхозный, уже вытаскивают. Тут суетится и бригадир Евтюков. Нескольким ловцов в брезентовых куртках и высоких сапогах, напрягаясь, тянут два конца пенькового троса. Спины их влажные от мокрого каната и выступившего пота.

Небо и вода густо-сини. На влажный песок с ритмическим шумом накатываются белые гребни прибоя, оставляя после себя кружево застывающей пены.

— Здорово, ребята! — приветствует Ковыль. — Песчанка, поди, мойвы нет? — Первую тоню еще, не знаем. Наверно, песчанка...

Директор МРС, не обращая внимания, что невод не его, а колхозный, по привычке подставляет плечо под тягую канат.

— Вот это дело, товарищ Ковыль! Подмогни ребятам! У вас рука легкая, может, что и добудем.

Примеру директора последовал и председатель колхоза.

Полтора десятка ловцов, согнув спины, с крайним усилием шагают по влажному песку.

— Дава-ай! Сходишь живе-е! Левая, не отставай! Тяни-и! — надсаживается с лодки «корщик». Он бесстрашно стоит на раскачивающейся лодке, поднимает то правую, то левую руку, и кажется, будто он управляет морским прибоем.

Невод выходит на мель. Вода в нем кипит, как на огне. Отдельные рыбешки проскальзывают сквозь ячеи, беспомощно копошатся на поверхности.

— Мойва. Хорошо-о! Значит, будем сегодня с треской.

— Это товарищ Ковыль принес нам удачу! У него счастье на цепочке ходит. Надо всегда приглашать его на подмогу...

Потянулся к берегу и второй невод, эмересовский. Ковыль снова вместе со всеми подставляет могучее плечо. Колхозный бригадир Евтюков весело кричит:

— Вон она, как кипит! Ну, товарищ Ковыль, — идет сегодня на соревнование? С любимым вашим ботом! Я семьдесят тюков наживляю!.. Заметано, что ли?

— Это ты бригадиров вызывай, а мое дело — сторона, — отвечает директор.

Но он доволен: наживка теперь есть, — значит, будет и улов.

II

Григорий Иванович Ковыль сегодня, точно именинник, — широкое лицо его светится тайной радостью.

Он хитро улыбается и говорит своему новому помощнику, недавно приехавшему на побережье:

— Товарищ Петров, на комбайне я завтра сам пойду, со снюрревадом¹, пройду по заливу, а может быть, и в открытое море загляну, — тут, неподалеку.

Ковыль некоторое время помолчал. Но чувства выпирали наружу: комбайн — его двухлетняя мечта. Много усилий приложил он, чтобы добыть это судно. Оно больше обычных мотоботов. На нем два спаренных мотора и мощная лебедка.

Главное же в том, что судно приспособлено для комбинированного лова — ярусом и различными сетями.

— Ты понимаешь. Мы можем теперь ловить не только у берегов, несчастным ярусом, которым ловили еще наши предки. Будем в море гоняться за рыбой, не дожидаясь, когда она сядет на крючок. Докажем нашим колхозникам, что снюрревад и кошельковый невод имеют огромные преимущества перед удой и ярусом...

Директор заканчивает перечислением команды, которая пойдет на комбайне в показательный рейс.

— ... Капитан — молодой... Знаешь, Акимов? Парень хват и дело знает — во! Бригадиром беру Новокшонова. Видел — такой щупленький и заикается. Он будет и помощником капитана. Самому чорту брат. Вокруг Новой Земли на паруснике ходил, с десятков раз тонул, неделю на льдине плавал, без хлеба, ремни жевал. А с виду — цена

¹ Снюрревад — невод для лова в открытом море.

три копейки... Ну, и восемь человек беру ловцов, — меньше не управишься. Забыл — два еще моториста... Это будет у меня команда. С ней хоть к полюсу можно...

На следующее утро комбайн «Мечта» отдал швартовы и медленно поплыл из бухты. С пристани махали руками, кричали и со смехом советовали:

— Счастливого плавания! Смотрите, чтобы первый блин бы пропеченным.

— Больше привозите!

— Если где селедку найдете — гоните сюда! Мы тут ее за жабры...

Ковыль весело отшучивался:

— Мы ей на хвост соли, — сама будет прыгать в трюм... Вот, за двое суток нагрузим его доверху, тогда будете от зависти зубами щелкать.

— Ну, ну! Посмотрим!.. Ярус — понадежнее. Наши деды ловили да хвалили. А с вашим «кошелем» — впустую протопаете. Раньше с ним по миру ходили, кусочки собирали.

Бригадир Евтюхов с колхозного бота насмешливо предложил:

— Эй! Товарищи! Кто больше? Мы сутки ярусом, а вы — двое снюрреводом. Идет, что ли? Хотите — дадим трое суток?..

Его мотобот «Вайгач» тоже выходил сейчас на лов.

— Куда вам с нами тягаться! — махнул рукой Ковыль. — Лаптем щи хлебать...

К борту подскочил Новокшонов.

— Вы... вы... вызов ваш о... от принимаем! — закричал он запальчиво, от волнения заикаясь больше обычного. Жиденькая с проседью борода его ходила венчиком, двигался в ней каждый волосок. — Вот, а... а вся команда согласна!

— Согласны! Согласны! Принимаем соревнование! — слышалось с разных мест палубы комбайна.

— Так как же? На каких условиях? — уже серьезно спросил Евтюков. — На равных или...

— Ты... т... смеешься! Рано еще!

— Хорошо. Значит, вы двое суток и мы двое, сколько бы ярусом ни вышло, — уточнил колхозный бригадир. — Есть так?

— Есть!..

Ловцы обоих судов, стоя у бортов, с задором выкрикивали:

— Придется вам «лазаря» петь со своими снастями!

— Смотрите, сами не промахнитесь!

— Нам что? По рыбешке на каждый крючок добудем — с нас и хватит!

— А нам — в каждую тоньку по две тоньки — мы и не в обиде!

Мотоботы медленно расходились: один направо, другой налево. Обоим светило яркое полярное солнце. Под бугшпритом резвилась голубая волна...

★

Колхозный моторный бот «Вайгач» ловил недалеко от устья залива и первый ярус выметал еще при штиле. Море дремало; кой-где вспыхивали морщинки и зернились отблески солнца. Казалось, водная масса лениво стекала за горизонт и там бесследно исчезала.

Бригадир Евтюков хозяином носился по палубе, — в момент лова командование переходило к нему.

— Петр Степаныч! Давай малый!.. — поднимая руку, отдавал он распоряжение в капитанскую рубку.

Капитан передавал приказание мотористу:

— Дроздов! Малый ход!

Неторопливо закурился трубку, Петр Степаныч выжидающе смотрел в открытое боковое окно на работающих ловцов и их командира.

— Давай! Трави! Не задерживай!

За борт сбегала крепкая, многокилометровая бечева яруса с тысячами надежных стальных крючков. На каждом — серебром поблескивала рыбешка.

— Наживка сегодня, что надо. Если на такую семь тонн не добудем, то не в море нам ходить, а на кухне картошку чистить... Который ящик?

— Двенадцатый. Сегодня при такой погоде работать — одно удовольствие. «Мечте» мы нальем, честное слово.

Рыболовная снасть продолжала неуклонно сползать за борт. Нос бота с медлительной настойчивостью бороздил тяжелую, словно застывшую, воду.

Потом за борт болтыхнулось грузило, и вслед за ним полетел «кубас» — тонкий шестик с флажком и со связкой стеклянных шаров — кухтылей. Раскачиваясь, он замаячил на воде, показывая место закрепления снасти.

Судно замерло. Капитан долго оглядывал горизонт влево, над дальними скалами, раздумчиво теребя стриженный ус, — ему не нравился этот кусок неба. Чувствовалось, быть шторму.

В кубрике группа молодых и пожилых ловцов окружила культуполномоченного, комсомольца Охупкина, читавшего статью «Правды» о международном положении.

В этот момент и появился капитан. Он выжидающе остановился, прислушиваясь.

— Ты что, Петр Степаныч? — поднял голову бригадир.

— Надо поторапливаться с ярусом: погода что-то ненадежная, не застрять бы.

Евтюков быстро вскочил.

— Айда, ребята, наверх! Время начинать! — Тяжело стуча большими сапогами, он стал поспешно подниматься на палубу.

Горизонт затягивался туманом, лениво плыли мирные жидковатые тучки. Ветер пронесился струйками, поднимая на воде мелкую рябь. С криком метались чайки.

Бригадир Евтюков деловито оглядел небо и сказал:

— Страшного ничего еще нет. Но если уж поднялись, то надо принимать за дело. Ребята! Давай, приступай!..

Мотор работал на малом ходе, судно едва подвигалось. На ярусе показалась первая рыба. Ее можно было видеть еще под водой. Она поднималась сверху мутно-блещущим пятном, — точно со дна моря вытягивали луну, сочащуюся дрожащим зеленоватым светом.

Еще два-три поворота лебедки, и на поверхности заплескалась метровой длины жирная треска. Бригадир Евтюков сам всадил в нее «ляп», угодив прямо в глаз. Рыба тяжело шлепнулась на палубу.

— Начало неплохое. Значит, на уху

есть, — засмеялся он. — Одной всю команду накормим.

Над водой плескалась уже другая, такая же крупная, а сквозь зеленоватый, прозрачный слой воды мелькало, поблескивая, новое лунное пятно.

Чуть не на каждом крючке болталась треска или пикша. Изредка попадалась зубатка с хищно раскрытым ртом и крупными зубами, иногда окунь. Красноперый морской красавец, житель больших глубин, выходил на поверхность изуродованным. Его организм плохо приспособлен к быстрой перемене давления — нутро вылезало изо рта темным продолговатым комком. Рыба была мертва.

Ловцы были в приподнятом настроении, обменивались шутками и островами.

— Нам сегодня, ребята, великомученица Парасковья Пятница рыбу нагнала на крючок. Это ее дело, — смеется старый рыбак Антохин, не прекращая взмахивать ляпом через борт.

— Ты вечно со своими великомученицами. Может, Егорий? Егорка кубас-то ставил.

— Нет. Тут дело женское. Первый тюк наживляла Парасковья, а рука у ней легкая.

— Рука, говоришь легкая? А новый муж почему-то жалуется.. Вася! Как у твоей бывшей жены, у Парасковьи, — легкая рука или увесистая? Ты это знаешь на практике.

— А ну вас... Дурака валяете! — отмахивается маленький, тщедушный рыбак. — Гляди, вон, зубатка сапог проглотит. Одни ушки останутся.

— А что ему сапоги? К ушкам новые головки пришьет. Походил в старых, будет.

Слышится смех, серьезный, будто деловой. Руки ни на минуту не прекращают работы: сдергивают с крючков рыбу, сбрасывают ее в трюм, вытягивают лебедкой снасть, складывают ее правильными рядами в ящики. Судно медленно движется к лениво покачивающемуся поплавку — шесту с флажком, где кончается снасть..

Капитан, старый помор-промышленник, с удовлетворением смотрит на

грузно шлепающуюся рыбу и на бесконечную, такую простую, милую ярусную снасть, — три десятка лет ходит с нею.

«Нет, ярус не подведет. Все эти кошельковые невода, датские снюрревады — нам ни к чему». Капитан прикидывает в уме количество улова: «Тонн семь, пожалуй, потянет. Заработок ладный, и на сводной доске будем стоять первыми». По его лицу скользит довольная улыбка. «Разве они своей сетью столько промыслят?»

Бригадир Евтюков тоже весело потирает руки.

— Петр Степаныч! А у нас сегодня удачно. Только я думаю, что если попасть на рыбное место, то сетью можно больше наловить.

— Чепуха твоя сеть! — сердито откликается капитан и уверенным движением перекладывает руль на курс — становище.

Ветер начинает посвистывать в вантах и вспахивать морскую гладь. Будто появились сотни старательных плотников с гигантскими рубанками — над волнами взметываются, сверкают белые водяные стружки.

Но страшиться теперь нечего: снасть в ящиках, рыба в трюме.

В камбузе кипит, жарится жирный, обильный ужин.

На палубе затренькала балалайка...

III

«Мечта» делала четвертый замет, — три прошли неудачно. Директор Ковыль был взволнован. Восемь часов потеряны впустую. За три раза — какая-нибудь тысяча килограммов.

«Неужели здесь нет рыбы? Или сеть посажена неправильно? Надо еще раз основательно просмотреть и сверить с чертежами: не напутали ли чего при посадке?».

Он никак не мог примириться с такой неудачей. Теперь старые ловцы-колхозники будут торжествовать.

«Нет, на этом мы не закончим. В первый и во второй раз не удалось — в десятый удастся!» — размышлял он.

Чувствовала себя плохо и команда, особенно бригадир Новокшонов. «Значит, «Вайгач» побьет. Там дело надежное, испытанное. А мы придем с порожним трюмом»...

Меланхолично стучала лебедка; из мутной глубины в безнадежной потуге тянулись новые пеньковые тросы.

Крылья снюрревады шли уже через борт. Вдалеке за кормой мелькнул серебристый узел мотни. Вода пенилась и играла.

«Опять, должно быть, только мелочь. Опять пусто...»

И разом из десятка грудей вырвалось радостное восклицание:

— Ого-о! Рыба! Рыба!..

— Полный куток! Да какая крупная!

— Кипит рыбешка! Кипит!

— А вдруг тонны две зацепили? На голодное брюхо и хватит. А там еще подбавим.

— Будет вам раньше времени каркать! — рассердился бригадир, устремляясь к корме. Он внезапно замахал руками: — Давай скорее шест! Оттолкнуть надо, не попала бы на винт! А... а от... леший ее возьми! Разорвет!

Один из ловцов повис за кормой, оттакаявая сеть от судна. Она медленно двигалась вдоль корпуса, огромным живым шаром, в котором трепетали, плескались бесчисленные серебристые тела.

— Сеть подсушить! — скомандовал Новокшонов. Голос был торжественно звонок, полон воодушевления. — Еще немного! А ну, еще!..

Невод подтянули к самому борту. Рыба лежала в нем плотной спрессованной массой. Сквозь нитяные ячеи выпирали, придавленные общей тяжестью, головы, хвосты, расплюснутые животы. Значительная часть рыбы была жива и бурно плескалась, грозя прорвать сеть.

— Надо подвести режу, а то прорвет. Разве можно такую тяжесть поднимать? — возбужденно крикнул директор. От волнения у него блестели глаза и дрожали руки.

— Это мы с... счас. Живой рукой. — Бригадир сам бросился за вспомогательной сеткой.

Над бортом вырос огромный, напружиненный шар с волнующейся внутренней силой. Еще мгновение — и в трюм хлынул серебряный, неудержимый поток. Отдельные рыбины, почти метровой длины, не попавшие в люк, тяжело бились на мокрой, скользкой палубе. На них никто не обращал внимания.

Шар, уменьшаясь и слабея, поднимался выше; треска все лилась в темную пасть трюма...

— Вот это дело! — радостно выдохнул директор, когда опорожненная сеть опустилась на палубу. Он приятельски шлепнул по плечу подвернувшегося бригадира. — С рыбой, значит, Новокшонов? Жарим и варим и впрок солим!..

— Т... только еще начинаем, товарищ Ковыль!.. Ну, айда, ребята! Время — деньги! Налаживай снасть!

Снорревад снова спущен за борт. Судно, в струну натянув тросы, делает большой круг.

— Выбира-ай! — командует бригадир Новокшонов.

Опять застучала лебедка. Мокрый канат старательно буравит снизу вверх вспыхивающую солнечными искрами зеленоватую воду. Глаза ловцов с тревогой и надеждой смотрят за корму.

«Будет или не будет?..».

И опять в раскрытый люк трюма льется живой рыбный поток...

Появились тучи. Они возникали где-то у горизонта и, уплотняясь, сытым овечьим стадом лениво тянулись к зениту.

На воде заиграли «беяки».

«Мечта», качаясь на волнах, кружилась почти на одном месте. Каждый новый замет давал по три, по четыре тонны. Ловцы, не обращая внимания на резкую перемену погоды, продолжали лихорадочно работать. Большая добыча пробудила азарт. Они хотели нагрести трюм доверху.

Директор несколько раз предупредил бригадира.

— Новокшонов, гляди, как навораживает. Не успеет убраться...

— Ничего-о! В... волна терпимая. Не впервые, небось...

Невод снова летел за борт, и опять в трюм текла рекой крупная, жирная треска и пикша...

— Григорий Иванович, нельзя же уходить от рыбы. Вот еще разок... на детисек... и тогда — айда к... дому! — оправдывался увлекшийся бригадир.

Налетевший вал неожиданно обрушился на поднятую сеть. Рыба посыпалась в море. Капитан властно закричал из рубки:

— Задраивай трюм! Поднимай якорь!

Несколько человек кинулись выполнять приказание.

Волны упорно били в борт, перекачиваясь по палубе. Пытавшихся закрыть досками и брезентом люк трюма часто опрокидывало, ударяло о лебедку и мачту. Требовались большие усилия и ловкость, чтобы во-время за что-либо ухватиться, не оказаться смытым в море.

Наконец, люк задраен и якорь поднят. Судно, повинувшись движущей силе винта, устремилось вперед, подставляя под удары волн обитый железом нос.

Сразу стало легче.

— Теперь, братва, не мешало бы и ухой заняться. Как там у кока — все в порядке?

Судовой повар огорченно развел руками:

— Я не виноват, товарищи. Как хватило волной, так все и порасшвыряло. Едва из камбуза выполз... На консервы придется приналеж.

— Ничего. Пока что можно и всухомятку, — весело отозвались ловцы. — При такой волне все равно в брюхе беспорядок.

Директор Ковыль, лежа на койке в кают-компании, размышлял...

«Конечно, снорревадный лов в полной мере оправдал себя. Это — не уда, не ярус. Только нужно составить донную карту прибрежной полосы, чтобы знать, где можно опускать снасть, где нельзя...».

Выждав, когда тело приняло относительное равновесие, он потянулся к шкафчику, где лежал хлеб и банка килек. В этот момент судно подбросило, послышался треск, погасло электриче-

ство. Директор бросился к выходу, толкнул дверь. Она осталась без движения. И вдруг ему представилось, что дверь чем-нибудь завалило и отворить ее не удастся. Он один здесь остался в темном колодце...

Внезапный наплыв страха придал силы, Ковыль с бешенством налег всем корпусом на тонкую дверцу. Одна половинка ее немного подалась, образовав щель, в которую тотчас же со свистом устремилась вода. Страх бесследно исчез, все стало ясно.

Преодолевая напор воды, он с усилием нажимал на подавшуюся половинку двери. Щель увеличивалась, и поток становился больше. Неожиданно дверца сразу легко растворилась, и хлынувшая вода чуть не сбила его с ног. Но это был последний ее запас.

Ковыль выпрыгнул на палубу. Вокруг висел туман, густой, похожий на молочный кисель. Из тумана неожиданно вынырнул, качаясь и балансируя руками, бригадир Новокшонов.

— Чорт побери, вот, погода. Гри... и... горий Иваныч! У нас опять несчастье.

— Какое?

— Бухту троса сорвало. Пропала снасть! Капут!

Один мотор уже не работал. Моторист боялся и за второй. Сделать ничего было нельзя...

К полудню начался дождь, перешедший в ледяную крупу. Туман начал оседать.

Ковыль из окна рубки сначала увидел верхние части предметов, находившиеся на уровне его глаз, — остальное все плыло в молочном киселе, — потом стала медленно возникать из тумана и корабельная палуба. То тут, то там обнажались гребни кипящих, взрывающихся волн.

Искалеченная «Мечта» беспомощно носилась в беснующемся морском просторе...

IV

Вдоль залива, от моря к становищу, словно атакуя человеческие жилища, катились с воем и грохотом несметные

полчища водяных валов. Они грозно били в скалы, на отмелях вскипали белыми пенистыми бурунами и рвались в клочья, в тучи брызг, достигая береговых построек.

Ловцы без-устали бегали по песчаной косе, вырывая у стихии неубранное ловецкое имущество. Все моторные и парусные суда были отведены в глубину бухты. Не хватало только «Мечты».

Несколько женщин с заплаканными глазами тоскливо смотрели в море.

— Чего вы раньше времени нони распускаете? Может быть, где-нибудь в бухте отстаиваются!—сердился председатель колхоза Софронов, старавшийся не показать своего беспокойства. Лицо его было замкнуто, голос строг. Вздошность выдавали только порывистые жесты.

Залив давно не был таким грозным. На песчаную косу волны выносили тяжелые, обросшие плесенью и ракушками гранитные валуны, точно это был мелкий булыжник. С камнями часто выбрасывало и не крупную рыбу, не успевшую уйти в безопасные глубины. На нее тотчас же накидывались чайки-мойвенки, но порывом ветра их сбивало, и они уносились под защиту береговой скалы.

«Разобьет. Обязательно разобьет. Судно старое, потрепанное. Разве оно выдержит?» — удрученно думал Софронов о «Мечте».

Было жалко людей, с которыми тесно сжилась, сработалась. С особой остротой почувствовал сейчас свою неправоту по отношению к Ковылю, припомнил последние недоразумения и стычки с ним.

«Мелочи заели. Обывательщина... Нужно было вместе, рука об руку работать. Делить нам совершенно нечего, — с глубокой горечью укорял он себя. — Ах!.. Погибнет!.. Хороший парень. Деловой... Горяч, но это ничего...».

Было жалко и других: комсомольца-механика и капитана Акимова... Бригадира Новокшонова, — немного взбалмошный, но прямой, честный мужик, исключительный рыбак. А остальные ловцы. Замечательные ребята! Неужели никто из них не вернется?

Председатель поминутно всматривался в даль залива, в открытое море. «Мечты» не было.

И когда утомились глаза от напряженного внимания и надежда на благополучное возвращение судна почти иссякла, — в этот момент из-за скалы внезапно вынырнула «Мечта».

— Идет! Идет! — слышались радостные крики.

— В целости идет! Молодцы ребята! Им и шторм нипочем!

Софронов возбужденно отдавал распоряжения. Секретарь комсомола отбирал молодежь, — все хотели кинуться в нужную минуту на выручку своих товарищей.

«Мечта» шла прямо к становищу с явным намерением выброститься на отлогий песчаный берег. Накатывавшиеся сзади волны подбрасывали судно и, расколовшись надвое, устремлялись вперед.

А сзади все шли и шли широкими грядами, с невиданным упорством новые сокрушительные валы, неся глухое, скрытое грохотанье.

Судно гнало на отмель, белевшую в полкилометре от берега. На ней самые большие волны мгновенно дробились, вскипая клокочущей пеной.

На палубе «Мечты» деятельно метались человеческие фигуры.

Судно настойчиво, не уклоняясь ни вправо, ни влево, с непонятным упорством шло прямо на кипящую точку.

Несколько минут напряженного ожидания, и «Мечта», вздрогнув, споткнулась, начала медленно поворачиваться вокруг собственной оси. В следующую минуту седые гребни, один за другим, обрушились на палубу. Судно стояло пригвожденным к месту.

Возле берега застучала моторка. Несколько ловцов, окатываемые волнами, прилагали все усилия оттолкнуться от берега. Но это не удавалось.

Софронов старался перекричать грохот моря:

— Давай из-за этой косы! Здесь тише! Сюда!.. — Худая, высокая фигура его в намокшем платье кинулась к моторной лодке. — Ну, рраз!.. Дружно!

Еще раз! — Но следующий вал опрокинулся всей тяжестью на людей и на моторку...

Крики вспыхивали и гасли, смешиваясь с грохотом моря. Ловцы бессильны были что-либо сделать. Люди на судне могли погибнуть у всех на виду.

В стороне от общей группы трое комсомольцев сталкивали в воду легкую шлюпку с обрезанной кормой, называемую «пашкой». Распоряжался бригадир с «Вайгача» — ловкий и сильный Евтюков. Тут же был Охупкин с огромным клубком тонкой бечевки.

— Вот здесь немного потише и волна идет наискось... Нам хотя бы половину одолеть... — говорил Евтюков, держа наготове кормовое весло.

— Разве можно в такой скорлупе? Что вы на ней сделаете? — закричал подбежавший Софронов, не понимая, что задумали парни.

— На «пашке» легче... Мы к ним сбросим конец бечевки; они втянут трос. А вы здесь на берегу закрепите... Если лебедка не работает, — можно воротом... — спокойно объяснил Охупкин. — Нам только бы до половины добратся...

— А потом что?

— А там можно вплавь. Из троих хоть один да доплывет...

— Да вы обалдели! К чорту на рога лезете! От вашей шлюпки щепок не останется! — испуганно замахал руками председатель и неожиданно закончил: — Ладно! Давай! — вырвал у парня клубок бечевки, стал торопливо разматывать.

«Пашка» с тремя комсомольцами прыгала на воде, как спичечная коробка. Прежде чем перевалить встречный вал, она на его хребте делала несколько конвульсивных, точно предсмертных, движений, потом стремительно нырнула и взмывала уже на новом гребне.

С берега и с палубы судна смотрели, не отрываясь, десятки глаз:

«Победят или погибнут?..».

В воздухе сверкнуло грузило, — и бечевка тотчас же натянулась в струну: от шлюпки к судну.

«Пашка» повернула назад. У стоящих на берегу людей вырвался вздох облегчения.

Теперь маленькая, почти игрушечная посудина снова неслась к становищу. Волны бросали ее с гребня на гребень, будто по воздуху.

Опытная рука Евтюкова направляла ее в небольшую ложину — русло высохшей речушки.

Блетев в эту бухту, шлюпка далеко оставила за собой свирепствующие волны. Ребята, не чувствуя ссадин и ушибов, полученных во время падения, со смехом отряхивались от воды. А подбежавшие ловцы торопливо привязывали бечевку к концу надежного тро-са.

«Мечта» медленно двинулась с отмели. Увеличивая ход, она с размаху выбросилась на песчаную косу...

Софронов не знал, кого раньше обнять: спасителей или спасенных. Он кинулся к директору Ковылю и к капитану, жал им руки, счастливо смеялся, хлопая того и другого по плечу.

— Ну, и попали вы, ребята, к чорту на именины!.. Если бы не они... — Взгляд его остановился на Евтюкове и Охапкине. — Вот, все они!.. Надо теперь всем троим премию, Давай, директор, раскошеливайся! Тринадцать душ спасли!

— Что ты егозишь, точно сорока? — засмеялся Ковыль. — Насчет премии — за нами дело не станет. А ты вот о со-

ревновании, небось, забыл. Сколько ваш «Вайгач» выловил?

— Восемь тонн двести за один выход, — победно сообщил Софронов.

— Да, это не плохо. Но у нас, пожалуй, побольше наберется.

— Куда вам! Хорошо, хоть собственные ноги в целости принесли, и на том спасибо!

Бригадир Евтюков, услышав этот разговор, сорвался с места и понесся к спасенному судну. С ним двое его товарищей.

«Мечта» лежала на боку. Волны били в корму и заднюю часть палубы, угрожая сорвать остатки разгромленного полубака.

Евтюков, укрываясь от прямого удара взметывавшихся волн, ловко взобрался на покатую палубу и заглянул вниз.

— Вот, лешманы! Чуть не полный трюм нагрозили!.. Надо и нам на сеть переходить. Смотрите, сколько!.. — и неожиданно закричал толпившимся на берегу рыбакам: — Эй! Чего вы там топчетесь? Трюм может разбить и рыбу унести в море. Не для того ее ловили!.. Товарищ Ковыль! Ваша взяла! Поздравляю!..

Ловцы—эмересовцы и колхозники — кинулись закрывать люк. Борясь с волнами, срываясь с мокрой, покатою палубы и вновь карабкаясь на нее, в ледяной воде они прилаживали доски, всеми силами старались сохранить улов, не отдать морю вырванную у него добычу.

На смерть героя

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

★

1

Как будто крепом опоясан
С утра пустой аэродром.
Три корабля на небе ясном
Плывут, сверкая серебром.

Три сокола над павшим другом
Кружат по синему пути.
И где-то, за Полярным кругом,
Им откликается: «прости!».

И где-то там, на Ванкареме,
Во льдах полуночи сплошной,
На миг остановилось время,
Наполняя гулкой тишиной.

И в Чкаловске в избе-читальне
Ребята слушают салют
И земляку в дороге дальней
Недетское прощанье шлют.

И вся земля печалью дышит,
И, вьюжной песней отрывая,
Молчит и, снявши шапку, слышит,
Как в горько-сомкнутых рядах

Бойцов и сверстников героя
Вздыхает глухо кто-нибудь.
...И снова — день. И снова трое.
На крайний Север держат путь.

И жизнь не знает умиранья.
И смерти нет. И нет конца
Кипенью сил над урной ранней,
Над прахом павшего бойца.

2

Он был бойцом. Полярные буруны
У ног его овчарками легли.
Он был художником. И пели струны
Пропеллеров о будущем земли.

В его широких мускулах играла
Та радость, для которой нет конца.
Ни стекла окуляров, ни забрало
Не закрывали ясного лица.

Пройдут года. И в мраморе, и в песне
Он встанет, как живое существо,
Как можно оцутимей и телесней
Для всех, кто знал и кто не знал его.

Как по обломку фидиева торса
Встает Эллада в солнечной красе,
И след ее на времени не стерся,
И древней славе учимся мы все, —

Так по улыбке летчика, по твердым
Его шагам — сквозь небо в пляске
гроз,
По славным мировым его рекордам
Узнают,

как народ советский рос,
Как стал широкоплечим и крылатым,
С какою силой родину любил,
И как, любым завладевая кладом,
Он крышу мира крыльями пробил.

3

В тот час, когда мы Чкалова
хороним, —

Над Барселоной с карканьем
 вороньим
 Взлетает черный «мессершмидт»;
 И матери в тоске ломают руки;
 И пестрый порт застыл в привычной
 муке, —
 Не спит, не пляшет, не шумит.

Прожектора скрещаются и в тучах
 Нашупывают демонов летучих,
 Их низкий бредущий полет.
 И вся Европа мечется сегодня
 В дыму средневековой преисподней
 И небесам проклятья шлет.

И в Чехии пылает ад старинный.
 И вспоротые жалкие перины
 Летят из окон и дверей.
 И, ошельмован вековечным срамом,
 Кричит о том же самом, том же
 самом
 Из дома выгнанный еврей.

Но есть у человечества порука!
 И снова брат протянет брату руку
 Сквозь ночь, сквозь полюс ледяной,
 Сквозь оцепленье проволок колючих,
 Сквозь оцепленье торгашей, плюющих
 На подвиг бешеной слюной.

И в день, когда хороним мы героя,
 Пусть мальчуган, модель машины
 строя,
 Запомнит до седых волос
 Седой мороз и толпы у надгробья.

Пусть он глядит на тризну
 исподлобья, —
 Весь в буре горьких гордых слез.

Он завтра пролетит над миром
 старым,
 Где Чортов мост скрипит над Сен-
 Готаром,
 Где вся история — жива, —
 Он пролетит над европейской ночью,
 Сквозь облака, разорванные в
 клочья, —
 Споет он песню торжества!

4

Прощай, товарищ! Снова ясно
 Зима сверкает серебром.
 И звонким ветром опоясан
 Воинственный аэродром.

Мы чуем пульс турбин глубинных,
 Дающих людям свет и ток.
 Мы знаем все о тех турбинах,
 Всего их мужества итог.

Крепчает наш мороз. И снова
 В тревоге, в творчестве, в борьбе,
 Пошлем мы будущему слово,
 Валерий Чкалов, о тебе!

Мы слышим в клетоте орлином, —
 Сквозь ночь, сквозь радио, сквозь,
 вихрь, —
 Над Токио и над Берлином
 Гул истребителей твоих!

★

Отечественная война китайского народа

Полк. И. ПОПОВ



Японская армия овладела значительной территорией Китая. Крупнейшие промышленные центры Китая: Шанхай, Кантон, Нанкин, Ханькоу и другие захвачены японской военщиной. «Под предлогом борьбы с «красной опасностью» Япония стремится разоружить Китай, под предлогом развития восточной культуры — подорвать жизненные корни китайской культуры, под предлогом устранения экономических барьеров — подорвать престиж США и европейских государств в Китае и установить свое господство на Тихом океане... Япония стремится превратить Китай в своего вассала... фактически это означало бы превращение китайцев в рабов»¹.

Весь китайский народ терпит ужасные страдания в нынешней невиданно жестокой войне. «Комиссия национальной помощи Китая» опубликовала сообщение, что «с начала войны и до 24.X.1938 г. японцы в течение 3318 раз бомбардировали 314 городов. Во время этих бомбардировок было убито 29 968 и ранено 37 222 мирных жителя», преимущественно женщин и детей. Но разбойничьи налеты японской авиации не в состоянии сломить сопротивление китайского народа, принявшего твердое решение продолжать до конца национально-освободительную войну.

¹ Из речи Чан Кай-ши 26.XII.1938 г. в Цундине на собрании, посвященном памяти Сун Ят-сена.

Воздушным пиратам не уступают наземные войска японского империализма. Продвижение японской армии сопровождается неслыханным вандализмом и насилием. Деревушки и города Китая пылают факелами по пути японских захватчиков. Эти человекообразные звери грабят все живое, уничтожают шедевры китайской науки и искусства, безжалостно убивают женщин, детей и стариков. Английский журналист Тимперли написал книгу: «Что такое война; японский террор в Китае», в которой с хронометрической точностью зафиксированы акты насилия, произведенные японскими варварами. Тимперли пишет: «17 декабря (1937 г. — И. П.). Грабежи, насилия и убийства продолжают... 18 декабря... В палату (больницы. — И. П.) доставлен пятилетний мальчик с пятью штычковыми ранами... мужчина с восемнадцатью штычковыми ранами, женщина с семнадцатью глубокими порезами на лице и с несколькими ранами на ногах... Сколько безоружных людей было убито в Нанкине в эти кровавые дни?... 40 тысяч... Нанкин — сущий ад». В этой же книге Тимперли опубликовал доклад одного американского миссионера, который был свидетелем того, как «в Северном Китае японцы арестовали большое количество мирных жителей, облили их керосином и сожгли заживо... Японские отряды выжигают целые деревни вместе с жителями...».

Но, несмотря ни на что, героический китайский народ упорно отстаивает свою национальную независимость. Более того, в настоящее время, как никогда, китайский народ близок к победе. Чан Кай-ши, учитывая горячее стремление всего китайского народа, заявил: «Наша борьба доказывает невозможность для Японии выполнить свои агрессивные планы, доказывает невозможность для Японии уничтожить страну старой культуры с ее 450-миллионным населением, невозможность запугать нас и заставить наше правительство отказаться от выполнения революционных задач и борьбы за национальное спасение»¹.

В итоге титанических усилий китайскому правительству удалось расширить и укрепить свою военно-экономическую базу. Китай — огромная страна. Провинции Гуандун, Гуанси, Юньнань, Сычуань, Гуйчжоу, Хунань, Сикан, Цинхай, Гансу, Нинься, Шэньси, Синьцзян, составляющие вместе огромную территорию — около 7 миллионов кв. км., — находятся целиком под властью центрального правительства. Именно в этих провинциях Китая, с населением свыше 200 млн. человек, куется победа героического народа над японской бандой головорезов.

Общезвестно, что современная война предъявляет колоссальный спрос на стратегическое сырье и промышленную продукцию. Руководители Китая с самого начала возникновения нынешней войны считались с возможностью захвата японским империализмом восточных провинций страны. Между тем как-раз эти провинции Китая были наиболее развиты в экономическом отношении. Одновременно с этим потеря восточных провинций могла вызвать паралич во внешне-торговых операциях Китая. Вот почему правительство Китая, начиная с 1936 г., начало усиленными темпами развивать экономическую деятельность на западе, северо-западе и юго-западе страны. В этих районах Китая имеются богатейшие залежи полезных ископае-

мых, представляющих собою ценнейшее стратегическое сырье. Но все эти полезные ископаемые почти вовсе не эксплуатировались. Дело заключается в том, чтобы и недра земли поставить на службу защиты родины.

В целях быстрого и всестороннего экономического развития западных провинций страны правительство Китая создало специальную «Комиссию по реконструкции», облеченную большими правами и располагающую громадными средствами. Были проведены обширные геологические разведки, в итоге которых обнаружены крупные месторождения полезных ископаемых промышленного значения. С помощью правительства организовано несколько горных компаний для эксплуатации этих богатств. Горная компания в провинции Гуанси обладает капиталом в 5 млн. долларов. Словом, на западе Китая идет оживленная добыча угля, нефти, железной руды, соли, вольфрама и прочего сырья, столь необходимого для организации отпора агрессору. В провинции Сычуань за 1938 г. добыто около 2 млн. тонн угля. Форсирование эксплуатации отечественных полезных ископаемых Китая для него тем более необходимо, что он бурными темпами развивает промышленную деятельность.

Лишь на создание промышленности в юго-западных провинциях страны правительство Китая ассигновало более 30 млн. долларов. Помимо этого, на ту же цель расходуются много средств провинциальных властей. В Сычуане реализован внутренний заем на развитие экономики провинций на сумму в 10 млн. долларов. Провинциальное правительство Юньнаня отпустило свыше 4 млн. долларов на промышленное строительство. В результате дружных усилий центрального правительства и провинциальных властей в глубине Китая выросли многочисленные фабрично-заводские предприятия, вырабатывающие промышленную продукцию военного значения. Только в одной провинции Юньнань построено более 100 промышленных предприятий. Совершенно аналогичная картина наблю-

¹ Из речи, произнесенной 26.XII.1938 г. на собрании, посвященном памяти Сун Ят-сена.

дается в этом отношении и в прочих провинциях Западного и Юго-Западного Китая. Тем более потому, что за время длительных боев у Шанхая, Сюйчжоу, Ханькоу и Кантона китайское правительство с помощью рабочего класса и всех патриотов страны сумело эвакуировать в глубокие провинции промышленное оборудование, инженерно-технический и рабочий состав многих предприятий, которые уже на новом месте стали производить продукцию, необходимую для организации решительного отпора японским налетчикам.

До 1 ноября 1938 г. в западные и юго-западные провинции эвакуировано более 340 промышленных предприятий, принадлежащих частному капиталу. Кроме того, переброшены туда же и все специально кадровые государственные военные фабрики и заводы. Какие гигантские усилия требовались для этого от китайского народа, можно судить хотя бы по тому, что все это эвакуированное промышленное оборудование весит в общей сложности более 130 тыс. тонн.

Такое успешное промышленное строительство объясняется и тем, что Китаю удалось своевременно импортировать очень много станков и привлечь довольно значительный иностранный капитал. Так, известно, что американская компания Кэртис выстроила на западе Китая авиационный завод, уже будто бы выпускающий самолеты для китайской авиации.

В общем, глубинные провинции Китая начинают развиваться на новых началах. Они все вместе сыграют исключительную роль в качестве базы Китая для развертывания успешного контрнаступления. Нет сомнения, что экономическое возрождение западных провинций Китая тормозится отсутствием достаточно развитой сети путей сообщения. Поэтому-то китайское правительство уделяет особое внимание постройке железных и автомобильных дорог, а также улучшению воздушной связи на западе страны. Завершается постройка двух огромных железнодорожных магистралей: Хэнчжоу—Нань-

кин и Чжучжоу—Гуйян. Первая магистраль, протяжением в 800 км., свяжет южную часть провинции Хунань с провинцией Гуанси. Вторая магистраль, длиною в 1000 км., начинается также на юге Хунани и идет до Гуйяна — столицы провинции Гуйчжоу. В дальнейшем она будет продолжена до Куньмина — административного центра провинции Юньнань. Кроме того, уже построено несколько коротких железных дорог, имеющих крупнейшее экономическое и военное значение.

Еще более внушительны масштабы нового автодорожного строительства. Из провинции Сычуань до самой северо-западной провинции Китая — Синьцзян проложена прекрасная автомобильная дорога. Такая же дорога соединяет ту же Сычуань с провинцией Юньнань.

Нетрудно понять, что энергичное хозяйственное строительство требует расхода чрезмерных денежных средств. В связи с этим следует отметить полное благополучие в финансовом состоянии Китая. В США и Англии запасы серебра, принадлежащего Китаю, оцениваются более чем в 2,2 млрд. долларов. Население Китая с большой охотой закупает внутренние займы, выпущенные правительством. Китайские патриоты, живущие за границей, оказывают не меньшую помощь своему правительству. Только с января по июль 1938 г. китайские эмигранты собрали в фонд обороны страны более 300 млн. долларов. Вот почему нельзя не согласиться с утверждением газеты «Синьвеньбао» (20 ноября 1938 г.), что «Китай при настоящем положении имеет достаточно серебра для финансирования освободительной войны еще в течение 3 или 5 лет. Учитывая продолжающийся приток денежных средств от населения, Китай будет в состоянии финансировать войну в течение 10 или 20 лет без всяких финансовых затруднений».

Защита своего отечества от чужеземного ига облегчается и потому, что Китай за последние годы резко улучшил сельскохозяйственную обработку земли. В частности в 1938 г. Китай

собрал небывалый урожай. Для застраховки от наводнений, засух и прочих стихийных бедствий, от которых довольно часто страдает сельское хозяйство Китая, правительство его создало крупные продовольственные склады. «Сельскохозяйственная кредитная администрация», образованная правительственным декретом, ведет в этом отношении обширные работы. В провинции Сычуань накоплено хлебных запасов на 5 млн. долларов, в провинциях Шэньси и Гуйчжоу — на 3 млн. долларов и т. д. В общем, каждая провинция Китая располагает огромными продовольственными запасами и в этом отношении они являются совершенно самостоятельными. Словом, и в части продовольствия Китай полностью обеспечен. Начальник политического управления китайской армии генерал Чжень-Чен 22.XII.1938 г. сделал заявление: «Снабжение продуктами не является для нас сейчас проблемой. Очень многие продукты, которые трудно достать в тылу, имеются в изобилии на фронте. В нынешнем году прекрасный урожай. Солдаты едят рис и мясо».

В общем, несмотря на увеличившиеся трудности, китайский народ, армия и правительство со все возрастающей решимостью готовы продолжить борьбу за светлое будущее своей родины. Когда все патриоты Китая горевали о потере Ханькоу, Чан Кай-ши сказал: «Мы будем твердо продолжать войну до конца. Китай велик, китайских солдат много, они окажут сопротивление и завершат его конечной победой». Нет никакого сомнения, что это заявление целиком отражает непреклонную волю к победе всего китайского народа.

Еще недавно в Китае была в большом ходу пословица: «Хорошее железо не куют на гвозди, хорошие люди не идут в солдаты». В настоящее время, напротив, лучшие представители китайского народа готовы принести свои жизни в жертву освободительной войне. Миллионы добровольцев стекаются в ряды армии со всех отдаленных уголков Китая. Все провинции страны соперничают в формировании новых

крупных войсковых соединений. Военный руководитель провинции Сычуань генерал Дэн Си-хоу заявил: «За год войны мы послали на фронт больше 20 дивизий. Около 600 тыс. сычуанских солдат ушло на фронт. После падения Кантона и Уханя мы ускоренными темпами начали готовить новую армию. 8 млн. сычуанцев составят ее. Народ, как никогда, единодушен в решимости вести войну до окончательной победы». Такие же огромные армии создаются под руководством Военного Совета Китая и в прочих глубинных провинциях страны. Даже в Синьцзяне завершается организация 200-тысячной армии, дисциплинированной, хорошо обученной и снабженной современной боевой техникой.

Четырехсотмиллионный китайский народ обладает поистине неограниченными людскими ресурсами. Именно это дало возможность Военному Совету Китая сформировать более 240 регулярных, хорошо обученных и дисциплинированных пехотных дивизий. Чрезвычайно характерно, что еще далеко не вся китайская армия втянута в борьбу с войсками японского империализма. В то время как силы японской военщины постепенно истощаются, армия китайского народа становится все более мощной. На фронте ведут борьбу с японскими налетчиками только 80 пехотных дивизий Китая. Такое же количество дивизий действует в тылу японской армии. Остальные 80 китайских пехотных дивизий, наиболее подготовленных и лучше всех вооруженных, сосредоточены в глубинных провинциях страны для того, чтобы в удобный момент нанести решительный удар по агрессору и выбросить его вон за пределы своих границ. В общем глубинные провинции Китая готовят свежие кадры вооруженных сил для очищения своего отечества от фашистских бандитов.

Насколько велики людские ресурсы Китая, можно судить хотя бы по тому, что во время Ханькоуской операции китайская армия понесла огромные потери, но она сумела восстановить их в предельно короткий срок — менее чем в два месяца.

При оценке людских резервов китайской армии нужно всегда учитывать и многочисленных представителей китайского народа, рассеянных по лону всего мира. Китайские эмигранты уже включились, и притом самым решительным образом, в борьбу против налетчиков на Китай, который теперь стал для них подлинной родиной. Что особенно ценно, китайские эмигранты дают для пополнения армии Китая кадры специалистов. Почти ежедневно на родину возвращаются китайцы, получившие за границей квалификацию пилотов, шоферов, медицинских работников, инженеров, техников и т. д. Только в начале декабря 1938 г. в Китай вернулось более 300 таких специалистов.

Ранее в Китае существовал обычай, по которому раненые солдаты не возвращались в армию. Теперь же и этот обычай канул в вечность. Выздоровевшие бойцы стремятся как можно скорее вернуться на фронт, где они вступают в ряды так называемых «почетных дивизий». Только за первые шесть месяцев 1938 года 250 тысяч выздоровевших бойцов вернулись на фронт. Это лишний раз свидетельствует о том, что никакая сила, никакие злодеяния японской военщины не поставят на колени героический китайский народ.

Китайская армия крепнет с каждым днем, тем более потому, что она черпает неиссякаемую силу и энергию в результате тесной связи со всем населением Китая. В настоящее время армия Китая и его народ составляют единое целое. Никогда еще на протяжении всей истории Китая не было такой прочной связи между армией и народом. Вооруженные силы Китая окружены небывалой любовью всего народа. Имена командиров и бойцов, проявивших доблесть в борьбе с японскими интервентами, произносятся буквально с неподдельным обожанием всеми китайскими патриотами. По всей стране создана масса мастерских, где женщины и школьники шьют теплые куртки для бойцов славной армии Китая. Уже отправлено на фронт около 9 млн. теплых курток. Многочисленные общественные организации Китая, как, напри-

мер, «Союз писателей», «Лига молодых журналистов», «Ассоциация национального спасения» и т. п., регулярно посылают на фронт огромное количество подарков. Все это красноречиво подчеркивает пламенную любовь китайского народа к армии спасения родины. Тем более потому, что части китайской армии на любовь своего народа отвечают своим безупречным поведением. Китайская армия не производит никаких конфискаций. За все заготовленное на местах китайская армия тотчас же расплачивается. Даже перевозочными средствами она не пользуется бесплатно.

Японские захватчики проникли далеко вглубь Китая. Но в итоге этого не улучшилось стратегическое положение японской армии. Напротив, фронт ее действий чрезвычайно растянулся. Коммуникации японской армии намного увеличились и потому они стали особенно уязвимыми со стороны партизанских нападений.

В тылу японской армии, как грибы после дождя, растут партизанские отряды Китая, показывающие высокую боеспособность и действующие в соответствии с общим оперативным планом китайского командования. Китайские партизаны вместе с регулярной армией Китая уничтожают японских налетчиков. Партизаны Китая, обуреваемые ненавистью к интервентам, приносят огромное беспокойство японской армии. Они методически разрушают железнодорожные и прочие пути сообщения. Тем самым они не дают возможности японской военщине наладить регулярную работу своих коммуникаций. Только одна 8-я народно-революционная армия лишь за октябрь и ноябрь 1938 г. совершила 259 нападений на японские коммуникации в Северном Китае, во время которых было спущено под откос 14 военных поездов, уничтожено 576 мостов и разрушено полотно дорог в 259 пунктах. Китайские партизаны, не жалея своей жизни, совершают безумно храбрые нападения на японские войска.

В памяти китайского народа останется навсегда имя Фань Чжу-сяня —

славного патриота своей родины, павшего смертью храбрых в боях с оккупантами. Этот «старик», — так называли японцы Фань Чжу-сяня, — является действительно народным героем Китая. Партизанский отряд «старика» внушал буквально животный страх «храбрым самураям». Однажды Фань Чжу-сянь во главе отряда всего в 20 человек ворвался в город Люлин, откуда выгнал многочисленный японский отряд. В этом деле японцы лишь убитыми потеряли более 80 человек и, кроме того, оставили «старика» 10 пулеметов и много разных боеприпасов.

Японская военщина пытается самыми свирепыми мерами подавить партизанское движение Китая. Карательные экспедиции японской армии беспощадно расправляются со всем китайским народом, поскольку он целиком поддерживает героических партизан, включившихся в борьбу за независимость своей родины. Японские войска под знаменем «плахи, топора и виселищ» топчут, ломают и убивают мирных жителей Китая.

Но в итоге этого лишь увеличиваются ряды славных партизан Китая и умножается ненависть их к жестоким интервентам.

Руководители японской армии чуть ли не каждый день заявляют о том, что в их тылу «водворен порядок и они являются здесь полными хозяевами».

Но на деле это выглядит совершенно иначе. Огромный район, находящийся на стыке провинций: Чахар, Хэбэй и Шаньси, признает только центральное правительство Китая. Именно в этом районе действуют части 8-й народно-революционной армии, раз за разом наносящие японцам крупные поражения. Только в боях с китайскими партизанами у Унтайшаня (северо-восток провинции Шаньси) японцы потеряли свыше 8 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными. Всего же за первую половину 1938 года 8-я народно-революционная армия уничтожила 34 000 японских солдат и офицеров и, кроме того, пленила более 1 000 человек. За тот же отрезок времени 8-я народно-революционная армия захватила у японцев около 7 тыс. винтовок, 100 полевых артиллерийских орудий, 190 автомобилей и т. д. Кроме того, она уничтожила 900 японских автомобилей, 24 самолета и 10 танков. Несмотря на вынужденный отход 8-й народно-революционной армии из Унтайшаня, она продолжает славную борьбу с варварской армией японского империализма. 8-я народно-революционная армия — гордость всего китайского народа — не сложила своего оружия. Напротив, она с еще большим упорством и самоотверженностью наносит жестокие удары коварному врагу. Это весьма красноречиво подтверждается нижеприводимыми цифрами.

Итоги боев 8-й народно-революционной армии за время с 1.X.1938 г. по 1.XII 1938 г.

	Убитых	Раненых	Газоотравленных	Всего	Взято пленных	★							
						Винтовок	Пулеметов	Пушек	Бомбометов	Самолетов	Автомобилей	Броневгомоб.	
Японская армия	14290	30000	—	44290	—	599	126	—	—	—	—	—	
8-я народно-революционная армия	—	—	10480	710	11190	1100	197	3	9	4	1	91	3

За это время 8-я народно-революционная армия провела с японскими захватчиками 328 боев.

В районе Шанхай — Нанкин — Ханчжоу не менее успешно действует другая, 4-я народно-революционная армия.

В этом районе японские войска лишь контролируют узкую полосу вдоль железных дорог, судоходных рек и каналов.

Как известно, японские империалисты трудятся изо всех сил над тем, чтобы посеять рознь между китайским и монгольским народами. Первоначально в этом отношении японская военщина добилась некоторых успехов. Предатель монгольского народа принц Дэ Ван переметнулся на сторону поработителей своей родины. Нет сомнения, что это обстоятельство вызвало смятение среди монгольского народа и, самое главное, отразилось на сопротивляемости его агрессору. Но монгольский народ весьма быстро сорвал с Дэ Вана маску предателя и категорически отказывается повиноваться марионеточному «монгольскому правительству», возглавляемому этим ренегатом. Более того, монгольский народ крепит дружбу с великим китайским народом и вместе с ним единым фронтом ведет упорную борьбу с разбойничьей армией Японии. Монгольские партизаны и регулярные части под командованием Ма Чжань-шаня Фу Цзо-и и Юн Сана действуют весьма активно в западной части провинции Суйюань. Нужно полагать, что монгольский народ уже в самое ближайшее время усилит отпор японским захватчикам. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. В монгольских провинциях Китая ширится и становится все более популярной деятельность «Комитета по мобилизации населения Внутренней Монголии», который вовлекает в антияпонскую борьбу все слои населения.

Так обстоит дело во всех захваченных японцами провинциях Китая. Командование китайской армии уделяет партизанскому движению исключительное большое внимание. Один из лидеров китайской армии, генерал Ли Цзун-шень, подчеркивает «огромную роль партизан в борьбе Китая. В результате враг вынужден теперь больше обороняться, чем наступать. В дальнейшем мы должны увеличить вооруженную силу народа и расширить фронт партизанской войны». Известный деятель со-

временной Англии Уинстон Черчилль написал для французской газеты «Пари суар» (19.XI.1938 г.) статью, посвященную нынешней японо-китайской войне. В этой статье Черчилль пишет: «После 18 месяцев войны японские армии глубоко проникли в Китай. Они стали хозяевами железнодорожных и водных путей сообщения примерно на одной трети территории Китая. За линией фронта живет более 100 млн. китайцев. Покорены ли они?». Черчилль приходит к выводам, что японцы «не в состоянии подчинить своему контролю страну». И это прежде всего потому, что «партизанские войска Китая являются умными, напористыми». В итоге этого «японская армия держит в своих руках лишь линии железных дорог, почтовые пункты, важнейшие мосты, крепости и укрепленные города, которые она захватила».

Китайский народ переживает еще до сих пор горечь утраты Шанхая, Ханькоу, Нанкина и Кантона. Последний пал лишь в итоге чудовищного предательства бывшего командующего гуандунской армией генерала Ю Хан-моу. Ныне же гуандунцами командует герой шанхайской обороны 1932 г. генерал Цай Тин-кай, развернувший энергичную борьбу за возвращение Кантона своей родине.

Японцы овладели Ханькоу. Но в боях за Ханькоу они потеряли более 300 тысяч ранеными и убитыми.

Захватив Кантон и Ханькоу, японский империализм пытался положить китайский народ на обе лопатки. Нет, этого не случилось! Напротив, японцы в настоящее время потеряли всякие шансы на победу. Оставив Ханькоу, китайские войска отошли на заранее подготовленный оборонительный рубеж, о который разбиваются все атаки японской армии. «Победители» продолжают свой натиск на этот оборонительный рубеж.

Но в итоге этого лишь неумолимо истощаются их силы.

Японская военщина хозяйничает в сплошь разрушенном Кантоне. Но она не в состоянии продолжать наступление. Именно в этом районе гуандунские

войска, усиленные другими китайскими частями, сами перешли в решительное контрнаступление.

В общем, расчеты японской военной, что после захвата Кантона и Ханькоу война будет закончена, не оправдались. Как раз наоборот, китайская армия начинает от обороны переходить к наступательным действиям. В то же самое время наступательный порыв японской армии рассеивается, как дым. Тем более потому, что война в настоящее время ведется в основном в гористых районах Китая, где японская армия не может использовать на полную мощность своих механизированных частей, тяжелой артиллерии и авиации. Теперь уже сама японская армия вынуждена зачастую переходить к обороне. В этих условиях китайская армия начинает применять новую тактику, которая сулит ей немалые выгоды. Сущность этой тактики заключается в том, что от упорной обороны отдельных пунктов страны китайская армия постепенно переходит к методу нанесения противнику чувствительных ударов, особенно по его слабым звеньям. Такой метод оказался по плечу китайской армии. Словом, в борьбе на китайском театре военных действий противники постепенно меняются ролями. Командование японской армии несомненно и впредь будет бросать своих солдат в наступление. Но подобные действия можно сравнить с конвульсиями — предвестниками окончательного паралича. Тем более потому, что вся военно-экономическая система японского империализма находится на грани крушения. Своего стратегического сырья Япония не имеет. Это сырье она вынуждена импортировать, на что расходует свои и так хилые денежные средства. К настоящему времени на ведение войны с Китаем японский империализм израсходовал денежных средств в 60 раз больше, чем на войну 1894—1895 гг. (японо-китайская война) и в 7 раз больше, чем на войну 1904—1905 гг. (Русско-японская война). Промышленная база Японии весьма ограничена. Тяжелая индустрия, являющаяся сердцевиной военного производства, занимает в промышленности

Японии подчиненное место. Удельный вес тяжелой индустрии Японии во всей ее промышленности равен: по стоимости валовой продукции — 32,0 проц., по количеству занятых рабочих — 27,1 проц. и по мощности заводских установок (в лошадиных силах) только 16,2 проц. Количество безработных в Японии немалым увеличивается. В настоящее время их не менее 1,3 млн. человек, что вместе с семьями составляет свыше 5 млн. человек. Экономическая система Японии постепенно разваливается. Японские империалисты не в состоянии более снабжать своих полицейских и жандармов кожаной обувью. Ныне они ходят в веревочных или полотняных туфлях. До каких размеров обострилось экономическое положение Японии, можно судить по горячему призыву японской газеты «Ници-Ници». Она пишет: «Крысы также должны послужить нации в эти дни чрезвычайного напряжения».

Но самое основное заключается в том, что и социальная база японского империализма трещит по всем швам. Широкие массы японского народа стоят в стороне от целей нынешней захватнической войны. В этом смысле весьма показательным является заявление командира японского отряда Танияма: «Японский народ никогда не одобрял проводимой нами войны с Китаем. Я симпатизирую китайцам. Получив недавно приказ об отправке третьего сына на фронт, я не хотел, чтобы мой последний сын был убит. Я попросил, чтобы меня послали вместо сына. Так я попал сюда».

Антивоенные настроения ширятся в японской армии. В армии японского империализма растут не только дисциплинарные проступки, самоубийства, дезертирство, неповиновение, но и убийства офицеров и даже мятежи и восстания.

Нынешняя война не пользуется никакой популярностью среди японского народа. Именно этим объясняется то положение, что отправка войск из Японии на фронт производится только ночью. Приход пароходов и поездов с ранеными планируется также с таким

расчетом, чтобы они прибывали в темноте.

В общем силы японского империализма неумолимо иссякают. Напротив, китайский народ располагает столь безграничными возможностями, что он, по сути дела, лишь теперь начинает развертывать во всю ширь борьбу с налетчиками. Многие заумные деятели капиталистического мира пророчили уже давно поражение Китая. Эти «пророки» не учли негибимой мощи народа, отстаивающего свою независимость. Китайский народ, наконец, стал единым. Это ему также придает решимость в борьбе.

Коммунистическая партия Китая постоянно вела самую настойчивую борьбу за сколачивание единого антияпонского фронта. Лучшие люди Китая непрерывно звали свой народ к образованию могучего общекайтайского фронта борьбы против фашизма, насилий и грабежа. Наконец, в 1936 г. был услышан голос борцов за отчизну, и с этого времени в Китае были вовсе прекращены междусобные и гражданская войны.

Впоследствии довольно быстрыми темпами развивалось взаимопонимание между главными партиями Китая: коммунистической и гоминданом. Когда в декабре 1936 г. Китаю вновь угрожала опасность крупной междусобицы, — речь идет о сианских событиях, — то именно коммунистическая партия Китая приняла самые энергичные меры к благоприятной ликвидации этого конфликта, спровоцированного японской военщиной. В Сиань в ставку Чжан Сюэяня был послан член ЦК компартии Китая и начальник политуправления китайской красной армии Чжоу Энь-лай, которому удалось разоблачить коварные планы японской военщины и освободить Чан Кай-ши.

После этого произошло ускорение консолидации национальных сил Китая. Несмотря на происки японской агентуры, которая стремилась всеми мерами сорвать объединение Китая, из этого ничего не вышло. Напротив, наглое нападение японской военщины на Китай ускорило сплочение всех его сил. Лучшие ученики Сун Ят-сена, все честные

китайцы убедились в том, что Китай может притти к силе, могуществу и свободе лишь путем объединения всей демократии страны и, самое главное, путем сплочения рядов компартии и гоминдана.

Единый фронт борьбы был образован, и это является наиболее верным залогом победы китайского народа над ошалелой бандой японского империализма. В Китае образован Национально-Политический Совет, который призван вывести и выведет свою страну на широкую дорогу демократии и независимого национального существования. В этот Совет входят семь представителей компартии Китая, которые опубликовали в «Синьхуа жибао» от 8 июля 1938 г. следующее письмо: «Создание Национально-политического совета... Показывает, что политическая жизнь в Китае идет вперед к демократии и что единый фронт партий и народа все больше развивается... Мы, коммунисты, имея в виду возможность развития Совета в подлинный орган народных представителей, будем с энтузиазмом и искренностью участвовать в его работе... наше активное участие в Совете будет способствовать укреплению сил... направленных к достижению окончательной победы в национально-освободительной войне и созданию фундамента независимого, свободного и счастливого Китая».

В успешном сопротивлении Китая большая заслуга принадлежит Военному Совету страны, который с самого начала войны выработал вполне целесообразный стратегический план обороны. Существо этого плана было опубликовано 27/X 1938 г. Он коротко сводится к следующему: «Основной политикой Китая является длительная война и сопротивление на всех фронтах... Командование китайской армии не придает большого значения удержанию или потере отдельных пунктов... Китайская армия использует всякую возможность для ведения длительной освободительной войны так, чтобы истощать силы врага при одновременном сохранении своих сил. Защита... имела целью дать возможность перебросить человеческие и материальные ресурсы из Центрального

Китая на юго-восток, юго-запад и северо-запад, чтобы усилить базу длительной освободительной войны. План перенесения материальных ресурсов и эвакуации населения полностью выполнен... Стратегия китайской армии основывается на принципе сохранения инициативы в своих руках. Китайская армия должна обладать инициативой, чтобы иметь свободу действий. Она не может быть загнана в угол и превратиться в пассивного участника войны... это стоит в противоречии с политикой длительной освободительной войны».

Война перенесена вглубь Китая. Это увеличивает его шансы на победу. В свете этого нельзя не согласиться с Черчиллем, который утверждает, что «японцы, повидимому, повторяют сейчас в Китае наполеоновский марш на Москву». Как известно, этот марш закончился для Наполеона полным поражением. Подобное утверждение Черчилля не лишено интереса тем более потому, что оно базируется на действительном положении вещей. Продвижение Наполеона в 1812 г. на Москву с каждым шагом на восток встречало все более упорное сопротивление со стороны русской армии. Затем последовал Бородинский бой, результаты которого для Наполеона были равносильны поражению. Наполеон и в дальнейшем продолжал некоторое время двигаться на восток, но это лишь неумолимо приближало его к катастрофе. Совершенно аналогичная картина складывается и на китайском театре военных действий. Как известно, расстояния от Шанхая до Нанкина и от него до Ханькоу почти одинаковы — 300 км. по прямой. Между тем от занятия Шанхая (октябрь 1937 г.) до вступления в Нанкин японской армии (13.XII.1937 г.) прошло только неполных два месяца. А

на преодоление следующих 300 км. от Нанкина до Ханькоу японская армия потратила времени в пять раз больше — почти 10 месяцев (Ханькоу занят 25.X.1938 г.). О все нарастающих трудностях японской армии свидетельствуют и ее потери. Путь от Шанхая до Нанкина обошелся для японской армии в 300 тыс. убитыми и ранеными, а от Нанкина до Ханькоу они потеряли почти 0,5 млн. человек.

Нет никакого сомнения, что китайскому народу придется выдержать еще немало испытаний. В разных закоулках страны еще имеются нытики, капитулянты и просто предатели, которые пытаются ослабить сопротивляемость героического китайского народа.

Японская военщина использует весь арсенал самых гнусных средств: террор, диверсии, подкуп, провокации и т. п. с тем, чтобы ослабить сопротивляемость Китая. Как и раньше, так и теперь мнимо «непобедимая» военщина Японии стоит на своих старых позициях: «лучше 100 побед в тылу, чем одна на фронте». Это нужно особо учитывать всему китайскому народу, вступившему на путь освобождения отечества от чужеземного ига. Тем более потому, что в Китае до сих пор сохранились порою даже на руководящих постах лица про-японской ориентации.

История с Ван Цзин-веем и его приспешниками это целиком подтверждает. И чем скорее китайский народ покончит с такими предателями — «5-й колонной», тем быстрее он достигнет победы над японскими налетчиками.

Китайский народ не хочет быть и никогда не будет рабом японского империализма. Японские захватчики будут китайским народом разгромлены и выброшены вон за пределы страны, поднявшей знамя отечественной войны.

Контр-удар по Колчану

Полк. Д. ИВАНОВ

★

1918 год протекал для молодой Советской республики в ожесточенной борьбе с многочисленными, окружавшими ее со всех сторон, врагами.

На севере, в Мурманском крае и Архангельске, хозяйничали английские интервенты.

Свыше 300.000 германо-австрийских войск вторглись на Украину и, преодолев героическое сопротивление малочисленных партизанских отрядов, к маю продвинулись на восток в пределы Донской области, до линии Ростов-на-Дону, ст. Лихая, ст. Миллерово. Южная контрреволюция, поддержанная немецкими оккупантами, перешла к активным, наступательным действиям.

Добровольческая армия генерала Деникина вела бои с переменным успехом против частей Северо-Кавказской красной армии.

Бело-казачья армия атамана Краснова дважды окружает и штурмует оплот революции на юго-востоке страны — красный Царицын. Дважды героический гарнизон и пролетариат Царицына (ныне Сталинград) под непосредственным руководством великого стратега пролетарской революции товарища Сталина и его ближайшего соратника Климента Ефремовича Ворошилова отстаивает город и отбрасывает белые банды Краснова с огромными потерями за р. Дон.

Царицын остался неприступной крепостью революции; попытки белого командования объединить в районе Царицына фронты южной и восточной контрреволюции были ликвидированы

товарищем Сталиным в самом зародыше.

Летом 1918 года в Поволжье и Сибири вспыхивает чехословацкий мятеж. Обманутые и сагитированные своими офицерами и англо-французской агентурой чехословаки с оружием в руках выступают против советской власти. Страна Советов с огромным напряжением создает новый, Восточный фронт.

К ноябрю 1918 года, надломленные в упорных боях с частями Красной Армии, чехи отступали от Волги к Уральскому хребту. С ними уходили разложившиеся отряды пресловутой самарской «Учредилки».

Казалось, что уже недалек момент освобождения от интервентов Урала и Сибири. Но под прикрытием чехословацкого фронта, под защитой многочисленных войск Антанты, при огромной и непрерывной материальной помощи англо-французского империализма, адмирал царского флота махровый контрреволюционер Колчак спешно начал формировать на территории Сибири крупные вооруженные силы для похода на Москву. Иуда-Троцкий и его ставленники в центральном военном аппарате и штабе Восточного фронта «не замечали» нового, одного из крупнейших очагов контрреволюции и не только не подкрепили своевременно измотанные непрерывными 6-месячными боями войска Восточного фронта, но, наоборот, приступили к переброске ряда дивизий с Восточного фронта на другие фронты Республики.

В ноябре 1918 года Колчак предпринимает большую операцию против Красной Армии на пермском направлении. Эта операция и явилась прологом для первого похода Антанты против Советской России в 1919 году, предполагавшего: «совместное нападение Колчака, Деникина, Польши, Юденича и смешанных англо-русских отрядов в Туркестане и в Архангельске, причем центр тяжести похода лежал в районе Колчака»¹.

Белая армия Колчака еще не была готова для общего наступления на запад. Но Колчака заставляли спешить два обстоятельства: во-первых, надо было заслужить доверие и получить официальное признание, а следовательно, и усиление помощи со стороны руководящих держав Антанты, и, во-вторых, необходимо было добиться хотя бы частного успеха, чтобы подкрепить неустойчивое состояние всего белого фронта в целом.

Нанося удар в направлении Вятки — Вологды, Колчак рассчитывал на соединение с английскими интервентами, наступающими из Архангельска на Вологду — Котлас. Глава французской военной миссии при Колчаке генерал Жанен хвастливо заявлял, что «в течение ближайших пятнадцати дней вся Советская Россия будет окружена со всех сторон и будет вынуждена капитулировать».

Сосредоточив к западу от Екатеринбургa особую группу под командованием чехословацкого генерала Гайды, Колчак 27 ноября 1918 года перешел в наступление против 3-й красной армии в пермском направлении.

Состав ударной группы Колчака достигал 45 тысяч штыков и сабель при 100 орудиях; кроме одной из лучших чешских дивизий (2-я дивизия), в группу входил вновь сформированный 1-й Сибирский корпус Пепеляева, укомплектованный контрреволюционными элементами из зажиточных сибирских крестьян и буржуазной интеллигенции.

3-я красная армия могла противопоставить

Колчаку лишь около 30 тысяч бойцов при 80 орудиях. 29-я дивизия, входившая в состав армии и обеспечивавшая перхотурское направление, была оторвана от других дивизий (30-й и 5-й уральской) более чем на 100 км. Общая растянутость фронта 3-й армии доходила до 400 км. Контрреволюционные элементы в Пермском районе держали связь с колчаковцами и готовились к выступлению в тылу Красной Армии. Корпус Пепеляева, наступаая на правом фланге белых в направлении Кушва—Лысьва—Пермь, наносит поражение частям 29-й дивизии и к 15 декабря занимает Лысьву, Чусовскую и Калин. Чешская дивизия, усиленная колчаковцами, успешно наступает в направлении Уинский завод, Пермь. Никаких серьезных мер к обороне Перми принято не было. Героизм отдельных частей и подразделений Красной Армии не мог спасти положения. Нашлись изменники родине из среды бывших офицеров, которые перебежали на сторону врага.

Успешно развивая наступление, противник, 25 декабря овладел Пермью. Благодаря наличию предательских элементов в штабах, мост через Каму не был взорван и попал в руки колчаковцев. Некоторые части гарнизона Перми не были предупреждены об отходе и погибли в неравном бою с превосходными силами противника.

Войска 3-й армии, потеряв больше половины личного состава (до 18.000 бойцов), отходили на Глазов. «Это не было строго говоря, отходом, тем более его нельзя назвать организованным отводом частей на позиции, — это было форменное беспорядочное бегство наголову разбитой и совершенно деморализованной армии со штабом, неспособным осознать происходящее и сколько-нибудь учесть заранее неизбежную катастрофу, неспособным своевременно принять меры для сохранения армии путем ее отвода на заранее подготовленные позиции, хотя бы ценою потери территории» — так характеризовал отход 3-й армии товарищ Сталин².

¹ И. Сталин. — Новый поход Антанты на Россию. «Правда». № 112, 1920 г.

² К. Е. Ворошилов. — Сталин и Красная Армия. Воениздат НКО С ССР. М. 1937 г., стр. 114—115.

Основная цель операции, поставленная противником, была выполнена. 3-я красная армия была разбита и в течение месяца отошла на 250—300 км., оставив в руках противника один из крупнейших рабочих центров на Урале, важный административный и политический пункт и богатый промышленный район Северного Урала.

В руки врага, благодаря преступно проведенной эвакуации, попали большие материальные ценности. Путь на запад врагу был открыт. Поражение 3-й армии принимало характер катастрофы.

Угроза, создавшаяся на левом фланге Восточного фронта, привлекла в себе особое внимание Центрального Комитета партии и товарища Ленина.

Члены ЦК товарищи Сталин и Дзержинский получают назначение расследовать причины сдачи Перми и принять необходимые меры «к скорейшему восстановлению как партийной, так и советской работы во всем районе III и II армий»³.

Расследование, произведенное товарищем Сталиным, прибывшим в конце декабря в район 3-й армии, вскрыло всю гнилую, предательскую практику управления войсками, насаждаемую Троцким и его ставленниками.

Товарищ Сталин установил, что непосредственной причиной поражения явились усталость 3-й армии (непрерывные бессменные шестимесячные бои) и отсутствие сколько-нибудь надежных резервов.

Характерно, что на запросы армии о помощи штаб Восточного фронта ответил: «Поддержки не будет. Главком отказался помогать». 2-я армия, не имея должной оперативной связи с 3-й армией, также не оказала помощи своему соседу.

Части дрались без смены, без отдыха, без резервов, плохо обеспеченные боеприпасами, обмундированием и продовольствием.

Товарищ Сталин вскрыл многочисленные случаи нарушения классового принципа комплектования Красной Ар-

мии, в результате чего подкрепления, прибывавшие на фронт, далеко не всегда представляли собой боеспособные части. Засоренность частей чуждыми и даже враждебными советской власти элементами, при плохо поставленной к тому же политической работе, понижала боеспособность частей и приводила к отдельным случаям измен и предательства.

«Нужно покончить с войной без резервов, — писал в своих выводах товарищ Сталин, — необходимо ввести в практику систему постоянных резервов, без коих невысмыслимы ни сохранение наличных позиций, ни развитие успехов. Без этого катастрофа неминуема.

Но резервы могут пойти впрок лишь в том случае, если старая система мобилизации и формирования, усвоенная Главным штабом, будет изменена в корне, а состав самого Главного штаба будет обновлен.

Необходимо прежде всего строго делить мобилизованных на имущих (ненадежных) и малоимущих (единственно пригодных для красноармейской службы)»⁴.

Товарищ Сталин подверг жестокой критике слабость Реввоенсоветов армий, не имеющих должного состава со строгим распределением функций; оторванность штабов от войск; слабую дисциплину в высших звеньях командного состава армии.

Особое внимание товарищ Сталин уделил вопросам службы тыла. Снабжение армии было поставлено безобразно. Безответственность и бюрократизм в работе снабженческих органов приводили к преступной волоките в снабжении войсковых частей винтовками и боеприпасами, при наличии винтовок на заводах Ижевска в районе армии. Войска испытывали острую нужду в самом необходимом.

Наряду с этим, чрезвычайно слабым местом являлась работа партийных и советских органов, особенно в сельских районах. Старый чиновничий аппарат

³ К. Е. Ворошилов. — Сталин и Красная Армия. Воениздат НКО ССР. М. 1937 г., стр. 15.

⁴ К. Е. Ворошилов. — Сталин и Красная Армия. Воениздат НКО СССР. М. 1937 г., стр. 83—84.

заполнил советские органы; в комбедах сидели ненадежные люди, партийные органы работали слабо. Все это облегчало контрреволюционным элементам их преступную, диверсионную работу в армейском тыловом районе (кулацкие восстания, порча железнодорожных путей, поджоги и т. п.).

Товарищ Сталин не только расследовал и констатировал факты. Железной рукой он наводит порядок в тылу и на фронте. Проводится огромная работа по переформированию частей, проверке личного состава, изъятию чуждых элементов. Принимаются меры по укреплению комиссарского состава и развертыванию в частях партийно-политической работы. Вводится железная дисциплина, обновляются штабы, создаются резервы. Проводится чистка советского аппарата и усиление партийных организаций.

Товарищ Сталин так же, как это имело место в период обороны Царицына, прежде всего мобилизует внутренние ресурсы армии и района, не ожидая немедленной помощи со стороны.

В короткие сроки, благодаря деятельности товарища Сталина, состояние 3-й армии стало буквально неузнаваемо. Беспорядочно отступая перед врагом в декабре 1918 года, уже через месяц части 3-й армии не только останавливают продвижение колчаковских банд, но и наносят противнику ряд сильных ударов. Перейдя к наступательным действиям, войска 3-й армии в январе 1919 года дерутся на ближних подступах к Перми.

«Вот как товарищ Сталин, — пишет К. Е. Ворошилов, — понял и осуществил свою задачу «расследовать причины катастрофы». Расследовал, выяснил эти причины и тут же на месте, своими силами, устранил их и организовал необходимый перелом»⁵.

Первая крупная диверсия Колчака потерпела крушение, не вышла за рамки, хотя и значительного, но местного и к тому же временного успеха и не

⁵ К. Е. Ворошилов — Сталин и Красная Армия. Воениздат. НКО СССР, М. 1937 г., стр. 18.

оправдала надежд, возлагаемых на нее Колчаком и его иностранными советниками и покровителями.

Работа, проведенная товарищем Сталиным по укреплению левого фланга Восточного фронта, имела огромное значение для положения всего Восточного фронта, так как «болезни» 3-й армии были в известной мере характерны для всех остальных частей фронта.

Сталинские методы работы послужили образцом для всех армий фронта и в решающей степени определили его дальнейшие боевые успехи.

В период отхода наших войск у Перми центр Восточного фронта продолжал медленно продвигаться вперед. 31 декабря частями 5-й красной армии была занята Уфа, и красные войска вышли на восточный берег р. Белой.

Попытки продвижения далее на восток к Уральскому хребту успеха не имели. Сказывалась огромная усталость войск, измотанных непрерывными боями, и начавшееся усиление противника на фронте.

Успешно для красной стороны развивались лишь боевые действия на крайнем правом (южном) фланге фронта, против уральских и оренбургских белоказачьих частей.

К марту 1919 года части 1-й и 4-й красных армий овладевают Оренбургом, Уральском, Орском и Актюбинском и отбрасывают банды Дутова и Толстого в степные, малонаселенные районы.

Главное командование, явно недооценивая появление нового и опасного противника в лице Колчака и его Сибирской армии, на весну 1919 года ставит перед войсками Восточного фронта активные задачи: овладеть Пермью, Екатеринбургом и Челябинском, открыть ворота в Западную Сибирь и продвинуться в Туркестан и Закаспийскую область с целью восстановить их связь с центром.

Но эти активные цели, к слову сказать, направляющие войска Восточного фронта по расходящимся направлениям (на Челябинск и Ташкент), не отвечали ни силам Восточного фронта (фронту было отказано в усилении его крупными резервами), ни сложившейся на востоке

новой обстановке. К тому времени не могло оставаться в тайне что бросок Колчака в сторону Перми являлся началом большого похода сибирской контрреволюции на Москву. Высадка многочисленных десантов во Владивостоке и фактическая оккупация Антантой Сибирской магистрали, присутствие и оживленная деятельность почти всех иностранных миссий в ставке Колчака, спешное формирование крупных вооруженных сил белых на средства Антанты — были общеизвестными фактами.

Уже в январе 1919 года на военном совещании колчаковских генералов в Челябинске был принят план похода Колчака на запад с целью захвата Москвы и свержения советской власти. Хотя операция в ноябре—декабре 1918 года по овладению Пермью не получила дальнейшего развития, Колчак снова строит свой план на основе нанесения главного удара на правом (северном) фланге в общем направлении на Пермь, Вятку, Вологду и далее, в зависимости от хода событий, на Петроград и Москву.

Идея объединения северного (Архангельского) и восточного (Уральского) фронтов белых в районе Вятка — Вологда остается доминирующей.

План объединения сил с Деникиным (южной контрреволюцией) не встречал одобрения у колчаковского генералитета. Во-первых, надо было удовлетворить своих «хозяев». Представители Антанты генералы Нокс и Жанен толкали Колчака на скорейшее объединение сил с северным фронтом белых.

Во-вторых, Деникин к тому времени не был еще готов к большому наступлению на Москву.

И, в-третьих, не последнее место занимало и то обстоятельство, что каждый из белых «лидеров» стремился первым попасть в Москву и, следовательно, получить право на возглавление военной диктатуры в стране. «Кто первый достигнет Москвы, тот и будет хозяином положения», — так сформулировал, по воспоминаниям Гайды, основу грызни и соперничества белых генералов сам Колчак.

При реализации своего плана Колчак фактически не отразил идею нанесения главного удара на своем правом фланге. Как это видно по схеме (схема 1), колчаковская армия действовала тремя основными группами (не считая банд Дутова и Толстого).

Сибирская армия (в 45 000 человек) нацеливалась в направлении на Вятку. Западная армия Ханжина (40 000 человек) должна была разбить 5-ю красную армию и овладеть районом Уфа, Белебей, Стерлитамак с выходом к Волге.

Южная (оренбургская) армия Белова (15 000 человек) должна была овладеть Оренбургом и оказать содействие Дутову и Толстому (до 20 000 человек).

Таким образом, выходит, что из 120 000 штыков и сабель Колчак направил для главного удара не более $\frac{1}{3}$ всех сил, т.е. удар наносился «растопыренными пальцами».

Наконец, наступление на фронте до 600 км. по расходящимся направлениям было предпринято без достаточных оперативно-стратегических резервов. В тылу Колчака формировался трехдивизионный корпус Каппеля (до 10 000 человек) и три дивизии (11-я, 12-я и 13-я) в Омске и Томске. Их формирование вызывало огромные трудности в отношении укомплектования численного состава. Сибирское крестьянство службе у Колчака предпочитало уход в партизанские отряды в целях активной борьбы с белыми; рассчитывать на большие резервы было неоткуда. Наоборот, рост партизанского движения крайне осложнял положение вооруженных сил Колчака и требовал выделения войск для внутренней охраны в тылу. Однако при всех этих данных в конкретных условиях обстановки Советской России к весне 1919 года поход Колчака, комбинированный с активными действиями других отрядов контрреволюции, представлял огромную опасность для молодой Советской республики.

Блокада страны империалистическими государствами Антанты, разруха на транспорте и потеря основных промышленных, сырьевых и продовольственных районов давала себя знать более, чем

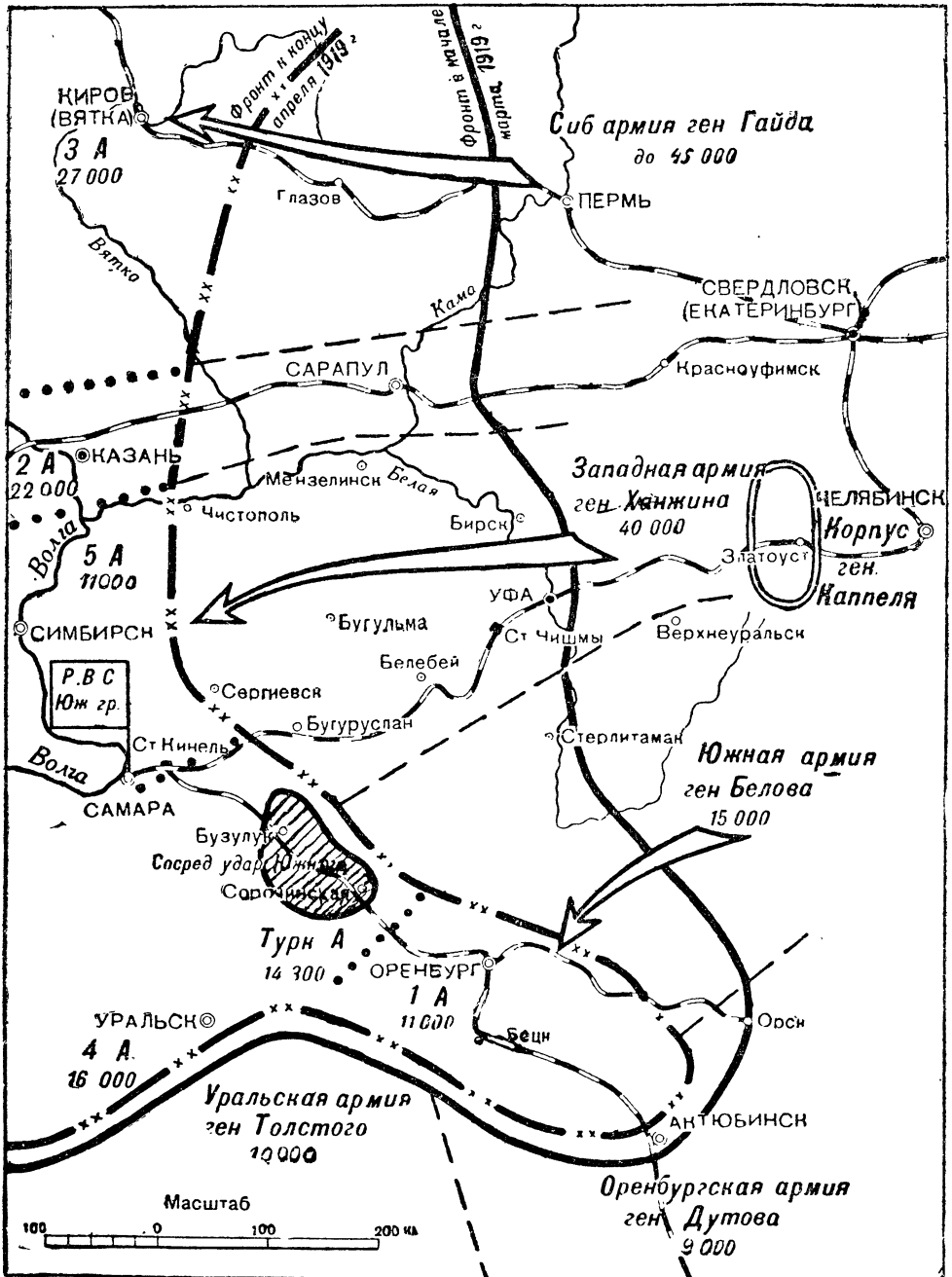


Схема 1. Общая обстановка на Восточном фронте в период март—апрель 1919 г. и направление ударов белых армий

когда бы то ни было. Голод угрожал существованию советской власти не менее, чем внешние враги.

«Громадным злом для нас является голод именно теперь, накануне весны; а

весной нам предстоит самый тяжелый период», — говорил в своей речи 13 марта 1919 года Владимир Ильич. «... Теперь усиливаются снова надежды белогвардейцев, помещиков и капитали-

стов на то, что они, не будучи в состоянии сломить советскую власть в открытой борьбе, может быть, сыграют еще раз на голоде»⁶.

VIII съезд партии в марте 1919 года явился поворотным моментом в истории партии по отношению к среднему крестьянству. От политики нейтрализации середняка партия перешла к прочному союзу со средним крестьянством. Испытав на собственном опыте прелести белогвардейского режима, середняк решительно повернул в сторону советской власти. Настроение крестьянства не могло не сказаться положительно на политико-моральном состоянии армии. Но кое-где кулаку еще удавалась его контрреволюционная «работа».

Многочисленные фронты заставляли страну рассредотачивать силы; на западе и на юге активность белых шла по восходящей линии.

Все это усиливало непосредственную опасность колчаковщины. Восточный фронт становился главным фронтом Республики. 4 — 6 марта, выполняя поставленную задачу, армии Колчака перешли в общее наступление. Сто двадцатитысячная армия, хорошо обмундированная и вооруженная при помощи стран Антанты, имела против себя не более 100 000 красных бойцов, сильно измотанных и испытывавших нужду во всем необходимом. С учетом ближних резервов враг имел полуторное превосходство в силах. Еще сложнее выглядело положение на отдельных участках борьбы. Если на правом фланге Восточного фронта мы имели даже некоторый численный перевес над противником, а на левом фланге (2-я и 3-я красные армии) силы почти уравнивались, то против 5-й красной армии (11 000 бойцов) противник направил почти до 50 000 своих войск. Группировка противника, не вскрытая своевременно разведкой Восточного фронта, грозила тяжелыми последствиями, в первую очередь на центральном участке Восточного фронта в направлении Симбирска и Самары. Главный удар белых на фрон-

те 5-й красной армии был направлен на левый фланг армии, севернее Уфы, с общим направлением наступления вдоль двух железнодорожных линий (на Бугульму и Бугуруслан). Внезапность удара и огромный перевес в силах (на 1 км. фронта 5-я армия имела всего около 80 бойцов, при общей протяженности фронта в 160 км.) способствовали успеху белых. Овладев к 10 марта Бирском, противник вышел на тылы 5-й армии (к Уфе и ст. Чишма). Героические ночные контратаки частей 26-й и 27-й дивизий и отряда уфимских рабочих, проведенные с исключительным мужеством и упорством, успеха не дали. 14 марта противник занял Уфу, захватив, вследствие преступной нераспорядительности в штабах, неразрушенным железнодорожный мост через р. Белую.

Не лучше обстояло дело и на фронте 2-й и 3-й армий. Белые части Сибирской армии Гайды, переправившиеся по льду через р. Каму на стыке 2-й и 3-й армий, перешли в наступление в направлении Оханска, Осы и прямо на восток. Под ударами противника красные войска начали отходить к Глазову и Ижевску.

Директивой Колчака от 22 марта армия Ханжина нацеливается правофланговым корпусом (2-й Уфимский) на Белебей и левофланговым (6-й Уральский) на Стерлитамак. Перемена направления привела к некоторому перемешиванию белых частей (стояла зима с глубоким снегом) и позволила красным частям выиграть некоторое время.

С 22 марта на всем фронте Западной армии Ханжина начались упорные бои. Красные войска 26-й и частично 25-й дивизий в течение почти 10 дней упорно сопротивляются превосходным силам противника, переходя в решительные контратаки, несмотря на большие потери и крайнее утомление войск. Даже генерал Ханжин в своих телеграммах отмечает «упорные атаки» и «сильный напор» красных частей.

Хотя к 30 марта части 5-й красной армии вынуждены были к дальнейшему отходу, упорнейшие бои позволили выиграть время для подготовки контруда-

⁶ В. И. Ленин. — Сочинения, т. XXIV, стр. 72—73.

ра и значительно снизили расчеты белых на «легкую победу».

К апрелю, имея успех на северном направлении, колчаковские армии овладевают Воткинском, Сарапулом и Бугульмой. Реальная угроза создается Казани, Симбирску, Самаре и Оренбургу. Белые армии близки к выполнению первого этапа своего плана. Опасность с востока угрожает существованию Советской республики.

В этот тяжелый момент для страны и Красной Армии предатель Троцкий и его ставленники поднимают панический вой о катастрофе на фронте и необходимости отвести наши части на правый берег р. Волги.

Центральный Комитет партии, товарищи Ленин и Сталин мобилизуют страну для отпора Колчаку. Пораженцам и паникерам дается решительный отпор. «Волгу врагу не отдавать», «Все на Колчака», «Все на фронт», «Все на Урал», «Волга должна остаться честной советской рекой» — лозунги, которые партия бросает в массы и которые подхватываются советским народом. Массовые партийные и профсоюзные мобилизации дают Восточному фронту крепкие пролетарские кадры. Проводится мобилизация пяти возрастов, большое число добровольцев вступает в Красную Армию. На фронт посылаются подкрепления. Страна выполняет призыв Владимира Ильича в обращении к питерским рабочим: «...поставить на ноги все, мобилизовать все силы на помощь Восточному фронту»⁷.

На фронте и во фронтовом тылу проводятся мероприятия, преподанные товарищем Сталиным в 3-й армии. 10 апреля создается Южная группа войск (из 5-й, 1-й, 4-й и Туркестанской армий). В командование Южной группой вступает талантливый пролетарский полководец Михаил Васильевич Фрунзе.

М. В. Фрунзе, выполнявший до того обязанности военного комиссара Ярославского военного округа, еще в январе был назначен командующим 4-й ар-

мией Восточного фронта по требованию ЦК партии и товарища Ленина.

Старый большевик-подпольщик, верный сын партии Ленина — Сталина, М. В. Фрунзе в самый короткий период сумел ввести железную, революционную дисциплину в войсках 4-й армии, развернуть партийно-политическую работу, реорганизовать армию и двинуть ее в бой против оренбургских и уральских бело-казаков. Несгибаемая воля большевика, личное мужество, чуткость и отзывчивость М. В. Фрунзе создали ему в массах исключительный авторитет. Вместе с Фрунзе над укреплением боеспособности войск работал выдающийся большевик, член военного совета 4-й армии, а впоследствии Южной группы, — В. В. Куйбышев. Под руководством и при непосредственной помощи М. В. Фрунзе вырос, окреп и развернулся богатый военный талант легендарного героя гражданской войны, командира славной 25-й дивизии Восточного фронта В. И. Чапаева. Руководимая М. В. Фрунзе, 4-я армия в феврале—марте 1919 года наносит ряд крупных ударов уральскому бело-казачеству. Партия и правительство сделали все возможное для организации отпора Колчаку. На плечи М. В. Фрунзе ложится реализация директив партии и правительства по разгрому Колчака.

Идея контрудара по Колчаку возникла не сразу. Существовало несколько вариантов, предлагавшихся в свое время главным командованием и штабом Восточного фронта. Наиболее простым, ясным и целеустремленным был вариант контрудара, разработанный и предложенный М. В. Фрунзе. В противовес предлагаемым сверху решениям, сводившимся к встречному удару против колчаковских армий от Самары на Бугуруслан, М. В. Фрунзе предложил сосредоточить все, что возможно, в районе Бузулука и оттуда действовать по левому флангу противника, нанося глубокий удар в общем направлении на Уфу, Бирск с целью сорвать всю операцию Колчака. По плану М. В. Фрунзе, необходимо было собрать максимальные силы и начать операцию возможно скорее. И по тому, и по другому

⁷ В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIV, стр. 223.

вопросу М. В. Фрунзе пришлось выдержать длительную борьбу с командованием Восточного фронта и главным командованием.

Во-первых, штаб фронта, идя на поводу у пораженческих элементов, проявлял сомнения в целесообразности решительного контрудара. Шли бесконечные разговоры о создании укрепленных районов в Казани, Симбирске и Самаре, куда и направились подходившие резервы (2-я и 35-я стрелковые дивизии). Вносились предложения о «целесообразности» отвода наших частей за р. Волгу, о расположении тяжелой артиллерии по западному берегу р. Волги и т. п. Одним словом, вместо того, чтобы мобилизовать и нацелить части на нанесение смелого удара по флангу противника, даются директивы и указания, способные лишь ослабить волю к борьбе, посеять неуверенность в своих силах. Во-вторых, упомянутые выше инстанции стараются всячески оттянуть начало контрудара «до окончания распутицы».

К чему могла повести задержка с переходом Южной группы к активным действиям, понятно без особых пояснений. Внезапность удара была бы сорвана, Колчак сумел бы укрепиться на Волге и получить в недалеком будущем помощь от Деникина. Только благодаря категорическим настояниям Фрунзе сроки нанесения удара, намеченные им, были оставлены в силе. Наконец, командование фронта на протяжении всей операции пытается ослабить состав войск ударной группы, направление удара сделать менее глубоким, меняя направление удара с северо-восточного на северное и даже северо-западное, т.-е. урезая размах операции, задуманной Фрунзе как глубокий удар по тылам белых.

Получив назначение командующим Южной группой, товарищ Фрунзе прежде всего потребовал предоставления ему инициативы действий. Вступив в командование, М. В. Фрунзе приступил к энергичной подготовке контрудара.

Согласно приказа войскам Южной группы от 10 апреля была создана удар-

ная группа войск в составе 31-й Оренбургской дивизии, одной бригады 3-й кавалерийской дивизии и двух бригад 25-й (Чапаевской) дивизии.

М. В. Фрунзе, совместно с В. В. Куйбышевым, проводит большую работу по укреплению политико-морального состояния войск и обеспечению удара необходимыми средствами.

М. В. Фрунзе требует от начальников всех степеней установления строжайшей революционной дисциплины в войсках, непрерывной разведки, своевременности донесений и усвоения всем составом войск важности и ответственности задачи, возложенной на ударную группу, — перейти к контрудару и нанести врагу решительное поражение.

Тов. Фрунзе внимательно следит за движением противника и вносит в первоначальное решение необходимые поправки, проявляя большую оперативную гибкость.

Район ударной группы растягивается на восток до ст. Сорочинская. В состав ударной группы включается полностью 25-я дивизия; 24-я дивизия получает задачу сосредоточиться в районе Михайловское и наносит удар одновременно с бузулукской группой в общем направлении на Белебей; действия ударной группы связываются в единое целое с действиями частей 5-й красной армии (26-я и 27-я дивизии), чему способствует почти непосредственное примыкание правого фланга 5-й армии к району сосредоточения ударной группы. Таким образом, по плану М. В. Фрунзе, в нанесении контрудара должен был принять участие мощный кулак основных сил всей Южной группы (так оно и произошло в действительности).

В то время, как М. В. Фрунзе, выполняя волю партии и правительства, подготавливал силы для контрудара, белые армии продолжали свое наступление. 15 апреля белыми был занят Бузулуслан. Западная армия Ханжина наступала на Чистополь, Сергиевск, Самару. 6-й Уральский корпус белых нацеливался на Бузулук. Дутов готовился к овладению Оренбургом. Оживилась деятельность белых банд Толстого под Уральском.

М. В. Фрунзе необходимо было уточнить положение 6-го Уральского корпуса, нацеленного на Бузулук и Михайловское. 17 апреля конная разведка 25-й дивизии лихо захватывает гусарский раз'езд белых. В руки чапаевцев попадает важный приказ 11-й дивизии 6-го Уральского корпуса. Чапаев немедленно передает перехваченный приказ М. В. Фрунзе. Так как на приказе были написаны и прочие адресаты, то удалось установить состав корпуса белых и задачи, поставленные частям. Из перехваченного приказа стало совершенно ясным, что в ближайшие дни белые достигнут района сосредоточения ударных войск Южной группы и внезапность удара может быть нами утеряна. Приближался критический момент для всего Восточного фронта.

Ждать дальше было нельзя. 6-й Уральский корпус белых уже 23 апреля подходил к району ударной группы и завязывал первые бои. С 23 по 27 апреля части 24-й дивизии под Оренбургом нанесли поражение частям 12-й дивизии белых, а 73-я бригада 25-й Чапаевской дивизии вела успешные бои с 11-й дивизией белых.

Войска Южной группы рвутся в бой. Политико-моральное состояние красных войск было превосходным. Сказывалась огромная политическая работа, проведенная в войсках Южной группы под руководством М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышева. Бойцы, командиры и политработники с нетерпением ждали решительной схватки с зарвавшимися белыми бандами. Долгожданный день наступил.

На рассвете 28 апреля войска Южной группы перешли в стремительное наступление (схема 2).

Несмотря на крайне тяжелые условия местности (распутица, глинистый и местами черноземный грунт, большое количество разлившихся рек) и упорное, яростное сопротивление противника, красные части быстро продвигаются вперед. Во главе со славным начдивом В. И. Чапаевым 25-я дивизия наносит поражение 6-й и 11-й белым дивизиям; в руки красных войск попадают значительные трофеи. К 30 апреля командир

6-го Уральского корпуса белых ген. Сукин доносит Ханжину: «потери полков граничат с полным уничтожением... в 44-м и 43-м полках (11-й дивизии) осталось не более 10 офицеров и по 250 штыков, в 41-м полку — 7 офицеров и 300 штыков... Егерский батальон шесть раз ходил в атаку и фактически прекратил существование... Все влитые в последнее время пополнения передались красным и даже участвовали в бою против нас... дивизию нужно создавать заново, для чего вывести ее в тыл и дать пополнения...».

Только на правом фланге бугурусланской группы белых противник продолжал наступление, тесня 26-ю и 27-ю красные дивизии. Но наступление белых в связи с успехами нашей ударной группы осуждено было на провал. Успех ударной группы, как и рассчитывал М. В. Фрунзе, сразу сказался на бугульминском и чистопольском направлениях. 2 и 3 мая красные войска вели упорные бои под Бугурусланом. Белые оказывают упорное сопротивление, переходят в контратаки и только под угрозой полного окружения в ночь с 3 на 4 мая оставляют Бугуруслан.

27-я дивизия занимает Сергиевск; чистопольский отряд при помощи речной флотилии 4 мая захватывает Чистополь, отбрасывая белых на восток.

Первый этап операции был успешно выполнен. Красные части, после длительно отхода, перешли к активным действиям и разбили противника.

На фронте наступил крутой перелом. Противник не только прекратил наступление к Волге, но и стал отходить на восток, опасаясь перерыва сообщений с Уфой и возможности выхода на его тылы красных войск. Однако с потерей Бугуруслана белые не теряли надежды восстановить положение. Произведя перегруппировку своих войск и получив крупные подкрепления, белые 9 мая переходят в контр наступление. 9 мая происходят большие встречные бои. Чапаевская дивизия еще раз подтверждает свою боевую славу. Она наголову разбивает Ижевскую бригаду белых, захватывает много пленных, пулеметы и

завершают блестящий боевой путь по разгрому колчаковских банд, начатый в апреле 1919 года Бугурусланской операцией.

9 июня части 25-й дивизии выдерживают «психическую» атаку белых офицерских частей на восточном берегу р. Белой у д. Степаново. Офицерские

шые потери (войсками Южной группы было взято до 25 000 пленных), но и получила непоправимый моральный урон. Разложение войск противника проходило быстрыми темпами. Белое командование потеряло веру в свои силы и способность к дальнейшему продолжению активной борьбы.

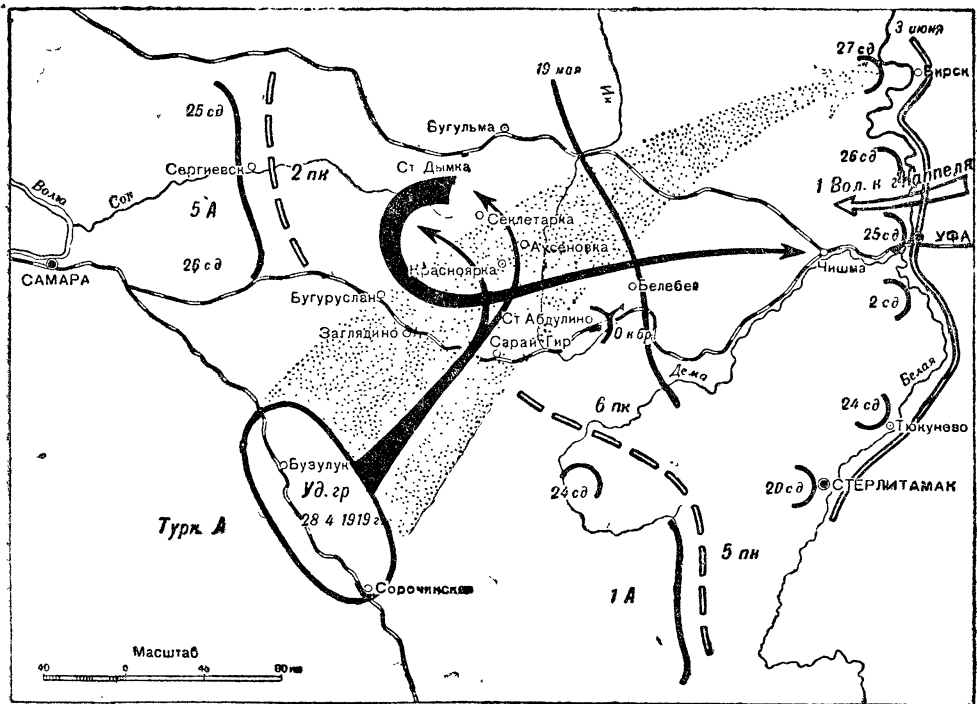


Схема 3. Решение и выполнение контрудара Южной группы

батальоны вели наступление во весь рост, в густых колоннах. Подпустив противника на 100 — 200 метров, красные встретили их беглым пулеметным огнем. Через несколько минут ржаное поле было покрыто сотнями трупов, белые дрогнули и в панике бежали к Уфе. В тот же день чапаевцы стремительным ударом заняли Уфу.

В результате полуторамесячных боев войска Южной группы последовательно разгромили целый ряд белых корпусов. Ни одна часть сил белых не вышла из-под удара красных войск без сильных потерь живой силы и материальной части (схема 3).

Белая армия не только понесла боль-

Но враг сам не хотел уйти с исторической сцены. Врага надо было быстро добить, не дав ему возможности опомниться от нанесенных поражений.

Несмотря на предательские попытки Троцкого приостановить наступление на р. Белой, под предлогом необходимости усиления Южного фронта, войска Восточного фронта по прямой директиве ЦК партии и В. И. Ленина продолжали преследование колчаковских банд за Урал. Успехи Южной группы и занятие нами Уфы, как и следовало ожидать, вынудили к отходу северную группу Гайды. 13 июля наши части взяли Златоуст, 14-го пал Екатеринбург. Путь в Сибирь был открыт. Попытки Колчака

оказать сопротивление на р. Тоболе с использованием последних резервов были ликвидированы красными частями.

Под ударами с фронта и массовым партизанским движением в тылу в начале 1920 года колчаковщина была полностью ликвидирована.

Товарищ Сталин показал на примере 3-й красной армии, как надо организовывать отпор Колчаку. Направленный партией и В. И. Лениным на Петроградский фронт, где создалась реальная угроза со стороны белых банд Юденича — союзника Колчака, — товарищ Сталин наголову разгромил Юденича и

лишил колчаковский фронт основной поддержки на западе.

Талантливый полководец Красной Армии М. В. Фрунзе, действуя сталинскими методами, преодолевая решительным образом пораженческие, вражеские вылазки, блестяще реализует решение партии, правительства и всего советского народа по разгрому Колчака.

Контрудар Южной группы навсегда войдет в золотой фонд истории беспримерной борьбы на фронтах гражданской войны трудящихся масс Советской страны под руководством партии Ленина — Сталина.

Военная тайна¹

Б. ЯГЛИНГ

★

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА РАЗВЕДОК

Величайшая и кровопролитнейшая в истории человечества мировая война 1914—1918 гг. началась задолго до того, как заговорили пушки.

Предвоенные годы были годами ожесточенной схватки разведок империалистических государств. Это был тайный фронт, где армии шпионов сражались своим грозным и невидимым оружием. Страны кишели неприятельскими лазутчиками. Уже были созданы стратегические планы предстоящей войны.

Несколько вариантов будущего стратегического развертывания германских войск были составлены генералом-фельдмаршалом Шлиффеном. Один из этих вариантов и был в дальнейшем осуществлен. Сам Шлиффен умер в 1913 году, так и не увидев своего плана в действии.

В основу этого плана легла идея, заимствованная из Ульмской операции Наполеона. Движением через нейтральную Бельгию Шлиффен намеревался обойти левый фланг французского расположения, а затем, выйдя в тыл, вынудить противника к сражению с перевернутым фронтом.

Еще в 1904 году этот секретнейший план германского командования попал в руки французской разведки. За сто тысяч франков он был приобретен у

одного из видных немецких офицеров. Но французский генеральный штаб счел слишком невероятным нападение германцев со стороны Бельгии и ничего не изменил в своем плане обороны, где предусматривалось вторжение с востока. Дело было не в том, что французы верили в гуманность врага, который из моральных побуждений не осмелится двинуться через территорию нейтральной страны. План немцев, по мнению французского командования, был самоубийственным. При реализации такого маневра в войну неминуемо должна была бы вступить Англия, марш немцев через Бельгию угрожал и островной державе. Еще Наполеон I называл Антверпен «пистолетом, приставленным к груди Англии». Французский генеральный штаб решил, что сведения, добытые его разведкой, — провокация немцев.

Но ровно через десять лет план Шлиффена был в точности выполнен германской армией. Франции дорого обошлось пренебрежение ее генерального штаба к сведениям разведки.

Германия очень тщательно готовила свой марш через Бельгию. Эта подготовка велась самыми разнообразными средствами.

Перед войной многих поражала исключительная дешевизна работ, выполнявшихся в Бельгии немецкими фирмами. Распределяя заказы, бельгийцы отдавали предпочтение германским промышленникам. В Льеже, где находилась

¹ Из книги «Военная тайна», выпускаемой изд-вом ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

крепость, немецкая фирма проводила все водопроводные и канализационные работы. Резервуар для нефти около Намюрской крепости ставила фирма Круппа, а огнестойкие сооружения для бензина — фирма Мейзеля. В горнопромышленных районах Бельгии немецкие технические конторы бетонировали шахты, асфальтировали улицы, прокладывали канализационные колодцы, мостили и шоссировали дороги, устраивали теплые бетонные подвалы под домами.

Все это не только давало возможность немцам собирать сведения о будущем плацдарме. К моменту объявления войны всюду, где так дешево работали германские фирмы, оказались тайные цементные площадки для тяжелых орудий, тайные склады динамита, пороха, бензина, телеграфные станции, тайные телефоны и т. д.

Вторжение в Бельгию было так тщательно подготовлено, что впоследствии, в течение двадцати четырех дней передвижения по бельгийской территории, германские корпуса только один день стояли на месте. Скорость марша была неслыханной. Наступая с боями, немецкие вооруженные силы проходили, в среднем, по двадцать пять километров в день.

О стратегическом плане немцев заблаговременно знало и французское командование.

Незадолго до мировой войны агенты русской разведки добыли фотографический снимок секретнейшего, существовавшего всего в трех экземплярах, «приказание на случай войны», подписанного кайзером Вильгельмом. Когда немцам стало известно, что их план больше не представляет тайны, они решили изменить его. Но было уже слишком поздно.

Тем не менее французы не придали значения и сведениям русской разведки. Германский марш через Бельгию попрежнему казался им немислимым. Разоблачение военной тайны противника осталось неиспользованным.

Секретные материалы о германской мобилизации русской разведке удалось достать и другим путем.

Русский агент долго обхаживал не-

кого Велькерлинга — писаря штаба крепости Торн. Наконец, соглашение было достигнуто. Велькерлинг был готов продать все, что угодно.

Но секретная переписка в штабе крепости велась без участия писарей, и все тайны запирались начальником штаба в сейф.

Однажды, в субботу, начальник штаба забыл ключ от сейфа на столе. В понедельник ключ лежал на том же месте, но в воскресенье он успел побывать в Варшаве, где лучший мастер по замкам несгораемых шкафов снял с него слепок. Через неделю в распоряжение писаря был прислан дубликат сейфового ключа.

С тех пор все документы, помещаемые в сейф, в субботу вечером отправлялись поездом в Варшаву, а к утру понедельника водворялись на прежнее место. В Варшаву прибыло много первостепенной важности документов, в одно из воскресений, например, варшавскому отделению русской разведки пришлось сделать десять тысяч фотоснимков.

Больше года писарь Велькерлинг обслуживал русскую разведку и провалился из-за своей жены. Дорогие шляпки, которые она начала носить, возбудили зависть у супруги начальника штаба крепости Торн. Возникшие подозрения относительно источника доходов Велькерлинга вскоре подтвердились, и писарь был приговорен к каторжным работам.

Но особенно преуспевала в предвоенные годы русская разведка в Австрии.

С Австрией существовало соглашение, по которому все австрийские офицеры, желающие усовершенствоваться в русском языке, могли приезжать в Казань.

К каждому приезжему офицеру русская разведка прикомандировывала своего агента для того, чтобы спойть австрийца, ввести в долги и подготовить его для русской разведывательной службы.

Опыт прекрасно удался с полковником Редлем, который впоследствии стал начальником австрийской разведки и начальником штаба корпуса. Будучи

уже на этом высоком посту, Редль регулярно сообщал русской разведке самые важные сведения о мобилизационной подготовке Австрии.

Среди документов, проданных Редлем России в течение четырех лет, находились не только чертежи таких важных крепостей, как Перемышль и Краков, но и план австрийского развертывания.

Когда предательство Редля раскрылось (а это случилось лишь за год до войны), Редль покончил самоубийством. Австрийская разведка пыталась утаить причины смерти Редля и даже собиралась устроить ему торжественные похороны, но газеты разгласили тайну. Пышные похороны пришлось отменить.

В результате предательства Редля Австрии предстояло затратить миллионы на изменение планов, ставших известными России. Австрийская мобилизационная готовность была подорвана.

Но в это время в тылу всех будущих противников германо-австрийского союза активно работали тайные немецкие агенты.

Перед войной австрийский генеральный штаб составлял самые подробные карты юго-западных губерний России.

Многие землевладельцы-поляки на Волыни и в Подолии охотно принимали в свои имения практикантов — слушателей австрийских лесных школ. По заданию австрийского военного министерства этим практикантам еще в 1907 году было поручено копировать планы земельных участков пограничной полосы, наносить все детали на верстовую карту и описывать отдельные районы со всеми находящимися на них сооружениями. Случайный арест одного из «практикантов» обнаружил это потайное окно, через которое австрийский генеральный штаб обзирал местность будущего театра военных действий.

За два года до войны по всем пограничным губерниям юго-западной России раз'езжал коммивояжер австрийских автомобильных фирм. Он предлагал местным помещикам чрезвычайно дешевые автомобили. По его же рекомендации можно было нанять квалифициро-

ванного австрийского шофера за очень маленькое жалование. Коммивояжер объяснял это безработицей шоферов в Австрии. Если автомобиль брали с шофером, то покупатель получал длительную рассрочку платежа и гарантию бесплатного ремонта на долгий срок.

Австрийская и германская разведки умело использовали развивающийся автомобилизм для своих целей.

Через несколько дней после объявления мировой войны бельгийцы арестовали и расстреляли шофера автомобиля, в котором раз'езжал русский военный агент в Бельгии. Этот автомобиль был нанят русским военным агентом вместе с шофером, на автомобильной бирже, помесечно, в первый день войны. Шофер был германским шпионом.

Австрийский и японский генеральные штабы пробовали использовать для шпионажа в России общество международного языка эсперанто. Но в этой организации шпионам ничего сделать не удалось, русская разведка их быстро разоблачила.

Во Франции и в России германская разведка располагала многочисленными агентами, жившими здесь в течение многих лет до объявления войны.

В январе 1915 г., близ Либавы, русской зенитной артиллерией был сбит германский дирижабль. Среди команды дирижабля оказались немцы, долго жившие в Либаве перед войной в качестве парикмахеров. Во главе команды был лейтенант фон-Шенк — либавский землевладелец и лесопромышленник.

Предвоенной деятельностью немецких шпионов по сбору сведений о вооруженных силах во всех странах руководили германские военные и морские атташе. Им противостояли разведчики других государств, собиравшие информацию для своих стран под руководством своих атташе.

Генерал Мальборо Черчилль, который был в годы мировой войны начальником американской секретной службы, говорит:

«Многие офицеры, не продумавшие этот вопрос, полагают, что военный атташе — это человек, который ведет хорошую жизнь в чужой стране и по-

этому слишком занят, чтобы работать, как следует. Но всякий, кто соприкасался с военной работой наших атташе в важнейших столицах, убедился, что эти люди выполняли задачу, являющуюся одновременно и трудной и деликатной и порою жизненно необходимой для успеха нашего оружия. Многие большие города были центрами германских интриг, и работа наших атташе, связанная с работой союзной разведки, предохраняла нашу армию от проникновения в нее неприятельских агентов и пресекала их деятельность».

Во всех странах мира германские шпионы перед войной собирали по указанию своих атташе данные о портах, главных городах, о мостах и железнодорожных линиях, рвах и каналах, о всех удобствах и всех препятствиях для продвижения войск и, конечно, об укреплениях, морских базах, сухих доках и арсеналах...

Свою истребительную подводную войну 1914—18 гг. германский флот готовил в течение двадцати лет. Начало этой подготовке положила германская разведка.

К 1900 году в немецком флоте еще не было подводных лодок. В 1903 году чертежи французской подводной лодки «Эгретт» оказались у Круппа. Первая германская подводная лодка была построена по французским чертежам, добытым немецкими шпионами.

За несколько лет до войны в одном немецком журнале был полностью напечатан весь секретный законопроект о русской малой судостроительной программе. Это произошло за два дня до рассмотрения законопроекта в закрытом заседании Государственной думы. Морской министр России считал эту программу настолько секретной, что даже не роздал ее предварительно членам думы. Но удивляться неожиданной огласке не приходилось. Путиловскую судостроительную верфь в то время полностью, от директора до чертежников, обслуживали германские подданные. Фактически эта верфь находилась в руках фирмы «Блюм и Фосс».

Германская разведка перед войной кропотливо изучала граждан соседних

стран. К началу войны германская секретная служба располагала тщательно составленной картотекой на сорок семь тысяч граждан России, Англии и Франции. Учет велся по отраслям работы и по индивидуальным наклонностям людей, намечавшихся как резерв для шпионажа. С помощью самых разнообразных способов — шантажа, подкупа, угроз и провокаций — этих людей затем вербовали в германскую агентурную сеть.

С момента объявления войны генеральные штабы армий стали пожирать плоды деятельности своих разведок. Достаточно привести итог работы только двух германских шпионок, чтобы понять, насколько смертоносна была эта жатва.

Немецкая шпионка во Франции, явайская танцовщица Мата-Хари (ее настоящее имя — Маргарита Целле) доносила своей разведке о передвижении войск союзников. С помощью ее информации немцы потопили семнадцать транспортов с войсками, т.-е. с десятками тысяч молодых солдат¹.

Другая германская шпионка, прозванная французами «фрейлен Доктор» (настоящее имя ее так и осталось неизвестным), руководила разведывательным центром в Антверпене. Располагая сведениями, полученными от «фрейлен Доктор», германские подводные лодки за одну лишь неделю, с 15 по 22 апреля 1917 года, пустили ко дну восемьдесят семь паровых судов союзников.

В годы мировой войны, когда на фронтах сражались многомиллионные армии, схватка разведок продолжалась. Она стала еще более грозной и кровопролитной по своим последствиям, потому что за разглашение военной тайны, за деятельность предателей и шпионов теперь расплачивались жизнью миллионы людей.

ПЕРВЫЕ УДАРЫ

2 августа 1914 года первые германские части перешли рубеж, вступили на

¹ Мата-Хари была разоблачена и расстреляна. На суде один из членов французского военного трибунала заявил, что деятельность этой шпионки стоила жизни 50 000 солдат.

территорию крошечного герцогства Люксембургского, в тот же день заняли его столицу и двинулись вперед.

Так началось беспрецедентное вторжение грандиозных вооруженных сил Германии в маленькую нейтральную Бельгию.

За двадцать дней своего продвижения к французской границе немцы перебросили в Бельгию 3.120.00 человек. Для этого понадобилось 11.000 поездов. До 500 поездов с германскими войсками ежедневно пересекали мост через Рейн. Такая организованность явилась результатом того, что все железнодорожное строительство в Германии перед войной проходило под руководством генерального штаба. Новые железнодорожные пути к западной границе прокладывались под особым наблюдением военных органов.

Катившийся через Бельгию гигантский вал германского наступления казался неустойчивым. Маленькая страна пыталась защищаться, но устоять перед сильным врагом не могла. Бельгия была не подготовлена к отпору. Немцы успели позаботиться об этом задолго до войны.

16 августа пала крупная бельгийская крепость Льеж. С падением Льежа стало невозможным сохранить оборонительную линию на реке Маас. Германские армии перешли Маас и продолжали наступление. 20 августа они заняли Брюссель и в тот же день появились перед Намюром — последней бельгийской крепостью, преграждавшей путь вглубь Франции. Вскоре был взят и Намюр.

Французская армия к этому времени успела сосредоточить свои силы на бельгийском рубеже. Но она еще не была готова сдержать мощный натиск германских дивизий. К такому отпору следовало готовиться долгие годы. А врага из Бельгии не ждали. Военной тайной врага во-время не воспользовались.

Приближалась катастрофа.

Но в это самое время произошли очень серьезные и совершенно неожиданные для немцев события.

4 августа 1914 года, через два дня

после первого появления немецких войск в Бельгии, Англия объявила Германии войну. В этом факте для немцев не было ничего неожиданного. Но в день объявления войны британская разведка арестовала всех германских шпионов в Англии. Оказалось, что вся германская агентурная сеть в Англии была давно уже выслежена. Британцы арестовали 20 видных руководителей немецкого шпионажа (удалось бежать в Германию лишь одному) и 200 их сообщников. Кроме того, около 10.000 человек, подозреваемых в шпионаже, немедленно были заключены в концентрационные лагеря.

Таким образом, Германия лишилась своих наблюдательных постов в Англии в самый важный момент.

Против немцев выступал 150-тысячный британский экспедиционный корпус. Но германское командование теперь уже ничего не могло узнать об этой войне. Деятельность немецкой разведки была парализована.

Немцы, конечно, рассчитывали, что рано или поздно они встретят на своем пути англичан. Но командование германской армии ожидало высадки десанта в Калэ или в Булони. А шпионы, находившиеся во Франции, доносили, что британские войска еще не появлялись в этих портах. Тем временем англичане успели прибыть во Францию. Они высадились не в Калэ и не в Булони, а в Гавре.

20 августа, когда четыре британские дивизии уже находились во Франции, успели сосредоточиться в Ле-Като и были готовы двинуться на Монс, германская главная квартира, что-то разведав, сообщила:

«Британский десант высадился в Булони. Нет оснований полагать, что высадка произведена в больших размерах».

Через три дня, когда немецкие войска подошли к Монсу, они не подозревали, что этот город находится в руках британцев. Доверяя донесениям своей кавалерии, германское командование было убеждено, что вокруг, на расстоянии пятидесяти километров, противника нигде нет.

Появление свежих английских сил оказалось совершенно внезапным для германской армии. Натиск немцев некоторое время по инерции еще продолжался, но вскоре был окончательно остановлен.

На реке Марне объединенная англо-французская армия ответила германцам сокрушительным контрударом. Союзные войска перешли в наступление и добились первой крупной победы.

Больше немцам нигде и никогда не пришлось повторить перехода, подобного маршу через Бельгию. Началась изнурительная позиционная война за овладение километрами и даже метрами территории противника.

Умелое сохранение англичанами своей военной тайны не только прервало тщательно подготовленный маневр германцев, но даже заставило их отказаться от осуществления плана Шлиффена. А изменение этого плана в разгар войны угрожало немцам самыми серьезными последствиями.

КНИГИ, ЕДВА НЕ ПОГУБИВШИЕ ГЕРМАНСКИЙ ФЛОТ

За все четыре года войны «Большой флот» Британии и «Флот открытого моря» Германии встретились всего один раз.

31 мая 1916 года германский флот, который был создан, чтобы оспаривать господство на море, наткнулся на флот Британии, владевшей этим господством целые столетия.

Обе стороны долгое время уклонялись от встречи. Германский флот опасался значительно превосходивших его морских сил Британии. Английское адмиралтейство совершенно правильно предполагало, что неприятельский флот, отступая, попытается заманить британские корабли в западную минных заграждений и подводных лодок.

Но встреча все же произошла.

В истории мировой войны это грандиозное морское сражение называется «Ютландский бой».

Со стороны англичан в Ютландском бою участвовали 28 новых линейных кораблей, 30 линейных крейсеров,

30 легких крейсеров и 72 миноносца. Британским силам противостояли 16 новых и 5 устарелых линейных кораблей германского флота, 11 линейных крейсеров, 11 легких крейсеров и 72 миноносца.

Простое сравнение показывает, что сила была на стороне англичан. Но британский флот обладал в этом бою еще одним, невидимым, но очень важным преимуществом...

За два года до Ютландского сражения (25 августа 1914 г.) германский легкий крейсер «Магдебург» туманной ночью наскочил на подводные камни у мыса Оденсхольм. Попытки крейсера самостоятельно сняться с мели не удалось. Окруженный русскими кораблями, «Магдебург» был вынужден взорваться, чтобы не стать добычей неприятеля.

Сопровождавшие крейсер германские миноносцы спасли часть команды, а остальные моряки «Магдебурга» вместе с капитаном были взяты в плен.

Русские водолазы немедленно обследовали место гибели корабля. Хотя «Магдебург» находился неглубоко, поднимать его не имело смысла. Поиски преследовали иную цель. На дне Балтики русские водолазы искали ключ к будущей победе союзников над германским флотом. Ключ, в данном случае, слово совершенно точное. Речь идет о ключе к секретным германским шифрам.

У самого борта затонувшего «Магдебурга» водолазы нашли труп немецкого унтер-офицера, судорожно сжимавшего книги шифра, сигнальный код германского флота и разделенную на квадраты карту Северного моря. Покидая «Магдебург», сигнальщик оборвался с трапа и утонул вместе со всеми своими документами.

Эта ценнейшая находка была тщательно скрыта русским командованием. В специальном приказе водолазам даже объявили выговор за нерадивую и безрезультатную работу.

На самом деле с этого дня все секретные радиogramмы германского флота читались русским командованием, как свои собственные.

Копии захваченных на «Магдебурге» документов были пересланы в Лондон.

Теперь британская разведка могла получить сведения о всех предстоящих передвижениях противника.

В январе 1916 года в германский «Флот открытого моря» был назначен новый командующий — адмирал Шеер. Он был сторонником тактики нападения. Тактика эта, впрочем, была вынуждена обстоятельствами. К началу 1916 года британские корабли усилили блокаду Германии и чрезвычайно обострили ее нужду в продовольствии и запасах военного снаряжения. Борьба же немецких подводных лодок с морскими перевозками союзников была к этому времени ослаблена под влиянием требований Америки. Америка тогда еще сохраняла нейтралитет, и в интересах германцев было не провоцировать столь мощного противника на вооруженное выступление.

Адмирал Шеер наметил план — заманить часть английского флота в ловушку.

Германская крейсерская эскадра должна была выйти к берегам Норвегии, чтобы угрожать торговым сношениям Норвегии и Дании с Англией.

По расчетам немцев, это немедленно должно было вызвать появление значительных морских сил Британии. В этом случае германским крейсерам предстояло отступить и, отступая, вести увлекшихся преследованием британцев за собой, пока не подоспеют остальные эскадры германского флота. Британские боевые суда оказались бы во вражеском кольце.

Но события развернулись совсем не по планам немцев.

Переданные по радио секретные германские распоряжения по флоту немедленно стали известны английскому адмиралтейству благодаря книгам шифров, добытым русскими водолазами.

Когда германский «Флот открытого моря» снялся с якорей и, впервые за все время войны, покинул свои укрепленные гавани, весь британский «Большой флот» уже находился в море и шел навстречу.

Наперерез германской колонне крейсеров, приближавшейся к Норвегии, спешили корабли двух специально от-

ряженных английских эскадр. Эти две эскадры должны были вступить в бой с германскими крейсерами, а затем отойти и заманить «Флот открытого моря» под удар «Большого флота» Британии.

Теперь западня угрожала не англичанам, а немцам...

Ютландский бой стоило бы описать подробно, если бы ему не было посвящено множество книг. Будет достаточно сказать здесь, что все произошло именно так, как предполагали англичане.

Германскому флоту, правда, удалось ускользнуть от полного разгрома, но в этом была повинна только чрезмерная осторожность британского адмирала Джеллико.

День сражения был очень туманным. С наступлением вечера суда с трудом могли распознавать друга от недруга. Адмирал Джеллико отказался от преследования неприятеля в темноте, не желая рисковать своими силами.

Германцы потеряли в Ютландском бою сравнительно немного: 1 линейный корабль, 1 линейный крейсер, 4 легких крейсера и 5 миноносцев.

Когда стало рассветать, британцы увидели, что остальные германские корабли успели скрыться.

Тем не менее «Флот открытого моря» до самого конца войны больше ни разу не осмеливался выйти из своих укрепленных гаваней. А через два с половиной года после этого исторического сражения германский флот целиком сдался и был отведен в Англию, на стоянку в Скапа-Флоу.

Так разведанная русскими водолазами военная тайна врага помогла союзникам победить морские силы Германии.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ГЛАВНЫХ ТАИН БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

Подготовка империалистических государств к большой войне идет полным ходом. Она совершается в глубочайшей тайне, потому что разглашение сведений о любом из участков подготовки может привести к поражению на

войне. А таких участков — в современных условиях — множество. К большой войне готовится вся страна.

Итог всей этой грандиозной мобилизации военные специалисты называют военным потенциалом государства.

В наши дни военный потенциал страны (т.е. ее возможности для ведения большой войны) зависит не только от численности вооруженных сил и их состояния. Географическое положение государства, пути сообщения, запасы сырья, финансы, степень развития промышленности и сельского хозяйства, количество квалифицированной рабочей силы — все это учитывается при определении военного потенциала. Все слабые стороны военного потенциала, все его секреты одинаково важны и все одинаково тщательно скрываются.

Какие же это секреты?

1. Во-первых, численность армии, т.е. ее размеры и мобилизационные возможности.

В буржуазной печати, правда, иногда публикуются официальные сообщения империалистических государств о численности своих войск, но всякий понимает, сколько может быть в таких сообщениях истины. «Я знаю три вида лжи, — говаривал Марк Твен, — непростительную ложь, простительную ложь и... статистические данные». Приведем, к примеру, официальные «данные» о германских вооруженных силах. Разорвав в 1935 году Версальский договор, фашистское правительство Германии объявило свою программу сухопутных вооружений, по которой должно было сформировать двенадцать армейских корпусов, т.е. тридцать шесть дивизий. Это означало, что численность германской армии будет доведена до 500 — 600 тысяч человек. Однако не так давно в фашистской печати prominently сообщено о назначении нового командующего 14-м корпусом. Четырнадцать корпусов — это уже сорок две дивизии. В действительности их, вероятно, еще больше. Предполагают, что пятьдесят шесть. Точных сведений правительство фашистской Германии, конечно, не опубликует.

2. Скрываются все результаты переписи населения. Зная число людей призывного возраста, противник легко сможет исчислить возможность пополнения армии. А резервы для развертывания миллионных армий военного времени должны быть колоссальными. Уже сейчас число военнообученных в Германии достигает четырех с половиной миллионов, в Японии — пяти с половиной миллионов, в Италии — трех с половиной миллионов.

3. Сохраняется в тайне также дислокация войск, т.е. расположение вооруженных сил на территории страны и все передвижения отдельных частей. Это делается для того, чтобы противник не разведал, откуда и как начнет страна военные действия, т.е. не узнал бы государственного плана будущей войны.

4. Под строжайшим секретом находятся сведения о вооружении и количестве боеприпасов. Скрывается не только число заготовленных танков, самолетов, крейсеров, подводных лодок, орудий, пулеметов, винтовок, снарядов и патронов, но и самый характер вооружения, т.е. качество оружия.

15 сентября 1916 г., у реки Соммы, англичане неожиданно для немцев применили танки. При появлении невиданных чудовищ панический страх охватил немецких солдат. Они покидали свои укрепления, бросали оружие и спасались бегством от бронированных страшилищ. 29 июля 1915 г. немцы во время атаки впервые пустили в ход огнеметы. «Свершено внезапно, — рассказывает об этой атаке один из военных историков, — первые линии войск на фронте были охвачены пламенем. Не было видно, откуда появился огонь. Единственное спасение, казалось, было в том, чтобы бежать назад; это и сделали уцелевшие защитники. На небольшом пространстве пламя преследовало их, и отступление обернулось в жестокое поражение».

Такой же внезапной, но гораздо более грозной по своим последствиям была первая газовая атака немцев на реке Ипр 22 апреля 1915 года. Эта атака заставила французов очистить три кило-

метра позиции, потерять пятьдесят орудий и вывела из строя целую дивизию. На поле сражения осталось пять тысячtrupов.

Такова сила внезапности появления нового оружия. Если даже оружие известно противнику, но неожиданно для него применено в грандиозных масштабах — исход сражения будет таким же.

Вот почему все новые военные изобретения, дальнобойность орудий, скорость и боевая мощь самолетов, танков и военных кораблей, так же, как и масштабы грядущего их применения, представляют исключительно важную военную тайну.

5—6. Готовясь к войне, генеральные штабы тщательно изучают театр предстоящих военных действий. Где могут прежде всего столкнуться сухопутные армии? У границ. Значит, география пограничных районов, подробные карты этих районов, расположение местных укреплений, аэродромов, заводов, электростанций и путей сообщения не должны быть известны противнику.

А если вспомнить, что в грядущей войне боевая авиация уничтожит всякое различие между фронтом и тылом, границей и центром страны, то станет ясно, что вообще расположение энергетических баз, аэродромов, важнейших предприятий и дорог все государства стараются по возможности скрыть.

Среднегерманская промышленная область, например, находится в центре Германии. Однако вся она окружена кольцом аэродромов — защитным барьером авиации. Большинство этих аэродромов имеет оборонное значение. Мерзебургский аэродром находится рядом с химическими заводами, дессауский — около авиационных заводов Юнкера, аэродром Келледа — по соседству с оружейным заводом Земмерда. Многие аэродромы устроены под землей, например, тщательно охраняемый от посторонних глаз аэродром Айзенберг, между Цейцем и Герой. А железнодорожную линию Берлин — Мансфельд — Касель в народе называют «пушечной до-

рогой», потому что она создана исключительно для военных целей.

Такой же округ военной промышленности существует в центре Польши. Поляки называют этот район «треугольником стратегической безопасности» по трем городам — Радом, Кельцы и Островец, где сосредоточены главные военные заводы.

Если в результате воздушного нападения военно-промышленные центры будут разгромлены, государство почти неминуемо проиграет войну. Вот почему в условиях подготовки к большой войне обыкновенная география стала государственной тайной.

7. Большая война потребует огромного напряжения железнодорожного транспорта и всех других путей и средств сообщения. Поэтому пропускная способность железных дорог и вообще насыщенность страны средствами транспорта тоже представляют военную тайну.

8. Но что необходимей всего для ведения войны? «Три вещи, — отвечал на этот вопрос Наполеон I, — деньги, деньги и деньги». За деньги можно приобрести для войны все, что угодно. Нужно только иметь их побольше. А это удается не всякому государству.

Япония, например, в 1937 году ввезла из-за границы так много сырья для военной промышленности и столько товаров для армии, что в ее торговом балансе образовался огромный дефицит в 636 миллионов иен¹.

Зная, какими денежными средствами располагает страна для ведения войны, противник знает, в сущности, все о пределах ее военной мощи. Именно поэтому сведения о финансовом положении и финансовых возможностях государства считаются секретными.

9. По негласным статьям бюджетов империалистических государств очень большие суммы отпускаются на ведение военно-научной работы и военно-научных исследований. Десятки тысяч ученых и крупнейших специалистов рабо-

¹ Иена — на наши деньги около 1½ рублей.

тают в лабораториях и экспериментальных цехах, совершенствуя оснащение армии. Инженеры конструируют новые виды вооружения—сверхмощные, сверхскоростные и сверхдальнобойные. Химики ищут новые смертоносные газы, удобные для массового производства. Бактериологи выводят микробов заразных болезней для бактериологической войны. Товароведы изыскивают способы получше и подешевле одеть армию, снабдить ее питательным, портативным и непортящимся продовольствием, посудой и т. д. Совершенно понятно, что результаты военно-научной работы и военно-научных исследований таятся государствами, как сокровеннейший секрет.

10—11. На войне совместно будут действовать человек и машина. Армию нужно обеспечить не только вооружением и боеприпасами, но и продовольствием, а механизмы — горючим. Нетрудно представить, сколько может понадобиться продовольствия для многомиллионных армий военного времени. А население? В годы мировой войны 1914 — 1918 гг. Англия оказалась отрезанной германскими подводными лодками от своих колоний и доминионов и терпела острую нужду в продуктах питания. Наученные горьким опытом, англичане создают теперь годовой продовольственный запас для всего населения страны. Понадобилось истратить огромные суммы не только на покупку пищевых продуктов, но и на сооружение специальных холодильников, складов и т. д.

Для ведения современной войны необходимы и колоссальные запасы горючего. Одно лишь крупное мотомеханизованное соединение только на заправку моторов требует нескольких сотен тонн бензина и масла. Для боевых действий будут нужны миллионы тонн нефти и бензина. Гигантские воздушные силы, какие будут участвовать в грядущей войне, потребуют огромного количества самого высокосортного горючего.

Естественно, что сведения о государственных запасах продовольствия, фуража и горючего повсюду считаются очень важной тайной так же, как и точные, по-

дробные сведения о производительности и возможностях сельского хозяйства страны и о добыче и производстве горючего.

12—13. Важнейший металл для войны — железо. Но войну нельзя вести и без цветных металлов — цинка, меди, олова, алюминия. Военным сырьем считается и каучук, настоящий или синтетический — все равно. И даже вискоза, из которой в обычное время делают чулки и рубашки, — тоже важна на войне. Вискозу производят из целлюлозы, а целлюлоза служит сырьем для сильнейших взрывчатых веществ. Многие химические продукты, например, применяются для производства удобрителей, но они применяются также и при производстве удушливых газов. Алюминий можно использовать для изготовления кухонной посуды, но он необходим и для постройки подводных лодок. Электрическая энергия служит для мирного использования, но она нужна и для очень многих видов военного производства, в частности, для выделения нитратов из воздуха. Хлопок используется в текстильной промышленности, но он необходим и для производства пироксилина.

Поэтому подлинные размеры производства черных и цветных металлов и других видов военного сырья представляют секрет государства. Тщательно скрываются и какие бы то ни было сведения о работе и производительности всех заводов военной промышленности.

14. Военные заводы это не только те, где производятся боевые корабли, самолеты, танки, подводные лодки, пушки, пулеметы, винтовки, снаряды, патроны или химическое оружие. В дни большой войны любая фабрика будет работать для армии.

Мобилизационные органы в предвоенное время обследуют каждое предприятие гражданской промышленности и дают ему специальное задание. С началом войны почти все заводы немедленно станут военными. При этом произойдут, на первый взгляд, неожиданные превращения.

По мобилизационному плану Франции, например, фабрики детских игрушек и банок для ваксы целиком перейдут на производство противогазов, фабрики патефонов и граммофонов — на обработку снарядов, заводы пишущих и счетных машин — на изготовление артиллерийских взрывателей, целлюлоидные заводы — на производство пороха, фабрики автомобильных фар — на выработку стальных шлемов и т. д.

Задолго до начала войны многие гражданские фабрики почти исключительно заняты выполнением военных заказов.

Несколько лет назад бывший военный министр Соединенных Штатов Америки на одном из заседаний комиссии конгресса заявил, что потребности армии в военное время составляют список в 35 тысяч различных предметов, состоящих из 700 тысяч деталей, «Чтобы снабдить обувью армию в 2 миллиона человек, — сказал он, — нужно 4.462.500 воловьих шкур на подошвы и 3.750.000 коровьих — для верхней части ботинок...».

За четыре года мировой войны союзники закупили в Соединенных Штатах разных материалов на 4 миллиарда долларов. В длинном перечне этих закупок для войны были не только оружие и взрывчатые вещества. В нем значились: чугун и сталь, хлопок и изделия из хлопка, пшеница, медь, латунь, кожа, химикалии, автомобили, пшеничная мука, металлургические машины, лошади, проволока, обувь, железнодорожные вагоны, мулы, ячмень, суконные товары, шины, аэропланы, мотоциклы и т. д.

Из всего этого можно понять, какую гигантскую экономическую задачу представляет современная война.

Следовательно, о мобилизационной реорганизации гражданской промышленности и о ее производственных возможностях противник тоже не должен знать, потому что это военный секрет государства.

Военные специалисты утверждают, что из двух театров войны: одного, где скрещивается оружие, и другого, где

оно производится, — второй будет важнейшим.

К 1 мая 1917 года в России были привлечены к обслуживанию обороны 90 проц. всех русских заводов и около 96 проц. всего заводского персонала.

Прогресс военной техники неизбежно вызовет огромный рост тыловой производственной армии.

В составе французских войск к концу мировой войны было 250 тысяч артиллеристов с 12 тыс. орудий и 5 тыс. военных летчиков с 2.700 самолетами. На артиллерийских заводах в тылу Франции работало 1.700 тыс. человек, а в промышленности, обслуживающей авиацию, — 180 тыс. На одного бойца-артиллериста приходилось почти семь, а на одного летчика — тридцать шесть производственников на заводах. В современных условиях это соотношение изменится еще разительнее. Производственная армия, обслуживающая из тыла технические войска, увеличится и будет превосходить эти войска своей численностью во много раз.

Для большой войны понадобится общая и полная мобилизация всей страны — военная, научно-техническая, промышленная, экономическая, финансовая, транспорта, связи, всего труда. Эта мобилизация произойдет по заранее тщательно продуманному и разработанному плану.

★

Задача любой разведки, посылающей своих шпионов в неприятельские страны, в сущности, сводится к наиболее точному и подробному определению военного потенциала противника. Шпионские программы буржуазных разведок в основном содержат именно те вопросы, о которых мы говорили в этой главе.

О ЧЕМ НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВРАГ НАШЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ

Мы назвали здесь четырнадцать военных тайн. На самом деле их, конечно, гораздо больше. Но говорить об этом подробнее не стоит, да и нельзя.

Нужно иметь в виду, что между государственной, военной и партийной тай-

ной, по существу, нет никакого различия. Разглашение любой из этих тайн может подорвать оборонную мощь нашей родины и вооружить врага.

Чтобы окончательно уяснить себе, что следует хранить в секрете, каждый советский патриот должен знать наш официальный перечень сведений, являющихся государственной тайной. Такой перечень был утвержден Советом народных комиссаров СССР 27 апреля 1926 года и за подписью товарища Куйбышева опубликован в печати¹.

К секретным сведениям военного характера в этом перечне относятся:

«Дислокация частей, заведений и учреждений Рабоче-Крестьянской Красной Армии и объектов военной охраны, за исключением указанных в особой инструкции...».

«Организация, численность, подготовка, техническое и военно-инженерное оборудование, финансирование, снабжение — вообще состояние вооруженных сил Союза ССР».

«Мобилизационные и оперативные планы (как общие, так и частичные), расчеты, проекты и мероприятия, а также мобилизационная готовность Рабоче-Крестьянской Красной Армии, промышленности, транспорта, связи и страны в целом».

«Дислокация, оборудование, состояние, финансово-производственные планы, производительность всей военной промышленности, а также остальной промышленности в части выполняемых последних военных заказов».

«Изобретение новых технических и иных средств военной обороны».

«Объявленные секретными или не подлежащими оглашению издания и документы, имеющие отношение к обороне Союза ССР, а равно данные, основанные на указанных изданиях и документах».

Во втором разделе перечня определены не подлежащие оглашению сведения экономического характера. К ним относятся:

«Состояние казначейских валютных фондов, сведения о текущем расчетном балансе и оперативно-валютных планах Союза ССР».

«Открытия, изобретения, технические усовершенствования, в случае признания таковых... имеющими особую важное для страны значение и подлежащими сохранению в тайне».

«Детальные сведения о планах и плановых предположениях, касающихся ввоза и вывоза отдельных товаров, а равно о состоянии экспортных фондов отдельных товаров».

Третий раздел перечня — «сведения иного рода».

Это —

«Сведения, касающиеся переговоров и соглашений Союза ССР с иностранными государствами, а равно всяких мероприятий и выступлений Союза ССР в области внешней политики и внешней торговли, поскольку указанные сведения не основаны на официально опубликованных данных».

«Сведения о методах и мерах борьбы со шпионажем и контрреволюцией».

«Государственные шифры и содержание шифровой переписки».

Но всего в коротком перечне, конечно, предусмотреть нельзя. Пользуясь этим перечнем и материалами нашей статьи, каждый советский гражданин, каждый боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии или Военно-Морского Флота, каждый патриот нашей родины должен сам осознать, что следует ему хранить в тайне.

Товарищ Фрунзе определял мобилизационную работу, как проблему организации государства на случай войны. Такая задача непосильна одному государственному аппарату. В мобилизационной подготовке к современной войне участвует вся страна, все ее население. Поэтому все граждане СССР, и каждый из нас в отдельности, несут ответственность за сохранение советской государственной тайны.

¹ Газ. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», № 108, от 13 мая 1926 года.

Мы беспощадно стираем с лица советской земли право-троцкистскую фашистскую мразь — шпионов, диверсантов, террористов и предателей. Со всей суровостью должны мы отнестись к тем, кто своим болтливым языком облегчает фашистским наемникам их подлую работу. Человек, разгласивший государственные секреты, вольно или невольно выболтавший их шпиону, подлежит

общественному презрению и строгой каре.

Советский патриот, которому доверена государственная тайна, выполняет обязанность, не менее важную, чем пограничник, зорко охраняющий от шпионов и диверсантов рубежи нашего социалистического отечества.



Образ Ленина в кино

Х. ХЕРСОНСКИЙ

★

Огромная задача страшила авторов и артистов. Казалось, что искусству надо подождать, надо отойти подальше в сторону, как отходят от высокой горы, чтобы увидеть ее форму в целом. Необычайной становилась и ответственность перед зрителями. Как взволнованно, — любя и ревнуя знакомого, близкого Ленина, — зрители будут судить о его образе, созданном искусством! Ведь у каждого зрителя — в душе живой Владимир Ильич. У многих этот образ навсегда закреплен личными воспоминаниями, встречами, беседами. И все знают десятки его портретов, рассказы свидетелей, книги о нем. До сих пор не было в нашем кино другого образа, который зрители брали бы под такой внимательный и строгий контроль! Точно речь идет уже не о ком-то другом, а прямо о самом зрителе, о чем-то, что ему, зрителю, не только очень важно, но и глубоко-интимно лежит в его собственном характере, — в его личной судьбе. Ведь каждый из нас несет в себе частицу Ленина — как самое дорогое!

У искусства была еще опасность — благодарность могла быть незаслуженной! Желание увидеть Ленина настолько велико, что зрители могут невольно наградить от себя большим содержанием даже художественно бедный образ!

На спектаклях пьесы Погодина «Человек с ружьем» в театре имени Е. Вахтангова при первом же стремительном появлении артиста Б. Щуки-

на по залу пронеслась буря аплодисментов. Овации прерывали течение спектакля. Величайшую бестактность, полное непонимание происходящего проявил бы артист, который вздумал бы раскланяться! Любовь и благодарность, которые обрушил на сцену зрительный зал, относились не к артисту и не к его мастерству. Б. Щукин, выбежав, застыл в характерной позе Ильича и так стоял, не двигаясь, как мгновенный эскиз портрета или памятника, пока овации не утихали. Когда зрители освобождались от первого напряжения и вглядывались уже не только в черты ленинского лица, но и в его выражение, Б. Щукин начал снова двигаться и играть.

Ожидание увидеть Ленина было настолько велико, что однажды, на спектакле в этом же театре, группа зрителей, в одной из предшествующих сцен, сразу после открытия занавеса, зааплодировала... совсем другому актеру. Это случилось потому, что, стоя к залу спиной, он своим ростом и выразительным движением протянутой вперед руки вдруг напомнил Владимира Ильича... Такая ошибка может на короткое время случиться со зрителем и по отношению к целому произведению искусства: когда с действительностью совпадают всего только приметы, но еще не характер, не внутренний образ героя.

Желание избежать ошибок и упрощения удерживало многих художников от торопливых решений. Но осторожность



Из фильма «Ленин в Октябре».

переходила порой в бесплодную робость... Сомнения разрушил товарищ И. Сталин. Это по его инициативе драматурги сделали первые серьезные шаги в создании образа Ленина.

И во время работы стало ясно многое. Прежде всего наше кино к этому времени вовсе не было художественно безоружным перед такой задачей. Уже многое можно было взять из новой природы советского искусства. В кино она ярко выявилась в прекрасных работах от «Броненосца Потемкина» до «Чапаева», «Мы из Кронштадта» и «Депутата Балтики». И мы часто еще не отдаем себе полного отчета, как много в нашем искусстве сделано подлинно народного, — как ярко и полно может кино воплотить в образах наше отношение к действительности.

А во-вторых, — и это, может быть, самое главное! — научиться создавать в кино такой гигантский образ, как образ Ленина, можно было только в

процессе работы над ним, и для этого конкретные особенности, черпая из него новые силы и художественные средства!

Появились фильмы «Ленин в Октябре», «Человек с ружьем», «Великое зарево», «Выборгская сторона» и ставится новый — «Ленин».

★

Фильм «Ленин в Октябре», по сценарию А. Каплера, в постановке М. Ромма, воспринимается как развернутая историческая хроника. Его композиция подчинена хронологическому, последовательному ходу событий, и кажется, что она настолько повествовательна, что лишена особого драматургического мастерства. Но только с первого взгляда! Когда всматриваешься в течение фильма, открываешь, с каким глубоким драматизмом построены сцена за сценой, а главное, как точно все подчинено одной цели: драматиче-

скому раскрытию ведущего образа. В кино — это было не совсем обычно.

Сценарий раньше назывался «Восстание». Но, рассказывая об Октябрьском восстании, о народе, о великом перевороте, о первых минутах социалистического строя в СССР, авторы все время идут за Лениным и видят его в центре событий.

Фильм приобрел художественную цельность, и, несмотря на лаконизм авторов, образ Ильича раскрывается многосторонне, с хорошей полнотой.

Лаконично даны события девятнадцати дней (с 7 по 25 октября 1917 г. включительно), со дня нелегального приезда Ленина в Петроград из Финляндии до кануна открытия в Смольном 2-го Всероссийского съезда Советов, когда победоносное восстание в Петрограде было уже в полном разгаре и власть в столице фактически находилась в руках Петроградского Совета.

«Мчится поезд. На паровозе Ленин и рабочий Василий. Василий напряженно вглядывается в мокрую тьму. Мелькнули вдали первые огоньки. Василий наклоняется к Ильичу:
— Владимир Ильич, возьмите браунинг.

Ильич:

— Нет, не возьму. Вам партия поручила доставить меня в полной сохранности. Вот и доставляйте.

— Василий:

— Отодвиньтесь от окна».

Уже в этих кратких словах — заботливое отношение большевика-рабочего к Владимиру Ильичу, юмор и прямота Ильича и связывающее обоих людей чувство ответственности перед партией. Щукин — Ленин отвечает Василию не трусливо и не вызывающе, с каким-то особым, чуть-чуть лукавым добродушием, просто и многозначительно. И зритель рад уже не только тому, что видит Ильича; интересно следить за отношениями людей.

Глухо звенит колокол. Маленький петроградский пригородный полустанок. Военный караул проверяет документы. Василий отцепляет паровоз. За ним бегут юнкера. Свистят. Далеко, на

запасных путях Ленин и Василий сходят с паровоза и исчезают в темноте. Вдали слышатся свистки юнкеров.

Вслед за Лениным зрители погружаются в тревожную жизнь столицы, где кипит схватка партий, борьба классов за власть. Буржуазия на пороховом погребе. Временное правительство вцепилось в аппарат власти — с отчаянием и жестокостью утопающего. Вождь пролетариата вынужден прятаться на конспиративной квартире от ищеек.

У двери — «Два негромких удара кулаком. После паузы еще один. Затем звонок. Анна Михайловна подходит к двери.

— Кто там?

— Константин Петрович, — отвечает голос, чуть картавя.

Анна Михайловна торопливо открывает дверь. На пороге Ильич.

— Славу богу, слава богу, входите».

Хозяйка не может оторвать влюбленного взгляда от «Константина Петровича», Василию дважды приходится добродушно (он разделяет чувство Анны Михайловны) напоминать о себе.

— Здравствуйте, Анна Михайловна!

— До свиданья, Анна Михайловна!

Артисты великолепно сыграли эту сцену. Недоговоренность в репликах передает значительность мыслей и волнение непосредственного чувства.

Постановка режиссера М. Ромма и сценарий А. Каплера производят особенно сильное впечатление, потому что в них соблюдено чувство меры, строг художественный такт, который везде удерживает от того, чтобы взять самую высокую ноту, все договорить и «украсить» до предела. Сдержанность, лаконичность, простота продиктованы не бедностью, а богатством реалистического ощущения жизни, богатством происходящего.

И дальше — образ Ленина также раскрывается не только через личное поведение Ильича, но и, главным образом, через отношения людей.

На следующий день состоялось свидание Ленина со Сталиным. Василий сторсжил у крыльца.

Охрану Ленина Василий несет спокойно, внимательно, а когда нужно, и решительно, находчиво, смело. Артист Н. Охлопков исполняет роль Василия мягко, без подчеркивания.

На советском Востоке можно услышать в последнее время обращение к другу:

— Будь мне, как Василий!

Охлопков ни разу не повышает голоса, не прибегает к резким жестам, не обнажает края своей сдержанности, волнения или силы. Остается ощущение, что этот человек необычайно силен физически и морально.

Впечатление это особенно усиливается после сцен на заводе, где Василий чувствует себя в своей стихии среди рабочих и во главе их, — естественный представитель массы. За ним всегда и во всем стоит класс, народ. Черты характера Василия приобретают широкий, обобщающий смысл. Эмоциональное (и моральное!) звучание этого мягкого, мужественного образа постепенно становится мощным и величественным.

Достигнуто это не только искусством талантливого артиста, но и режиссером и сценаристом. Очень трудно отделить их друг от друга, так единодушно они поняли общую цель.

Простодушие Василия кажущееся. Он прямодушен и глубок. Этот скромный, не слишком словоохотливый человек одарен чувством юмора и, конечно, очень наблюдателен. Не торопясь высказываться, он видит вокруг больше и оценивает все гораздо серьезнее, чем могло казаться с первого взгляда. Охлопков замечательно умеет давать подтекст роли.

Отношения Ленина и Василия порой вызывают улыбку. Каждый из них заботится о другом, как о ребенке, и оба по-своему правы. Но с Ильичом Василий всегда ученик. Ленин — всегда учитель, — без поучающего тона, без менторства.

«— Ну, рассказывайте, что сегодня в городе, что видели?»

— Да ничего... я только на заводе и был.

— Как ничего?.. «Ничего» не бывает никогда. Рассказывайте!

Василий мнется.

— Тогда давайте иначе, — говорит Ильич. — Вы сюда пешком или на трамвае?

— И так и эдак... Дождь был большой.

— Гм... дождь? А патрули? Их меньше в городе, чем вчера по хорошей погоде?

— Нет, больше, — удивленно отвечает Василий.

— А настроение сегодня какое?

— Владимир Ильич, ведь я один шел...

— Ведь вы шли по улицам, — уже сердясь, говорит Ильич...».

Очень хорошо передано в фильме это пристальное внимание Ленина ко всему происходящему вокруг и умение из всего сделать глубокие выводы, — даже из тех «случайных» и «неважных» вещей, мимо которых мы обычно проходим равнодушно. Передан поразительно конкретный интерес Ленина к мыслям, словам, настроениям каждого человека, умение в частном находить общее, в «случайном» закономерное — видеть и направлять сложную жизнь, как единый процесс, борьбу, непрерывное целеустремленное движение.

Это — драгоценные черты образа Владимира Ильича. В связь с ними хочется поставить слова товарища И. Сталина: «Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое, — в этом один из важных заветов Ильича». (Из письма, помещенного в «Рабочей газете» в первую годовщину смерти В. И. Ленина).

Сочетание великого и частного, умение Ленина охватить мыслью множество текущих явлений жизни и реагировать на них, все связывать, все осмысливать, одновременно принимать активное участие в огромных исторических событиях и в событиях чьей-нибудь личной жизни, очень живо показано в сценах ночью с 10 на 11 октября.

Идет заседание ЦК партии. Решается вопрос о вооруженном восстании.

Ленин «стоит, облитый ярким светом лампы, яростный, простой, великий. Огромный лоб, сверкающий взор, правая рука рассекает воздух. Слушают Дзержинский, Свердлов, Урицкий. Рядом с Ильичом мы видим Сталина. Молодое, смуглое лицо, вылепленное железной волей, вдохновенной силой революции, горит сейчас гневом и презрением». Ленин громит Троцкого, Каменева и Зиновьева, которые предлагают подождать с вооруженным выступлением.

«— Это полный идиотизм, или полная измена. Совершенно прав товарищ Сталин, говоря, что нам нельзя ждать, пока буржуазия задумает революцию».

Заседание окончилось под утро. Решение принято. Оживленный, как будто неустойчивый, Владимир Ильич шагает с Василием по городу. Светает. «Домой» — далеко. Итти по улицам становится все более опасно. Ленин боится заехать у Василия. В подвальной холодноватой комнате рабочего с приходом Ильича становится как-то по-особенному уютно и тепло. Ильич искренно разделяет с этими людьми их радости, умеет выслушать, пошутить, поделиться мыслями. И нет никакой неестественности в том, что, стараясь ничем не стеснять хозяев, он укладывается спать на полу.

Когда, наконец, он уже утомился и заснул, Василий и его жена долго сидят возле и смотрят на Владимира Ильича.

У Василия в глазах нежность и бесконечная, почти материнская любовь. Его жена начинает догадываться и спрашивает тихо:

— Он?

Василий отрицательно качает головой. Ленин и здесь законспирирован, — это «Константин Петрович». Женщина не сердится на мужа, но, видимо, чувствует, что догадка ее верна. Сон клонит голову Василия. Василий выходит и подставляет темя под ледяную струю воды. Возвращается и снова не смыкает глаз.

Этот, почти немой, интимный мо-

мент сыгран так содержательно, а образ Василия к этому времени стал таким обобщающим, что, несмотря на внешнюю «камерность» и статичность сцены, она захватывает и запоминается навсегда внутренней наполненностью, движением огромных чувств и мыслей, — как живо изваянный монументальный памятник.

Так может Василий смотреть только на вождя народа.

И только его могли так, как показано в фильме, беречь и любить вожди партии и рабочие.

Это его друзья и соратники великий Сталин и пламенный Дзержинский.

Это о нем спрашивают крестьяне из деревни и солдаты с фронта, рисуя его богатырем, огромного роста. А увидев Ленина, солдат особенно радуется тому, что Ильич такой простой, «обыкновенный»!

Все хотят знать, что он думает, что делает.

Это его письмо к членам партии (о предательстве Зиновьева и Каменева) читают с таким волнением и удовлетворением рабочие на заводах, солдаты в окопах. Их волю, их мысль выразил он, клеймя предателей.

Это о нем с дрожью говорят члены Временного правительства, эсеры и меньшевики. И его они пытаются схватить и убить, как самого страшного врага.

Как ни парадоксально, даже отвратительный субъект — шпик — со своей стороны тоже помогает освещению образа Ленина. С каким невольным уважением эта старая профессиональная ищейка говорит о Ленине с членами Временного правительства, которых явно невысоко ставит... С каким азартом он ищет, старается поймать Ленина в Питере. И как торжествует, напав на верный след и везя в машине юнкеров арестовать Владимира Ильича.

Это за Ленина с радостью отдает свою жизнь шофер Григорий, — он умчал шпика и юнкеров за город и там искалечил машинч.

«Юнкера набрасываются на Григория и скручивают ему руки.



Из фильма «Ленин в Октябре».
Заседание ЦК партии 10 октября 1917 г.

— Так нет же... Нет!.. — зальхаясь, хрипит Григорий и вдруг громко кричит:

— Да здравствует Ленин!»

И женщина, кондуктор трамвая, в маленьком эпизоде тоже освещает образ Ленина. В ночь восстания она в пустом вагоне случайно подвозит переодетого Ильича к Смольному. Ее беспокойный пассажир настойчиво интересуется, куда идет вагон. Она отвечает:

— В парк.

— А почему, ведь еще рано?

— «Куда», «почему», — ты, что, с луны свалился, — не знаешь, что мы идем сегодня буржуев бить?..

Этим веселым штрихом автор подчеркивает, как своевременно было принято ЦК, по предложению Ленина, решение о восстании и какой широкий отклик оно немедленно встретило в массах.

И, наконец, — лавина восстания. Ленин во главе своей партии — мозг восстания, его пророк и рулевой.

И это его с таким восторгом встречают в Смольном рабочие, матросы, солдаты.

Образ Владимира Ильича проступает, растет, движется через все показанные в фильме человеческие отношения.

Замечательно, что в фильме нет ни одного кадра, ни одного жеста, ни одной интонации, которая не участвовала бы так или иначе и всегда необходимо в развитии образа Ленина, человека и вождя.

Этот композиционный прием с такой последовательностью и разнообразием был применен в нашей кинематографии впервые. Но в целом ряде предыдущих советских фильмов он уже был найден и совершенствовался. Напомним «Чапаева» Г. и С. Васильевых и «Депутата Балтики» по сценарию Рахманова в постановке Хейфеца и Зархи.

Впрочем, образ положительного героя в советском искусстве вообще невозмо-

жен без той или иной связи героя с чувствами, мыслями, делами народа.

Только при смелом развитии лучших художественных традиций стало возможно реалистически показать в кино единство вождя и партии с рабочим классом, с революционным движением народа.

Вобрав в себя все остальные образы фильма, все человеческие отношения, гигантский образ Ленина конкретно включает в себе сложные связи и многообразие отношений между народом и вождем. Слитый с народом, этот образ выражает идею социалистической революции не только как ленинскую, но как идею рабочего класса и народа.

Но показано еще не все, что нужно.

Один из исполнителей роли Ленина, заслуженный артист М. Штраух, очень правильно подчеркнул: «Все крупнее становится образ положительного героя. Здесь есть преемственность, великая дружба тем. Без работы, которая была проведена другими, мы бы не пришли к такой огромной теме. Без удачи с «Чапаевым» не могла бы, мне кажется, даже возникнуть мысль об образе Ленина... Но это еще только эскиз образа. Преемственность продолжается».

В фильме «Ленин в Октябре» все же недостаточно видно, какого героического напряжения сил стоило совершить переворот в октябре 1917 года и какую гигантскую работу проделал при этом Ленин.

В фильме «Ленин в Октябре» искусство еще не глубоко овладело образом Ленина, как великого мыслителя, страстного борца с «мерзостью жизни» (по выражению Максима Горького), организатора победы в 1917 году.

Ленин еще не был показан, как строитель первого в мире социалистического государства, любимый идейный вождь народов во всем мире... Очень мало еще он был раскрыт и в личной жизни. Целиком не освещена в кино и вся жизнь Ильича до 1917 года и такой большой его труд, как создание марксистской партии.

Сделаны были только эскизы образа. И как много художественных открытий предстояло и еще предстоит впереди тем, кто продолжает этот прекрасный труд!

★

Первым исполнителем роли Ленина был народный артист СССР Б. В. Шукин, один из самых глубоких актеров нашего времени.

Перед тем, как начать сниматься, он долго готовился к роли. Изучал множество фотографий Владимира Ильича, киносъемки, пластинки с записью его речей, работы скульпторов и художников, перечитывал воспоминания о нем и его сочинения. Собирал в свою актерскую память все, что помогало понять и воплотить внутренний и внешний образ Владимира Ильича.

Когда в начале съемок фильма появились в газетах первые фотографии, трудно было поверить, что перед нами не сам Ильич, а актер, — так велико было портретное сходство.

Этот портрет должен был ожить!

Незадолго до этого, на мой вопрос, чем его привлекает кино, Борис Васильевич Шукин ответил:

— Возможностью очень тонкого рисунка, немислимого в театре. Театр груб, он не дает увеличения лица, звука; театр не дает такой близости, при которой человек рассматривается как бы в лупу. Для экрана надо работать психологически чрезвычайно точно, это — замечательная проверка школы Станиславского. Я в кино новичок, и работать там мне не легко.

Он не собирался создавать образ Ленина кабинетно, по одним музейным материалам. Он говорил мне:

— Образ в картине создается не только из того, что создает актер, но и из того, что его окружает. Это первое, чего часто еще не учитывают в кино. Сами же киноактеры, мне кажется, часто недооценивают, что создаваемые ими образы должны рождаться из образа картины в целом. Чем больше думаешь об идее будущей картины, тем ярче становится та жизнь, которая должна быть в твоём образе отражена.

Создавать материал (для образа) в тиши своей комнаты нельзя. Его можно черпать только из многообразной жизни. Вспомним Максима Горького. Он все взял от народа и вернул ему в своем творчестве. Надо собирать новые впечатления, в них надо вжиться, их надо понять и закрепить. Без острого наблюдения жизни нельзя создавать произведения искусства.

Мы уже видели из предыдущего, как мысли Щукина о развитии образа в зависимости от того, что его окружает, и от «образа картины в целом» совпали в этом фильме с намерениями драматурга и режиссера. Кстати говоря, никто из рецензентов, писавших о картине М. Ромма, насколько мы знаем, этого как следует не отметил. Б. Щукину было приписано много такого, что должно было быть отнесено и не к нему, или не только к нему.

Из дальнейшего нашего рассказа читатель увидит, как неожиданно активно вторглась жизнь в работу съемочного коллектива, — как множество людей помогало Щукину жить творчески в образе Ленина.

Сейчас нас интересует прежде всего основная психологическая линия, по которой пошел этот верный ученик школы К. Станиславского и своего воспитателя Е. Вахтангова, оживляя ленинский портрет.

Что Б. Щукин шел не от внешнего, а от внутреннего ощущения образа, показывает такое наблюдение режиссера М. Ромма: всякий раз, когда Щукин уставал от съемки, сходство постепенно слабело и блекло. Артиста просили: «Борис Васильевич, еще один последний кадр!». Щукин собирается с силами, возвращает себе внутреннее ощущение образа, и тогда медленно начинают проявляться на лице черты необычайного сходства, напоминая слова Горького: «на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его еще более гжучей и ясной. Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брыз-

жет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе». (Воспоминания о Ленине).

До этого Б. Щукин имел некоторый опыт в работе над образами, которые стали для артиста как бы подготовительными к роли Ленина. Это — образы людей, внимательных к жизни, страстно любящих жизнь, борьбу, творчество, зорко и умно, с пытливым интересом присматривающихся ко всему вокруг.

Лучшая роль Б. Щукина в театре — Егор Булычев. Вот как он сам о ней говорит:

— Образ человека большого ума и большой энергии, живущего «не на той улице», страстная воля к жизни и драматическое столкновение с окружающей действительностью, а не катастрофа физической смерти, вставляли постепенно передо мной... Моего Булычева больше всего интересует действительность. Он ее аналитически вскрывает, он хочет понять, что такое происходит вокруг.

Щукиным движет неустанный страстный интерес к жизни.

В кино Б. Щукин создал характеры большевиков: начальника летной школы Рогачева в фильме «Летчики» и ссыльного студента Михайлова в «Поколении победителей». Его Рогачев — это глубокий ум, моральная цельность и красота сильного характера, страстная целеустремленность советского патриота в труде, в отношении к людям. Его Михайлов — это образ такого же морально чуткого, прямого и страстного человека, поборника правды, ученика Ленина, пролетарского трибуна — лучшего представителя того поколения дореволюционной интеллигенции, которое делало социалистическую революцию еще из подполья.

В этих ролях артист шел от Ленина, и в них уже есть прообразы некоторых сторон характера Владимира Ильича. Можно сказать, что Щукина всегда интересовало в искусстве больше всего то, что выразил один сормовский рабочий на вопрос Максима Горького (еще в 1918 году) — «какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда.

Сказал он это, как хорошо продуманное, давно решенное», — пишет Горький (Воспоминания о Ленине).

Какое огромное содержание нужно вложить в понятие «человек», чтобы правдиво воплотить то, что кроется за этим: «как правда».

И образ Ленина явился для Б. Щукина вершиной его многолетних исканий.

Лучше всего артист передает неослабную пылкость Ленина, его всепоглощающее и в высшей степени конкретное внимание ко всему, что происходит в стране и с людьми вокруг. Его Ленин безошибочно слышит, как зреют и растут у человека мысли и как приближаются в народе великие события, изменяющие мир.

Слышит и радуется жизни. Любит жизнь.

Б. Щукин передает изумительную энергию, быстроту и напряженность внутренней жизни Ленина.

Да, таким и был Ильич: живым, страстным, язвительно насмешливым, сердечным, чутким, веселым и вместе с тем непреклонным, непримиримым к врагам революции. Да, в нем было много и этой, почти детской непосредственности, веселой лукавности, иронии, а любознательность его мгновенно переходила в острую, разящую мысль.

Артисту удался Ленин и в гневе — над статьей предателя Каменева в «Новой жизни». В фильме очень точно воспроизведен кусок сценария:

«Ильич разворачивает одну газету за другой, то и дело слышится характерное «гм... гм...» в бесконечной гамме оттенков — то это осторожность сомнения, то язвительная ирония, то тревога, то удовлетворенность. Вдруг Ильич застывает над газетным листом:

— Какая подлость!..

Ильич стоит, низко склонившись над столом. Еще раз пробегает глазами по строчкам. Потом выпрямляется.

— Какая безмерная подлость!.. Где же граница бесстыдству!..»

« — Вот полюбуйте, товарищ

Василий, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК!

Лицо Ильича изменилось внезапно, точно прошло много часов, может быть, годы.

— Бандиты!

Ярость обострила черты, сжала губы, потушила улыбку в глазах, зажгла их другим, грозным пламенем. Между бровями, на сократовском лбу — ярость прорезала глубокую складку.

— Товарищ Василий, не теряйте ни одной минуты. Бегите к Сталину и к Свердлову, скажите им, что мне нужно их видеть. Немедленно. Сейчас же. Идите.

Ильич резко отбрасывает газету, садиться писать...

«Письмо членам партии большевиков»

Он подчеркивает заголовок.

— Низкая, подлая измена... — гневно шепчет Ильич. Перо его бежит по бумаге».

Щукин играет эту сцену великолепно. Сидя в зрительном зале, невольно весь подбираешься. Как и в течение всей картины, артист аккумулирует в себе чувства советского гражданина. Сейчас в Ильиче, в его ярости, в его пере собралась воля всего народа.

Но сценарист мог сделать эту сцену еще более волнующей и значительной, — хотя, казалась бы, куда уж боле! — если бы он подготовил ее раньше: полнее и шире показав ту «активную ненависть к мерзости жизни», которая в Ленине так восхищала Максима Горького.

Можно и нужно показать еще ближе, еще подробнее и полнее, как думал Ленин. Кино обладает художественными средствами для того, чтобы, как в лупу, показать не только мельчайшую мимику лица человека гневною или веселого, но и человека думающего. А в соединении со словом — с живой речью — в звуковом кино можно почти обнажить процесс мышления. Это необходимо сделать для образа Ленина! Силу ленинского отношения к жизни нельзя передать, не раскрыв возможно



Из фильма «Великое зарево».

полнее Ленина, как философа, гениального мыслителя.

Ленинское мышление, детально и образно показанное, представляет величайший интерес и для художника, и для зрителя.

Хотелось, в частности, гораздо дольше слушать речь Ленина в заключительной сцене в зале Смольного, переполненной вооруженным народом.

Думается, что Щукин сумел бы передать то физическое ощущение неотразимой правды, которое вызывала речь Ленина у слушателей, незабываемое для всех, кто хоть раз его слышал.

★

Общение с образом Ленина обогатило советское киноискусство. Трудно даже учесть все разностороннее значение этого общения. Приведем некоторые примеры.

Эстеты и формалисты не могли бы

объяснить: почему в картине «Ленин в Октябре» даже эпизодические «третьи» и «четвертые» роли приобрели неожиданную реальность и значительность? Это казалось загадочным. Но загадка открывается просто. Раз мы видим в картине реального Ленина, то все люди вокруг него освещаются особым светом.

Они выросли и приобрели историческую конкретность.

Хозяйка конспиративной квартиры Анна Михайловна стала заочно нашей знакомой и навсегда завоевала уважение и благодарность. Такова сила образного взаимодействия искусства и жизни!

Шпик стал в наших глазах не только отпетым «профессионалом» на службе царской охранки (прямо по наследству он достался правительству Керенского) — этот шпик вырос до степени большого обобщения, до значения символа. Эта мерзость — мерзость опро-

кинутого прошлого, отвратительный злой враг, за которым мы видим когти старого мира. Ведь, он упорно покусается на свободу и жизнь Владимира Ильича!

(Кстати говоря, шпика превосходно играет артист И. Лагутин).

Даже слабые персонажи фильма — представители Временного правительства, эсеры и меньшевики — приобретают в наших глазах значительное историческое содержание, которого им в исполнении артистов нехватает. Мы дополняем их образы от себя. Мы видим за ними эпоху. Ведь с ними боролся Ленин!

И, может быть, самый замечательный пример... После фильма хочется узнать фамилию самоотверженного героя-шофера, того, кто умер, спасая Ленина от юнкеров, и назван в сценарии просто Григорием. Его поступок естественен. Фамилию Григория хочется по-товарищески запомнить. Узнать подробности о нем те, что не вошли в картину... Но, оказывается, его вовсе не было! Такова сила исторического фильма, правдивого в своей основе! Сколько людей поступили бы так же, как Григорий!

Образ Ленина, — выросший так реально из всех человеческих отношений в фильме, — возвращает сторицей жизнь и реальность этим отношениям и людям; каждому по-особенному! Из малого возникает в искусстве великое, а через великое, в свою очередь, становится значительным малое. Конечно, если они правдиво отражают то, что типично в действительности.

О последнем готовы бывают забыть некоторые авторы, — из тех, что пытаются писать о Ленине без большой любви и без знания. Не проникая в сущность его характера, его мысли и борьбы, они создают художочные и неверные схемы. Единственная надежда таких авторов, что их спасет политическое значение одного имени — Ленин. Но, видя, что искусство необычайно оплодотворяется, когда в него входят из жизни большие исторические явления и мощные характеры, нельзя забывать золотые слова Ромэн Роллана:

«Всякий метод стоит ровно столько, сколько тот, кто его применяет». Отражение жизни в искусстве требует глубокого понимания и жизни, и искусства и величайшей добросовестности к ним. Меняется жизнь. Когда с нею входят в искусство такие гигантские человеческие образы, как образ Ленина, — это требует от искусства высокого чувства правды и новой огромной художественной силы.

Жизнь, идя вслед за образом Ленина, ворвалась в труд коллектива, работавшего над фильмом «Ленин в Октябре»...

Студент одного московского втуза принес коллекцию фотографий Владимира Ильича. Он собирал ее в течение десяти лет и отдал с радостью и безвозмездно несколько тысяч снимков, — среди них были редчайшие фотографии. Они помогли в отыскании деталей грима, костюма, жеста, даже походки.

Рабочие, колхозники, красногвардейцы, студенты, командиры Красной Армии присылали режиссеру множество писем с воспоминаниями.

Был такой случай. В проливной холодной дождь, когда для любой другой картины условия с'емки были бы признаны совершенно непригодными, режиссер вышел на с'емку с Б. Щукиным, и у собранных на «массовку» людей вопрос об отмене с'емки даже не возник. Режиссер Мих. Ромм рассказывает: «Люди по собственной инициативе организовали массовые пляски, пение, ободряли друг друга и, мокрые до нитки, в грязи, провели с'емку великолепно».

Он рассказывает дальше о том, как шла с'емка штурма Зимнего. «Холодно так, что моторы не тянули и масло застывало в аппаратах»... Матросы — в тельняшках на голое тело и в бушлатах, красногвардейцы — в пальто и кожанках. «Как замерзали люди, мы видели только до с'емки и в перерывах. Как только раздавался сигнал начала с'емки, люди начинали работать буквально героически, не обращая никакого внимания на холод, поддерживая дисциплину друг в друге, да и в нас самих. Так как условия с'емки были чрезвычайно опасны — скользко,

масса народу, стрельба, примкнутые штыки, быстрые движения, — в самом штурме Зимнего дворца принимала участие только молодежь. Старики — участники массовки — главным образом поддерживали огонь в кострах, и им было категорически воспрещено участвовать в батальных сценах. Но каждый раз по окончании с'емки кадров штурма мы обнаруживали несколько стариков, ворвавшихся в Зимний. Сначала их уговаривали. Потом им пригрозили удалением со с'емки. Тогда они обратились со специальной петицией к моему сорежиссеру Д. Васильеву, в которой заявили, что они не могут оставаться безучастными свидетелями штурма»...

Однажды, — через два часа после того, как состоялось решение о с'емке, — в студии была собрана массовка в несколько сот человек, которые снимались всю холодную, туманную ночь. Они пришли, только-что услышав в фойе московских кинотеатров, от сотрудников М. Ромма, что могут в эту ночь понадобиться для фильма «Ленин в Октябре». Многие из них работали бесплатно.

Ощущение как бы присутствия Ленина на с'емках или чувство, что это делается для Ленина, мобилизовало вокруг работы над фильмом внимание, поддержку, участие всей страны. Изменилась и вся обстановка в студии. Ее огромные «павильоны», ее цеха, всех людей, от дирекции до плотников и ночных сторожей, охватило невиданное настроение бодрости, энтузиазма в работе, какой-то особый, напряженный и легкий, четкий и радостный ритм.

Что же было во время с'емки оваций Ленину в Смольном? Никакие крики «стоп, довольно!» не действовали. Вокруг Б. Щукина в коридоре и на трибуне бушевала такая любовь, что опытный оператор Б. Волчек не успевал снять то, что происходило. Он после сознавался, что минутами чувствовал себя просто беспомощным.

Как это согревало и наполняло жизнь Щукина! и Ромма! и отличную работу Волчека! Вот откуда советский художник может черпать вдохновение...

Много фактов, подобных вышеприведенным, было на с'емках и всех других картин, в которых показаны Ленин и Сталин.

Что это значит?.. Конечно, такое проявление силы советского патриотизма воодушевляет и воспитывает! Воспитывает художников прежде всего как граждан. «На этой картине мы поняли, что нет такого задания, которое нельзя было бы выполнить в Советской стране тогда, когда это задание исходит от нашей великой партии и нужно нашей родине» — говорит Михаил Ромм.

Но это значит также, что происходит великий переворот и в самом искусстве. Меняется стиль искусства!

Вдуматься хотя бы в одну характерную черту. Художник буржуазного кино, если он не возвышается над средой, живет в очень небольшом кругу интересов. Семья, родные, продажа своего труда, свой «слой» в обществе и, с точки зрения интересов этого слоя взгляд на политику, государство, борьбу партий, на сентиментальный или деловой смысл слова «родина» и на мировые «сенсации», в которых война в Испании, приключения Аль Капоне и любовные приключения «кинозвезд» занимают едва ли не равные по возбуждаемому любопытству места. В лучшем случае жизнь украшается самоотверженным служением искусству, — но как мало оно украшается и воспитывается жизнью. Узкая жизнь!

А рядовой художник у нас? Возьмем самого рядового киноактера. Он постоянно чувствует: он живет и работает в рядах прогрессивного человечества, в условиях великой борьбы, развернувшейся на всем земном шаре. Два с лишним десятилетия эпохи Ленина и Сталина воспитали в нем, в любом скромном актере, это чувство исторической перспективы, чувство, что он гражданин великой страны и всего мира. Незаметно для самого актера это наполняет особым содержанием и его семью, любовь и труд и, конечно, то, как он их и изображает на экране! Могут быть те же общечеловеческие драмы, радости, черты характера, но вот освещение их совершенно другое! Появляется

большое дыхание. Появляется чувство большой жизни. Оно широко вылилось на с'емках фильмов о Ленине и Сталине. Но ведь в сущности оно, — пусть в меньших масштабах и в иных формах, — пронизывает работу людей в нашем кино на каждом шагу. От этого чувства растут люди. А новым людям оно уже нередко бывает органически присуще. В искусстве нужно найти конкретное выражение этой новой — народной! — психологии.

И вот постепенно это находится. Изменилось «внутреннее выражение», психологическое освещение нашего искусства. Стиль социалистического реализма непременно включает в себя это реальное «чувство мира» и веру в социальный прогресс, — вместе с советским патриотизмом.

Этим — прежде всего этим! — «Чапаев», «Депутат Балтики», «Мы из Кронштадта», «Александр Невский», «Профессор Мамлок» и десятки других наших картин отличаются от буржуазных.

Не могло быть иначе: с'емки картины «Ленин в Октябре» явились ярким выражением большой жизни народа со своими любимыми вождями.

А если есть в наших картинах и в образе Ленина художественное выражение этой большой жизни (и, стало быть, элементы нового реализма) — это только естественная дань искусства самому Ленину.

★

Конечно, ни в одном, ни в двух-трех фильмах нельзя охватить все дело жизни Владимира Ильича и все величие его характера. Это дело многих произведений. Один автор будет дополнять другого. И человечество еще не раз вернется к этому образу — он светит через границы стран и через века.

Нельзя заранее возражать и против попыток тех авторов, которые вводят образ Ленина в свои фильмы эпизодически, фрагментарно, наряду с другими центральными действующими лицами и даже как-то пообок от них. Все дело в той связи, в которой взаимодействуют образы.

И, на наш взгляд, эта связь недостаточно конкретна, например, в эпизоде посещения Лениным и Сталиным квартиры Светланы в картине «Великое зарево» — режиссера М. Чиаурели, по сценарию М. Чиаурели и Г. Цагарели. Светлана и Георгий любят друг друга. Раненый во время июльской демонстрации (дело происходит в Петрограде), Георгий скрывается на квартире Светланы. Отношения молодых людей становятся все более близкими. Но мать Светланы возражает против этого брака, потому что жених грузин.

Ленин и Сталин приходят домой к Светлане. Ильича представляют матери как врача. Он ведет с ней комическую беседу, а уходя, оставляет «рецепт»: Светлане выйти замуж за Георгия, бабушке няньчить внуков.

В этой сцене много теплоты и юмора. Она говорит об умении Ленина и Сталина найти время для участия в личной жизни людей, которыми они дорожат. Артист Тбилисского драматического театра имени Грибоедова Конст. Мюфке проводит роль Ленина — мнимого врача — очень живо и естественно, не впадая в шарж. Сцена сама по себе может не вызвать возражений, но действительно полно прозвучала бы она только в таком контексте, в такой драматической связи, где бы была подготовлена и необходима. Для этого нужны более конкретные отношения между Георгием, Светланой, Сталиным и Лениным. А так как эти отношения очерчены здесь слишком общо, то сцена выглядит случайной, надуманной авторами, как самостоятельный эпизод на тему, заслуживающую гораздо более глубокого реалистического раскрытия.

Вызывает сомнения и трактовка внешнего образа Ленина в этой картине. Роль в исполнении К. Мюфке выглядит как серия очень метко схваченных моментов портретного сходства, но между этими отдельными «фотографиями» артист движется слишком суетливо, и порой движения его не по-ленински резки.

Но очень хорошо К. Мюфке передает минуту глубокого и напряженного размышления Владимира Ильича, когда он, сидя у шалаша близ станции



Из фильма «Человек с ружьем».

«Разлив», начинает писать письмо товарищу Сталину. Прекрасно передана в глазах и во всем лице сосредоточенность. В эту минуту — он действительно мыслит!.. От этих кадров не хочется оторваться, и жалеешь, что таких мало.

Рядом с образом Ленина в наших фильмах естественно вырастает великий и прекрасный образ его ученика и друга товарища Сталина. То, что было сделано на этом пути, — это еще немного, но намечает основную черту образа: огромную сосредоточенность воли и мысли. Чем труднее и опаснее положение, тем сильнее, мудрее, гениальнее становится Сталин.

Таков он в «Великом зареве», где показан пока всего полнее. Близкий народу. Одаренный глубоким народным юмором.

Особенно хороша сцена на VI съезде партии, когда Сталин, разбивая троцкистов, твердо ведет партию к вооружен-

ному восстанию против буржуазии и ее Временного правительства.

Таков же он, — замечательный военный стратег, организатор побед в гражданской войне в новом сценарии «Ленин», о котором мы рассказываем ниже.

Артист М. Геловани в «Великом зареве» сделал уже много, чтобы передать портретное сходство, выдержку, внутреннюю силу, прозорливое спокойствие товарища Сталина. Но чувствуется еще некоторая скованность артиста, ему не хватает мягкости исполнения.

Создать полный и правдивый художественный образ этого мудрого, мужественного гения новой эпохи — это еще целиком предстоящая задача советского искусства.

В «Великом зареве» заключено очень много чувств, мыслей, событий, мгновенных образов, о которых рассказано не всегда плавно и последовательно. Интересна грузинская часть, линия Ге-

оргия и его брата (Георгия с хорошей простотой, выразительно и содержательно играет артист Багашвили).

В отдельных сценах М. Чиаурели, режиссер чрезвычайно одаренный, достигает подлинной народности и сильного своеобразного художественного языка.

★

Фильм режиссера С. Юткевича «Человек с ружьем», по сценарию Н. Погодина, показывает Ленина шире, чем одноименная пьеса того же драматурга. Но не в разнообразии эпизодов, а в их содержании, в их значительности нашли авторы свой путь. Их образ Ленина, не повторяясь, свежо раскрывает личные особенности человека и вождя.

Вот сцена встречи Шадрина с Лениным.

Солдат-окопник Шадрин, идя с чайником по коридору Смольного, заглядывает в одну дверь, в другую.

Постоял немного, бережно закрыл дверь, сказал понимающе:

— Оперируют!

И пошел по коридору дальше. На встречу Ленину. Шадрин не знает его в лицо.

— Уважаемый, где бы мне чайку... тут...

Ленин, занятый своими мыслями, остановился. Шадрин смутился, тихо сказал:

— Извините, уважаемый, мы изда-лека...

Ленин остановил взгляд на чайнике Шадрина, вдруг улыбнулся и легко, почти незаметно, подмигнул Шадрину:

— Соскучились по чаю?

Шадрин сразу освоился:

— Ох, и не говорите, уважаемый.

— Ну, пойдете... Укажу. — И они пошли рядом. Ленин спросил на-ходу, серьезно заинтересованный:

— Вы, товарищ, давно воюете?

Шадрин вздохнул:

— Третий год без выхода.

И между ними началась беседа. Ленин задает вопросы солдату о его жене, о земле, о лошади, о корове, о детях, о немцах. Вождь и крестьянин-бедняк вместе обдумывают, можно ли

бросать винтовку, и решают, что нельзя. Вместе задумываются, что делать перед лицом новой разгорающейся — гражданской — войны.

Шадрин значительно говорит:

— За што и как воевать! За Дарданеллы воевать не будем.

— За Дарданеллы воевать мы не будем! А если генералы захотят посадить капиталистов и помещиков?.. То... как вы думаете?

Замечательно показано, что Ленину действительно нужно слышать ответы солдата, что Ленин не просто разговаривает, а глубоко думает, решает для себя важные вопросы. Шадрин естественно вовлечен в ход мыслей вождя и думает при этом сам, — до всего доходит легко и ясно, собственным путем. Ленин так спрашивает, так смотрит Шадрину в лицо, что это не просто беседа, а какое-то важное государственное совещание. Шадрин вырос, его наивность и простоватость пропадают. Он веско и твердо формулирует свое решение:

— Тогда пойдем воевать.

— Воевать надо сегодня, сейчас.

— Тогда пойдем воевать сейчас.

Расставшись с Лениным. Шадрин провожает его взглядом. Улыбнулся:

— Вот ведь люди какие бывают?! А?

И только затем узнает, что это был Ленин. Тогда Шадрина охватывает восторг, и этот простой окопный солдат чувствует в себе пробужденную неодолимую силу. Замечательно, что Шадрин беседует с Лениным без всякого предвзятого отношения и открывает для себя Владимира Ильича со всей свежестью и силой непосредственного познания.

Артист М. Штраух в роли Ленина и Б. Тенин в роли Шадрина проводят эту сцену так вдумчиво, что и каждый зритель вместе с ним заново открывает для себя Ленина.

Для исполнения М. Штрауха характерна легкость, приподнятость, воодушевление, за которым чувствуется большой и сложный подтекст мысли Ильича, его энергия и огромный эмоциональный напор. Поэтому, кстати говоря, начинаешь меньше обращать вни-

мания на чуть-чуть преувеличенную, на наш взгляд, картавость речи.

Так же сверкают мыслью и согревы чувством — передана ленинская цельность характера! — слова Владимира Ильича в других сценах: о суровой непримиримости к изменникам и предателям; о равенстве народов в Советской стране (разговор со Сталиным по телефону); с путиловскими рабочими — о броневиках, об учете топлива и металла, о меньшевиках, о ненужной робости перед былым начальством (сцена за картошкой, варенной в мундире. Ильич много шутит, смеется, переходит в разговоре от одной темы к другой. Его реплики всегда значительны, хотя и чрезвычайно сжаты. Они возникают по самым разным поводам, порой мимоходом, но всегда направляют, организуют, указывают на самое существенное в том, что происходит в стране и рядом, тут на заводе, или в душе человека.

Напористость и глубина его ума, сила логики и трудоспособность, любовь к жизни и энергия восхищают, как восхищали и покоряли они в живом Ильиче. Все это дано в картине легко, весело, но порой как бы эскизно, мельком — из этих эскизов может и должен вырасти в будущем великий чудесный образ.

Лучше всего М. Штрауху удалась заключительная речь Владимира Ильича во дворе Путиловского завода: ленинская страсть, ясность мысли, глубокое единодушие вождя с рабочей массой. Он пробуждает и руководит, он направляет мысль и действия массы все вперед и вперед и организует это движение. Это передано артистом без малейшей позы, с большой внутренней сосредоточенностью, так же легко и живо.

К сожалению, эта живость не везде сопутствует фильму, — многие его куски, в которых не участвует Ленин, сделаны как-то слишком рационалистически, фрагментарно, головно и потому холодновато. Но и здесь, как и в «Великом зареве» и в фильме «Ленин в Октябре», образ Владимира Ильича согревает и освещает зрителю все вокруг.

Образ всюду несет с собой страстное утверждение борьбы за новую жизнь.

Замечательно, что каждым своим словом, всем направленным стремительным движением чувств и мыслей оживающий на экране Ленин не меньше, чем истории, принадлежит нам, — нашему сегодня и завтра.

Это — человек социалистического и коммунистического общества.

Никогда не стареют слова Сталина: «Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя. Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних, — по Ильичу. Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру — по Ильичу».

Искусство кино сильно тем, что оно в конкретно-чувственной, зримой, наглядной форме показывает, что это значит. Начав с эскизов, наше кино идет, не останавливаясь, к яркому и полному раскрытию Лени и н а-к о м м у н и с т а.

★

Новый сценарий «Ленин» драматургов А. Каплера и Т. Златогоровой (фильм ставит по нему Мих. Ромм) продолжает историческое повествование дальше, после периода, освещенного в картинах «Ленин в Октябре», «Великое зарево» и «Человек с ружьем». Задача авторов была теперь не менее, если не более, сложна. Надо было показать Ленина во главе первого в мире социалистического государства, в обстановке гигантской жестокой борьбы со всеми силами контрреволюции, объединившимися на военных фронтах и в советском тылу.

Много раз в кино показывалась рабочая обстановка революционных штабов. И кабинет Ленина в Совнаркоме, в московском Кремле, ничем, по существу, не отличается от штаба. Только руководство борьбой здесь еще напряженнее, сложнее, резче. Это в сценарии передано очень ярко. Но главное, чего мы еще никогда не видели в кино так ясно, это глубоко раскрытый смысл работы советского правительства — его

социалистический боевой гуманизм.

Вот разгневанный Ильич распекает человека за дурацкий либерализм к саботажникам:

«— Усвойте: никакие революционные заслуги в прошлом, никакой партийный стаж, никакая седая борода не будут нами приниматься во внимание, — категорически! — когда идет компрометация советской власти».

И снова находит полное подтверждение своей правоты в голосе масс, в голосе народа, через старого рабочего Коробова.

«— Как вы смотрите: как нам поступать с врагами?»

— То-есть — как?.. Простите, не понимаю, — тревожно говорит Коробов, очевидно, действительно не понимая, почему его спрашивает об этом Ильич. — Врагов надо бить. Так, кажется?

— Но как бить? Словом, убеждением или силой?

— Виноват, какое же может быть убеждение?! — растерянно говорит Коробов, оглядываясь на Горького и как бы ища у него поддержки. — Ты ему слово, а он тебя за горло клыками. Этак всю революцию прохлопаем.

— Ну, да. — Ленин отворачивается, скрывая лукавое сверкание глаз. — А могут ведь и так сказать, что наша социалистическая революция обязана быть самой гуманной, человечной и что человечность эта должна в том заключаться, чтобы ни на кого не поднимать руку?

— На эсеров? На саботажников? На кулаков?.. Не поднимать руку??! Поднять, да так по голове треснуть... душа из них вон! Так, кажется?

— Видите ли, — упорно продолжает Ленин, — говорят, что наряду с необходимой жестокостью мы иногда проявляем жестокость лишнюю. Ведь вот что говорят.

— Владимир Ильич! — всерьез рассердившись, вспыхивает Коробов. — Да что это с вами сегодня? Вы что, нарочно, что ли?.. Это у кого лишняя жестокость? У нас? Да вы посмотрите, что кругом делается? Ведь под нами

земля горит!.. Сотни лет рекой лилась рабочая кровь! А теперь пожалеть какое-нибудь... какую-нибудь дрянь, чтобы все назад повернулось?.. Да еще когда нас душат со всех сторон!.. Да что далеко ходить — вот товарищ Горький, его спросите. Он это хорошо понимает. Он вдоволь хлебнул прежней горькой жизни. Спросите-ка его».

Горький кашляет, покусывая ус. А Ильич, не выдержав, начинает смеяться. Дело в том, что Горький только-что просил за одного ученого, которого считал аполитичным, «человеком науки, и только», и Ильич наедине говорил Алексею Максимовичу:

«Дорогой мой Горький, необыкновенный, большой человек! Вы опутаны цепями жалости... Отбросьте ее прочь! Она отравляет горечью ваше сердце, она застилает слезами ваши глаза, и они начинают хуже различать правду! Прочь эту жалость!».

И Горький, и Коробов в беседе с Ильичом понимают, что он прав, говоря: «Жестокость нашей жизни, вынужденная условиями жестокость, будет понята и оправдана. Все будет понято, все!».

Здесь — в сердце советской страны — думают не о себе, а о настоящем и будущем народа, о социалистическом обществе, о коммунизме, об освобождении всего человечества. И во имя лучших идей прогрессивного человечества, — во имя идей, становящихся реальностью! — идут на необходимые жертвы, иногда на вынужденную жестокость и стдают все свои силы и жизнь. В этом — смысл всего, что происходит в Кремле, смысл советского правительства, раскрытый авторами сценария.

Горький говорит Ленину:

«— Я, Владимир Ильич, не встречал другого человека, который с такой силой любил бы людей, как вы, который так ненавидел бы горе и страдания человечества и презирал бы мерзости нашей жизни...».

Здесь, в такой же правдивой исторической сцене, узнав, что у девочки, которая забрела к нему в кабинет и рисует что-то на его бумагах, умерла от голода мать, Ленин поднимает сироту



Из фильма «Человек с ружьем».

высоко на руках. Долго смотрит ей в глаза. Поставив ее, звонит по телефону:

... Надежде Константиновне; — чтобы взять девочку в семью кого-нибудь из товарищей.

... Дзержинскому о том, чтобы расстреливать каждого спекулянта хлебом, как организатора голода.

... снова ему же, чтобы ВЧК взяла на себя заботу о детях и немедленно все силы бросила на спасение детей.

Одновременно с жизнью в Совнаркоме, где учащенно бьется великое, страстное сердце Ленина, — бесконечное сердце! — показана иная жизнь, готовящая смерть, убийства, возврат старой мерзости, рабства и горя...

Глава английской миссии в Москве Локкарт организует заговор. Убийцы пытаются проникнуть в Кремль. За их спиной тянулся к власти, вместе с иностранными империалистами, внутренние враги, контрреволюционеры, гнусные от-

ребья человеческого рода, частью пробравшиеся даже в партию. Они прокляты нашим народом, пригвождены судом истории, раздавлены, но тогда маска со многих из них еще не была сорвана. Показан отвратительный Бухарин, за ним мы сами видим и других иуд. Тут и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, и Пятаков.

Заговорщиками убит Урицкий.

Эсерка Каплан выстрелила в Ленина.

С большой силой авторы сценария рисуют ненависть рабочих, ненависть народа к убийцам и предателям.

Во дворе завода «Михельсон» «какой-то рабочий, с лицом, мокрым от слез, взобравшись на ящик, кричал сквозь гневный рев толпы, высоко подняв сжатую в кулак руку:

— «За каждую каплю крови Ильича! За каждую каплю! Они нам ответят... Так будем мстить! Так ненавидеть! Так громить, что весь их проклятый мир убийц содрогнется от

нашего рабочего ответа! К оружию, товарищи!.. Красный террор!..»

«...Тихо диктует Я. Свердлов:

— На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции... Победа над буржуазией — лучшая гарантия безопасности вождей рабочего класса. Теснее ряды!».

Но все туже стягивается кольцо фронтов.

Пала Чита.

Петровск взят англичанами.

Эти вести не сообщают больному Ильичу, чтобы не отягощать его состояния. Пуля повредила легкое и застряла. Кровоизлияние. Положение раненого тяжелое. Вся Советская страна с замиранием сердца склонилась вместе с докторами над постелью любимого человека и вождя.

Самые интимные, лирические сцены в этом сценарии огромны по содержанию, монументальны.

Сцены вокруг постели, на которой Ильич борется со смертью, — это народная трагедия.

Мы опускаем целый ряд эпизодов, хотя в этом сценарии опять каждая сцена и каждый человек связаны с образом Ленина, освещают его и освещаются им.

Ленину хуже. Василий — рабочий самоотверженный большевик, кого мы уже знаем по фильму «Ленин в Октябре», — спрашивает:

«— Профессор... Товарищи доктора... Ну что... что еще можно сделать?.. Может, осталось еще что-нибудь, что можно сделать...».

«— Пусть ему сообщат что-нибудь, что считается у вас хорошим известием...».

Лгать ему нельзя. Он все равно не поверит.

На фронте у Царицына Сталин и Ворошилов склонились над картами. Фронт под угрозой.

Военспецы предлагают отступить. Получен приказ Троцкого, означающий на деле расформирование фронта и сдачу Царицына.

От Свердлова приходит телеграмма о том, что состояние здоровья Ильича очень тяжелое, началось кровохарканье.

На приказ Троцкого ложится резолюция: «Не принимать во внимание. Нарком Сталин. Командующий фронтом Ворошилов».

Не принимать во внимание! Сталин решает перейти в наступление. Красноармейцы, во главе со Сталиным и Ворошиловым, лавиной двинулись вперед на белую армию.

К постели Ильича вскоре летит телеграмма, ее читает раненому Василию:

«Наступление советских войск Царицынском районе увенчалось успехом. Противник разбит на голову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Горячий привет товарищу Ленину. Наступление продолжается. Нарком Сталин».

«Василий еще раз читает телеграмму. В усталых глазах Ильича появляется улыбка.

— Передайте ему...

Ильич говорит тихо, с трудом, ему, видимо, много хочется сказать, но произносит он только одно слово:

— Спасибо...».

Вся страна слушает три раза в день сообщения о выздоровлении Ленина. К ней возвращается радость. Она побеждает, уже не останавливаясь. Ураганным натиском советских войск была взята Казань. Взят Грозный. Взят Уральск. Из Вольска, из Симбирска, из Хвалынска, из Чистополя, из Буинска бежали белые.

Сталин приезжает в Москву. С большой сердечной теплотой описана встреча Ленина со Сталиным.

Смысл эпохи, смысл борьбы Ленинско-Сталинского ЦК партии снова просто и глубоко раскрывается в беседе Ленина и Сталина о сироте девочке.

«Сталин нежно кладет свою руку на белобрысую головку.

— Вот ради кого, — говорит он, — мы должны быть беспощадны к врагам. (Помолчав). Она будет жить уже не так, как мы... Лучше, чем мы...».

Пауза. Ленин тихо говорит, сжимая ноющую раненую руку. Задумчиво блистают ясные его глаза.

— Да... Они будут жить лучше, чем мы... И все-таки я не завидую им... Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значимости»...

Мы передали здесь только основную линию сценария, — по ней очень правдиво, с хорошим знанием людей развивается захватывающее действие. Моментами оно достигает трагической силы. Сценарий написан с тонким мастерством и с подлинной любовью к Ильичу, — любовью, рождающей большие произведения искусства.

Этот сценарий ярко рассказывает,

как завоевывалось наше счастье. Он глубоко, по-советски, патриотичен.

Характерная черта сценария — воинствующий гуманизм, любовь к жизни и радость ее созидания, радость борьбы за счастье человека и человечества. В основе этого лежит правильное понимание образа гениального Ленина, роли Ленина в истории страны Советов и всего мира, как величайшего гуманиста и коммунистического деятеля.

Читая сценарий, чувствуешь огромное моральное обаяние Ленина — политика и человека.

Всем своим существом образ Ленина обращен к нашей действительности, — к нашей жизни и борьбе.

Мирза Фатали Ахундов

АЗИЗ НИАЛЛО

★

В истории азербайджанской литературы Мирза Фатали Ахундов занимает особое место. На далекой окраине Российской империи, где царизм намеренно культивировал средневековую отсталость, в мрачную эпоху правления Николая I раздался смелый и правдивый голос великого художника-реалиста.

Мирза Фатали Ахундов выполнил своеобразную историческую роль. Он был просветителем своего народа. В живых сатирических комедиях он высмеивал феодальные пережитки, звал народ к просвещению, пытался создать для него на русско-латинской основе новый алфавит взамен трудночитаемого и непонятного арабского. Всесторонне образованный философ-материалист, он выступал на косном Востоке, как атеист и борец против религиозного фанатизма, старался перенести на родную почву идеи передовых мыслителей Запада. Он познакомил Россию и Европу с живым, подлинным — без экзотики — Востоком того времени. Пьесы Ахундова, очевидно, в его собственных переводах, сразу же издавались на русском языке, а вскоре после смерти автора были переведены на французский, английский, немецкий и норвежский языки.

В своей творческой деятельности он смело рвал традиции иранской псевдоклассики, сковывавшие развитие литературы.

Еще при жизни Ахундова в Тегеране вышло литографированное издание трех из его комедий в переводе Мамед

Джафара Карадаги. Они пользовались большой популярностью среди питомцев основанного в 1852 году первого европеизированного учебного заведения в Иране — «Дар-ал-Фунун» («Дом наук»), вырастившего ряд иранских писателей.

Несомненно влияние Ахундова и на турецких литераторов. Легко проследить это влияние на творчестве Шинаси (комедия «Как женится поэт») и на творчестве Мехмед Намык Кемальбея (драма «Бедное дитя»).

Жизненный и творческий путь Мирза Фатали Ахундова был сложен и нелегок. Он родился в 1812 году в Нухе, в семье бежавшего из Ирана сельского старшины Мирза Магомет Таги. Когда ребенку исполнилось два года, Мирза Магомет Таги вернулся в родное селение Хамне, где оставались его первая жена и дети. Мать Мирза Фатали, Ненеханум, не смогла смириться с подневольным положением младшей жены и, добившись развода, уехала вместе с шестилетним сыном обратно в Нуху, к своему дяде Гаджи Алескеру. Гаджи Алескер был муллой, знатоком корана и мусульманского богословия. Передавая свои познания Мирза Фатали Ахундову, он думал воспитать из приемного сына нового муллу. Собравшись на паломничество к мусульманским святыням в Мекку, старик отвез Мирза Фатали в Ганджу для обучения тонкостям мусульманской схоластики. В медресе у Ахундова произошла знамена-



Мирза Фатали Ахундов

тельная встреча с азербайджанским поэтом Мирза Шафи.

В автобиографии Ахундова мы читаем:

«— Мирза Фатали, — спросил однажды Мирза Шафи, — изучая науки, какую ты преследуешь цель?»

Я ответил ему, что готовлюсь к духовному званию.

Он сказал мне:

— Значит, и ты хочешь быть мошенником и шарлатаном?

Это меня поразило и удивило: что это значит?

— Мирза Фатали, — сказал Мирза Шафи, посмотрев на меня, — свою

жизнь не проводи среди этих отвратительных людей. Пожалей себя и выбери другую профессию.

Мирза Шафи сумел мне внушить интерес к познанию и снял пелену с очей моих, мешавшую видеть и ощущать мир».

Проучившись год в так называемой русско-туземной школе, Мирза Фатали в 1834 г. переехал в Тифлис и поступил в канцелярию заместника Кавказа на должность помощника переводчика восточных языков.

В Тифлисе среди знакомых Ахундова были писатель-декабрист Бестужев-Марлинский, известные востоковеды

Адольф Берже, Мирза, Априам, А. К. Бакиханов, а позднее писатель В. А. Соллогуб. Общение с ними расширило кругозор Ахундова. Он жадно знакомился с русской литературой и считал Пушкина «главой собора поэтов». Когда известие о гибели Пушкина дошло до Кавказа, Мирза Фатали откликнулся на это трагическое событие «Восточной поэмой на смерть Пушкина», написанной им под псевдонимом Сабухи, на иранском языке.

Воспевая значение Ломоносова, Державина и Карамзина в развитии русской литературы, Ахундов восклицает, что такого гения, как Пушкин, земные стихии доселе не рождали, но темные силы убили его, и вся Россия скорбит о поэте.

Летом 1837 г. «Восточная поэма» была переведена Марлинским и в том же году появилась в журнале «Московский наблюдатель».

После блестящего литературного дебюта Мирза Фатали Ахундов замолк на долгие годы и только в 1850 г. написал три комедии: «Молла Ибрагим-Халил, алхимик, обладатель философского камня», «Мусье Жордан, ботаник, и дервиш Мастали-Шах, знаменитый колдун» и «Визирь Серабского (ленкоранского) ханства».

Пьесы имели большой успех. Они были переведены (повидимому, самим Ахундовым) на русский язык и опубликовались в газете «Кавказ». В 1853 г. комедия «Мусье Жордан» была поставлена на частной сцене в Петербурге. Затем пьесы были переведены на грузинский и армянский языки и встретили восторженные отзывы читателей. Зато духовенство увидело опасного врага в лице талантливого писателя, в едкой сатире «Молла Ибрагим» разоблачившего купца, помещика и знахаря, а также шарлатана-муллу со всеми его религиозно-мистическими плутнями.

Вторая комедия—«Мусье Жордан» — написана в тонах легкого, насмешливого юмора. Французский ботаник Жордан, изучающий природу Азербайджана, уговорил молодого способного человека,

Шахбаз-бека, поехать с ним в Париж, с тем чтобы приобрести полезные знания. Невеста Шахбаза в отчаянии — она из рассказов о Париже усвоила только одно: там женщины ходят без чадры, и они будут соблазнять ее любимого жениха. Родители невесты отговаривают Шахбаза от поездки; мать решает позвать на помощь дервиша. Он выведен совершенно иначе, чем дервиш из первой пьесы. Это добродушный, веселый жулик. Ни во что он, понятно, не верит, но тут же, не задумавшись, обещает разрушить Париж, чтобы расстроить поездку Шахбаза. На предостережение своего помощника дервиш, улыбаясь, говорит: «Чего ты не понимаешь? Сия достопочтенная ханум даст мне за это дело сто новеньких червонцев. В моем распоряжении целых десять дней, пока чары проявят свое действие. Получив червонцы, я за это время окажусь по ту сторону Аракса... А потом будь, что будет! Если же Париж окажется в развалинах ранее этого срока, то червонцы останутся при мне без всякого спора. Почему знать: может быть, как-раз в эти дни Париж благодаря какому-нибудь неожиданному стечению обстоятельств подвергнется разрушению? Разве мало случается необыкновенных происшествий?».

И такое происшествие случилось. Жордан получил сообщение о революции 1848 года и, сетуя, что Париж разрушен, немедленно уезжает без Шахбаз-бека на родину. Теперь уж ничто не препятствует любви молодой девушки.

Ахундов выразительно показал быт современного ему феодального Ирана в последней своей комедии «Восточные адвокаты» (1855 г.). Обличению феодализма в самом Азербайджане посвящена третья пьеса Ахундова — «Визирь Серабского ханства».

В комедии «Приключение скряги» (1852 г.) Гейдар-бек жалуется, что наступило ужасное время. Нет войн, когда можно было грабить побежденных:

«— Если хочешь военной добычи, остается итти на этих нищих лезгин, да что толку: после страшных усилий

выгонишь их из нор в горах, но, кроме кожного мешка да овчины, ничего у них не найдешь».

Беки, сословная аристократия, жалуются, что русский начальник советует им заняться земледелием, садоводством или торговлей. Все эти занятия для простолюдинов, а не для благородных беков. Гейдар-бек решает отдаться подобающему его аристократическому происхождению занятию — контрабанде. Но после ряда приключений он со своими сообщниками попадает в руки властей.

Несколько сходна с этой пьесой по развитию интриги комедия «Медведь, победитель разбойника» (1851 г.), в которой человека, домогающегося любви девушки, подговаривают совершить традиционный разбойничий подвиг, чтобы привлечь внимание любимой.

В этих двух пьесах Ахундов изображает русскую администрацию как доброе явление, противостоящее местному феодализму.

Сам служащий русской администрации, — он умер в чине полковника, — Ахундов не мог не видеть истинного лица и местных феодалов, и сатрапов российского царизма. Он беспощадно изображает пережитки средневековья среди народов Востока. И, несмотря на рогатки цензуры, показывает царизм без всяких прикрас.

В «Приключении скряги» Гаджи-Кара говорит:

«— При имени русского у меня разрывается сердце. Для меня их следствие страшнее пули».

И дальше. Ни в чем неповинных крестьян-армян арестовывает русский чиновник, и те, знакомые с волокитей царских судов, горестно восклицают:

«— Кто уберет наш хлеб, кто обмолит нашу пшеницу?».

Ахундов любил крестьян, любил подневольный народ, и все, правда немногочисленные, его персонажи из простолюдины показаны с большой теплотой.

Смелый новатор-гуманист, Ахундов своих героинь-женщин наделяет подлинно-человеческими чертами, вызывающими глубокие симпатии.

Раньше, на протяжении веков о женщине в восточной литературе говорилось, как о существе низшем.

Поэты воспевали не женщину, а то наслаждение, которое давала любовь женщины. Женщины, как полноценного человека, глубоко чувствующего и переживающего, поэты не замечали. Ахундов первым из восточных писателей говорит о женщине, как о мыслящем, страдающем, любящем и глубоко чувствующем человеке. Его героиня-женщина имеет свое суждение обо всем; она перестает быть бессловесной принадлежностью мужчины.

И в этом большая заслуга Ахундова. Реалистический талант Ахундова с особой силой виден в его прозаическом произведении «Обманутые звезды» (1857 г.).

Действие разворачивается в Иране. Страной правит Шах-Аббас. Государственная казна, являющаяся личной собственностью шаха, обильно пополняется за счет взяток при назначении сановников.

Чтобы уменьшить расходы, чиновникам и офицерам жалованья не платят, но они живут припеваючи, грабя бесправное крестьянство.

Для охраны страны от вторжения неприятеля все пограничные местности обращены в пустыню, а дороги оттуда к городам разрушены.

Сочетание небесных светил предсказывает шаху гибель. Правитель по совету звездочета решает отречься от престола и передать полноту своей власти какому-нибудь человеку с тем, чтобы он и погиб вместо шаха. А шах, столь остроумно обманув звезды, снова вернется к власти.

Выбор сановников остановился на седельнике Юсифе. Много лет он изучал богословские науки, но, убедившись, что все духовные отцы обманщики и лгуны, занялся честным трудом.

«Будучи уже сорокалетним, он взялся за седельное ремесло и за год изучил его... Видя лицемерие мулл и гнусные дела продажного чиновничества, этот честный и благородный человек возмущался всей душой и не в состоянии был удержаться от изобличения их».

Когда Юсифа объявили шахом, он немедленно принял за упорядочение государственных дел. Ахундов высказал здесь все свои политические чаяния. Перечень благих поступков нового шаха чрезвычайно обширен: отмена смертной казни и пыток, постройка больниц, орошение безводных степей, упорядочение налогов, проведение новых дорог и ремонт старых введение светского суда, забота о народном образовании, улучшение положения чиновников затем, чтобы они не брали взяток.

«Для усиления государственных доходов Юсиф-шах приказал облагать податями все сословия, не исключая и духовенство; принцы, ханы, беки, купцы, ахунды, селды и все другие граждане, проживавшие в городах, должны были платить казне десятую часть дохода, находившиеся же в деревне — двадцатую часть».

Таким образом, крестьянство должно было получить большие налоговые льготы.

«Он приказал также, чтобы пожертвования и другие средства, собираемые в пользу беднейшего населения, поступали в ведение четырех наиболее честных граждан, которые должны отпустить деньги соразмерно нуждам каждого бедняка. Этой мерой он добивался равномерного распределения средств между всеми нуждающимися».

Ахундов проводил взгляд, что социальное переустройство может быть осуществлено сверху, благодаря благим намерениям «добротного шаха».

Но реализм великого художника победил, и художественное разрешение рассказа обнажило всю утопичность политических взглядов автора. Попытки нового шаха установить справедливое правление привели его к гибели. Опальные вельможи подняли мятеж, разбили без труда приверженцев шаха Юсифа и снова возвели на престол Шах-Аббаса, когда злое влияние небесных светил уже не угрожало верховному правителю.

Бедные обманутые звезды! Они — «были беспощадны к несчастному, ни в чем неповинному седельнику Юсифу, оставив в покое истинного властелина Ирана Шах-Аббаса, и в течение сорока

лет равнодушно взирали на его деспотизм, жестокость и изуверство... Могли ли звезды предположить, что иранцы обманут их и вместо законного повелителя Ирана подведут под удар подставного шаха?».

Видимо, великий художник быстро понял, что реформы самых гуманных шахов не выведут народ из тупика рабства. В обращении к родному народу (которое до сих пор, к сожалению, неизвестно советскому читателю), написанном через несколько лет после «Обманутых звезд», он говорит:

«Если бы ты вкусил сладость свободы, если бы ты был сведущ в правах человечества, то никогда не согласился бы на подобное позорное рабство, в котором теперь находишься. Ты стремился бы к прогрессу, науке, учредил бы у себя клубы, митинги, сеймы и отыскал бы всевозможные средства, ведущие к единодушию и единомыслию, и освободил бы себя от деспотического гнета; ты числом и средствами превосходишь тиранов, тебе недостает только единодушия и единомыслия».

«Обманутые звезды» были последним художественным произведением Ахундова. В том же году он развернул страстную пропаганду за реформу письменности в Азербайджане, думая, что это поможет просвещению народа и «развитию его единодушия». В 1857 г. Мирза Фатали выпустил первую брошюру, предлагаая в ней новый алфавит. Усовершенствовав свой алфавит, он выехал в 1863 г. в Стамбул и добился приема у премьер-министра Фауд-паши, покровительствовавшего ряду турецких писателей.

Мирза Фатали считал, что реформу письменности необходимо провести одновременно во всех крупных странах Востока.

Он предложил своеобразный алфавит. Учтивая, что по фонетическим особенностям восточные языки стоят ближе всего к русскому языку, он использовал значительное количество русских букв. В его алфавите различалась 41 фонема (32 буквы арабского алфавита, и 9 фонем падало на огласовку). Замена арабских букв шла в та-

ком порядке: 12 латинских, 11 русских 3 — общие для этих обоих шрифтов и 6 новых условных знаков.

Для гласных звуков он принимал 4 русских буквы, 1 латинскую, 2 общих для обоих шрифтов и 2 условных знака. Таким образом, на долю русских букв он отводил большую часть (15 из 41); затем шли латинские — 13, дальше условные знаки — 8 и буквы общие для русского и латинского шрифта — 5.

Турецкие схоласты, понятно, провалили проект реформы письменности, как «противоречащий основа ислама, ибо священный коран, ниспосланный с неба, написан именно арабскими буквами».

Но Ахундов еще с большим рвением продолжал работу над философским произведением в эпистолярном жанре. «Письма индийского принца Кемал-уд-Довле к иранскому принцу Джелал-уд-Довле» были начаты им в 1862 году.

В этих «Письмах индийского принца» Ахундов выступил как разношерстные образованный философ-материалист. Его позиция по отношению к религии совершенно непримирима:

«Одна наука и воспитание только суть надежные средства к искоренению разврата, порока, корыстолюбия, алчности, насилия, угнетения, а не религия, рождающая невежество и суеверие».

Философско-литературное наследство Ахундова долгое время оставалось неизученным. Незадолго перед смертью он писал своему сыну Рашиду:

«Вместе с Алекбером проводим время в надежде на выход «Кемал-уд-Довле» в свет и на всемирную славу. Не знаю, осуществится ли эта надежда до моей смерти или она останется простой мечтой, как изменение арабской азбуки, до тех пор, пока ты осуществишь эти две надежды после меня».

Надежды Мирза Фатали Ахундова осуществились, однако, значительно позже. Письма «Кемал-уд-Довле» были изданы только в 1924 г. на азербайджанском языке.

Два эпизода красочно показали отношение к памяти великого азербайджанского писателя: в день его смерти, по приказанию наместника Кавказа жандармский офицер произвел обыск в квартире умершего. У жандармов нашлись союзники — мусульманское духовенство объявило покойника еретиком и запретило его хоронить. Несколько дней тело находилось на квартире, перерывтой жандармскими руками.

Прошло четыре десятка лет, и азербайджанский народ, освобожденный с помощью братского русского пролетариата от оков угнетения, вспомнил своего великого сына. Но предатели националисты долго еще пытались скрыть от народа богатство таланта Ахундова. Теперь сметены все эти преграды.

В дни, когда советский народ чтит юбилей Ахундова, все его художественные произведения вышли на русском языке.

А. П. Чехов

БИОГРАФИЯ

А. ДЕРМАН

★

ПРОИСХОЖДЕНИЕ. СЕМЬЯ

«...Как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. Нет ни одной грамотной вывески и есть даже «Трактор Расия»; улицы пустынные... всеобщая лень, умение довольствоваться грошами и неопределенным будущим — все это тут воочию так противно, что мне Москва со своей грязью и сыпными тифами кажется симпатичной...».

Этот суровый и безгласный отзыв о Таганроге находится в письме Чехова к сестре, написанном в 1887 году. А десять лет спустя, в повести «Моя жизнь», Чехов еще более мрачными красками изобразил Таганрог и его обывателей. «Я не понимал, — говорит герой повести, — для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч людей... И как жили эти люди, стыдно сказать!.. библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями... Ели не вкусно, пили нездоровую воду... Во всем городе я не знал ни одного честного человека... В городской, мещанской, во врачебной и во всех прочих управах каждому просителю кричали вослед: — «Благодарить надо!» — и проситель воз-

вращался, чтобы дать 30—40 копеек... лавочки... поили собак и кошек водкой или привязывали собаке к хвосту жестянку из-под керосина, поднимали свист, и собака мчалась по улице, гремя жестянкой, визжа от ужаса; и у нас в городе было несколько собак, постоянно дрожавших, с поджатыми хвостами, про которых говорили, что они не перенесли такой забавы, сошли с ума».

В этом-то неприглядном городе и увидел свет будущий великий писатель. В сохранившейся метрической книге соборной Успенской церкви города Таганрога значится: «Тысяча восемьсот шестидесятого года, месяца генваря, 17 дня рожден, а 27 крещен Антоний. Родители его, таганрогский третьей гильдии купец Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна, оба православного исповедания. Восприемники были: таганрогский купеческий брат Спиридон Федорович Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Кирикова Сафьянопуло жена...» и т. д.

Эта казенная церковная запись сразу характеризует ближайшее окружение Чехова в годы его детства. Все упомянутые в ней лица, как мы видим, принадлежат к купеческому званию, однако не очень «высокого» разбору, — третьей гильдии, попросту — мелкие торговцы. Это тот слой городского населения, который находился на грани между настоящим купечеством и мелким ремесленным людом. Это — город-

ское мещанство. Не случайно также, что в числе восприемников мы находим особу с греческой фамилией, — это тоже бытовая черта Таганрога, где греки составляли значительную часть населения.

Таганрог был по преимуществу город торговли, город больших и малых купцов. Промышленности здесь не было или почти не было. Но необходимо подчеркнуть, что и торговый расцвет Таганрога к моменту появления на свет Антона Павловича Чехова был уже позади. В начале XIX века торговые обороты Таганрога были выше, чем Одессы. Он был первый в этом отношении город на всем Азово-Черноморском побережье. Вскоре, однако, первенство перешло к Одессе. Одной из причин этого послужило постепенное обмеление таганрогского порта при одновременно возраставшем тоннаже торговых судов. Наступило время, когда большие корабли должны были останавливаться далеко на рейде и прибегать к помощи мелких перегрузочных судов. А тут еще провели из Ростова Владикавказскую железную дорогу, — товары, которые прежде шли на Кавказ через таганрогский порт, потекли теперь через Ростов, и он быстро стал возвышаться тоже за счет Таганрога, все более приходившего в упадок. Всего резче, конечно, это отражалось на экономическом положении сословия, непосредственно занятого торговлей.

К этому сословию, к самому низшему его слою, и принадлежал отец будущего писателя, Павел Егорович Чехов. Родом он происходил из крестьян Воронежской губернии, где отец его, дед писателя, Егор Михайлович Чех, был крепостным у помещика Черткова, отца того самого В. Г. Черткова, который известен своей близостью с Л. Н. Толстым.

Надобно заметить, однако, что едва ли этот предок Антона Павловича был обычного типа крепостным крестьянином. Известно, что задолго до отмены крепостного права Егор Михайлович выкупился на волю за крупную по тогдашнему времени сумму в три тысячи пятьсот рублей. Это была плата за себя

и за троих сыновей; была еще у него дочь Александра, но на нее денег не хватило, и Чех обратился к своему помещику с просьбой не продавать дочь на сторону, повременить, пока он накопит денег на ее выкуп. Чертков подумал, махнул рукой и сказал: «Так уж и быть, бери ее в придачу».

Если даже допустить, что Чех отдал помещику решительно все свои сбережения, то и в этом случае ясно, что для накопления суммы в три тысячи пятьсот рублей должны были быть у него какие-то серьезные источники дохода, о существовании которых Черткову было, несомненно, известно: ему бы иначе и в голову не пришло потребовать такую сумму у крестьянина, ковыряющего сохой свою полосу. Всего естественнее предположить, что дед Чехова был специалистом по управлению имениями: дело это требует долгой выучки, а между тем известно, что, откупившись на волю, Егор Михайлович тотчас поступил на должность управляющего громадными имениями графа Платова, расположенными на Дону. Стало быть, к моменту выкупа Чех уже пользовался славой хорошего управителя.

К тому же заключению приводит нас одно высказывание Антона Павловича, сделанное им в 1903 году в письме к жене, в ответ на ее похвалы его характеру: «Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и проч. и проч. Но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделял чорт знает что. Ведь у меня дедушка по убеждениям был ярый крепостник».

Проявлять себя убежденным крепостником дед Чехова мог лишь по отношению к чужим крестьянам: своих у него не было. Почти несомненно, таким образом, что память о себе, как о крепостнике, он оставил в качестве крупного управителя платовских поместий. Вероятно, это была типичная для тех времен фигура бурмистра из крестьян.

Повидимому, человек он был способный и жесткий в то же время. Сын его Павел Егорович, отец писателя, унасле-

давал от отца и его одаренность, и его жесткость.

Решив пустить этого сына «по торговой части», Егор Михайлович определил его приказчиком к таганрогскому купцу и городскому голове Кобылину. Прослужив у последнего длинный ряд лет, Павел Егорович отошел от хозяина и в 1857 году открыл в Таганроге собственную бакалейную торговлю.

Однако успеха на этом поприще он не имел. Двадцать лет вел Павел Егорович торговлю в своей лавке и за это время не только не разбогател, но, напротив, вконец разорился. И несомненно, что одной из главных причин этого была его недюжинная одаренность. Из мемуарной и художественной литературы (Островский и др.) мы знаем, как жалок был духовный уровень сословия приказчиков в ту пору. А между тем, пройдя только эту школу, Павел Егорович самоучкой достиг того, что приятно играл на скрипке, неплохо писал красками (сохранились иконы его работы), отлично знал церковное пение и умело руководил церковным хором. Все эти искусства, особенно же занятия с хором (производившиеся бесплатно), поглощали и время и внимание Павла Егоровича в большей степени, нежели его торговля, и в последней он делал значительные упущения.

Это был, повидимому, человек разносторонне способный, притом с большой волей и настойчивостью. Но тяжкие, уродливые условия жизни того времени накладывали какое-то клеймо проклятия на самую одаренность человеческую. Артистические склонности Павла Егоровича пошли главным образом по руслу пристрастия к церковному пению, а воля и настойчивость выродились в деспотизм. Младший брат писателя, недавно умерший Михаил Павлович Чехов, вообще говоря, имевший склонность к смягчению картины домашнего быта отцовской семьи, тем не менее писал, что «главную особенность семьи Чеховых составляли пение и домашние богомоления. Каждую субботу вся семья отправлялась ко всенощной и, возвратившись из церкви, еще долго пела у себя дома канон. Курилась кадильница, отец или

кто-нибудь из сыновей читал икосы и кондаки, и после каждого из них все хором пели стихиры и ирмосы. Утром шли к ранней обедне, после которой дома все, также хором, пели акафист». Этого недостаточно: составив из домашних правильный хор, Павел Егорович пел с ним и в церквях, куда его приглашали. Зимой и летом, какая бы ни была погода, какова бы ни была усталость, дети должны были подыматься до света и петь в церкви, дрожа порой от холода, надрывая свои юные организмы. Чтоб не ударить лицом в грязь, не оскандалиться в церкви, Павел Егорович устраивал предварительно частые спевки, которые затягивались порой за полночь... Много лет спустя, в 1892 году, в письме к приятелю, писателю Щеглову, коснувшись воспоминаний о своих детских годах, Антон Павлович, которому выпало на долю петь в хоре отца целых десять лет, от 7- до 16-летнего возраста, писал: «Когда бывало я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».

Таким образом, артистизм Павла Егоровича обратился для его семьи в источник страданий. И точно то же произошло с его настойчивостью и твердой волей. Старший его сын и брат Антона Павловича, Александр Чехов, изобразил в своих воспоминаниях отца настоящей грозой для всех домашних. Есть все основания полагать, что он сильно сгустил мрачные краски в нарисованной им картине. Но если даже принять ту версию о Павле Егоровиче, которую сообщает его младший сын, Михаил Чехов, который, как видно по всему, злоупотребляет светлыми красками не в меньшей мере, чем его брат Александр мрачными, то и в этом случае не остается сомнений, что семейный режим Чеховых носил все признаки деспотизма. М. П. Чехов прямо указывает, что это был строгий режим, что к детям применялось телесное наказание и что об их неповиновении воле отца или матери «не могло быть даже и речи».

С самых малых лет сыновья должны были помогать отцу торговать в лавке. Торговля там шла не слишком бойко, и Павел Егорович посылал туда детей не столько для работы, сколько для «хозяйского глаза» — присматривать за двумя «мальчиками», Андриюшкой и Гаврюшкой, которым «влетало» за малейшую провинность.

В большой повести Чехова «Три года» Алексей Лаптев рассказывает жене: «Я помню, отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору [брату] запрещалось; мы должны были ходить к утрени и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и все это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар [в торговлю отца], я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть все в том же амбаре...».

Несомненно, что эту мрачную картину детства Алексея Лаптева мы не вправе рассматривать как фотографически точный снимок с детства Антона Чехова, но что здесь передан общий дух и характер его детских лет, что самая сосредоточенная горечь этих строк навеяна личными воспоминаниями автора, — в этом также едва ли можно сомневаться. В недавно вышедшей книге воспоминаний приятеля Чехова, известного театрального деятеля В. И. Немировича-Данченко, последний приводит следующие подлинные слова писателя: «Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек». Чехов был очень сдержанный человек, и эти слова в его устах приобретают особенное значение.

Смягчающее влияние вносила в семью мать, Евгения Яковлевна. Родом из

обедневшей купеческой семьи Морозовых, она вышла замуж за Павла Егоровича в очень молодом возрасте и, как и все в семье, подчинилась его авторитету. Но она умела влиять на мужа своим нравственным обаянием, которое она сохранила до самой глубокой старости. Это была очень добрая, правдивая женщина, с нежным характером, с живыми умственными запросами, с большой отзывчивостью. В то время как Павел Егорович приносил в жертву своей тщеславной церковности и здоровье и время детей, Евгения Яковлевна сама жертвовала всем ради детей, нередко отказывая себе в самом необходимом, чтобы досыта их накормить, прилично одеть. Она была убежденная противница крепостного права, все ужасы которого видела еще собственными глазами, и своими рассказами она умела внушить детям отвращение к несправедливости и жалость не только к слабым людям, но даже к животным. Впоследствии, когда дети Чеховы подросли и обнаружилось, что у двух из них — Антона и Александра — писательский талант, у двух — Николая и Марии — талант к живописи, у Ивана — педагогические способности, Антон Павлович нередко говорил: «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери».

Благотворна была для детских и юношеских лет будущего писателя тесная дружба детей в семье Чеховых — пяти братьев и сестры. Почти все они были одарены чувством юмора, и те забавы, проказы и шалости, которые они сообщали устраивали, сильно смягчали суровый тон, который на жизнь семьи накладывала тяжелая рука Павла Егоровича. Большой радостью для Антоши и его братьев бывали поездки километров за восемьдесят в деревню Княжую, к деду, управлявшему там имением. Медленная езда, ночевки в степи, жизнь среди природы, участие в полевых работах — все это было ново и свежо после города, сидения в лавочке, церковного хора, однообразных отцовских наставлений... Здесь, в Княжой, Антон был особенно изобретателен на веселые шалости и выходки. Однажды он держал пари с братом Иваном, что на гла-

зах у деда, строжайше запрещающего внукам снимать фрукты в барском саду, он сорвет яблоко с дерева. Когда дед появился в саду, Антон, поставив брата в назначенном месте, с разбегу перепрыгнул через него и на лету сорвал яблоко. Пораженный ловкостью внука, Егор Михайлович лишь хохотал, посадившая трубку.

ГРЕЧЕСКАЯ ШКОЛА. ГИМНАЗИЯ

Первое место среди городского купечества занимали в Таганроге богатые греки-негоцианты — Вальяно, Алфераки и др. Это были люди, составившие себе капиталы быстро, ловкими приемами. В городе многие знали, что такой-то лет двадцать назад явился в Таганрог чуть ли не босиком, такой-то был еще недавно приказчиком. Сейчас они вращаются миллионами. В переживавшем экономический упадок городе, среди сотен обедневших средних и мелких торговцев, эти удачники возвышались, как горы среди равнины, и составляли предмет всеобщей зависти.

Принадлежавший к разряду неуклонно бедневших купцов, Павел Егорович также мечтал о том, чтобы кто-нибудь из его пяти сыновей пошел «по торговой части» и достиг успехов Вальяно или Алфераки. Ему казалось, что на эту роль будет особенно пригоден Антоша, обнаруживший в лавке способность быстро и безошибочно щелкать на счетах. Кстати, кто-то из греков-приятелей, проводивший долгие часы в погребке при лавке Чехова, где торговля вином происходила распивочно и на вынос, посоветовал Павлу Егоровичу отдать достигших школьного возраста детей в таганрогскую греческую школу: это должно было послужить началом их дальнейшей «греческой» карьеры, за которым рисовалось дальнейшее образование, уже в Афинах, и, как достойное увенчание, — коммерческие успехи в стиле Вальяно. Павел Егорович последовал этому совету: в 1867 году семилетний Антоша вместе со старшим братом были отданы в приходскую школу Цареконстантиновской греческой церкви.

Об этом периоде его детской жизни сохранился подробный рассказ Александра Чехова, но он изобилует столь явными преувеличениями, что пользоваться им приходится с большой осторожностью. Несомненно одно: это было совершенно анекдотическое педагогическое учреждение. Состояло оно из пяти классов, помещавшихся в одной комнате. Главой школы был учитель Вучина, человек совершенно невежественный. Телесные наказания имели в школе самое широкое применение. Правой рукой Вучины был некий Спиро, по профессии хлебный маклер. Переход из класса в класс состоял в том, что ученик должен был пересест с парты, находившейся, скажем, во втором ряду, на парту в третьем ряду: это и значило, что он перешел из второго класса в третий. Чаще всего такие перемещения обуславливались не суммой приобретенных учеником знаний, а теснотой в одном ряду парт и простором в другом. Никакого обучения детей в мало-мальски точном значении слова там, разумеется, не было. За время своего пребывания у Вучины Антоша в играх с ребятами научился, впрочем, говорить по-новогречески (впоследствии он совершенно забыл этот язык), а сверх этого — ничего.

Евгения Яковлевна с самого начала стояла за то, чтобы учить детей в гимназии, и в греческую школу они были отданы вопреки ее желанию. Однако, когда по случайному поводу Павел Егорович заподозрил, что дело у Вучины поставлено плохо, и когда, при помощи знакомых греков, он устроил Антоше и Коле экзамен, показавший полное их невежество в каких бы то ни было науках, мнение матери восторжествовало, и Антоша в 1868 году был отдан в подготовительный класс гимназии. Здесь он с первых же дней выказал большую охоту к занятиям и 2 октября 1869 года был принят в первый класс Таганрогской классической гимназии.

В ней Антон Павлович провел десять лет — четвертую часть своей жизни. Восемилетний курс растянулся на десять лет, потому что в двух классах — в третьем и в пятом — Чехов засиживался по два года.

Уж один тот факт, что юноша такой одаренности, как Чехов, дважды попал в положение «второгодника», свидетельствует о том, что либо школа была плоха, либо ученик отдавал ученью не все время. Ближайшее знакомство с биографическими материалами приводит к заключению, что и то и другое имело место. Участие в церковном хоре и работа в отцовской лавке отнимали у Чехова очень много сил и времени явно во вред его школьным занятиям. Но бесспорно и то, что Таганрогская гимназия сама по себе была весьма жалким учебным заведением.

Как-раз незадолго, всего за два года до поступления в нее Чехова, произошло важное в жизни Таганрогской гимназии событие: в августе 1867 году ее удостоил посещением сам министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, знаменитый создатель той бездушной системы гимназического образования, жертвой которой сделались десятки тысяч молодых людей,—целых два поколения русской молодежи. Зайдя в учительскую, министр, к ужасу своему, увидел на стене портрет Белинского. Тут же, в присутствии всех, он с негодованием накинулся на директора: он не мог даже и помыслить, «чтобы в комнате, где собираются учителя, висел портрет Белинского, этого шалопаю, прохвоста, выгнанного из университета». По приказу министра: «убрать Белинского», портрет великого критика был тотчас же снят со стены и выброшен в сарай, «к негодным вещам», как рассказывает об этом инспектор Бобровский, бывший свидетелем этой сцены. Само собой разумеется, что сочинения Белинского, оказавшиеся тут же в книжном шкафу, еще более возмутили министра. Они были тотчас же изъяты. «Мы будем допускать в школе, — заявил при этом гр. Толстой, обращаясь к директору и учителям, — что и нам угодно, и учителя и ученики будут воспитывать свои взгляды лишь на тех произведениях, какие мы допустим».

Нужно ли говорить, что в результате такого «внушения», за которым вдобавок последовало перемещение ряда учителей с заменой их «испытанными» пе-

дагогами, Таганрогская гимназия не только наверстала свою «отсталость» от других гимназий в смысле «благонадежности» и борьбы с либеральным духом, но и опередила их. И когда гр. Толстой в 1875 году посетил ту же гимназию, подробно ознакомился с ведением в ней работы, с ее порядками, с преподавательским персоналом, он записал в книге для почетных посетителей: «Осмотревши Таганрогскую гимназию, с удовольствием нашёл, что с 1867 года она сделала значительные успехи».

Воспоминания современников могут объяснить, в чем состояли эти «успехи». Характерно, что, как ни различны авторы воспоминаний,—будь то Филевский, сам учитель той же гимназии, человек весьма умеренных взглядов, или прогрессивный писатель Тан-Богораз, или братья Чеховы, — в главных чертах все они совершенно согласно рисуют Таганрогскую гимназию, как цитадель бездушной казенщины. Разница лишь в тоне и в подробностях.

У Тана подробности обильнее, а тон резче. Он без обиняков заявляет, что «Таганрогская гимназия, в сущности, представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменой палок и розог греческими и латинскими экстемпоралиями (переводами)... Люди чуть повыше этого арестантского уровня отсекались беспощадно». Но разве, по существу, не то ли самое читаем мы у бесстрастного Филевского? «То было время самого строгого школьного режима, время беспощадного господства классицизма. Две или три ошибки в греческом или латинском переводе исключали возможность получить удовлетворительную отметку на экзамене... Даровитых, выдающихся учеников не стало, как сквозь землю провалились. Были вопиющие примеры. Четвертый класс имел 42 ученика, а через два года под прессом древних языков остались только 16».

Проходили десятки лет, а ученики Таганрогской гимназии с неостывающей злостью вспоминали латиниста Урбана, который отравил им юность. Сдержанный Филевский в своем полуофициальном описании говорит об Урбанае: «Он

поставил как бы обязанностью отыскивать молодых людей, политически неблагонадежных, и так как он обладал даром понимать ученика, то почти всегда угадывал и преследовал беспощадно». В своем сыщичьем рвении Урбан дошел до того, что послал попечителю донос на педагогический совет: «В заседаниях совета курят, не обращая внимания, что в учительской комнате висит икона и портрет государя». Кончилось тем, что в квартире Урбана, повидимому, кем-то из учеников был произведен взрыв, от которого, впрочем, педагог не пострадал. Он пережил Чехова и дождался революции 1905 года. Озлобленные гимназисты в классе закидали его камнями. Урбан подбирал эти камни, плакал и говорил, что возьмет их с собою в гроб. Он вышел в отставку и вскоре умер.

Справедливость требует сказать, что Урбан составлял исключение среди учителей, которые в большинстве были не злодеи, не садисты, а полнейшие безличности и «чудаки», та разновидность человеческой природы, которая получалась в дореволюционной российской действительности от недостатка «кислорода» в общественной атмосфере, от отсутствия живых интересов, либо от невозможности удовлетворять эти интересы. Люди задыхались, калечились, уродовались и пополняли ряды ушибленных жизнью обывателей, отводивших душу в чудачестве и юродстве.

Таков, например, был инспектор Воскресенский-Бриллиантов. На уроках он беспрестанно любовался на себя в ручное зеркальце и расчесывал великолепную свою бороду. Отправляясь в театр, он брал в карман орехи и, как сообщает все тот же Филевский, «сидя в партере, клал на пол орехи, раздавливал ударом каблука и кушал. Бывали случаи, когда в самом патетическом месте драмы раздается треск. Это инспектор кушает орехи». Таков был и сменивший Воскресенского-Бриллиантова на посту инспектора Дьяконов, с которого Антон Павлович отчасти и написал своего «Человека в футляре», учителя Беликова. И когда один из героев рассказа «Человек в футляре», тоже учитель гимназии, но человек еще свежий, обращается к своим

коллегам: «Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке», — то, читая эти гневные слова, мы не сомневаемся, что они совершенно точно передают мнение Антона Павловича о школе, в которой прошла вся его юность. Сходство этой школы с арестантским или полицейским учреждением простиралось до того, что двери, выходящие из классов в общий коридор, снабжались стеклянным глазком — круглым отверстием, через которое надзирателю удобно было шпионить за учениками, прогуливаясь во время уроков по коридору.

В виде редкого исключения были среди учителей и люди с живыми интересами, с незачерствевшим сердцем, но всем ходом гимназической жизни они обрекались на пассивность, ибо малейшая попытка внести свет в эту жизнь беспощадно пресекалась. С благодарностью вспоминали таганрогские гимназисты об учителе Старове, добром и глубоко несчастном в личной жизни человеке (с него отчасти Чехов написал своего «Учителя словесности»), о священнике Покровском. Последний был, судя по всему, человек недюжинный, к предмету своего преподавания, «закону божью», питавший полнейшее равнодушие. Он был образован, начитан, на уроках заводил с учениками разговоры о Шекспире, Гете, очень ценил Щедрина. Покровский был любитель шуток, шутивных прозвищ. Чехонте — псевдоним, которым Чехов в течение ряда лет подписывал свои мелкие произведения, — это тоже одно из прозвищ изобретения Покровского.

Кажется, двумя этими фигурами и исчерпываются «светлые лучи» в темном царстве Таганрогской гимназии. Порой среди вновь появившихся педагогов попадались люди с живой душой, но их обычно ждала злая судьба. Так случилось, например, с молодым учителем истории Логиновым. Он попытался отступить от ненавистного пресловутого Иловайского, заинтересовал все классы, однако директор Рейтлингер, не злой

человек, но до мозга костей чиновник, решительно пресек эту попытку, после чего Логинов впал в уныние. Он возненавидел гимназию, говорил, что с отворачиванием отворяет дверь в нее. В конце-концов он запил, его разбил паралич, и Логинов умер в больнице.

Такова была Таганрогская гимназия. Какие чувства, какую память она оставляла в своих воспитанниках, мы можем судить по такому характернейшему факту. Братья Чеховы — Александр и Антон — были по складу натуры, по своему вкусу совершенно различные и даже диаметрально противоположные люди. Но то, что они говорят о гимназии, до такой степени сходно, что кажется, будто это написано одним человеком. Антон Павлович в 1887 году, в письме к Григоровичу, говорит о посещающих его ночных кошмарах, во время которых он видит перед собою холодную реку: «Все до бесконечности сурово, уныло и сыро.. Когда же я бегу от реки, то встречаю на пути обвалившиеся ворота кладбища, похороны, своих гимназ. учителей.. И в это время весь я проникнут тем тяжелым, кошмарным холодом, какой немислим на яву». И точно так же о ночных кошмарах, наполненных переживаниями гимназических лет, говорит Александр Чехов: «Многие из моих сверстников покинули гимназию с горечью в душе. Мне же лично чуть ли не до 50 лет по ночам снились строгие экзамены, грозные директорские распекаания и придирки учителей. Отрадного дня из гимназической жизни я не знал ни одного». А д-р Шамкович, окончивший гимназию вместе с Антоном Павловичем, сообщает: «Настолько омерзительно было большинство учителей-чиновников, что от обычной совместной фотографической группы абитуриентов было решено отказаться, чтобы не получить на память еще и ненавистные физиономии «футлярщиков». Этот факт красноречивее всего характеризует те чувства, с какими молодые люди покидали школу.

ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

Сведения о Чехове-гимназисте гораздо более скудны, чем о гимназии. Что ка-

сается до его успехов, то к сказанному остается добавить немного. Он был усердный ученик, очень редко пропускал уроки, но успеваемость его была не блестящая — в старших классах более высокая, нежели в младших, что всецело, повидимому, объясняется переменой, происшедшей в его домашней обстановке: в 1876 году он из всей семьи остался в Таганроге один, участие в хоре и сиденье в лавочке сами собой прекратились, и хотя в это время Чехов, не получая ничего от родителей, должен был бегать по урокам, чтобы как-нибудь прокормиться, у него все-таки оставалось больше досуга для занятий, чем прежде.

Находясь в четвертом классе, Чехов испросил разрешение у директора заниматься ремеслом при уездном училище и около года обучался портняжеству. Сохранились сведения, что за это время он даже сшил кое-что из платья своим родным, не очень, впрочем, искусно: модные узкие брюки, сшитые им брату Николаю, были настолько уж узки, что едва-едва взошли на ноги, а показавшийся в них на улице Николай Чехов вызвал радостное улюлюканье мальчишек.

На выпускных экзаменах Чехов чувствовал себя, повидимому, не очень уверенно и выдержал их при содействии своих друзей, передававших ученикам готовые латинские и греческие переводы через классного наставника Вукова, с которым Чехов сохранил добрые отношения до конца жизни. Из двадцати трех выпускников Чехов по полученным баллам вышел на одиннадцатое место.

Естественный интерес представляют успехи будущего нашего классика по таким предметам, как русский язык и словесность. Сохранилось его ученическое сочинение «Киргизы». Оно написано замечательно: точным, ясным, сжатым языком. Сделавшись писателем, Чехов долгое время писал хуже, чем написаны «Киргизы».

Обычной оценкой его сочинений в гимназии была отметка «четыре», с колебаниями в сторону тройки и пятерки. На выпускных экзаменах тема для сочинения, присланная, как полагалось, от-

попечителя учебного округа, была: «Нет зла более, чем безначалие». Чеховская работа на эту тему до нас не дошла. Известно только, что сочинение свое он подал последним. Упомянувшийся выше историк Таганрогской гимназии Филевский утверждает, что на окончательном экзамене учитель словесности Стефановский «обратил внимание педагогического совета на необыкновенную литературную отделку и смысл сочинения ученика Антона Чехова». Если это и так, то, повидимому, коллеги Стефановского не разделяли его мнения, или же наряду с достоинствами в сочинении оказались какие-то промахи. Оно оценено обычной для Чехова четверкой.

Какие интересы проявлял Чехов во время обучения в гимназии?

На этот вопрос можно ответить с полной определенностью: театральные и литературные.

Первая пьеса, виденная Чеховым в театре, — оперетта «Прекрасная Елена». Ему в это время было тринадцать лет. С первого же спектакля мальчик горячо полюбил театр и пронес эту любовь через всю жизнь не только во всей силе, но и во всей свежести и наивности чувства. Уже под конец жизни он на волнующие его спектакли реагировал с непосредственностью ребенка.

Можно думать, что положительную роль в этом отношении сыграла довольно значительная высота уровня театрального дела в Таганроге. В этом беднейшем городе были все еще сильные и живы прекрасные театральные традиции прошлого, когда Таганрог гремел, когда его слава привлекала лучших артистов не только из столиц, но даже из-за границы, из Италии. Итальянская опера в Таганроге выступала иногда в течение целого сезона.

Во время прохождения Чеховым гимназического курса в городском театре нередко выступала постоянная хорошая драматическая труппа. Чехов пересмотрел здесь и множество мелодрам, вроде «Убийство Коверлей», «За монастырской стеной», «Хижина дяди Тома» и т. д., но и ряд пьес классического репертуара: «Гамлет», «Ревизор», «Горе от ума». На спектакле «Без вины виноватые»

юноша Чехов до такой степени разволновался, что не мог удержать слез, на которые, вообще говоря, он был чрезвычайно скуп: если не говорить о детских годах, то, кажется, никто и никогда не видел Антона Павловича плачущим.

Для посещения театра нужны были, прежде всего, деньги, а они скудно водились у мальчика. Он копил их из грошей, получаемых на «карманные расходы», для чего приходилось экономить на завтраках, а также прибегал к коммерческим операциям: усердно занимался ловлей щеглов и других певчих птиц, на что был большой мастер и охотник, и продавал их любителям.

Далее, необходимо было заручиться разрешением гимназического начальства на посещение театра, а оно давалось лишь на воскресные и праздничные спектакли. Чтобы обойти затруднение, Чехов прибегал к маскировке: переодевался в штатское платье, а когда кто-то из гимназистов на этом поймался, то есть был узан гимназическим надзирателем, то Чехов стал в иных случаях даже гримироваться, приклеивал себе бороду, надевал очки и т. п. В театр гимназисты забирались спозаранку, чтобы захватить на галерке удобное место (стулья на галерке были нумерованные). Если спектакль шел веселый, то после падения занавеса Антоша, расшавшись, принимался вызывать басом греков-миллионеров, важно восседавших в первом ряду. Евгения Яковлевна, изредка посещавшая театр вместе с сыном, но сидевшая обычно в партере, все-таки узнавала голос своего любимца, пугалась, смущалась, но под-конец весело хохотала вместе с прочей публикой.

Любовь к шутке, невинной проказе, мистификации, с раннего детства присущая Чехову, под влиянием его театральных увлечений обратилась постепенно в склонность к актерской игре. «Играл» он чаще всего у себя дома. Обычно это были комические импровизации, на которые Чехов был неистощим. Изменив голос, интонацию, он изображал то профессора, то афонского монаха, то держал экзамен на дьякона перед архиереем, роль которого исполнял брат Александр. «Вытянув шею, — рассказывает

М. П. Чехов, — которая становилась от этого старчески жилистой, и изменив до неузнаваемости выражение лица, Антон Павлович старческим, дребезжащим голосом, как настоящий деревенский дьячок, должен был пропеть перед братом все икосы, кондаки и богородицы, на все восемь гласов, задыхался при этом от страха перед архиереем, ошибался и в конце-концов все-таки удастивался архиерейской фразы: «Во диаконех еси».

Наиболее частыми «номерами» его импровизации были: изображение градоначальника в церкви в «царский день» или важного чиновника, танцующего кадрили на балу, или зубного врача. Роль пациента исполнял брат Александр. Антон Павлович вооружался щипцами для углей, и начиналась «операция», от которой зрители хохотали до колик в боках. Представление кончалось апофеозом хирургии: врач вытаскивает изо рта ревущего пациента пробку и с торжеством показывает ее публике. Иногда, наконец, это были просто комические рассказы, например, о «сотворении мира», когда все смешалось в кучу и коринку нельзя было отличить от изюма и т. д. Антоша был также большой мастер гримироваться. Был случай, когда он оделся нищим и, сочинив жалобное письмо, отправился с ним к своему сердобольному дяде Митрофану Егоровичу, который, прочитав письмо, растрогался и подал племяннику три копейки.

Однако актерская страсть Чехова не могла этим удовлетворяться. Он испытывал живейшую потребность играть в настоящих пьесах и вскоре осуществил свое стремление. Вначале это был домашний спектакль в своей семье: братья Чеховы со своими товарищами разыграли «Ревизора», — Антоша при этом исполнял роль городничего. Спектакль имел успех, актеры осмелели и перенесли работу в дом родителей гимназиста Дросси, где был просторный зал, помещение для уборных и т. д. Репертуар был самый разнообразный: оперетта «Дочь второго полка», пьеса «Ямщики, или шалость гусарского офицера», в которой Антон Павлович играл старуху-старостиху, «Лес» Островского с Чеховым-Несчастливцевым. Наконец, по уве-

рению сверстников Антона Павловича и посетителей этих спектаклей, в ряде случаев ставились обзоры местной жизни, которые сочинял Антон Павлович. К сожалению, ни одно из них не сохранилось: по окончании спектакля автор безжалостно уничтожал свое произведение.

Увлечение Чехова театром побудило его завязать знакомство с актерами, с иными из них довольно близкое, например, с Соловцовым, впоследствии известным актером и режиссером, которому Чехов посвятил свой водевиль «Медведь». Гимназистом старших классов Чехов стал бывать за кулисами, и вообще с этого времени начинается то тесное личное общение его с миром актеров, которое было так характерно для него в течение всей жизни.

Некоторые биографы высказывали мысль, что Чехов и в литературу пришел через театр. Это едва ли так: первые литературные опыты писателя, сведениями о которых мы располагаем, не связаны с театром. Но несомненно, что театр не только усилил тягу Чехова к литературе, но и придал его литературным опытам более серьезный характер.

В очерке М. Андреева-Туркина «Чехов в Таганроге», написанном по воспоминаниям родных и знакомых Антона Павловича и напечатанном в краеведческом сборнике «А. П. Чехов и наш край», мы находим свидетельство гимназического товарища писателя, сидевшего с ним много лет на одной скамье, М. А. Рабиновича, что еще «в четвертом классе Чехов принимает участие в рукописном журнале, издававшемся под редакцией ученика старшего класса Грохольского. Чехов написал для журнала едкое четверостишие на инспектора Д. Яконова. Было выпущено два номера. Начальство пронюхало и «приняло меры».

Далее М. М. Андреев-Туркин сообщает: «В. Мессарош (соученик Чехова по гимназии) говорит, что в издаваемом учениками гимназии журнале «Досуг», вышедшем в числе десяти номеров, под редакторством С. П. Борисенко, Чехов поместил очерк «Из семинар-

ской жизни». Другой очерк, «Сцена с природы», помеченный тремя звездочками, Мессарош также считает принадлежащим Чехову, так как «манера писать напоминает Чехова, и действие в этом очерке происходит на Новом базаре, в торговой линии», то-есть там, где была лавка отца Чехова.

В четвертом классе Чехов был в 1873 году. Таким образом, это и есть указания на самые ранние литературные опыты Чехова. Общая их достоверность не вызывает сомнений, хотя и не исключена возможность ошибок в подробностях и датах.

Но уже от 1875 года мы имеем документальное свидетельство литературных упражнений Чехова: первое сохранившееся письмо Александра Чехова, находившегося в Москве, к брату Антону, гимназисту пятого класса, от 4 октября 1875 года, кончается так: «Спасибо за Запку. Выпускай почаще. Прощай. Твой А. Чехов».

Что скрывается под названием «Запка»?

В 1875 году два старших брата Чехова — Александр и Николай — переехали в Москву, где первый поступил в университет, а второй в Училище живописи, ваяния и зодчества. Оставшийся с семьей в Таганроге, Антон с этого же года стал посылать братьям в Москву рукописный юмористический журнал, который и назывался «Запка». Еще раз упоминается «Запка» в недатированном письме Александра Чехова к брату Антону. Однако ранее 1876 года оно не могло быть написано: в нем встречается имя московского купца Гаврилова, у которого одно время служил Павел Егорович после своего переезда в Москву, переезд же этот совершился в 1876 году. Вот что пишет здесь Александр: «Два №№ Запки получены и оба произвели эффект в магазине Гаврилова. Последний № даже самого Гаврилова Ивана Егоровича 1-ой гильдии Московского купца так сказать расшевелил, так что он умилясь потрепал меня по плечу и сказал: «Да-с, молодой человек».

Таким образом, «Запке» Антон Павлович уделял внимание и время во вся-

ком случае не менее, чем в течение года, — обстоятельство, указывающее на сравнительно крупный масштаб этих литературных опытов юного Чехова. Сопоставляя их с теми, о которых известно со слов его гимназических товарищей, мы приходим к заключению, что к литературе Чехов пришел не через театр, а распространенным и типичным путем — через рукописные ученические журналы. Письмо Александра к Антону от 23 ноября 1877 года свидетельствует, далее, о том, что и те первые свои писания, которые Чехов пытался провести в печать, были также не драматургического рода. «Анекдоты твои пойдут, — пишет Александр Чехов. — Сегодня я отправил в Будильник по почте две твоих остроты: «какой пол преимущественно красится» и «бог дал» (детей). Остальные слабы. Присылай поболее коротеньких и острых. Длинные бесцветны». И только год спустя, в письме Александра к Антону от 14 октября 1878 года, мы находим первое упоминание о драматургическом опыте Чехова. «Ты напоминаешь о «безотцовщине», — пишет Александр. — Я умышленно молчал. Я знаю по себе, как дорого автору его детище, а потому... В безотцовщине две сцены обработаны гениально, если хочешь, но в целом она непростительная, хотя и невинная ложь. Невинная потому, что истекает из незамутненной глубины внутреннего мирозерцания. Что твоя драма ложь — ты это сам чувствовал, хотя и слабо и безотчетно, а между прочим ты на нее затратил столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь. Обработка и драматический талант достойны (у тебя собственно) более крупной деятельности и более широких рамок. «Нашла коса на камень» написана превосходным языком и очень характерным для каждого там выведенного лица, но сюжет у тебя очень мелок. Это последнее писание твое я, выдавая для удобства за свое, читал товарищам, людям со вкусом, и между прочим С. Соловьеву, автору «Жених из ножевой линии». Во всех случаях ответ был таков: «Слог прекрасен, уменье существует, но наблюдательности мало и житейского опыта

нет. Современем, qui sait? [кто знает?], может выйти дельный писатель».

В каком роде написано было недодешедшее до нас произведение «Нашла коса на камень» — мы не знаем. Биографы Чехова много здесь путают, смешивая это произведение с его пьесой «Не даром курица пела», также не сохранившейся, о которой в своих мемуарах упоминает М. П. Чехов, как об очень смешном водевиле, присланном в Москву вместе с драмой «Безотцовщина». Судя по фразе Александра, что «Нашла коса на камень» написана языком, «характерным для каждого там выведенного лица», мы склонны думать, что речь идет здесь не о пьесе, иначе по поводу языка более естественным и органическим было бы выражение: «характерным для каждого действующего лица».

Относительно «Безотцовщины» авторитетный исследователь жизни и творчества Чехова профессор С. Д. Балухатый пришел к заключению, что это и есть та пьеса, которая уже после Октябрьской революции была найдена в Централхиве и издана без заглавия в 1923 году. Мы в этом не вполне уверены. Но во всяком случае несомненно одно: «Безотцовщина» была очень серьезным литературным опытом Чехова. Это явствует даже из приведенного выше письма Александра: «ты на нее затратил столько сил, энергии, любви и муки, что другой больше не напишешь». А в таком случае мы вправе сделать вывод, что если Чехов и не через театр пришел к литературе, то к серьезной работе он подошел, повидимому, именно через театр.

Рано определившимися литературными склонностям Чехова соответствует столь же раннее общее литературное развитие. Первое дошедшее до нас письмо Чехова, датированное июлем 1876 г., совершенно в этом смысле поразительно. Оно свидетельствует не только о большой начитанности Антона Павловича, но, главное, о том, что воспринимает он читаемое так, как это было бы под стать профессионалу-критику, а не пятнадцатилетнему юноше. «Хорошо делаешь, если читаешь книги, — обращается он к младшему брату, Михаилу.—

Со временем ты эту привычку оценишь. Мадам Бичер Стоу¹ выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью, и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки... Прочти ты следующие книги: «Дон-Кихот» (полный в 7 или 8 частей). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Советую братьям прочесть, если они еще не читали, «Дон-Кихот и Гамлет» Тургенева. Ты, брате, не поймешь. Если желаешь прочесть нескучное путешествие, прочти «Фрегат Паллада» Гончарова. Товарищи Чехова по гимназии сообщают, что он всегда много читал и порой увлекательно пересказывал прочитанное.

Живого интереса к явлениям политического и общественного порядка гимназист Чехов не проявлял. Вот что, например, сообщает о тогдашнем настроении Чехова его гимназический товарищ д-р Шамкович: «В нашей гимназии в то время, несмотря на расцвет толстовского классицизма и формализма, при полном отсутствии сердечного попечения, было стремление среди учеников искать душу живую. Одна часть ее находила в чувственных удовольствиях, другая — в кружках, где читали Писарева, Бакунина, Герцена. Чехов же не примыкал ни к тем, ни к другим, — держал себя особняком. Единственным его увлечением был театр. Во всяким общественным течениям того времени он проявлял полный индифферентизм». В полном согласии с этим — свидетельство другого гимназического товарища Чехова, Н. Народина, который, отметив политическое и общественное равнодушие Чехова, вдобавок указывает, что вообще Чехов «был скрытен, замкнут».

Чем можно объяснить отсутствие интереса со стороны юного Чехова к политическим и общественным явлениям жизни?

¹ То-есть книга этой писательницы «Жизна дяди Тома», известная и поныне, а в те времена особенно популярная.

Главным образом, конечно, средой, из которой он вышел,—глухой, убогой мещанской средой, с узким кругом мелких интересов, с сухим и жестким характером взаимоотношений, с той подозрительной недоверчивостью к людям, какая была характерна для замкнутых крепостей мещанской семьи, с тем эгоизмом, который служил ей первейшим символом веры. В чеховской семье все эти черты выражены были с особенной резкостью, потому что это была неуклонно разоряющаяся торговая семья и притом в городе с падающей экономикой торгового капитала. В мрачной повести «Моя жизнь», где так силен автобиографический элемент, герой ее Полознев со скорбью вспоминает: «У нас в доме часто повторяли: деньги счет любят, копейка рубль бережет». Когда читаешь сохранившиеся письма Александра Чехова к брату Антону времен гимназической поры последнего, то перед глазами разворачивается картина поистине мизерного существования, в центре которого стоит копейка, заслоняющая все горизонты. Письма Антона Павловича той поры почти не сохранились, но и в тех немногих, какие мы имеем, мотив денег очень силен. Вот, например, строки из его письма 1877 года к двоюродному брату: «Дай бог России победить турку с трубкой¹, да пошли урожай вместе с огромнейшей торговлей, тогда я с папашей заживу купцом. Я думаю, что терпеть еще долго будем. Разбогатею, а что разбогатею, так это верно, как дважды два четыре». А одиннадцать лет спустя, в 1888 году, оглядываясь на свое прошлое, Чехов говорит в одном письме: «Я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился и начал писать в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль».

Когда помыслы семнадцатилетнего юноши заняты мечтою разбогатеть, то естественно, что он остается равнодушен к политическим и общественным вопросам, волнующим его сверстников.

О домашнем быте гимназиста Чехова к сказанному выше необходимо до-

бавить, что в 1876 году в строе его произошла резкая перемена: Павел Егорович окончательно разорился и, чтобы не попасть в долговую тюрьму, тайком сбежал в Москву к сыновьям Александру и Николаю; Евгения Яковлевна с другими детьми осталась в Таганроге. За старшего, руководившего всей жизнью семьи, был теперь Антон. Средств никаких не было. То одного, то другого из братьев приходилось по временам отсылать на прокорм к деду в Княжое. Наконец, и дом Чеховых пошел за бесценок в погашение долгов. В июле 1876 года уехала в Москву Евгения Яковлевна с младшими детьми, остались в Таганроге Антон с Иваном. Скоро уехал в Москву и Иван.

Шестнадцатилетний гимназист Антон Чехов остался один в городе. Из Москвы ему ничего не присылали. Напротив, он должен был помогать бедствовавшей семье, распродавая припрятанные у родных и знакомых вещи и отсылая вырученные гроши в Москву.

Как просуществовал Чехов эти три года до окончания гимназии — почти неизвестно: утешая и поддерживая семью бодрыми, обнадеживающими письмами, он избегал сообщать о собственных невзгодах, которые должны были быть нешуточны. Да и письма эти почти все затеряны. Можно лишь с уверенностью сказать, что главным подспорьем служили ему уроки, но что приходилось ему, вероятно, прибегать и к помощи оставшихся в Таганроге родственников, то-есть главным образом дяди Митрофана Егоровича, чело- века доброго, но еще более, чем отец, пропитанного церковным ханжеством. Летние каникулы Чехов проводил обыкновенно в имении у своего ученика, казака Кравцова, которого Антон Павлович готовил в юнкерское училище. После крайне стесненной и зависимой жизни в этом глухом городе, где еще происходили публичные телесные наказания, где случалось, что на улице похищали девушек для продажи в турецкие гаремы, где все будило в юноше тяжелые воспоминания, — это пребывание в донской степи с ее простором и своеобразием, в первобытной полудикой

¹ В то время происходила русско-турецкая война.

помещицкой семье (она отчасти изображена в рассказе Чехова «Печенеги») было полно для него живого интереса.

Несомненно, во всяком случае, что как ни трудны были эти три года острых материальных лишений, они несравненно более пришлись по душе юноше, чем прежний строй жизни в доме отца. Это заключение вытекает из фактов. Прежде он был обеспечен кровом, пищей и одеждой, тем не менее дважды оставался «второгодником», теперь он стал учиться гораздо лучше, несмотря на то, что должен был сам себя содержать. Затем показательно, что он находит в это время и досуг, и настроение для литературных занятий, принимающих постепенно серьезный характер. Известно также, со слов его брата, что у Антона Павловича в эти годы неоднократно завязывались юношеские романы, причем они отличались жизнерадостным характером. Наконец, и немногие его письма, уцелевшие от той поры, отличаются также жизнерадостным тоном. Получается впечатление, что, вступив на путь самостоятельной жизни, Чехов почувствовал прилив духовных сил и расправил крылья.

Когда мы обращаемся к творчеству Чехова и пытаемся разглядеть, что и как здесь отразилось из его детских и юношеских лет, то в главных чертах перед нами предстает такая картина.

Воспоминания и впечатления детства в гораздо большей степени отталкивали Чехова, нежели привлекали. В частности, город Таганрог отразился в его творчестве почти сплошь мрачно, в лучшем случае — грустно. Таковы «Огни», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Палата № 6». Места и люди «около-таганрогские» в произведениях Чехова даны в красках несравненно более светлых и радостных. Таковы «Счастье», особенно «Степь»: это места и люди, встречавшиеся Чехову в те светлые дни, когда он вырывался из Таганрога, это его праздники юности. Много лет спустя, в 1898 году, в одном из писем к таганрожцу Иорданову Чехов с умилением и грустью вспоминал об этих вне-таганрогских впечатлениях: «Это фантастический край. Донецкую степь я

люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую бабочку. Когда я вспоминаю про эти бабочки, шахты, аур-могилу и рассказы про Зуя, Харцызца, генерала Иловайского, вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен». Именно эти впечатления, легшие в основу «Степи», имел, несомненно, в виду Чехов, когда писал Григоровичу, что на свои мелкие рассказы он их не тратил: «Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал».

Но даже эта ясно выраженная симпатия к местам, где он бывал в детстве, когда вырывался из Таганрога, не сделала его певцом Юга. Передний план в творчестве Чехова заняла средняя подоса России, ее люди и ее пейзажи, Чехов стал «Левитаном в литературе», как называли его нередко. А это значит, что оградные впечатления времен детства и юности заслонялись в его душе мрачными и скорбными впечатлениями.

Среда, из которой вышел Чехов, — городское мещанство — в его творчестве заклеяна: насмешка, гнев, презрение, в лучшем случае болезненная жалость — вот что неизменно сопровождает в произведениях Чехова фигуры городских мещан.

Наконец, третье, что бросается в глаза в картине творчества Чехова и что, несомненно, связано с его детскими впечатлениями, — это характер огромного большинства его детских фигур. В их нескончаемой галлерее дети счастливые, радостные, даже просто веселые, составляют очень редкое исключение. Большинство детей в произведениях Чехова — это одинокие, незаслуженно обижаемые дети, оскорбляемые именно в детских своих чувствах, преждевременные грустные дети.

Чехов был очень сдержан и скуп, когда дело касалось воспоминаний о его собственном детстве: они были

слишком тяжелы. Тем не менее не только в устных беседах с приятелями, но и в письмах у него иногда прорывалась эта горечь пережитого. В 1889 году в письме к писателю Тихонову Чехов замечает: «Меня маленького так мало ласкали, что я теперь, будучи взрослым, принимаю ласки, как нечто непривычное, еще мало пережитое». Тремя годами позже, в письме Чехова к Щеглову, читаем: «Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным». Еще годом позднее, в письме к брату Александру, опять: «Детство отравлено у нас ужасами».

Когда на протяжении ряда лет писатель, упоминая о своем детстве, неизменно видит его в мрачном свете, то можно ли сомневаться, что потому-то и в его произведениях детям нелегко живется? Это не значит, разумеется, что Чехов выводит себя и свое детство в образах страдающих и обиженных детей, — он очень был далек от того, чтобы в своем творчестве замкнуться в скорлупу исключительно собственных переживаний. Тут другое: пережитое в детстве сделало Чехова особенно чутким и восприимчивым к тем детским невзгодам, мимо которых взрослые так часто проходят равнодушно.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

В августе 1879 года Антон Павлович приехал в Москву и поступил в университет на медицинский факультет.

Почему он остановил свой выбор на этом факультете? Можно предполагать, что некоторую роль сыграл в этом случай, происшедший с Чеховым, когда он находился в пятом классе гимназии. По пути к своему знакомому, у которого в Донской области было небольшое имение, Чехов в жаркий день выкупался в реке, жестоко простудился и заболел. Описанный в «Степи» постоялый двор еврея Моисея Моисеевича, куда привозят заболевшего Егорушку, — страничка из истории болезни самого Чехова. Его привезли в Таганрог, и здесь болезнь приняла настолько грозный оборот, что Антон Павлович был на во-

лосок от смерти, а от некоторых осложнений не избавился до конца жизни. Лечил его в Таганроге гимназический врач Штремпф, учившийся в Дерптском университете. Врач и пациент при этом так сошлись и подружились, что Чехов стал мечтать о медицинском образовании и именно в Дерпте. Первое он осуществил, а от второго пришлось отказаться, так как вся семья его проживала в Москве.

Такова семейная версия причины поступления Чехова в Московский университет. Она в общем правдоподобна. Сам он впоследствии об избрании врачебной карьеры писал так: «о факультетах имел тогда слабое понятие и выбрал медицинский факультет не помню, по каким соображениям, но в выборе потом не раскаивался». Во всяком случае, решение это созрело не мгновенно: в гимназическом списке учеников, получивших аттестат зрелости, в графе: «в какой университет и по какому факультету или в какое высшее специальное училище желаете поступить», против имени Чехова записано: «в Московский университет по медицинскому факультету».

Об университетских занятиях Чехова известно только, что он отдавался им серьезно, с усердием. После гимназии, с ее «человеками в футлярах», молодому Чехову, с его жадным, трезвым и ясным умом, широкое университетское изучение медицинских и естественных наук должно было показаться праздником. Вдобавок и состав профессуры на медицинском факультете был тогда блестящ, — достаточно назвать имена Эрисмана, Склифасовского, Захарьина, Фохта, Остроумова. И несомненно, что если Чехов всю жизнь так ценил науку, отводя ей почетнейшее место в ряду различных родов человеческой деятельности, если не только по своим воззрениям, но и по приемам работы он больше, чем кто бы то ни было из крупных русских писателей, приближался к типу ученого, то прочное начало этому положено было его приобщением к естественным наукам в университете.

Таким образом, в плане чисто учебных интересов и занятий в жизни Че-

хова произошел крутой перелом. Но замечательно, что никакой перемены в характере общественных и политических интересов Чехова переезд его из захолустья в столицу и связь с миром студенчества не произвели: он попрежнему остался на позиции внимательно, но стороннего наблюдателя. «Товарищ он был хороший, — читаем мы в воспоминаниях о Чехове-студенте, — общестуденческой жизнью очень интересовался, часто ходил на собрания и сходки (время тогда — начало 80-х годов — было весьма бурное для студенчества), но активного участия в общественной и политической жизни студенчества не принимал». (Воспоминания д-ра Членова.) Напомним при этом, что годы пребывания Чехова в университете, особенно первые, были бурным временем не только для студенчества: 1879, 1880 и 1881 годы — это момент самой резкой борьбы народовольцев с самодержавием, закончившейся убийством Александра II, — с одной стороны, разгромом революционного движения — с другой. Сотни и тысячи семей, особенно из кругов интеллигенции, были вовлечены в эту борьбу. Молодые люди шли в тюрьмы, в каторгу, на каторжные работы; среди ушедших в революцию были и хорошо знакомые Чехову люди, тем не менее не сохранилось ни малейшего намека на то, чтобы он хоть когда-нибудь вышел из своей позиции пассивного наблюдателя. Более того: ни малейшего отражения политико-общественных моментов в жизни студенчества, хотя бы и самого объективного отражения, мы не обнаружим в произведениях Чехова, созданных им в студенческие годы.

Очень резкие перемены с переездом Чехова в Москву произошли у него в домашнем быту. Явился он в столицу не один, а с двумя гимназическими товарищами: Савельевым и Зембулатовым, которые также поступили на медицинский факультет и поселились у Чеховых в качестве нахлебников. Для семьи это было некоторым подспорьем. Кроме того, Антон Павлович выхлопал себе в Таганроге в городском управлении небольшую стипендию.

Все это было очень кстати: Чеховы сильно бедствовали в Москве. Отец занимал какую-то грошовую должность у богатого купца Гаврилова, в «амбаре» у которого он и ночевал, являясь домой только по праздникам. Дети учились, заработков не было, то-и-дело семью сгоняли с квартир. В момент приезда Антона Павловича Евгения Яковлевна обитала в двенадцатой по счету квартире — в подвальном и сыром этаже церковного дома на Грачевке, из окон которой были видны лишь ноги прохожих. Евгения Яковлевна и дети чувствовали себя угнетенными и заброшенными, не видя впереди никакого просвета.

Не меньшее значение, чем материальное подспорье, имело свежее влияние, вошедшее в семью с появлением Антона Павловича. Само собою вышло, что он сразу занял здесь положение главы: отец почти всегда отсутствовал, да и престиж его давно поублек; мать, нежная, мягкая, привыкла подчиняться, а не руководить; не годился в руководители и брат Николай по складу своей натуры, доброй, но совершенно безвольной и импульсивной; брат Александр жил отдельно от семьи. Остальные дети были еще малы. Антона все любили, ему обрадовались, он сразу оживил всех своим веселым юмором. Вокруг него завязались новые знакомства, в семье Чеховых появилась талантливая молодежь, здесь часто пели, играли, спорили, хохотали, и в недавно еще унылой семье сделалось так шумно, что... снова пришлось переменить квартиру: причт церкви Николы Драчи не выдержал и потребовал очистить подвал. Чеховы переехали по той же улице, заслуженно пользовавшейся в Москве самой незавидной репутацией. в квартиру из пяти комнат, в дом Савицкого. Жизнь обитательниц этой улицы, проституток, населявших многочисленные дома терпимости, дала Чехову позднее материал для его «Припадка».

И вот девятнадцатилетний студент-первокурсник в труднейших условиях становится главою большой семьи, выполняя затем эту обязанность длинный ряд лет, пока распалась самая семья.

Он был очень неопытен и даже прямо беспомощен, но он не растерялся. И когда внимательно изучаешь материалы его жизни, то постепенно выясняется, что у Чехова был какой-то твердый и определенный принцип, которым он руководился в этом сложном и трудном положении. В чем этот принцип состоял, мы поймем из нескольких строк в воспоминаниях М. П. Чехова. Нередко преувеличивая сущие пустяки и подробно распространяясь о разных анекдотических эпизодах из жизни Антона Павловича и его окружения, М. П. Чехов, явно не придавая слишком большого значения тому, что он пишет, лаконически сообщает: «Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотолде резкие, отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и т. д.

Вот это в мещанской семье Чеховых и было новым принципом: утверждение человеческого достоинства, с которым несовместимы ложь и несправедливость. С уверенностью можно сказать, что протест против стихии мещанства зародился и созрел в душе Чехова, когда он еще был гимназистом, что там же, когда он был предоставлен самому себе, это оформилось у него в твердый принцип оберегания человеческого достоинства, смысл и значение которого не сразу был понят даже близкими ему людьми. Еще за три года до приезда в Москву он, получив письмо от брата Михаила, который был моложе его на пять лет, отвечает (это первое дошедшее до нас письмо Чехова): «Почерк у тебя хорош и во всем письме я не нашел у тебя ни единой грамматической ошибки. Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и незаметным братишкой». Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай, знаешь, где? Перед богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну и уважай в себе честного малого и знай,

что честный малый не ничтожность».

Этот прекрасный урок человеческого достоинства был прочитан шестнадцатилетним братом одиннадцатилетнему. Но такой же урок спустя несколько месяцев Антон дал и старшему брату, студенту Александру, которому в то время был уже двадцать один год. В январе 1886 года, поздравляя Антона Павловича с рождением и именинами, он вспоминает, между прочим, о первом приезде гимназиста Антона в Москву на праздник (в конце 1876 г.) и пишет: «Помню, как мы вместе шли, кажется, по Знаменке (не знаю наверное). Я был в цилиндре и старался как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах. Для меня было по тогдашнему возрасту важно обозначить себя чем-нибудь перед тобою. Я рыгнул какой-то старухе прямо в лицо. Но это не произвело на тебя того впечатления, какого я ждал. Этот поступок покорибл тебя. Ты со сдержанным упреком сказал мне: «Ты все еще такой же ашара (бездельник), как и был». Я не понял тогда и принял это за похвалу».

По этим замечаниям братьев Чеховых, — Михаила о том, что выражения «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» прозвучали в их семье чем-то совершенно новым и непривычным, и Александра, который даже не понял реакции Антона на его грубую выходку в отношении старухи, — по этим замечаниям не трудно понять, какой дух царствовал в семье Чеховых, какую резкую перемену внес в нее Антон Павлович и какая большая работа совершалась в нем в течение трех лет его одинокого жительство в Таганроге.

Много лет позднее, в 1889 году, в знаменитом письме к Суворину, которое по справедливости стоит в центре всех биографий Чехова, он набросал поразительную картину этой внутренней, скрытой, но могучей работы: «Напишете-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок

хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калаша, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...».

Таким образом, Чехов сознательно поставил себе цель, достижение которой считал важнейшим делом жизни, — искоренить в себе мещанина. Средством же для достижения этой цели он избрал упорное перевоспитание самого себя.

Законно поставить вопрос: почему, вступая в борьбу с мещанством, Чехов избрал путь индивидуалиста-одиночки? Почему он не примкнул к общественно-политическому движению студенчества?

Причины могли быть и, несомненно, были весьма сложны. Но, во всяком случае, одной из причин было то, что конкретные представители передовых идей в той среде, где вращался Чехов, ему не импонировали. Люди прогрессивных взглядов представлялись ему зараженными теми самыми пороками, как и все прочие. Чехов же отказывался рассматривать человека порознь — со стороны его взглядов и со стороны его поступков. Если поступки, «дела» человека расходились с его взглядами, то в глазах Чехова теряли свою цену и последние, превращаясь в своего рода ширму для лицемерия. В 1888 году он, в письме к Плещееву, говорит об этом в очень определенных выражениях: «Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским [либеральные журналисты того времени]. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым и ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и яр-

лык я считаю предрассудком. Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Когда писались эти строки, у Чехова за спиной было уже десять без малого лет литературной работы.

Точно приурочить начало его литературной деятельности к определенной дате очень трудно и едва ли даже возможно: как мы выше видели, еще в гимназии, во всяком случае не позднее 1875 года, он самостоятельно составляет журнал «Заика», посылая его братьям в Москву, а затем направляет туда же разного рода произведения, из которых иные Александр Чехов отсылает в журнал «Будильник». Возможно, что кое-что и было там напечатано, — установить это до сих пор не удалось. и, таким образом, нельзя с уверенностью говорить не только о том, когда Чехов начал писать для печати, но даже и о том, когда появились его первые печатные строки. Сам он на этот счет давал крайне сбивчивые указания: то «писать начал в 1879 г.», то «начал писать в 1880 году», а в одном случае он с полной определенностью указывал: «24 декабря [1888 года] я праздную 10-летний юбилей своей литературной деятельности», из чего с несомненностью вытекало, что дебют Чехова состоялся 24 декабря 1878 года. Это не помешало Антону Павловичу впоследствии написать: «Первая безделушка в 10—15 строк была напечатана в марте или апреле 1880 г. в «Стрекозе». Действительно: поиски чеховского произведения в номерах газет и журналов, датированных 24 декабря 1878 года, до сих пор были безрезультатны. С другой стороны, в «Стрекозе» за 1880 год, в № 10, датированном 9 марта, т.-е. вполне согласно с указанием Чехова, было обнаружено его произведе-

дение, но это не «безделушка в 10—15 строк», а довольно большой очерк, размером в 4—5 страниц.

Есть все основания полагать, что Чехов начал печататься не позже 1878 года. Вероятно, его первое произведение было заметкой в несколько строк. Но точно установить ее — задача будущего, а пока литературным дебютом Антона Павловича почитается очерк из № 10 «Стрекозы» за 1880 г., название которого: «Письмо Донского помещика Степана Владимировича к ученому соседу д-ру Фридриху». Подписано оно так: «... вь». В том же номере помещено второе произведение Чехова: «Что чаще встречается в романах, повестях и т. п.?» , подписанное «Антоша».

Обе эти вещи — однородны. Первая является пародией на глубокомысленные рассуждения самоуверенного, но ограниченного и невежественного человека. Заметка «Что чаще встречается в романах, повестях и т. п.» — насмешливое перечисление избитых и пошлых литературных приемов.

Характер литературного дебюта Чехова тем более заслуживает внимания, что он не был случаен: в том же 1880 году он поместил в «Стрекозе» еще два очерка — «Каникулярные работы институтки Наденьки N» и «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь», также являющиеся пародиями: первый — на ученические работы, второй — на литературную манеру Виктора Гюго, которому, между прочим, очерк иронически посвящен. Таким образом, из девяти вещей Чехова, напечатанных в первый год его литературной деятельности, почти половина приходится на пародию или нечто, ей родственное. В истории литературы это, кажется, единственный случай, когда деятельность крупного писателя начинается с литературной пародией. Во всяком случае это обстоятельство свидетельствует о большом внимании начинающего писателя к литературной форме, но также и о том, что глубоко волнующих тем или вопросов перед Чеховым в то время не стояло: иначе они непременно прорвались бы в первых же его вещах, что обычно

и наблюдается в произведениях начинающих писателей.

Воспоминания близких Чехову людей подтверждают, что когда Антон Павлович делал свои первые литературные шаги, то едва ли им руководила потребность «высказаться». Дело было проще: семья испытывала сильнейшую нужду, каждая копейка была на учете. Старший брат Александр, живший отдаленно, уже подрабатывал кое-что, сотрудничая в мелкой прессе, преимущественно в юмористической. По этой проторенной дорожке в поисках заработка направился и Антон Павлович, еще в гимназии с успехом упражнявшийся в писании то водевилей, то смешных сценок.

Печатанье в «Стрекозе» юмористических очерков и сценок удовлетворяло с детских лет обозначившуюся потребность Чехова создать смешное и в то же время доставляло заработок, что было очень для него важно. Естественно, что, испытав первую удачу, он с усердием стал писать и посылать в журнал всевозможную юмористику. Но тут же ему довелось испытать и первые разочарования. В почтовом ящике «Стрекозы» то-и-дело стали появляться такие обращения редакции по адресу Чехова:

«Ужасный сон» только тем и ужасен, что невозмутимо повторяет всем надоевшие темы».

«Несколько строк не искупают непророчно пустого словотолчения. Мы говорим о «Ничего не начинай».

«Очень длинно и бесцветно; нечто в роде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой».

«Не расцвев, увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к делу».

Сейчас эти характеристики чеховских юмористических вещей производят впечатление полной нелепости. Ведь с именем Чехова у нас прочно связано представление о поразительном литературном мастерстве, первой же особенностью которого является непревзойденная сжатость, краткость и выразительность. И вдруг: «очень длинно и бесцветно», «пустое словотолчение» и т. д. Биографы и почитатели Чехова

не раз объясняли это противоречие попросту тем, что-де в редакции «Стрекозы» сидели тупые и невежественные люди, лишенные малейшего литературного чутья.

Однако это не совсем так: в первые годы своей литературной деятельности Чехов действительно написал множество крайне слабых вещей. Для читателей и даже для некоторых его критиков и биографов это долго оставалось неизвестным, потому что, подготавливая издание первого полного собрания своих сочинений, Чехов в конце 90-х годов произвел очень строгий их отбор. Явно неудачные он при этом совершенно забраковал и отбросил. Остальные, прежде, чем включить в собрание, заново и тщательно отредактировал. Вот по этому отфильтрованному лучшему, да еще улучшенному мастером в пору его полной зрелости, и составили себе читатели, критики и биографы представление о Чехове. Таким образом, из поля их зрения выпало все то слабое, что было им создано в первые годы, и естественно, что приведенные выше характеристики должны были казаться им чудовищными.

Впрочем, и впоследствии, когда было разыскано в старых журналах и включено в полное собрание сочинений Чехова решительно все, что было им когда-либо напечатано, самые слабые вещи Чехова остались все-таки неизвестны: забракованные в редакциях юмористических журналов, они, за редкими исключениями, там и погибли. Например, в почтовом ящике «Стрекозы» перечислен ряд отвергнутых произведений Чехова: «Прощение», «Ужасный сон», «Легенда», «Портрет». Ни одно из них никогда не увидело света, — вероятно, Чехов и не пытался пристроить их в другие журналы.

Но даже среди напечатанных произведений Чехова, не включенных им в полное собрание сочинений, многие до такой степени слабы, что резкие характеристики «Стрекозы» были бы и по отношению к ним не совсем несправедливы. Вот несколько строк из очерка «За яблочки», напечатанного в первый год литературной деятельности Чехова:

«Между Понтом Эвксинским и Соловками, под соответственным градусом долготы и широты, на своем черноземе с давних пор обитает помещичек Трифон Семенович. Фамилия Трифона Семеновича длинна, как слово «естествоиспытатель», и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленнейших человеческих добродетелей». Или из того же рассказа: «Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович — порядочная-таки скотина».

Ничем иным, как словотолчением, это и нельзя назвать, и несомненно, что когда Чехов созрел, его приговор над подобного рода произведениями был чрезвычайно суров, — недаром в свое собрание сочинений он не включил ни единой строки из всей продукции первых лет своей деятельности. Более того, и в молодые годы Антон Павлович не склонен был давать преувеличенную оценку своим очеркам и сценкам и едва ли чрезмерно обижался на «Стрекозу» за ее шпильки. Но все же приведенная выше общая пессимистическая оценка его работы, «Не расцвет, увядаете» и т. д., повидимому, уязвила Чехова: она была напечатана в номере пятьдесят первом «Стрекозы» за 1880 год, и после этого мы уже не находим его вещей в названном журнале. Верное самочувствие подсказывало молодому автору, что если отдельные его вещи и плохи, если редакция права, отвергая их, то в своей общей оценке она заблуждается.

В деятельности Антона Павловича наступает перерыв, тянувшийся полгода, а затем он находит для своих произведений новое место: юмористические журналы «Будильник» и «Зритель». Впрочем, и 1881 год — второй в литературной деятельности Чехова — был малоплодовит: тринадцать произведений небольшого размера. Но уже в следующем, 1882, году продукция резко возрастает: тридцать два произведения, из коих три крупных по размеру: «Ненуж-

ная победа», «Живой товар» и «Цветы запоздалые».

Вообще 1882 год должен быть отмечен как первый год настоящей и довольно напряженной работы начинающего писателя. С этого же года начинается его сотрудничество в лучшем по тогдашнему времени юмористическом петербургском журнале «Осколки», редактором которого был Лейкин, писатель-юморист, не лишенный дарования, но малокультурный и очень прижимистый человек. Как редактор он обладал драгоценным свойством: жадно выуживать отовсюду способных сотрудников и цепко за них держаться. Когда приятель Чехова по мелкой московской прессе поэт Пальмин, раньше всех учувший незаурядное дарование Антона Павловича, указал на него Лейкину, последний с обычной своей цепкостью за него ухватился. Он сразу распознал, что в молодом студенте-медики, охотно доставляющем юмористическим журналам сколько угодно и любых размеров очерки на какую угодно тему, есть что-то отличающее его от других поставщиков неприязнательного увеселительного чтения. В самом конце 1882 года Чехов выступил в его журнале, и тотчас же Лейкин пустил в ход все старания, чтобы прочно привязать молодой талант к «Осколкам» и выжать из него все, что возможно. Результаты не замедлили сказаться: на 1883 год падает сто двадцать произведений Чехова, из коих восемьдесят пять появились в «Осколках»; еще резче эта пропорция в сторону «Осколков» в следующем (последнем студенческом) году: из ста двух произведений только двадцать три прошли мимо Лейкина, да и то часть из них не подходила по размерам для его журнала. Дело нередко доходило до того, что Чехов бывал вынужден оправдываться перед Лейкиным, если помещал рассказ не в его журнале. Впрочем, он этим и не тяготился: он считал сотрудничество в «Осколках» большим своим успехом, принимал к сердцу интересы журнала, оживленно и с видимой охотой обменивался письмами с Лейкиным (это была первая переписка Чехова с настоящим писателем), к его

советам и замечаниям относился со вниманием. Впоследствии Лейкин приписывал себе честь «открытия» Чехова: «Как писателя, Чехова я отыскал», — писал он. Это конечно, неверно, честь эта принадлежит по справедливости Пальмину. Но верно то, что в истории литературного развития Чехова Лейкин и «Осколки» занимают определенное место; недаром Чехов писал к Лейкину в 1887 году: «Осколки» — моя купель, а Вы — мой крестный батька».

Требования редактора к его новому сотруднику были несложны: Чехов должен был писать только в юмористическом роде и непременно коротко, а о чем — это было для Лейкина безразлично. Не прошло и нескольких месяцев работы Чехова в «Осколках», как Лейкин создал для него новый и специальный отдел: «Осколки московской жизни». Это были чисто публицистические обзоры, где в легкой, неприязнательной форме сообщалось о разного рода эпизодах, фактах и событиях из жизни столицы. Чехов начал эти обзоры с июля 1883 года и вел их затем почти до конца 1885 года. В результате в течение ряда лет редкий номер «Осколков» не заключал в себе того или иного произведения Антона Павловича, а во многих номерах их появлялось сразу по два, по три.

С произведениями покрупнее Чехов обращался в другие органы: в «Будильник», в газету «Новости дня», где он поместил, между прочим, одно из самых больших своих произведений — «Драма на охоте», в «Мирской толк», «Москву», «Свет и тени», «Развлечение» и т. д. После того как Чехов сделался постоянным сотрудником «Осколков», его охотно стали печатать во всех органах мелкой прессы. Ревнивый Лейкин и тут постарался не выпустить Чехова из сферы своего влияния и устроил его сотрудником в «Петербургской газете», с редактором которой находился в приятельских отношениях.

И вот в ряде газет и журналов замелькали рассказы, очерки, анекдоты, сценки, обзоры, а то даже целые отделы под различными заглавиями: «О том, о сем», «Комары и мухи», «Фин-

тифлюшки», подписи под всем этим были также разнообразны: «Чехонте», «Антоша», «Антоша Ч.», «Г. Балдастов», «Человек без селезенки», «Брат моего брата» (намек на Александра Чехова, ранее Антона Павловича вступившего в ту же прессу), «Рувер», «Улисс» (последние два специально для «Осколков московской жизни») и т. д. Если притом вспомнить, что, печатая в год по сто и более вещей, Чехов продолжал с усердием учиться на медицинском факультете — наиболее, пожалуй, трудоемком из факультетов, — то нельзя будет не признать его литературную производительность поистине сверхъестественной. Она, несомненно, выходила далеко за пределы его внутренней потребности в юмористическом творчестве и диктовалась в некоторой степени настойчивостью Лейкина, а еще более — нуждой.

Из нее Чехов не мог выбиться даже при этой чудовищной производительности, что и немудрено: гонорар за свои рассказы он получал поистине нищенский, обычно пять копеек со строки, восемь — уже хорошо. Таким образом, за рассказ, который по условиям с Лейкиным не должен был превышать ста строк, Чехов получал от трех до пяти рублей. Покойный биограф Чехова Измайлов, в распоряжении которого были подлинники листы из конторских книг «Осколков», произвел подсчет заработка Антона Павловича за целый 1886 год. Оказалось, что за сорок девять произведений Чехов получил всего шестьсот сорок два рубля сорок восемь копеек. А между тем он в то время уже пользовался известностью, быстро входил в моду, а в числе указанных сорока девяти произведений находились такие шедевры, как «Анюта», «Аптекарьша», «Муж», «Длинный язык», «Оратор», «Произведение искусства» и т. д. «Осколки» хоть платили аккуратно своим сотрудникам, во всех же других журналах гонорар приходилось вымалывать, выплачивали его по рублю, по три, нередко вместо денег сотрудникам предлагались даровые билеты в театр или записки к портному на получение пары брюк. Антон Павлович, чтоб не терять

много времени на получение гонорара, выдал своему младшему брату доверенность, с которой тот и обходил чуть что не ежедневно все журналы, проводя иной раз в конторе целые часы в ожидании, пока разносчики, торговавшие в розницу газетами и журналами, приносили свою выручку. Доверенность эта, составленная в форме забавного «медицинского свидетельства», сохранилась до наших дней.

Повидимому, материальная нужда, от которой Чехова не могла освободить самая напряженная работа, послужила камнем преткновения при попытке молодого писателя издать первый сборник своих произведений. Дело это было им задумано в 1883 году. Для сборника он подобрал двенадцать своих произведений, брат Антона Павловича, Николай, талантливый художник, изготовил целый ряд рисунков, иллюстрирующих текст, придумано было и название: «На досуге». Но, повидимому, у автора не хватало денег для расплаты с типографией, которая, изготовив первые семь листов книги, прекратила работу над сборником. От него уцелел только один комплект этих семи листов, в настоящее время хранящийся в Московском литературном музее.

Спустя год Чехов повторил попытку, на этот раз с успехом: в 1884 году выходит первый сборник его произведений, названный автором «Сказки Мельпомены», — шесть рассказов из жизни театральных людей. Характерно, что, хотя все рассказы написаны были Чеховым незадолго до этого, он для отдельного издания заново и тщательно их отредактировал. Сборник получился небольшой, в девяносто шесть страниц, стоимостью в шестьдесят копеек, но и его Чехову пришлось напечатать в кредит с рассрочкой уплаты за типографские расходы в течение четырех месяцев. Анонс о выходе сборника гласил: «Антоша Чехонте. Сказки Мельпомены. Ц. 60 к. Книгопродавцам скидка. Приятелям gratis [бесплатно]».

Еще в начале 1883 года Чехов в письме к брату Александру сообщал: «Становлюсь популярным и уже читал на себя критики». Несмотря на то, что

о критике здесь говорится во множественном числе, до сих пор не удалось найти ни одного отзыва той поры о произведениях Чехова. Не исключено, впрочем, что Антон Павлович имеет здесь в виду критику в частных письмах — хотя бы того же Лейкина. Картина сразу меняется с выходом в свет «Сказок Мельпомены». Об этом сборнике отзывы появились не только в газетах (в «Новороссийском телеграфе», в «Новом времени»), но и в журналах: «Театральном мире» и в ежемесячном журнале «Наблюдатель», в отзыве которого сказано: «Написаны рассказы недурно, читаются легко; содержание их и выведенные в них типы близки к действительной жизни». Наиболее метким и значительным был отзыв «Новороссийского телеграфа» в заметке, подписанной «Яго». Под этим псевдонимом скрывался П. А. Сергеенко, товарищ Чехова по гимназии. «Книга очень интересная, — писал он, — ... рассказы А. Чехонте живьем вырваны из артистического мира. Все они небольшие, читаются легко, свободно и с невольной улыбкой. Написаны с диккенсовским юмором: и смешно, и за душу хватает...» и т. д.

В обширной литературе, посвященной Чехову, неоднократно ставился вопрос, кому принадлежит честь первого указания, что в Антоше Чехонте, молодом авторе смешных пусячков, таится громадный талант. Эту честь приписывали многим: Григоровичу, Суворину, тому же Сергеенко. Выше мы видели, что приятель Чехова, поэт Пальмин, еще в конце 1882 года отметил дарование Антона Павловича и рекомендовал его Лейкину. Пальмин писал тогда Чехову: «Читал некоторые ваши хорошенькие остроумные вещицы, на которые обратил внимание среди действительно бездарной, бесцветной и жидкой бурды московской». Мы знаем, что еще в 1878 году писатель С. Соловьев, прочитав присланные Чеховым-гимназистом произведения, сказал: «Со временем, кто знает, может выйти дельный писатель». В мае 1883 года в частном письме к Чехову сотрудник юмористических журналов Сушков писал: «В недолгое время

Вы своими трудами очень выдались из числа рядовых литературных тружеников и рабочих. Стали, без сомнения, известны в редакциях как молодой, даровитый и многообещающий в будущем писатель». Когда Чехов в конце 1879 года послал в «Стрекозу» свое «Письмо Донского помещика...», то редакция в почтовом ящике живо откликнулась: «Совсем не дурно. Присланное поместим, благословляем на дальнейшее подвижничество». Со стороны Лейкина также не было недостатка в поощрительных отзывах по адресу начинающего писателя.

Как видим, целый ряд лиц как будто имеет право претендовать на честь предсказателя славы Чехова. В действительности это не совсем так: общий тон почти всех приведенных отзывов имеет либо гадательный характер, либо «сравнительный»: на фоне бездарности других — Чехов выделяется. По-настоящему, членораздельно и смело предсказал Чехову славу писатель Григорович в письме, речь о котором будет ниже, но письмо это было написано только в 1886 году. Быть может, недостаточно внимания уделили биографы Чехова его письму к брату Александру от октября 1883 года, где Антон Павлович сообщает о своей встрече с Лесковым, называя его своим любимым писателем. Описывая разговор с полупьяным Лесковым, Чехов приводит дословно, в кавычках, следующую фразу последнего: «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида. Пиши».

Если учесть, что Лесков знал себе цену, то, отвлекшись от своеобразной формы приведенной тирады, ее придется признать первым по времени смелым предсказанием будущего значения Чехова. В октябре 1883 года общий колорит того, что Чеховым было написано, нельзя назвать иначе, как серым. Впрочем, Лесков едва ли и мог знать все, что было к тому времени напечатано Чеховым: все это было разбросано по мелким органам и печаталось под множеством псевдонимов. Всего вероятнее, что свое суждение о таланте молодого писателя он составил по его нескольким удачным последним вещи-

цам — «Загадочная натура», «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона». «Ошибка», «Толстый и тонкий».

Надо, однако, прямо сказать, что эти жемчужины составляют незначительный процент в сумме того, что создавалось тогда Чеховым. Следующий год, 1884, он же и последний университетский год Чехова, уже гораздо богаче блестящими миниатюрами. Здесь мы находим «Орден», «Жалобную книгу», «Экзамен на чин», «Хирургию», «Хамелеон». «Надлежащие меры». «Винт», «Маску» и т. д. Но все же количество неудачных вещей явно преобладает. В частности, в этом году Чехов печатает в газете «Новости дня» большое произведение, роман «Драма на охоте», лишь местами поднимающийся над уровнем типичной газетной беллетристики, зато изобилующий чрезвычайно безвкусными страницами.

Когда из-под пера писателя одновременно выходят шедевры и вещи ничтожные, то, как правило, это указывает на какие-то искривления в процессе его роста, обусловленные неблагоприятными обстоятельствами. Это ясно говорит о том, что талант писателя уже созрел до возможности давать подлинное искусство, но что в машину этого таланта то-и-дело попадает песок и портит ее работу.

В студенческие годы Чехова это было именно так. Целый ряд неблагоприятных обстоятельств задерживал и портил рост этого громадного таланта. Прежде всего, надобно напомнить, что когда Чехов складывался как писатель, в начале 80-х годов, Россия вступила в полосу глухой общественной реакции, отравлявшей жизнь трусостью, цинизмом, подхалимством, предательством, шовинизмом. Притом непосредственное окружение Чехова составляла та мелкая третьесортная газетно-журнальная среда, которая особенно «чутко» воспринимает перемены политической погоды, мгновенно перекрашиваясь и оплевывая свой вчерашний день. Характеристику этой среды, исполненную скорби и отвращения, мы находим в письме Чехова

к брату Александру от 1883 года: «Я, брат, столько потерпел и столь возненавидел, что желал бы, чтобы ты отрекся от имени, которое носят уткины и кичевы (Чехов употребляет здесь в нарицательном смысле имена типичных деятелей мелкой прессы). Газетчик, значит, по меньшей мере жулик, в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя».

Крайне тяжело отзывалось на росте дарования Чехова вынуждаемое бедностью чудовищное многописание. Превратясь в машину, фабрикующую чуть что не ежедневно по рассказу, Чехов, естественно, не мог уделять этой работе того внимания и той любви, каких требует серьезное творчество. Более того, он не мог и уважать свою работу, чего Антон Павлович и не скрывал: вскоре, в 1886 году, он прямо так и скажет в письме к Григоровичу. «Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря». И как характерно в этом отношении начало его письма к Лейкину от 1884 года: «Шлю вам свои литературные экскременты в воскресенье». Это, конечно, шутка. Но пройдет несколько лет, и такие шутки станут невозможны у Чехова.

Несомненно, вредное влияние на развитие его таланта оказывало непреклонное требование Лейкина, чтобы все, присылаемое Чеховым, было юмористично. Оно срезало побеги всяких иных настроений и стремлений молодого писателя — грустных, негодующих, лирических и т. д. А они были у Чехова, и эта необходимость во что бы то ни стало «смеяться» по любому поводу удручала его уже издавна. Получив от Лейкина замечание, что присланные ему рассказы «Верб» и «Вор» недостаточно юмористичны, Чехов пишет: «Правду сказать, трудно за юмором угоняться. Иной раз погонишься за юмором, да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет».

(Продолжение следует)

Н. П. Хмелев¹

П. НОВИЦКИЙ

★

1

В наиболее слаженном ансамбле, какой когда-либо возникал в художественном театре, — в «Днях Турбиных» — самая глубокая лирическая партия сыграна Н. П. Хмелевым. Молодой актер, который играл до тех пор только стариков и имел неустановившийся голос, получил «геройскую» роль и сыграл ее с силой, редкой даже для Художественного театра. Актеры и зрители поняли, что второе поколение театра достигло творческой зрелости старой его гвардии. Фигура Хмелева в период постановки «Дней Турбиных» стала наиболее характерной для тематических и творческих тенденций Художественного театра. К его голосу начинает прислушиваться весь театр. Исконные традиции Художественного театра получили в лице Хмелева свое наиболее чистое и свежее выражение. Для него понятие означало простить и оправдать. Подлинный объективизм в раскрытии характера для него заключался в наиболее глубокой передаче субъективной правды изображаемого человека.

После 1926 года Художественный театр в лице лучших своих представителей продолжал страстные поиски художественной правды. Равнодушие, самоуспокоенность, бесстрастное обывательское созерцание окружающего, довольство достигнутым, духовная сы-

тость глубоко враждебны природе Художественного театра. Театр продолжал углублять свою художественную методологию. Он понял, что подлинный объективизм в художественном познании заключается не только в глубокой передаче субъективной правды изображаемого человека, но и обязательно в оценке объективных результатов его поведения. Понять — значит оценить. Театр начинал постигать, что подлинная правда в искусстве не есть жизненная правда вообще, которая дает утешение отдельным людям и ничего не изменяет в действительности, подлинная правда в искусстве есть живая партийная правда, заинтересованная в счастье и благополучии миллионов людей, пристрастная правда, которую можно найти и завоевать только в борьбе и работе. Такое понимание правды обязывает к вскрытию корней и тенденций развития характера, к требовательности и страстности в оценке человека. В таком понимании художественной правды, в признании принципа партийности и в глубоком его осуществлении на практике смысл идейно-творческого развития Художественного театра за последнее десятилетие. Кто этого не понимает, тот не разбирается в основных процессах развития социалистического театра и мало уважает Художественный театр.

Важнейшим этапом на этом пути были два спектакля Художественного театра — «Враги» Горького и «Анна Каренина». Во «Врагах» наиболее темпера-

¹ Из книги «Образы актеров».



Народный артист СССР Н. П. Хмелев.

ментно и глубоко раскрыли характеры своих персонажей Качалов и Хмелев. Эти два актера оказались на высоте нового этапа в жизни своей страны и своего театра. В «Анне Карениной» выразителем идейно-творческой глубины театра оказался Хмелев. Его Каренин — высшее достижение Художественного театра в последний период. Исполнением этой роли Хмелев может гордиться — с ней он вошел в ряды первых актеров страны. И в то же время роль Алексея Каренина является ответом на роль Алексея Турбина.

В промежутке между Турбиным и Карениным Хмелев сыграл роль князя

в «Дядюшкином сне» и роль царя Федора. Значение этих ролей до сих пор не вполне понято. В них актер с потрясающей лирической силой намечал свой путь на ближайшее будущее, страстно отыскивал тот основной образ, который его более всего интересует и который он намерен развивать в своем творчестве все глубже и яснее. В них он показал искажение облика человека в условиях рабовладельческого общества, чтобы через них прийти к настоящему положительному образу нового человека, свободного, благородного и непреклонного.

Актерский путь Хмелева есть путь страстных исканий и борьбы. Академи-

ческое спокойствие, холодное равнодушные и душевная благоустроенность органически чужды его облику.

2

Своим образованием, ростом своего дарования Хмелев обязан матери. Раиса Львовна была талантливым, самостоятельным, стойким и мужественным человеком. Годы нужды и каторжной работы не могли сломить светлой жизнерадостности и веселости ее духа. Она рано вышла замуж за чертежника Сормовского завода П. П. Хмелева. Он был человек малообразованный, но очень трудолюбивый, добросовестный и честный. Женившись, он бросил место чертежника и перешел младшим мастером в паровозостроительный цех. Целые дни он был на работе, приходил домой поздно вечером, весь измазанный маслом, усталый и закопченный. Выслуживаться не умел, начальство его не жаловало и не продвигало.

В этой семье и родился в Сормове Н. П. Хмелев 23 августа 1901 года.

Зарботка отца нехватало на жизнь, семья очень нуждалась, и мать решила зарабатывать уроками музыки. Чтобы получить квалификацию, она поступила в музыкальную школу в Нижнем-Новгороде, окончила ее и начала давать уроки музыки в семьях инженеров. Работала круглые сутки, стала хорошо зарабатывать и создавать более культурные условия для своих детей. В расщепку купила пианино Дитерикс, иногда устраивала у себя музыкальные вечера, на которых исполнялась только классическая музыка. Раиса Львовна очень тонко разбиралась в искусстве — салонная музыка ей претила, она не выносила фальши. Эта маленькая, худая, подвижная женщина, с крупными чертами лица, с темными волосами и карирами задумчивыми глазами, обладала неиссякаемой энергией и предприимчивостью. Она никогда не падала духом и воспитывала стойкость в своих детях. Она обладала острым юмором, всегда шутила, всегда кого-нибудь изображала, при этом проявляла огромную изобретательность и тонкий вкус. Ее суждения

отличались меткостью и смелостью. Задавленная работой, бегая по урокам, возясь с нахлебниками, она находила время посещать митинги, читать, разучивать серьезные музыкальные вещи. Ее живой, радостный смех наполнял квартиру Хмелевых молодостью и солнцем.

Хмелев был крайне впечатлительным, нервным и капризным мальчиком. Самые первые его впечатления связаны с заводом. Он помнит волнующуюся рабочую массу, возбужденные голоса, горящие глаза. Ясно помнит, как под окнами их дома в конце 1905 года казаки расстреляли человека. Помнит кровь и дребезжание пролетки, на которой отвозили труп.

Когда мальчик подросток, его поместили в частное сормовское реальное училище Субботиной, а когда оно закрылось — во 2-ю нижегородскую гимназию. Учился он хорошо и переходил из класса в класс с наградами. К этому времени относится первое увлечение книгами и рисованием. В Канавине жил преподаватель рисования Копьев, энтузиаст и чудак, умевший заражать своих учеников любовью к искусству. Он первый познакомил Хмелева с великими русскими художниками. Мальчик стал со страстью заниматься акварелью, всматриваться в природу и рисовать пейзажи.

Он целые дни проводил на улице, на Волге, в лесах за рекой.

Самое замечательное — ночи у Растяпинского бора. С одной стороны высокий, обрывистый берег, с другой — заливные луга. Великолепный бескрайний простор. Ребятишки тихо сидят в лодке и прислушиваются к тишине прозрачной ночи. Далеко горят костры. Тихо приближается бледное, грустное, безмолвное летнее утро. Замечательное ощущение!

Дома в кладовой были свалены книги. Мальчик брал свечу, шел в кладовую и там часами сидел за книгами. Читал все подряд, запоем. Самое сильное впечатление произвели книги Толстого и Достоевского. Очень увлекался Достоевским, по несколько раз перечитывал его романы.

В 1914 г. отец уехал в Москву искать работу. Со своим сормовским начальством он окончательно поссорился и должен был уйти с завода. Два года он жил в Москве один, устроился на завод «Шарикоподшипник» на Шаболовке. Когда отец уехал в Москву, мальчик по настоящему почувствовал влияние матери. Она много рассказывала о своей прошлой жизни, играла на пианино, вечерами мечтала вместе с сыном о будущей замечательной — свободной и гордой — жизни.

В 1916 г. семья тоже переехала в Москву. Жили на окраине города за Спаской заставой, около боен. Хмелев поступил в 5-й класс 6-й московской гимназии. Учился хорошо, с увлечением готовил доклады по истории и литературе, много рисовал, все свободное время проводил в Третьяковской галлерее. Очень полюбил Левитана и Репина. Стал мечтать о поступлении в Строгановское училище. Годы были трудные и тревожные. Мать возобновила свою педагогическую работу в Москве, но зарабатывала мало. Она перешла штатной преподавательницей в музыкальную школу в Замоскворечье. Нужно было зарабатывать и сыну. Он поступил рассыльным на городскую железную дорогу.

Наступили годы революции. К ним мальчик отнесся с повышенным интересом, но истинного смысла событий не понимал. Отец приветствовал революцию, голосовал за большевиков, но держался пассивно.

С 1918 года отец стал работать техническим агентом в Гособъединении машиностроительных заводов. Во время одной из командировок он заболел тифом и умер в 1919 г.

После смерти отца Хмелев еще больше почувствовал заботу матери. Она с необычайным тактом и чуткостью оберегала сына как одаренного человека, пыталась развить его вкус и укрепить его веру в свои силы. Никакой режиссер и педагог не могли заменить эту материнскую заботу о творческом росте сына.

Она хотела создать сыну наиболее благоприятные материальные условия. В

музыкальной школе заработок был небольшой, пришлось бросить эту работу и поступить телеграфисткой на телефонную загородную станцию. Раиса Львовна вела там большую профсоюзную работу и была одной из основательниц кружка безбожников на предприятии. Ее энергия была неистощимой. Она была настоящей советской активисткой: стойкой, честной и гордой. В 1933 году она заболела воспалением легких и умерла.

3

Преподавателем литературы в 6-й гимназии был В. В. Симоновский. До встречи с Симоновским Хмелев никогда не думал о театре. Он готовился стать художником. В Сормове он помнит несколько детских спектаклей, но они не оставили никакого впечатления. Симоновский очень хорошо знал московские театры, в особенности Художественный. Это был культурный, крайне впечатлительный, увлекающийся человек. Он подружился со своим юным учеником и заразил его своей любовью к театру. Это определило жизненный путь Хмелева. К театру его толкнули классическая музыка матери, занятия живописью и пылкость Симоновского. Начался период запойного увлечения театром. Надо было все узнать и все видеть. Хмелев пересмотрел все спектакли в Малом и Большом театрах, в Художественном, Камерном, Незлобинском. Стал пробовать свои силы. Впервые выступил на гимназическом концерте с чтением ролей Берендея из «Снегурочки», Осипа из «Ревизора», мельника из «Русалки» и Вальсингама из «Пира во время чумы». Товарищи говорили о больших способностях. Хотелось им верить. Когда образовалась группа товарищей, мечтавших о поступлении в театр, Хмелев к ней примкнул.

После окончания гимназии Хмелев поступил на историко-филологический факультет Московского университета, побывал два раза на студенческих собраниях и этим ограничился. Захватили другие интересы. В августе 1919 г. товарищи Митя Соколов, Бажанова и Ник записались держать экзамены в шко-

лу Художественного театра. Записали и Хмелева. Ноик достала письмо к Лужскому. Лужский прослушал Хмелева в фойе Художественного театра и не особенно одобрил. «Вам надо очень много заниматься, — сказал Лужский. — Не знаю, стоит ли вам идти в театр. Есть, повидимому, способности, но какие — трудно определить». Он рекомендовал Хмелеву пойти к Бабанину, — может быть, он возьмет в свою студию.

Бабанин прослушал, тоже не сказал ничего определенного и обещал переговорить с Мчеделовым, от которого зависело допущение к конкурсу в школу МХАТ. Одновременно Хмелев попал на предварительные приемные испытания к Вахтангову. Читал басню «Кот и повар» и роль Осипа. К дальнейшим испытаниям Вахтангов не допустил. «У вас нет способностей», — сказал он. Хмелев заплакал.

Он вернулся к Бабанину и с ним пошел к Мчеделову. «Зачем вы ко мне пришли, когда вас нет в списках допущенных к конкурсу?» — спросил Мчеделов. Хмелев, страшно волнуясь, просил его все-таки прослушать. Мчеделов махнул рукой: «Читайте». Хмелев прочел. «А попроще вы не можете? Забудьте, что вы старик». Прочел еще раз. «Вот это лучше. К конкурсу допущу».

На конкурсе присутствовал весь коллектив во главе со Станиславским. Читали в фойе. Когда Хмелев окончил, все зааплодировали. Он видел, как Станиславский смеялся до слез. Потом Станиславский взял стул, усадил на него молодого чтеца и, не переставая смеяться, стал расспрашивать о его жизни. Все было, как в бреду. Хмелев уже ничего не соображал.

На следующий день он пришел узнать, принят или нет. В списке стояло три фамилии. Хмелев так волновался, что своей фамилии не прочитал. Между тем все товарищи поздравляли с приемом. Были приняты в школу МХАТ и в сотрудники II студии: Хмелев, Меньшикова и Лапин.

4

Когда Хмелев поступил в театр, знаний у него не было никаких. Все надо

было приобретать сначала. И все хотелось знать, что относится к театру. Он ухватился за предложение стать рабочим и бутафором во второй студии. Это открывало путь к театральной механике.

Жадное любопытство и благоговение распирало его грудь. В «Узоре из роз» он в течение целого часа лежал под кроватью и вертел разноцветный круг, направляя лучи света в ритм музыки. Следил за париками в первой поездке, чистил, мыл, собирал и разносил парики. Был очень удовлетворен и горд своей работой.

Замечательная была пора. Трое учеников тихо бродили по коридорам и фойе Художественного театра. На репетициях «Каина» незаметно забивались в темноту амфитеатра и тихо сидели, голодные и благоговейные. Хмелев не смел переступить порога буфета. Там обитали небожители. Там сидели и непринужденно разговаривали великие актеры Художественного театра. Хмелев только издали смотрел на них, стоя в коридоре и греясь у батареи. Он был счастлив. Никогда впоследствии не было такого избытка чистой радости и преданного восторга. Он чувствовал особый, специфический, неповторимый запах Художественного театра, и этот запах его сладко волновал. Он был очень смешным, неуклюжим и наивным юношей. Его наивной доверчивостью многие пользовались, легко его разыгрывали, иные с добродушной шуткой, иные с холодной и циничной жестокостью.

Снова вернулось влечение к книге, потускневшее в последние годы гимназии. Хмелев засел за Достоевского. Начал увлекаться Чеховым. Но главными героями его мечтаний были великие актеры эпохи. Хмелева увлекали актеры тонкого мастерства и глубокого артистического благородства. Больше всего он любил Качалова и Станиславского. Могучая искренность и благородная простота Станиславского в ролях Астрова, Штокмана, Шабельского покоряли воображение и чувства молодого актера. Он увлекался еще теми актерами, которые заставляли зрителя забывать о театре, которые играли с предельной ответственностью, искренностью и простотой.

Наибольшее впечатление производила на Хмелева О. О. Садовская. Она как будто ничего не играет, но так захватывает, что забываешь весь мир.

В школе МХАТ первыми педагогами были Е. П. Муратова (с ней Хмелев работал над Фирсом из «Вишневого сада» и Карпом из «Леса»), Л. М. Леонидов (с ним работал над Снегиревым) и Е. Б. Вахтангов (с ним работал над рассказом Чехова «Что делать?»). Вахтангов был очень удивлен, что Хмелев попал в школу МХАТ.

Основная работа Хмелева в школе МХАТ проходила под руководством Л. М. Леонидова. С ним Хмелев готовил роль Снегирева из «Карамазовых».

Работал над ролью Снегирева Хмелев упорно и настойчиво. Жил он далеко от театра — в Замоскворечьи. Ночевать дома было невозможно — комната не отапливалась, и лед выступал на стенах. Хмелев часто оставался ночевать в коридоре II студии. Спал на полу, завернувшись в сукна. Все мысли были сосредоточены на работе, только о ней и говорил. Часто до поздней ночи он обсуждал творческие проблемы, связанные с его ролью, с художниками декорационных мастерских, а потом возвращался к себе в Замоскворечье, ослабевший, голодный, но восторженный и возбужденный.

В работе над Снегиревым понял, какое значение для него имеет нахождение зрительно-пространственной стороны образа. Он написал маслом портрет Снегирева — это очень помогло уяснить себе образ. С тех пор Хмелев всегда начинает работу над образом с лица. Он сначала должен понять и увидеть лицо человека, прежде всего найти форму и выражение лица. Строение лица, форма черепа, мускулатура головы, — все это должно быть найдено. Отсюда громадный интерес к гриму. Делая роль, Хмелев прежде всего ищет грим. Хмелев недоумевает, как к этой большой творческой задаче некоторые актеры относятся безразлично.

Когда роль Снегирева в основном была готова, Хмелев как-то пришел на репетицию к Леониду Мироновичу и «выхлестнул» ему все, что накопилось в ду-

ше. Леонидов остался доволен и показал отрывок В. И. Немировичу-Данченко. Через несколько дней устроили более широкий показ — Хмелев показывал Карпа («Лес»), Фирса («Вишневый сад») и Снегирева. Смотрели Станиславский и Немирович-Данченко. Оба отозвались о работе Хмелева с большой похвалой. Это было признание. Годы ученичества кончались. Началась серьезная актерская работа.

Первые два года своей театральной жизни Хмелев провел на сцене II студии. Здесь он выступал в роли учителя Василия Васильевича в «Младости» Л. Андреева и в роли студента Шпигельберга в «Разбойниках» Шиллера. Но он был не только актером второй студии (после окончания школы), он был и актером-сотрудником МХАТ. Это ему открывало дорогу на сцену лучшего в мире театра. Первой настоящей его ролью на большой сцене была роль Огня во 2-м составе «Синей птицы» (1922 г.). С этой роли начинается работа Хмелева как актера Художественного театра, в труппу которого он официально был зачислен в 1924 году. Роль Огня в «Синей птице» Хмелев получил после занятий у К. С. Станиславского. Эти занятия имели большое значение для творческого роста Хмелева. Вступая в Художественный театр, он прошел через искусные и мудрые руки гениального Станиславского.

5

Вся школа Художественного театра и II студия занимались в 1921 и 1922 годах с К. Станиславским у него на дому (Каретный Ряд, против «Эрмитажа»). Собиралось человек сорок. Станиславский занимался с ними этюдами. Особенно его интересовали упражнения на народные сцены. Всю массу молодых актеров он разбил на ряд групп, в каждой группе выделял старосту. каждому участнику давал номер. Затем каждой группе назначал определенные задания. Выполняя задания, актеры должны были общаться со своими партнерами и переходить из одного ритма в другой. Всю массу участников

Станиславский доводил до кипения огромных страстей и при этом непрерывно делал замечания отдельным исполнителям. Они обязаны были следить за старостой и Станиславским, который руководил общим действием. Он все видел насквозь. От его взора никто не мог укрыться. Да никто и не пытался, так как увлечение действием было огромным и всеобщим. Эти занятия необычайно развивали внимание и фантазию, закаляли внутреннюю дисциплину. Молодые актеры впервые начинали понимать, что такое свобода и правдивость в творчестве. Хмелев впервые благодаря этим занятиям понял, что значит создавать правдивый реальный фон.

Тогда же под руководством Станиславского начали работать над «Синей птицей». Интересны были упражнения на фантазию. Станиславский заставлял Н. П. Баталова пролезать сквозь спинку венского стула. Люди катались от хохота.

Занятия на квартире Станиславского были высшей школой актерской игры. Они дали право Хмелеву считать себя по совести актером школы Художественного театра.

6

Образ художника раскрывается в его творчестве, в его отношениях к людям, к эпохе, к работе.

Понять место Хмелева в советском театре, его место в Художественном театре значит выяснить творческое своеобразие его личности. Это можно сделать только на конкретном материале его работы.

Хмелев может хорошо сыграть какую-либо роль, если ею увлечется, если найдет ее внутреннее оправдание, внутренний побудитель для работы. Иначе играть он не может. Ведь в каждой роли разрешаются большие жизненные задачи. Не ради тренировки и упражнения актер расходует свои душевные силы и переживает с глубокой болью человеческие жизни.

К наиболее значительным работам Хмелева, определившим его художественный рост, относятся роли: Марья в

«Пугачевщине» (1925 г.), Силана в «Горячем сердце» (1925 г.), Алексея Турбина в «Днях Турбиных» (1926 г.), Пеклеванова в «Бронепоезде» (1927 г.), князя в «Дядюшкином сне» (1929 г.), Фирса в «Вишневом саде» (1932 г.), Ник. Скроботова во «Врагах» (1935 г.), царя Федора в трагедии Ал. Толстого (1935 г.), Каренина в «Анне Карениной» (1936 г.) и Сторожева в «Земле» (1937 г.).

Каждая из этих ролей имеет свой смысл и свои тенденции. Для анализа удобно выделить сначала роли стариков, с которых Хмелев начал свою актерскую работу. Сюда относятся: Марей, Силан и Фирс. Особо стоит роль Алексея Турбина, имевшая переломный характер для развития актера. Затем цикл отрицательных образов (врагов): Скроботов, Каренин, Сторожев. И, наконец, такие образы, как Пеклеванов, князь, царь Федор.

Заранее можно сказать, что старики Хмелева были подготовкой к положительным образам. Отрицательные образы были антитезой к положительным.

Основное страстное стремление Хмелева — играть образы положительных героев. Его талант — утверждающий, лирический, героический. Отрицание ему нужно только как путь к утверждению. Этапными ролями Хмелева, имеющими крупное значение в истории советского театра, являются роли Каренина и царя Федора. Все эти роли отражают образ актера Хмелева. Но в образе царя Федора образ Хмелева отразился с наибольшей полнотой. Это его самая главная и самая любимая роль.

Второе поколение МХАТ еще не успело состариться. Хмелев еще сравнительно молодой человек. Перед ним еще большое будущее. Главные его роли еще впереди.

7

В школе МХАТ Хмелев работал над ролью Снегирева, а на зачетах показывал Фирса из «Вишневого сада» и Карпа из «Леса». После этих трех ролей в труппе II студии и во МХАТ упро-

чилось мнение, что Хмелев — актер на стариковские роли. В молодости он очень сутулился. Голос его плохо звучал, срывался. Пришлось употребить нечеловеческие усилия, чтобы избавиться от хлипкости и хрипоты голоса. Но, конечно, не внешние актерские данные располагали молодого актера выступать главным образом в ролях стариков. Очень часто талантливые начинающие актеры и актрисы настаивают на старческих ролях. Это в большинстве случаев является выражением благородного стремления изображать не себя, разрешать наиболее трудные задачи перевоплощения. Обычно это стремление является признаком истинного таланта.

Установившаяся репутация, во всяком случае, способствовала тому, что в «Пугачевщине» Хмелеву была предложена роль старика Марья. Вся работа над «Пугачевщиной» проходила под непосредственным руководством В. И. Немировича-Данченко. Ему помогали В. Лужский и Л. М. Леонидов. Лужский ставил массовые сцены. Он не пропускал ни одного человека, каждому находил место, каждый в толпе играл роль. Очень заражал исполнителей своей экзальтированностью Леонидов. Очень сильная эмоциональная зарядка была необходима, чтобы разрешить массовую сцену и оправдать образ Марья. Сцена Марья очень коротка и очень трудна. Марья — обездоленный, парализованный старик, знавший в жизни только гнет и страдание. Он не может двинуть ни одним суставом, но вся его душа — сплошной порыв, сплошное движение. Когда масса таких же обездоленных людей, как он, пошла, чтобы кровью пробить себе путь в будущее, чтобы во что бы то ни стало уйти из тюрьмы жизни, то столетиями порабощенные люди вдруг почувствовали и себя силой, почувствовали воздух свободы и поверили в освобождение; с каждым шагом вера толпы росла, сплоченность делалась несокрушимее, и каждый ее участник заражался стихийным током массовой энергии. Задача постановщиков была показать нарастание ритма массового выступления, показать несокрушимую духовную силу, которую получает чело-

век, полностью сливающийся с массой. Эта задача была выполнена с большим искусством. Когда толпа выходит, сначала пробегают первые ее вестники. Все большие и большие массы заполняют сцену. Все большее возбуждение охватывает людей. И вот тогда, когда возбуждение достигает апогея, оно получает высшее свое выражение в образе Марья. Он, человек из массы, выражает, олицетворяет массу. И он — личность, переполненная верою народных масс. Марья — старик с неиссякаемыми запасами добра и теплоты в душе. Он хочет помочь страдающим людям, помочь им найти правду и освобождение. Это желание настолько в нем сильно, все его помышления и чувства настолько сливаются со стремлениями всей народной массы, что он ощущает в себе приток небывалых сил. Он физически действовать не может, он калека, паралитик, он живет одним духом. Но психическая его энергия достигла такого напряжения, что произошло чудо. От соприкосновения и слияния с массой физическая немощь была побеждена. Ноги старика вдруг пошли. Зерно роли было найдено, когда Владимир Иванович сказал одно слово: «чудо». Надо было показать чудо преображения человека через соприкосновение с народом, через слияние стремления личности и психической энергии миллионов. Надо было так сыграть Марья, чтобы донести его доброту, его страдания и величайший подъем его духа. Это удалось Хмелеву в полной мере. Он был наэлектризован нарастанием ритма народного массового движения. Он был почти одержим, был весь во власти стихии. И он резко выделялся из толпы как наиболее яркий и четко выраженный образ. В этом и была задача: стать высшим сконцентрированным выражением массы и сохранить своеобразие личности. Задача эта была разрешена режиссерами и актером блестяще. Это наиболее сильная сцена всего спектакля, центральная фигура которого не была найдена. Масса жила множественно и отдельными личностями. Наиболее напряженно и глубоко масса жила в образе Марья. Молодой актер нашел в себе настоящую глубину и силу духа,

без которых нельзя было создать образ Марея. Он играл человека, одержимого народной правдой и народной верой. Он играл массовое революционное движение в первых своих проявлениях. В детстве он помнил стихию революционной толпы, неудержимодвигающейся с красными флагами. Энергию, веру, силу, энтузиазм этой толпы он сохранил в душе и перелил в образ Марея. О старике он не думал, поэтому и сыграл его.

В работе над образом Марея Хмелев впервые ощутил мудрость и силу руки, такт и богатство воображения замечательного мастера сцены. Вл. Ив. Немирович-Данченко помог ему найти сущность образа, показал, как сделать, чтобы ноги вдруг пошли, показал стихийное стремление массы завоевать новую жизнь. Живописный подход к образу, характерный для Хмелева, помог ему найти выразительность лица и рук Марея. Благообразность, пристальность взгляда, строгая торжественность облика создавались под влиянием стрельцов Сурикова. Молодой актер проявил большую культурность, обратившись при разрешении массовой сцены за помощью к самому гениальному в русском искусстве мастеру массовых сцен — Сурикову. Он старался, чтобы рука была высохшая, длинная, чтобы глаза глядели в одну точку, были расширены и неподвижны. Поскожная рубаха, серые валенки, иконописный грим, суриковская свеча.

Хмелев сыграл стихийное, инстинктивное стремление уйти из тюрьмы старой жизни, испуганную веру в новую жизнь. В этом был смысл и внутреннее оправдание его Марея.

В красочном, улыбающемся и блестящем «Горячем сердце» Хмелев получил скромную роль дворника Силана, дальнего родственника купца Курослепова (1925 г.). Сошуренные, маленькиек глазки, хитрый, лукавый взгляд, ворчливая строптивость в обращении с людьми и абсолютная непринужденность. Актер как будто совсем не играет — ходит себе по сцене, как дома, ничего не показывает, ничего не подчеркивает, не старается ничего преподнести зрителю. Если есть в этом спектакле актер, не

помышляющий о том, какое впечатление произведет его игра на зрителя и оттого запоминающийся наиболее рельефно, то это Хмелев.

Он ничего нарочитого в этой роли не делает. С предельной простотой, искренностью и правдивостью дает законченный рисунок роли. Непринужденности и естественности Хмелев добился не сразу. Сначала ничего не выходило. Совсем не было юмора, было скучно, нудно, невесело. Режиссеры поставили перед Станиславским вопрос о замене Хмелева другим актером. Но с приходом Станиславского к руководству спектаклем роль пошла. Станиславский вдохновил на сцену поимки вора. Во втором действии, когда Градобоев натывается на Васю, а Курослепов на Гаврилу, в суматохе Силан хватает Курослепова, садится на него верхом и держит его, не выпуская. Сидит на нем с чувством собственного достоинства, как будто выполнил важнейший свой долг, отдыхает на нем и вытирает пот с лица. Единственный этот трюк вышел сам собою, к нему располагало все сценическое поведение Хмелева — Силана. Чудаковатый, хитрый старик вымещает всю свою досаду за годы помыкательства и самодурства. И какой-то бес озорства мелькает в его суматошных движениях. Станиславский видеть не мог никаких трюков, но «трюк», который вытекает самопроизвольно из сущности образа, утешал и очень удовлетворял его. С наивной, веселой улыбкой, заливающей детским торжеством все его лицо, Станиславский одобрил озорное поведение Силана. После этой сцены все движение роли оказалось самопроизвольным. Процесс перевоплощения оказался легким и незаметным. И появилось отрадное чувство глубокого удовлетворения игрой. Есть роли трудные, выматывающие, обессиливающие. И есть роли освобождающие, облегчающие, в которых словно купаешься, — так приятна их освежающая сила. Для Хмелева роль Силана имела именно такое значение. В ней ему удивительно легко и удобно. И зрителю также. Когда актер достигает полной свободы в перевоплощении, зритель чувствует высокое удовлетворение. Об-

раз со временем приобрёл ещё большую лёгкость и чистоту. С исключительно бережным отношением к слову великого драматурга, не переставая ни одного звука, сохраняя структуру каждой фразы Островского, Хмелев доносит в неприкосновенности колоритность и действенную силу его языка.

Актер, который заискивает у зрителя и нажимает, может получить бурный мгновенный успех, но он быстро забывается, его мало уважают. Наоборот, актер, который сознает прежде всего свою ответственность перед драматургом и перед спектаклем, который с предельной искренностью, правдивостью и простотой раскрывает образ, не думая о том, какое он производит впечатление, такой актер поражает зрителя своей творческой честностью и чистотой, он надолго запечатлевается в памяти, о нем думают с благодарностью. Только такой актер способен вызвать глубокие чувства.

Силан ничего нарочитого не делает. Его хитрость безыскусственна, натуральна. Он олицетворяет примитивную простоту природы. В этом его оправдание.

В юности Хмелева умилял другой образ старика — Фирс из «Вишневого сада». Не случайно он показывал его на зачетах. В 1932 г., через 13 лет, ему представился случай возобновить эту работу. Он снова вернулся к Фирсу.

Этот образ связан с нежной любовью к Чехову. Нужно было обязательно донести душу Чехова в образе Фирса. Эта роль связана с целомудренным, благоговейным отношением молодого, начинающего актера к Художественному театру. Разве такая любовь может изменить, может потускнеть?

Хмелев знал, какую ответственность берет он на себя, возобновляя работу над Фирсом. Он чутко улавливал особое отношение всего театра к памяти Чехова и хотел быть достойным участником чеховского спектакля. Любовь к Чехову и Художественному театру он вложил в образ Фирса. Разве при таком отношении к роли можно было сделать Фирса смешным, можно было создать бытовую характерную фигуру, ли-

шенную всякой лиричности? Фирс выражает отношение патриархально настроенного крепостного человека к лучшим людям из барской среды, олицетворяет в себе патриархальный уклад старой дворянской усадьбы. Но сделать Фирса досадным обломком старины, показать только его холуйские черты, — такое изображение было бы вульгаризаторским опошлением Чехова. На это Хмелев пойти не мог. Чеховский Фирс трогателен. Надо было дать слабость, дряхлость, отчаяние, одиночество и добиться мягкости, поэтичности образа. Фирс очень привязан к людям и вещам. У него добротное, стариковское внимательное отношение к вещам. Он привык охранять и оберегать, заботиться о вещах. И вдруг такое расточительно-жестокое к ним отношение вокруг. Фирс поэтичен. Это элегический образ от начала до конца. Вот почему нельзя делать его смешным. Над ним можно грустно улыбаться, но безоблачно веселить он не может и не должен. Он поэтичен даже в безмолвном выходе, когда он несет Гаеву вечером шляпу и палку к стогам; в его походке, в его отношении к миру и людям, в его настроении — страшная усталость и тихая грусть, благостная тишина большой прожитой жизни. В последнем акте, когда Фирс остается один, покинутый людьми и брошенный судьбой, грусть достигает предела. Элегия перерастает в трагедию.

Вот эту поэтичность и трагичность образа Фирса Хмелев и сыграл. Он сыграл элегию прожитой жизни и трагедию одиночества. В этом смысл и оправдание образа. Играет Хмелев Фирса без всяких характерных и бытовых подчеркиваний, очень серьезно и собранно. Получается настоящая очищающая душу простота. Может быть, актеру следовало бы более сдерживать себя и придать Фирсу некоторую суровость. Трогательность, может быть, чрезмерная. А жалость всегда расслабляет человека и не способствует глубине.

В образах стариков Хмелев искал правду и простоту в выражении несложных, но сильных человеческих чувств, хотел показать тоску по чистоте, теплоте и правдивости человеческих отноше-

ний. Какой-то своей стороной эти стариковские роли прокладывали дорогу к положительным образам, к которым более всего стремится Хмелев. Элементы общечеловеческой благостности, жалостливости, сентиментального гуманизма еще очень сильны в этих образах, наиболее связанных с настроениями юности актера.

8

Когда Б. И. Вершилов принес пьесу М. Булгакова в Художественный театр и И. Я. Судаков ухватился за нее, всем показалось, что найдена первая талантливая пьеса, изображающая революцию. В. И. Немирович-Данченко к этому спектаклю не имел отношения. К. С. Станиславский сразу почувствовал, что сыграть пьесу может только молодежь. Политические тенденции пьесы никто толком не понимал. Актеры второго поколения воспользовались материалом пьесы Булгакова, чтобы утвердить свое право на более ведущее положение в театре, чтобы показать свои творческие возможности. Роль Лариосика сначала предполагали дать Завадскому, а роль Алексея Турбина — Леонидову. Потом решили ограничиться силами молодежи. Хмелев впервые в жизни получил молодую, героическую роль. Сначала он испугался трудностей: как ему, с его сутулой фигурой, с неуклюжей окающей волжской дикцией, с полной беспомощностью жеста сыграть военного профессионала из аристократической семьи? Но потом эти трудности его вдохновили, трудная задача воодушевила. Он решил во что бы то ни стало доказать, что он может преодолеть свои недостатки и роль Алексея Турбина сыграть.

Внутренний мир Алексея Турбина был Хмелеву чужой. Это-то и казалось ему интересным—изображать душевный уклад совершенно иного характера, какой он знал. Он не задумался, что это враг, белый офицер, идущий своей дорогой, враждебной советской власти. Книжку М. Булгакова «Белая гвардия» Хмелев внимательно прочитал, но в ней его заинтересовали не идеологические намерения автора, а его психологический материал. Это не была наивность, это бы-

ло основное идеологическое настроение театра того периода. Это была позиция «общечеловеческого гуманизма», беспристрастия, идеологического нейтралитета, принципиальной беспартийности. Хмелев над всеми этими вещами мало задумывался. О том, что он играет врага, он не помышлял. Для него Алексей Турбин человек сильный, искренний, убежденный, благородный, страдающий. Исключались не только сатирические элементы—об этом не могло быть речи,—исключались какие-либо отрицательные черты. Турбин должен был быть привлекательным, героическим, трагическим.

Прежде всего Хмелев начал думать о выразительности лица. Турбин должен иметь бледное нервное аристократическое лицо, белые седеющие виски, дающие возможность мягко перейти от общего фона лица к энергической форме головы. Прямой открытый взгляд. Выразительная, острая, скупая мимика. Нервный решительный жест рук. После выразительности лица Хмелев всегда ищет выразительность рук. В работе над ролью всегда имеет значение положение рук, характер жеста. Надо установить, где руки, их наиболее удобное и наиболее характерное положение. Выработался четкий, волевой, настойчивый жест, нервная, трагическая походка, суровая настойчивая выправка, чеканная, несколько резкая дикция. Впервые Хмелев почувствовал, начавши работу над Турбиным, что голос его не поставлен, что он не обладает еще самыми важными элементами культуры и актерского мастерства. С напором и горячностью он начал исправлять свои недостатки. Неопытный, начинающий актер впервые почувствовал, что такое форма. Он начал систематически себя тренировать, с упорной суровостью стал работать над собой. В смысле самоопределения, накопления творческого опыта, работа над ролью Алексея Турбина имела действительно поворотный, этапный характер в профессиональном развитии Хмелева. Работая над голосом, дикцией, жестом, движением, походкой, ритмом, он приобретал основы мастерства и свою особую манеру изображения. Когда он на-

шел все эти элементы, образ возник очень легко. Манера речи и движения была найдена, конечно, не абстрактным путем — привлекался большой материал наблюдений над живыми людьми.

Политическую остроту спектакля Хмелев почувствовал позднее. Он почувствовал, что роль Алексея Турбина, которая дала ему такое глубокое удовлетворение и такой огромный успех, как-то связывает его творчески и морально. Эта роль тяготит его теперь. Ошибочная трактовка ее тесно связана с общей концепцией спектакля. Чтобы найти связывающие творческую свободу художника элементы в этом образе, надо было показать более глубокую и более правдивую манеру характеристики на другом драматургическом материале. Это Хмелев и сделал в образе Каренина.

В образе Алексея Турбина Хмелев сыграл историческую обреченность буржуазной интеллигенции, трагедию разочарования и долга. Он показал жизнь души, ее движение с такой силой субъективной искренности, что получилось апологическое оправдание образа. Идеологическое беспристрастие отомстило за себя. В 1926 г. молодой актер еще не понимал, что глубокое раскрытие психологии человека внутренне не связано с идеологическим нейтрализмом, еще не понимал идейно-творческой ограниченности об'ективизма. Понять человека—это значит не только передать жизнь его души, его субъективную правду, это значит оценить эту жизнь и эту правду с точки зрения подлинно об'ективной правды. Подлинный об'ективизм требует глубокого вскрытия корней и тенденций развития характера, требует оценки. «Равнодушие к борьбе отнюдь не является на деле отстранением от борьбы, воздержанием или нейтралитетом». «Беспартийность есть идея буржуазная» (Ленин, VIII, 415, 416). Чернышевский утверждал, что искусство не только отражает действительность, но и объясняет ее и оценивает. «Очень часто его произведения имеют значение приговора о явлениях жизни» (XVII тезис выводов его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности»).

То же повторял Добролюбов: «Главное значение искусства и заключается в воспроизведении жизни и в произнесении приговора над ее явлениями».

Значение идейной активности в творческом процессе, партийной пристрастности в раскрытии и лепке характера Хмелев понял значительно позже, когда он работал над ролями Ник. Скроботова, Каренина и Сторожева.

Помимо крупнейшего значения роли Алексея Турбина для творческого роста Хмелева, эта роль выразила с огромной силой его стремление к героическому положительному образу. Хмелев стал актером, чтобы сыграть героический положительный, жизнеутверждающий образ.

9

Образы стариков и образ Алексея Турбина были, в сущности, несмотря на свое самостоятельное значение, творческими заготовками на пути к героическому положительному образу. Отрицательные образы Хмелева также, с точки зрения общего его творческого развития, были лишь подходом к разрешению главной задачи — создания положительного образа. Подход поразительный по своему богатству и затрате духовной энергии. Актер понял, что он является участником величайшей борьбы, разделяющей мир на два лагеря. Он понял, что от борьбы уйти невозможно и не нужно, он заразился вдохновением борьбы. В отрицательных образах своих Хмелев расправлялся не только с врагами жизни и человека, он расправляется в какой-то мере со своими собственными недостатками. Поэтому отрицательные его образы имеют тоже свой глубокий лирический подтекст. Они также волнуют, как и положительные образы. Они закаляют и вооружают.

Образ Николая Скроботова во «Врагах» Горького (1935 г.) тесно связан с образом Каренина. Сначала Хмелев не хотел играть Ник. Скроботова. Во «Врагах» он рассчитывал сыграть более положительный образ Якова Бардина, надоело играть отрицательные образы, которые казались исчерпанными. Но постепенно он заинтересовался материа-

лом роли Ник. Скроботова, увлекся вопросами методологии отрицательного образа в связи с подготовкой к «Анне Карениной».

Позиция спокойного созерцателя характеров и страстей, человека, стоящего над схваткой, в стороне от борьбы, беспристрастного исследователя человеческой психологии была уже давно преодолена. В работе Хмелева появилась страстность, темпераментность, острота взгляда. Он стал требовательнее относиться к людям, стал видеть скрытые пружины их поступков, социальные стимулы их поведения. Он классово прозрел. Да, именно так нужно говорить о художнике, который почувствовал с величайшей остротой свою моральную и творческую связь с народными трудящимися массами своей страны. Он видел в детстве нужду, унижение, угнетение. Он понял, что правдивое изображение характера не может быть бесстрастным, что познание неразрывно связано с оценкой, что оценка невозможна без активной точки зрения на мир, без четкой идеологической позиции.

В образе Ник. Скроботова Хмелев впервые заговорил полным голосом партийно-пристрастного художника. Он изобразил Ник. Скроботова сухим, наглым и жестоким чиновником, душа которого застегнута на все пуговицы и сплошь одета в мундир, злым, испорченным, мелочным человеком-автоматом, бездушной машиной. Он весь дышит страшной, непримиримой классово-ненавистью к рабочим; его отношения к людям, в особенности к женщине, носят цинично-потребительский, пренебрежительно-озлобленный характер. Он обладает выдержкой и принципами, но тупая и бездарная ограниченность его, соединенная с животной злобой и бесчеловечной жестокостью, делает его самым гнусным из врагов. Хмелев подчеркивает в образе Ник. Скроботова его принципиальный, палаческий, присущий современным фашистам цинизм. Гениальный Горький, намечая тенденцию развития героя, вкладывает в уста Скроботова несколько фраз, ставших теперь типично фашистскими: он, например, жалеет, что в нашей стране нет «на-

стоящей расовой философии». Хмелев дает образу законченный фашистский характер, — вся его философия, психология и программа ограничиваются звериной ненавистью к рабочему классу. При этом Хмелев нигде не впадает в шарж. Его сатира глубока и правдива. Образ сделан очень тонко и чрезвычайно изящно. Реалистическое изящество требует от актера величайшей собранности, внутренней подтянутости, выдержки, необходимости быть в форме, почти математического расчета, т.-е. высшего мастерства. Особенно удалась Хмелеву замечательно острая и психологически тонкая сцена объяснения Ник. Скроботова с Татьяной (Тарасовой) в начале III акта. Именно с реалистическим изяществом показана попытка сближения, готовность к интриге, разрыв и взлет озлобления. Это, может быть, лучшая сцена этапного спектакля.

В образе Ник. Скроботова Хмелев мастерски сыграл врага. Он его показал с величайшей страстностью и темпераментом. Он его увидел обостренным, зорким взглядом и показал с гневом художника-борца. Это и есть высшая художественная правда. Высшая объективность художника как раз заключается в его партийности. В своей статье о «Самгине» Горького А. В. Луначарский прекрасно разъясняет ценность подлинной объективности. «Партийность, как известно, есть коллективно-субъективная настроенность сознательного авангарда данного класса. И вот тут-то и оказывается, что партийность классов эксплуататорских безобразно искажает действительность. Партийность класса, которому суждено построить коммунистическое будущее, воспитывает зоркость и бесстрашие и является единственной формой подлинной объективности»¹.

С таким же гневом и страстностью сделан образ Сторожева в «Земле» Н. Вирта (1937 г.). Петр Иванович Сторожев в изображении Хмелева, несмотря на скудость драматургического материала, является типической фигурой руководителя и вдохновителя кулацкого

¹ А. В. Луначарский. Статьи о Горьком. Гослитиздат. 1938 г., стр. 182.

эсеровского мятежа. Он олицетворяет собою кулацкую верхушку в период уничтожения кулачества как класса. Это озлобленный до предела, матерой, непримиримый враг советского строя и советского народа. Он мстит и вредит, нападает из-за угла, не прекращает ни на момент борьбы, когда восстание подавлено. Затаив лютую злобу против советской власти, он скрывается и замечает следы. Сухой, жилистый, с мучительно и злобно сжатыми за спиной руками, он бродит, готовый напасть на любого колхозника и задушить его своими цепкими руками. Никакой «излишней драматизации» в образе нет. Он раскрывается аналитически, и волчья натура мстительного врага, опасного в своем бешенстве от бессилия и активного отчаяния, показывается с глубиной и резкостью, вытекающими из существа образа. Враг имеет свое сердце, свою философию, свою правду, свои привязанности—все это не замазано одной хлесткой краской, все это показано ярко и убедительно, но также показано, что сердце это, философия и правда — волчья, что человеческого образ этого представителя гибнущего эксплуататорского класса настолько искажен и изуродован, что человеческих чувств уже почти не осталось. Показано это с гневом и болью за человека. Ничего большего актер не мог сделать из своего материала.

Образ Каренина, конечно, значительнее, сложнее, шире. Материал другой. Он дает простор для работы. Это один из этапных образов советского театра, такого же масштаба, как Егор Булычев Щукина, Отелло Остужева, Лир Михоэлса. С ними рядом стоит царь Федор Хмелева.

10

Образ Каренина является результатом глубокого и серьезного изучения Толстого. Толстой дал все указания, и ни одного из них Хмелев не упустил. Толстой был верховным режиссером в работе Хмелева над образом Каренина.

Но Хмелев изучил не только Толстого: его заинтересовала вся эпоха и на ее фоне трагедия толстовства. В Каренине он старался показать высшее чи-

новничество и аристократию, правившие огромной страной, их отношение к религии, государству, обществу, семье. Но он ни в какой мере не разделял христианско-аскетической моральной тенденции романа, заставившей Толстого идеализировать образ Каренина вопреки своей глубокой ненависти к нему. По мере раскрытия образа Каренина Толстой-моралист все более настойчиво подчеркивает человеческие черты Каренина, но Толстой-художник с возрастающим гневом и ненавистью все глубже подчеркивает в нем черты бесчеловечья. Несмотря на свою «субъективную правду», Каренин приносит в мир зло, отравляет живущих рядом с ним людей, глушит все проявления жизни, губит жизнь прекрасной женщины.

Толстой особенно ярко показывает, что Каренин служит делу смерти. Он—живой мертвец. Его лицо постоянно принимает выражение «торжественной неподвижности мертвого» (XVIII, 224). «Каждый раз, когда он сталкивается с самой жизнью, он отстранялся от нее» (XVIII, 151). «Он старался удержать в себе всякое проявление жизни и потому не шевелился и не смотрел на нее. От этого-то и происходило то странное выражение мертвенности на его лице, которое так поразило Анну» (XVIII, 294). Скрещенные его пальцы постоянно трещали в суставах, напоминая о мертвце. Этот ходячий футляр, человек-автомат, человек-машина однажды раскрывается, и тогда видишь человеческое сердце. Неспособность к человеческим чувствам только усугубляет его моральное уродство. Жалость, слезы умиления, «счастье прощения» у постели умирающей жены, страдание скрывали за собой глубоко-эгоистические побуждения. «Он испытывал радость и умиление перед высотой своего смирения» (XIX, 454). В его манере обращения с людьми сквозит только холодная надменность, презрение к ним, барская брезгливость. Несмотря на всю свою сдержанность, бесстрастность, ледяной тон, неподвижный мертвый взгляд, внешнюю деликатность и холодную вежливость, он обладает взрывчатым темпераментом и властной силой, постоянно вспыхивающей при-

падками злого гнева. В образе Каренина Хмелев изобразил огромную трагедию человеческой личности, изуродованной и морально отравленной рабовладельческим эксплуататорским строем, трагедию человека, который отравляет других и себя, который служит делу смерти. Актер отверг Толстого-моралиста и поверил Толстому-художнику. Он с величайшим гневом и ненавистью раскрывает характер Каренина. Если бы он ограничился гневом и ненавистью, он создал бы потрясающий сатирический образ. Но он показал трагедию бесчеловечья, страшное одиночество человека-автомата. Он раскрывает характер Каренина еще с величайшей болью за моральное уродство человека. Сатирический образ становится трагическим.

Хмелев внешний и внутренний рисунок образа выдерживает в строгом соответствии с точными указаниями Толстого.

Каренин появляется в салоне княгини Бэтси. «Строго самоуверенная фигура, с немного выдающейся спиной». «В эту минуту Алексей Александрович своей спокойною неуклюжею походкой входил в гостиную» (XVIII, 148). В походке Каренина, «ворочавшего всем тазом и тупыми ногами», выражалась «холодная самоуверенность» (XVIII, 113). Он улыбался своею холодной улыбкой, «только открывавшей зубы, но более ничего не говорившую» (219). Такою медвежьей выворотной походкой, со ступнями, повернутыми в разные стороны, и ходит Хмелев. Он бесстрастно выбрасывает руку, холодно и надменно прикасается к одним, вежливо пожимает другим, склоняется к ручкам дам под различным градусом, смотря по положению их обладательницы. На скачках Анна «видела, как он подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, сжимавшую кончики его ушей» (218). «Уши у него так странно выдаются» (119). «Одно честолюбие, одно желание

успеть — вот все, что есть в его душе» (218).

Говорит Каренин Хмелева сухим, жестким фальцетом, изнуряющим своей четкой пунктуальностью, расставляющим знаки препинания, подчеркивающим курсивом слова, звенящим, медным криком, иногда срывающимся в визг в минуты раздражения. Он все время подавляет свои чувства, но они вскипают и вырываются наружу. Клапан действует безотрывно. В разговоре с Анной он придерживается резольютивно-императивного, категорического, бездушно-мрализирующего тона. Впрочем, это обычная манера его обращения с людьми, если они не стоят выше его. С блестящим мастерством передает Хмелев этот зловрадный курсив, трагический пафос бездушной, опустошенной, мертвой формы. Переносится мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством. В голове его ясно и отчетливо, как доклад, составила форма и последовательность предстоящей речи. «Высказать следующее: во-первых... во-вторых... в-третьих... в-четвертых...». Заложив пальцы за пальцы, ладонями книзу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах. Этот жест, дурная привычка — соединение рук и трещание пальцев — всегда успокаивал его (153).

Когда Анна признается, что любит Вронского и принадлежит ему, Каренин Хмелев не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. «Но все лицо его вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого». Он превратился в сфинкса.

Объясняясь с Анной с целью «обеспечить свою репутацию, нужную ему для беспрепятственного продолжения своей деятельности», он не глядит ей в глаза, а смотрит выше, на ее лоб и прическу. Волнение его выражается в механических маниакальных жестах: он сжимает виски, проводит рукой по лбу, сжимает руки, в гневе всплескивает руками, выкидывает переплетенные запястья вперед. Говорит резким, тонким, пронзительным гласом. Потом подавляет свои

чувства и молчаливым наклоном головы, застывшей позой заставляет жену удалиться.

Сухой, поджарый, сутулый, тонкий, Каренин-Хмелев медленно подходит к кровати умирающей Анны и садится. «Готовясь на свидание с женой, он не обдумал той случайности, что раскаяние ее будет искренне и он простит, а она не умрет». Он был уверен, что Анна умрет. Поэтому он и отдался у постели умирающей жены «тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости» (440). Это было «размягчение», произведенное близостью смерти», «умиление перед высотой своего смирения», умиление перед своей чувствительностью (454). Но это было и «счастье прощения»—Каренин впервые почувствовал себя человеком. Он растрогался, плачет тихо, повернувшись спиной, стыдясь своего «душевного расстройства». Нужно быть очень большим художником, чтобы так тонко, верно и правдиво передать искренность и горе этого сухого и жесткого человека, который и в искренности не может освободиться от фарисейского морализирования, и в горе не может освободиться от гордого самолюбования. «Душевное расстройство» и слезы Каренина переданы с чутьем и тактом тонкого психолога и великого художника.

После встречи с Вронским у себя дома Каренин разъярен. Решительными шагами входит он в комнату Анны и, не поздоровавшись с ней, прямо направляется к ее письменному столу и бросается к письмам. Он перечисляет свои требования по пунктам. Любимый его знак препинания — двоеточие. Он с упоением его ставит. Иногда скандирует слова по слогам: «В заклю-чени-е». Он кричит от раздражения пискливым голосом, который поднялся теперь еще нотой выше обыкновенного. «Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле... пед... пелестрадал». «Алексей Александрович говорил так скоро, что запутался и никак не мог выговорить этого слова». С пронзительного каркающего фальцета, с

множеством ударений во фразе, он переходит к более холодному тону, менее пискливому голосу, к более протяжным интонациям барственного, презрительно-бездушного тембра, продолжая подчеркивать произвольно избранные, не имеющие никакой особенной важности слова. «Я пришел вам сказать».

Хмелеву понадобились годы упражнений над голосом, чтобы достичь того виртуозного искусства интонации, которое он показал в переходах каренинской злости.

У адвоката перед нами барин-аристократ, который с достоинством входит в кабинет, важно садится в кресло, небрежно стягивает перчатки, бросает их рывком, сжимает руки. Усталый и торжественный сановник империи, попавший в досадное и недостойное положение. Психологический рисунок четок до последнего штриха.

Во время объяснения у Стивы Облонского, который предлагает Каренину сгласиться на развод, Каренин—Хмелев делает совершенно необычайный, единственный в спектакле широчайший жест. «Следовательно, ты находишь, что это положение нужно прекратить?—перебивает Облонского Каренин.—Но как?» Он вскрикивает и описывает перед глазами рукою круг, в порыве раздражения и отчаяния. С большими ревматическими ногами, каркающий, злой, несчастный и жестокий, он жалок и отвратителен.

В сцене с графиней Лидией Ивановной у себя в кабинете (в III акте) Каренин напоминает нетопыря. Он в усталости склонился к столу, а потом поднимает свой бледный, жесткий, категорический профиль. Он в клетчатом домашнем пиджаке, страшно одинок и несчастен. Но в страдании он сух и жесток. Про счет за ленты, за шляпу он не мог вспомнить без жалости к себе самому. Он закрывает лицо руками. Чувствуется молчаливое страдание, очень тонко переданное и донесенное до зрителя. Но... «Алексей Александрович был вовсе лишен глубины воображения». Он переводит свое страдание в плоскость бездушного морализирования. «Что до меня, то я исполняю свой долг». Он

интересовался религией «преимущественно в политическом смысле» (XIX, 80).

Во дворце — он облезлый, замкнутый, прилизанный, с казенной приветливой полуулыбкой-полугримасой на лице, в красном придворном мундире, жуткий символ живого властного мертвеца, придавившего всякую жизнь вокруг себя.

В последней своей сцене (в IV акте) он с раздражением и злостью говорит со Стивой о разводе. Как только Облонский произнес имя Анны, лицо Каренина на глазах у зрителя совершенно изменилось; вместо прежнего оживления оно выразило усталость и мертвенность. Тонким, почти визгливым голосом он высказывает досаду, что ему напомнили о деле, которое он считал давно законченным. Он встал на ноги и, бледный, с трясущейся челюстью, пискливым жестким фальцетом прокричал: «Я прошу вас прекратить, прекратить этот разговор».

Страшно трудная задача — толстовского Каренина показать на сцене. Это значит неисчерпаемую глубину характеристики Толстого передать в более конкретных, детальных и осязательно-законченных чертах. Чтобы не снизить толстовский образ, актеру нужно обладать глубиной мысли и чувства, большой культурой мастерства и вкуса. Хмелев подошел к роли не как посторонний наблюдатель, а как участник современных боев, как пристрастный художник, ответственный за настоящее и будущее человечества. Он показал Каренина, как носителя отжитого и свергнутого морального и социального политического уклада, с гневом, страстью, темпераментом и болью за искажение человеческого облика.

Основная тема, которую разрабатывает Хмелев в образе Каренина, — искажение образа человека, умерщвление в человеке чистоты, благородства и человеческого достоинства. Поэтому и следует рассматривать Каренина, наряду с другими отрицательными образами Хмелева, как этап на пути к положительному образу.

Некоторые «театроведы» с большой робостью ходили вокруг образа царя Федора, созданного Хмелевым, говорили о «новом и оригинальном прочтении роли» и делали отдаленные намеки на то, что работа эта представляет собою выдающееся театральное событие. На самом деле, роль царя Федора — самая глубокая работа Хмелева, это лучшая его роль, самое высокое его достижение и крупнейшее достижение советского театра.

В «Царе Федоре Иоанновиче» А. К. Толстого, в одном из коренных спектаклей Художественного театра, Хмелев выступал неоднократно. Он сначала исполнял в нем Михайлу Головина (1924), потом Василия Шуйского (1925). С этого времени и начал мечтать о роли Федора. Наконец, И. М. Москвин, который дал одно из самых глубоких классических истолкований образа царя Федора на русской сцене, исконный исполнитель этой роли, сам поставил вопрос о необходимости подготовить к исполнению этой коренной роли Хмелева, поделился с ним своим многолетним опытом работы над образом и дал некоторые мудрые советы.

Хмелев был в корне не согласен с трактовкой роли Федора и замыслом всего спектакля в прежней его исконной редакции. Он считал, что нельзя Федора показывать только блаженным, юридическим, благочестивым, слабозольным царем, пономарем и молитвенником. Федор — глубже, и трагедия его — сложнее. Федор — последний в роде варяжских князей, последний, бездетный царь. В нем сочетаются слабозольные вырожденца и вспышки ярости прежних владык. Для него характерны и бессилие, и буйные попытки активного вмешательства в жизнь. В нем бродят черты грозного отца. В детстве его — застенки, опричина, казни, пытки, зловещая жестокость игр и забав. Отсюда — надрыв, болезненность, патологические элементы его психологии. Но к ним образ отнюдь не сводится. Они не играют ведущей роли. Всеми силами своего ума и сердца Федор хотел обеспечить людям

справедливость, порядок и счастье, но воли, энергии, ума у него нехватало. От бессилия он впадал в ярость. Хмелев особенно старался, чтоб Федор вышел без единого сантимента, чтобы в нем была максимально выявлена суровость и мрачная одержимость кроткого и чистого человека, загнанного, подобно дикому зверю, в клетку и бьющегося в ней с безумной тоской. Трагедия его — трагедия доброты, которая думает уничтожить зло мира личными усилиями одного человека, не опирающегося на народные массы.

Новая трактовка образа царя Федора и ввод группы новых исполнителей потребовали новой постановки массовых сцен. По-настоящему пошла работа над спектаклем, когда руководство взял на себя В. И. Немирович-Данченко. Работать было для Хмелева чрезвычайно трудно, так как его подход к образу был связан с ломкой некоторых так называемых традиций театра. Истинные традиции Художественного театра заключаются в уважении к исканиям и творческому росту актера, в чутком, деликатном, бережном отношении к серьезной творческой работе актера в период его становления. Признание за актером права на искание и на свою трактовку роли относится к лучшим традициям Художественного театра. Но есть и так называемые традиции, которые защищают застылость манеры и достижений, которые боятся исканий, которые канонизируют прошлое.

В. И. Немирович-Данченко одобрил творческую инициативу и замысел Хмелева и начал с ним работать. Он переменял почти все мизансцены в спектакле, поддержал уклон Хмелева в сторону суровости образа.

Роль Федора — самая трудная, самая горькая и самая любимая работа Хмелева. Играет он ее с наслаждением, упорно работает над образом, который становится все осмысленнее, тоньше и глубже.

В этот образ Хмелев вложил все свое мироотношение, всю свою страсть, все свои стремления.

Когда Хмелев играет Федора, на его душе праздник.

Раскрыть внутренний мир образа — такова первая задача актера. Найти адекватную внутренней сущности образа форму — вторая задача.

Федор в истолковании Хмелева — воплощенная доброта, искаженная и изуродованная в условиях рабовладельческого общества. Доброта бесплодная, но мечущаяся и неиссякаемая. Он страстно хочет, чтоб всем было привольно жить, чтоб никто никого не душил и не угнетал, чтобы не было горя и слез. Ему кажется, что он страшно деятелен и активен во внедрении добра в мир. Он все время мирит врагов, уговаривает и успокаивает недовольных, заговаривает зло, а когда это ему не удастся, когда добро оказывается бессильным в борьбе со злом, он впадает в ярость и бешенство. В нем уживаются ад и рай. Преобладает рай. Рай олицетворяет Ирина. Все доброе и святое, что существует в жизни, вся чистота и красота жизни, все человеческое в человеке воплощается в ее образе. Без Ирины нет образа Федора. Она его часть, его дополнение, ключ к нему. Борис и все остальные с их злобой, борьбой, интригами и преступлениями — это ад. Федор глубоко верит, что зло можно победить добром, что вражду и насилие можно заклясть, уговорить, смягчить, рассеять добрым словом, кротостью, лаской, теплом сердечным движением. Когда это не удастся, когда его зажимают в тиски, он начинает биться и становится неистовым. Тогда он вспоминает, что он царь, который обладает страшной силой принуждения, кары и устрашения. Тогда в нем оживает кровь Ивана Грозного. Хмелев со страшной остротой показывает припадки неистовства и бешенства в Федоре.

Это не заглушает кротость и покорную жалостливость образа. Наоборот: элементы благодати, молитвы и тихого звона становятся заметнее и сложнее в образе и поведении Федора благодаря контрасту с суровостью и припадками бешеной ярости. Элементы благодости еле намечены Хмелевым. О них не приходится заботиться — они не отделимы от образа, от его существа, от его исторической судьбы.

С самого начала, когда Федор появляется на сцене, возбужденный, с блаженной детской улыбкой, с трогательным недоумением во взоре, с затравленными воспаленными глазами, уже чувствуешь, что нарастает трагедия. Он любит прощать, опрашивать и жалеть. «Стреманный, отчего конь подо мною вздыбился?» В голосе звенит гнев, недоумение, недоверие, слеза. «Уж я его прощай» — говорит Федор с трогательной искренностью о коне. Постепенно благостная теплота распространяется вокруг его образа. Он хочет, чтоб все жили в мире и согласии. Он не понимает, отчего люди враждуют, он не понимает смысла политической борьбы. Политическая борьба для него не является выражением борьбы антагонистических общественных сил, он не видит и не чувствует этой борьбы, политическая борьба для него сводится к проявлению доброй или злой воли отдельных людей, к положительным или отрицательным сторонам их характера. За людьми он не видит реальных стремлений определенных общественных групп и сам не опирается ни на какую из них. В этом его слабость, его горе, его трагедия. Он хочет помирить Годунова с Иваном Петровичем Шуйским и думает, что это ему удастся, так как это исключительно сердечное дело, а он в делах сердца специалист. «Здесь надо ведать сердце человека». С невыразимой лаской и нежностью он обращается постоянно к жене, как к последнему прибежищу и голосу своей совести: «Аринушка, послушай». Голос звучит, как самая тонкая лирическая струна.

Во второй картине Федор стоит у престола на возвышении, взволнованный и одинокий. Руками сжимает голову (любимый жест Хмелева), задумчиво и застенчиво улыбается, по-детски кладет палец в рот. Жидкие выщипанные, сплывшие волосы, страшно бледный лоб, большие вопрошающие глаза, прямой иконописный нос, небольшая русая бородка. Он в зеленой вышитой рубахе и в зеленых узорчатых сафьяновых сапогах. Нервные, порывистые руки не знают, за что ухватиться. Надо во что бы то ни стало помирить шурина с

Шуйским. «Спасибо, шурина». Он пытается зацепиться за каждое его слово. Потерянный, смущенный, он не знает, как начать речь о примирении, несколько раз пытается говорить и не может. Нервно сжимает руки от страшного волнения, лихорадочно касается лба рукой. От смущения и желания осуществить задуманное, не в силах громко произнести нужные слова, он начинает шептаться, как бы магически заклиная неподчиняющуюся человеческому сердцу действительность. «Начинай же!» — наконец, с усилием и досадой он произносит. Во время разговора Годунова с Шуйским Федор сидит на престоле, как на угольях. Наивность, детскость, застенчивость, недоумение и обида этого человека исключительно человечны и трогательны.

В четвертой картине, после беседы с духовником, Федор выходит скромно, в халатике, и жалуется на скверный сон. «Нам делать так, чтоб на Руси у нас привольней было жить», — мечтает он, дремля на плече Ирины, доверчиво к ней прижимаясь. Злая воля Годунова разламывает его мечты. «Я хочу вернуть Дмитрия в Москву. А он (горький жест в сторону Бориса) не хочет». Ожесточение борьбы неожиданно вихрем врывается в его жизнь. Федор все время горестно сжимает шею рукою, ломает руки, кладет пальцы в рот. Он закрывает лицо и бесшумно рыдает, когда Годунов требует головы Ивана Петровича Шуйского. Он весь дрожит от гнева, отчаяния и боли, когда три раза повторяет горестный и страшный вопрос: «Я царь или не царь?».

Федор старается быть самостоятельным, деятельным и активным. Он сидит в тереме царицы в желтом кафтане за делами. Он посылает за Шуйским. Он уверен, что его уломает. «Я его и круче и упрямей. Нашла коса на камень». Бедный, наивный мечтатель хочет обмануть самого себя — самого себя увесть в своей силе. Он уговаривает Шуйского — знаками, шопотом, мимикой — уйти, не раскрывать своих замыслов в присутствии Петровича (Клешнина), подручного и клеветника Годунова. Это удивительная, потрясающая сцена. Мимиче-

ская трагическая игра Хмелева достигает страшной выразительности и громадной лирической силы. За последнее десятилетие это, может быть, самая сильная сцена в истории советского театра. Человек с величайшим напряжением воли, мысли и чувства пытается подчинить себе действительность, а она неумолимо продолжает себе развиваться по своим законам, не обращая внимания на трагический шопот несчастного заклинателя. Когда Шаховской приносит грамоту с требованием заточения царицы в монастырь и насильственного развода ее с царем, Федор не верит, трясется, не может читать, кусает себе руки. «Аринушка, он подписался. Он, он! Пускай бы кто другой!» — кричит Федор, увидев подпись Шуйского. Страшный удар по вере в людей разрушает все его иллюзии. Остается жестокий язык кары. В сознании всплывает страшная догадка о своей силе. «Я царь! Они забыли, что я царь». И потом вопль бешенства: «В тюрьму!». И страшная поспешность в применении власти: «Если я подожду, я их прощу».

В последней, восьмой, картине царь выходит из церкви сокрушенный, грустный, отягощенный скорбью. Молится жалостливо: «И быть царем меня ты научи». С мукой кланяется ниц, кроткий, покорный и обессиленный. И вдруг удар за ударом. По просьбе княжны Мстиславской царь требует вернуть всех Шуйских из тюрьмы. Когда Туренин говорит, что освободить Ивана Петровича Шуйского нельзя, потому что он... «сею ночью...», Федор весь настораживается, сразу все понимает, но не может поверить. Он переспрашивает и торопит ответ. «Ну, что сею ночью? Что?» — шепчет он воспаленными губами, что-то говорит, пытаясь отогнать от себя ужас происшедшего. «Не удавился, удушен он!» — кричит Федор в отчаянии и бешенстве. Безумная вспышка ярости охватывает все его существо. Тень грозного отца появляется во всей своей реальности. Царь бросается с железом, вырывает у стража топор и в неистовстве кричит: «Палачей! Поставить плаху здесь передо мной, перед крыль-

цом, сейчас! Пришла пора мне вспомнить, чья кровь во мне».

В это время на Федора обрушивается второй удар: «Царевич Дмитрий упал на нож и закололся». Федор почти придавлен. Он мечется на паперти, шепчет, кричит, изнемогает. «До смерти, до смерти закололся!». Страшное предположение возникает в мозгу: «А что, если он их»... Не может высказать мысль до конца, так страшна она. «Я никому не верю». «Послать племянника того, кого ты сегодня... Я путаюсь, мои смешались мысли. Я правды от неправды не отличу». Мрачные зарницы вспыхивают в его глазах, когда он направляет их в сторону Годунова. В своем безумии он постигает правду. Но несчастного юридического легко обмануть. Он думал спасти народ, спасти мир от зла и насилия, опираясь только на свою добрую волю. В этом его страшная трагедия. Победить зло, не опираясь на народ, невозможно. Носителем реальной справедливости, правды, добра, бессмертия является только народ. Федор этого не знал. Его трагедия — трагедия одиночества, отщепенчества, безверия в силы народа. Остается только погибнуть. «Уйти от мира — в нем правды нет. Я сам хотел бы уйти». «Аринушка, спаси меня» — молит перед гибелью Федор. Он остается вместе с любимой Ириной, единственным человеком, который его не бросил и который его понимает, на паперти Архангельского собора, в страшном одиночестве, с нищими и калеками. Они прижались к стене, сами убогие, сами нищие, одни во всем божьем свете. Последние мысли Федора — мысли о его вине перед народом, о своей обреченности. Он подозревает какую-то высшую правду. «Я последний в роде». «Моей виной случилось все, а я хотел добра, Арина, я хотел всех согласить, все сгладить».

Со страшной трагической силой Хмелев показал в Федоре трагедию человека, обреченного на гибель, вырождение и бессилие благодаря отсутствию реальных, морально-психологических связей с народными массами. Этот юридический, больной, затравленный человек является носителем глубоко челове-

ских чувств, олицетворяет человеческое отношение к человеку. Но он не умеет и не может осуществить своих стремлений, так как не понимает конкретности настоящей действительности и ее движущих исторических сил.

Как художник Хмелев мало показывал доброту, мягкость, благородство, душевную красоту человека. А влекло его всегда к положительному образу. Его страшно интересует судьба людей, старающихся сделать жизнь чище, честнее, радостнее и красивее, а человека — свободнее, благороднее и выше. Его привлекает высокое благородство души, верящей в творческие силы и победу человечества и тоскующей от жестокости, грубости и уродливости жизни. Его интересуют неудачи, гибель, ошибки и трагедия этих людей, причины их провалов и возможности их торжества. Вот почему он захотел сыграть роль блаженного кроткого человека и показать причины его трагедии, его исторической обреченности. Сделал он это как зрелый мастер, крупный мыслитель и современный художник. Такой

подход к роли царя Федора не лежит в плане сентиментального мещанского гуманизма. Это гуманизм социалистической пытливости, гуманизм протестующий, активный, творчески переделывающий жизнь. Трагедия царя Федора, рассказанная Алексеем Толстым с его политическими реакционными тенденциями, заново осмыслена, пережита и истолкована одним из самых искренних и замечательных актеров страны социализма.

Генеральная тема этого актера, которая им разрабатывается во всех его ролях, — мечта о чистоте, мужестве и красоте человека, больше об искажении в образе человека человеческих черт. Понятна его страсть к положительному образу. Положительный образ человека — это и есть его тема. А так как настоящий человек завоевывается в боях и величайших усилиях и так как вопрос о его моральной чистоте больше всего интересует этого актера, то он и тяготеет преимущественно к образам лирико-героических и философских трагедий.

Пути молодых

Образы современной советской молодежи в произведениях В. Герасимовой,
Л. Соловьева и Ю. Крымова

Г. ЛЕНОБЛЬ

★

Молодежь — наша будущность, наша надежда, товарищи. Молодежь должна сменить нас, стариков. Она должна донести наше знамя до победного конца.

И. СТАЛИН.

В произведениях советских писателей, напечатанных в 1938 году, заметное место занимают образы современной советской молодежи.

Это — молодежь, которая вступила в сознательную жизнь после установления советской власти, после всемирно-исторической победы социалистической революции на одной шестой земного шара.

Это — молодежь, которая с капиталистическим прошлым, с буржуазно-помещичьей кабалой знакома лишь по книжкам да рассказам старших.

Это — молодежь, растущая и воспитывающаяся в условиях, совершенно не сравнимых с теми, в которых находятся миллионы юношей и девушек в капиталистических странах.

Первое поколение советской молодежи, поколение Корчагиных, застало еще старые, эксплуататорские порядки в нашей стране. Мальчиком заглянул Павка Корчагин «в самую глубину жизни, на ее дно, в колодезь, и затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него, жадного ко всему новому, неизведанному». С тем, что представляет собой эксплуатацию, Павка ознакомился по собственному своему, весьма невеселому, опыту.

Современному поколению советской молодежи ничего подобного испытать не пришлось. И это обстоятельство наложило, без сомнения, определенный от-

печаток на весь его характер, на все его развитие.

Юность современной молодежи ничем в стране Советов не омрачена: ни заботами о куске хлеба, ни мучительными поисками работы, ни страхом всегда грозящей безработицы, ни необходимостью подневольного труда на помещиков и капиталистов. Ей, в отличие от трудящейся молодежи зарубежных стран, не приходится затрачивать все физические и духовные силы своей молодости на то, чтобы «хоть как-нибудь просуществовать». Если за рубежом для молодого человека переход от юности к зрелости означает сплошь и рядом разбитые надежды, «утраченные и иллюзии», то советский молодой человек — в ином положении. Перед ним — с первых же дней его сознательной жизни — раскрываются реальные перспективы роста, подъема, продвижения вперед, вестеронного развития всех своих способностей, всех своих талантов. Молодежи нашей не к чему насиловать свои склонности, отказываться от любимого дела, приспосабливаться к обстоятельствам, угодным и выгодным хозяевам. В определении своего будущего, в намечении жизненных планов, в выборе профессии она ничем не стеснена. Все дороги перед ней открыты. Было бы только желание, была бы воля, были бы энергия, решимость, настойчивость.

Залог успехов советской молодежи — в том, что о ней, о коммунистическом ее воспитании, о путях ее формирования неустанно заботится партия большевиков, партия Ленина—Сталина. Вот почему из среды молодежи выделяется столько замечательных людей, столько героев, столько славных защитников дела социализма, которыми по праву гордится советский народ!

Возможности, предоставляемые советской молодежи, поистине грандиозны. Но это не значит, конечно, что молодежь наша не сталкивается на своем пути с препятствиями, трудностями и опасностями. Враги народа, отлично понимая, какую огромную роль играет в нашей стране молодежь, всячески стремились и стремятся проникнуть в ее среду с тем, чтобы оторвать ее от партии, растлить идейно и морально. Известно, к каким гнусным приемам, к каким отвратительным «методам» они прибегали в этой своей подрывной «работе». Они рассчитывали при этом на недостаточную закаленность молодежи, на недостаточный ее политический и жизненный опыт. Навредить враги, пробравшиеся в комсомол, сумели немало. Но сбить молодежь с революционного пути, поколебать ее доверие к партии им не удалось и никогда не удастся. Советская молодежь была и остается надежной опорой советской власти и коммунистической партии.

«Молодежь, — говорил товарищ Сталин в 1933 году, — наша будущность, наша надежда, товарищи».

Как же показывает советская литература нашу будущность, как справляется она с одной из важнейших и увлекательнейших задач, которую ставит перед ней социалистическая действительность? Как раскрывают наши писатели — в живых художественных образах, в конкретных характерах, в индивидуальных судьбах людей — пути формирования современной советской молодежи? Какие проблемы встают перед нашими писателями, изображающими советского молодого человека?

В этой статье мы собираемся рассмо-

треть образы молодежи в трех произведениях 1938 года: в повести Валерии Герасимовой «Хитрые глаза», романе Леонида Соловьева «Высокое давление» и повести Юрия Крымова «Танкер «Дербент».

И Женя Заботина, одна из героинь повести «Хитрые глаза», и Михаил Озеров, главный герой романа «Высокое давление», и Александр Басов, главный герой повести «Танкер «Дербент», — все они принадлежат к современному поколению советской молодежи, формирование которого целиком протекало в советских условиях.

Совершенно точно указано время действия в повести Ю. Крымова. Изображаемые им события относятся к 1935 году, году возникновения стахановского движения.

Время действия в романе Л. Соловьева — наши дни.

Несколько более ранний период охватывает повесть В. Герасимовой. Борьба, развертывающаяся в издательстве «Культура и труд» и составляющая, как помнит читатель, основное содержание «Хитрых глаз», происходит примерно в 1933—1935 годах. Эпизоды же, участницей которых Женя Заботина являлась до своего поступления в издательство, следует отнести, повидимому, к 1927—1931 годам.

Итак, перед нами три произведения, рисующие современную советскую молодежь. Что же говорится о ней в этих произведениях?

I

ЖЕНЯ ЗАБОТИНА

(«Хитрые глаза» В. Герасимовой)

С Женей Заботиной читатель знакомится в момент вступления ее в ряды комсомола. С этого времени в семье у нее начались нелады. Неожиданное для родителей девушки «комсомольство» Жени вызвало вначале с их стороны определенное недовольство.

«Когда Женя, вернувшись из школы, в первый раз заявила родителям, что она вступила в комсомол и отныне будет позднее приходить домой, так как у

нее «нагрузка», отец только махнул рукой, а мать быстро вышла из комнаты, крепко прижав к губам платок».

Родители Жени не были антисоветскими людьми или «монархистами», как выразился один из приятелей Жени, узнав об ее неладах с домашними. И профессор Заботин, и его жена, Ольга Викентьевна, оба они, надо полагать, считали себя вполне лояльными советскими гражданами. Возражения их против работы дочери в комсомоле вовсе не вызывались политическими соображениями, — по крайней мере, сами они свои споры с Женей так не рассматривали. Против комсомольства Жени они протестовали «с морально-эстетической точки зрения»: «Постепенно у тебя вырабатывается примитивный подход к любому явлению жизни... Эти твои новые, мало привлекательные товарищи! Эти нелепые сборы утиля по двору! Эта уродливая стрижка!.. Тебя поглащают дела, которые способны только состарить человека. Нет ничего радостного, беззаботного, того, что должно украшать юность».

«Первая полоса комсомольства, — пишет Герасимова, — сопровождалась для Жени домашними неприятностями. Но именно это заставляло ее чувствовать свою принадлежность к великой организации, как нечто большое, почетное, а главное — ею заслуженное».

Со временем, однако, недоразумения в семье прекратились. Женины родители, которые раньше огорчались и возмущались примитивным подходом к жизни своей дочери-комсомолки, постепенно изменили свой взгляд на ее поведение. Неожиданно для самой Жени они стали «восхищаться всеми теми чертами, которые почему-то считались самыми типичными, характерными для «новой молодежи», — и, прежде всего, беспредельной, непрерывной и всеподавляющей жизнерадостностью... Билет члена комсомола незаметно стал источником самодовольства и гордости для ее семьи. Ею любовались, ее ценили и неизменно называли «новым человеком». «Но, — прибавляет Герасимова, — как это ни странно, именно это уничтожало

ощущение того, что она является членом авангардной боевой организации».

Беспокойно и пытливо приглядываясь к тому, что окружало ее, Женья сравнивала себя и своих подруг, не имевших комсомольского билета, а иногда и мещански настроенных, и приходила к неутешительному выводу, что образ жизни у них, в сущности, одинаков.

«И Жене все чаще начинало казаться, что правдивая, полная борьбы, страданий и настоящих побед жизнь скрыта от нее, — скрыта и все же находится где-то так близко, что она не может не слышать ее огромного сердцебиения».

Пожалуй, ни одна из групп и прослоек советской молодежи не находилась в условиях, менее благоприятных для ее коммунистического развития, нежели та, правда, малочисленная, часть молодежи, которую представляет — в повести Герасимовой — Женья.

Родители ее принадлежали к старой буржуазной интеллигенции, далекой от народа, сложившейся задолго до Октябрьской революции, — к той самой старой интеллигенции, пропитанной всевозможными буржуазными предрассудками, которая кичилась своей «культурностью», но в вопросах общественного порядка была на деле совершенно невежественной. Именно в среде такой интеллигенции была в свое время довольно широко распространена та «морально-эстетическая» критика внешности, деятельности и всего духовного облика комсомольцев, с которой Жене пришлось столкнуться тотчас же после вступления ее в комсомол.

Что же побудило девушку из такой сугубо интеллигентской семьи пойти вопреки желанию родителей в комсомольскую организацию? Повидимому¹, наибольшее значение для Жени имела ее неудовлетворенность жизнью родителей, неудовлетворенность их мелочными «идеалами», их поверхностными представлениями о том, что может «украшать юность». Она чувствовала, что за пре-

¹ Мы говорим: повидимому, — так как В. Герасимова в данном случае скупится почему-то на пояснения и детали.

делами квартиры Заботиных происходит что-то большое, значительное (что именно, она, возможно, и не могла бы сказать), за что следует каждому честному и уважающему себя человеку бороться. Желание участвовать в этой борьбе и привело ее в ряды комсомола. На первых порах, однако, как мы знаем, «бороться» Жене приходилось главным образом с родителями, недовольными ее «комсомольством», и это-то как-раз и помогло ей ощутить свою принадлежность к комсомолу, как нечто, ею заслуженное.

Но на самом деле, конечно, неприятности в семье, претерпеваемые Женей, не означали еще действительного включения ее в ту великую борьбу, которую ведет советский народ со своими врагами. Со всей очевидностью Жене ясно это стало тогда, когда эти неприятности кончились, и отношение родителей к ней резко изменилось.

Изменение это, каким бы неожиданным оно ни казалось на первый взгляд, случайным тем не менее отнюдь не было. Оно было следствием — закономерным и неизбежным — того поворота старой интеллигенции в сторону советской власти, который отметил товарищ Сталин в своей исторической речи от 23 июня 1931 года «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства». Понятно, поворот этот, как всегда в таких случаях бывает, различные представители старой интеллигенции прорешили по-разному. Одни, поняв, что подлинными руководителями социального, культурного и технического прогресса человечества являются большевики, сами стали в полном смысле этого слова непартийными (а некоторые и партийными) большевиками. Другие же, в том числе и старики Заботины, искренно повернув в сторону советской власти, продолжали, однако, первое время весьма упрощенно, а следовательно, и неправильно, представлять себе большевиков.

Заботины изменили свое отношение к пребыванию дочери в комсомоле, — они уже не только не стыдились того, что дочь их — комсомолка, а, напротив, всемерно гордились и восхищались

этим, — но глубже их понимание комсомольцев не стало. Это и повело к тому, что самой типичной чертой «новой молодежи» Заботины сочли ту «беспредельную, непрерывную и всеподавляющую жизнерадостность», о которой с такой издевкой пишет Герасимова и которая ничего общего с действительным, «историческим оптимизмом» советского человека не имеет.

Не трудно заметить, что бездумному «оптимизму» этому, который старики Заботины упорно приписывали своей дочери, присущ явно выраженный дельчатый характер. Все обстоит благополучно, будущность у «детей» обеспеченная, колея жизни перед ними впереди определенная, — так что и думать им, в сущности, не о чем и беспечиваться нечего, — жить да радоваться — и только. Но радоваться такому «благополучию» Женья не хотела, потому что достигнуть его можно было, лишь отгородившись от настоящей жизни, замкнувшись в четырех стенах своей комнаты. Женья не боялась работы, борьбы, ответственности, опасностей, больших дел и больших страстей; она понимала и чувствовала (скорее даже чувствовала, чем понимала), что без них и жизни-то нет, а есть лишь скучное мещанское прозябание, которое жизнью и назвать как-то неловко. Она готова была к борьбе — самой суровой, самой жестокой — за жизнь, «полную страданий и настоящих побед», но после поворота родителей неожиданно оказалось, что ей вообще не с кем бороться и что вообще все требуемое от нее ни к чему серьезному ее не обязывает.

Любопытно и показательно, что в соприкосновение с подлинной жизнью, действительно «полной борьбы, страданий и настоящих побед», Женья вошла не в обычно окружавшей ее обстановке.

Однажды комсомольская организация послала ее, вместе с группой студентов, в подшефный колхоз — наладить культурно-просветительную и политическую работу. Деревня, в которую они приехали, была, на первый взгляд, самая обыкновенная, такая же, как тысячи других деревень. Но хотя комсомольцев

встретили вежливо, даже приветливо, и с работой они справлялись успешно, Женя испытывала странную неловкость. Она чувствовала свою отчужденность от тех, для кого хотела работать, от замкнутых в себе «людей в полушубках», которые молча рассматривали сделанную ею стенгазету. Чем эти люди жили, что у них были за мысли и чувства, оставалось для нее неизвестным.

Уже накануне отъезда комсомольцев из деревни к ним тайком пришел колхозник-селькор и принес корреспонденцию, подписанную псевдонимом «Острый глаз». И перед Женей открылась правда: корреспонденция разоблачала деревенскую верхушку, — предсельсовета Зеева, казавшегося таким привлекательным человеком, и других, — как замаскированных кулацких агентов.

По совету бригадира студенческой группы Миши Б. Женя вклеила заметку в стенную газету. Но заметку кто-то сорвал, а оригинал из портфеля Жени был похищен. И Заботина в нерешительности медлила с отъездом, хотя все ее товарищи по бригаде уже уехали.

На следующий день Миша, увезший копию заметки в районный центр, прислал Жене свежий номер газеты. На первой полосе крупным шрифтом было напечатано: «Кулацкий агент Зеев». «Женя, — пишет Герасимова, — сама не ожидала, что так взволнует ее эта заметка». И она бросилась на улицу — искать селькора. Но на улице она никого похожего на него не встретила, а когда вернулась, нашла человека, которого так искала, лежащим на полу, мертвым...».

Так комсомолка Женя Заботина впервые увидела, что такое классовая борьба.

«— Ну, как бузила? — спросил с нежной гордостью встречавший ее через неделю на вокзале отец.

— Ничего, — ответила Женя коротко, не находя в себе против него даже былого раздражения, — таким ничтожным было бы это раздражение сравнительно с тем, что открылось перед ней. — Ничего, папа.

Как с большой высоты, видела она теперь во всех смешных и печальных

подробностях существование этих беззаботных, в сущности, стариков и их дочери Жени, которая считала своим долгом пикироваться с ними, а вокруг крошечных комнатных волнений — серьезную и сложную жизнь.

Как должно, приняла она, когда через месяц все газеты Союза обошло дело Зеева, Ступикина, Бокова и их непосредственной соучастницы, дочери попа, учительницы Зои Петровны Колпинской, организовавших убийство колхозника и селькора Никиты Ивановича Бурунова.

— Женя, ведь и тебя могли убить?.. Ты была на волосок от смерти! — всплескивая руками, говорила Буся.

— За что нас убивать? — говорила Женя и без улыбки добавляла: — ведь мы — тихие.

И Буся У. вместе с остальными подругами отмечала, что характер Жени с некоторых пор делается все хуже и хуже».

Таков был первый настоящий и жизненный урок, полученный Женей Заботиной.

Нельзя не отметить, что формироваться характер Жени стал в условиях, не совсем нормальных. А если бы кулаки не убили на глазах у Жени колхозника-селькора Никиту Ивановича Бурунова, — что тогда было бы с нею? Разве в городе, в том же институте, где учился Женя, не идет классовая борьба, принимающая иногда крайне ожесточенные формы?

Припомним, что на те самые годы, которые Женя провела в вузе, падает разгром партией рубинщины в области политэкономии, переверзевщины в области литературоведения, деборинщины в области философии. Все эти антинаучные меньшевистские течения имели в то время в высших учебных заведениях группки своих сторонников, которые яростно отстаивали позиции своих «учителей» и часто поэтому именно с такой яростью отстаивали эти позиции, что превосходно понимали: не о науке только идет речь, но и о политике. Борьба против рубинщины, переверзевщины, деборинщины и их защитников была несомненно особым видом классово-

в ой борьбы. Но на Женю эта борьба не оказала никакого влияния, Женя, — похоже на то, — вообще не заметила, что такая борьба в ее институте ведется. Во всяком случае, В. Герасимова об идеологической борьбе в институте ни словом не обмолвилась.

Об умолчании этом, понятно, можно лишь сожалеть. Попытаемся, однако, восполнить пробел, допущенный автором, и зададимся вопросом, — что же происходило с Женей в институте? Ответ напрашивается следующий. Женя в годы своего пребывания в вузе, видимо, не была еще подготовлена к тому, чтобы за словесной (якобы словесной!) оболочкой спора на академические (якобы академические!) темы усмотреть классовую рознь, столкновение различных классовых интересов. Поэтому, по всей вероятности, и споры с переверзевцами, деборинцами и прочими не затронули глубоко девушку. Конечно, особо обвинять в этом Женю не приходится. Но мы вправе прийти к заключению, что в ее институте воспитательная работа — в точном, большевистском смысле слова — не находилась на должной высоте. Как иначе объяснить, что в вузовских организациях партии и комсомола не нашлось никого, кто бы помог Жене осмыслить действительное значение борьбы партии в области философии, политэкономии и литературоведения и обнаружить жизненную основу «академических споров»?

Лишь много времени спустя после поездки в деревню, пережив ряд перипетий борьбы внутри издательства «Культура и труд», куда ее послали практиканткой по окончании института, Женя поняла и всем своим существом ощутила, что борьба за социализм, за социалистические принципы жизни идет всюду, в самых разнообразных формах, и что всюду нужны люди, готовые к борьбе. «То суровое, сложное, огромное, что скрывалось когда-то для нее под обликом русско-мхатовского пейзажа мирной спящей деревеньки, — пишет В. Герасимова о Жене в заключительной части своей повести, — это же сложное, серьезное, потребовавшее от нее всех сил, всего напряжения, оказа-

лось и здесь — в обычном советском и, по всем видимостям, тоже таком мирном учреждении». Но увидеть все это Жене удалось далеко не сразу — и это доставило ей немало горьких минут.

Путь формирования Жени Заботиной своеобразен, сложен и труден. Можно ли было, спросим себя, облегчить ей этот путь? Вопрос этот — не праздный, так как ситуация, в которую поставила Герасимова свою героиню, не является единственно возможной; она — лишь одна из возможных и притом наименее выгодная для Жени.

В программе ленинско-сталинского комсомола приведены замечательные сталинские слова о тех человеческих качествах, которые большевистская партия стремится воспитать в каждом советском гражданине: «ясность цели, настойчивость в деле достижения цели и твердость характера, ломающая все и всякие препятствия». Всей своей работой ВЛКСМ призван воспитывать, под руководством партии, из рабочей, крестьянской, служащей молодежи и из молодой интеллигенции людей, для которых эти качества являются основными. В этом главная задача комсомола.

Была ли у комсомолки Жени Заботиной, в ее вузовские годы, ясность цели? Нет, она отсутствовала — и только смутная неудовлетворенность собой отличала Женю от ее подруг. Но так как ясности цели у нее не было, то не было, не могло быть и ясности зрения — и под мирной поверхностью обыденной жизни она сплошь и рядом не замечала схваток и борьбы.

После окончания института Женю Заботину послали на работу в издательство «Культура и труд». В этом издательстве Женя стала непосредственной активной участницей борьбы от начала и до конца. Однако она далеко не сразу разобралась в борьбе, происходившей внутри издательства, далеко не сразу заняла в ней правильную позицию. Это и не удивительно, так как обстановка в издательстве образовалась крайне сложная, — до того сложная, что до конца в ней не смогла разобраться и сама В. Герасимова.

Надо сказать, что повесть «Хитрые глаза» вообще написана неровно: наряду с яркими, убедительными, волнующими страницами встречаются в ней и страницы недоработанные, неряшливые, вызывающие возражения. В частности, мы хотели бы возразить против трактовки Герасимовой образов руководителей издательства — Миусова и Хребтова¹.

«Как идейные установки, так и сама практика работы этих двух людей,— пишет В. Герасимова,—были глубоко различны». Захарий Эрастович Миусов, заведующий издательством, «самое большое внимание уделял всему тому, на чем покоился немеркнущий отблеск историчности. Главным образом — мемуарной литературе, а также редчайшим, почти забытым произведениям, которые нередко могли рассчитывать ~~только~~ на ярого библиофила». Напротив, Иван Иванович Хребтов, заместитель Миусова, всяких там «красот», «психологий» и так называемых «художественных откровений» в своей работе принципиально избегал. В короткий срок ему удалось организовать серии, посвященные самым животрепещущим, злободневным вопросам: «Сельскохозяйственную», «Индустриальную», «Культурно-бытовую» и даже «Транспортную». Но ложно понятая актуальность приводила к тому, что Хребтов выпускал либо незрелые, беспомощные книги начинающих писателей, либо (последнее, видимо, случалось чаще) ремесленные изделия явно приспособленного ремесленного характера, способные лишь компрометировать избранную их авторами тематику.

Среди сотрудников издательства, группировавшихся вокруг Миусова и Хребтова, были люди, искренне разделявшие взгляды своих руководителей, принимавшие все их установки, но зачастую вкладывавшие в их слова иное, более правильное и более богатое содержание, чем то, которое сами «шефы» их

имели в виду. Но такие люди среди «миусовцев» и «хребтовцев» составляли меньшинство. В преобладающем большинстве «миусовцы» и «хребтовцы» были людьми, руководствовавшимися прежде всего соображениями карьеры. Что же касается одного из ближайших помощников Хребтова, Пономаренко, то этого субъекта Герасимова характеризует как человека политически чрезвычайно сомнительного, который скорее всего не сегодня-завтра будет разоблачен, как враг народа. То, что именно такая публика липла к Миусову и Хребтову и что именно такую публику они подбирали и держали возле себя, — свидетельствует о многом.

Резкое различие принципов и вкусов Миусова и Хребтова и их откровенно ироническое и недружелюбное отношение друг к другу не могло не повести к ожесточенной борьбе между «миусовцами» и «хребтовцами». Но эта борьба оказалась многим ее участникам почти идиллией после того, как выступила, «нарушив спокойное существование образцового учреждения», секретарь парткома издательства Роза Марковна Агейчик. Она обрушилась одновременно как на музейный эстетизм Миусова и его сторонников, так и на упрощенчество Хребтова и его людей. После ее выступлений стало очевидным, что внутри издательства, собственными силами, конфликт разрешить не удастся. «Вот почему... райком, очевидно, учтя все своеобразие создавшегося положения, для обследования издательства направил специальную комиссию, во главе ее поставив бывшего партизана, участника гражданской войны, орденоносца, товарища Алексева».

Началась мышьяная возня конъюнктурщиков и подхалимов, старавшихся предугадать выводы комиссии и в соответствии с ними так или иначе определить свою «ориентацию». «Миусовцы», узнав о том, что председатель комиссии — давнишний приятель Хребтова, поспешили немедленно «перестроиться». «Хребтовцы» почувствовали себя господами положения. Но ни те, ни другие ни на мгновение не задумались над тем, что для большевиков существуют иные

¹ Останавливаемся на их характеристиках кратко, лишь в той мере, в какой это необходимо для правильного понимания образа Жени Заботиной (который удачнее всего, на наш взгляд, получился у автора).

критерии поведения, чем для обывателей. Поэтому они, эти «проницательные» люди, и не предугадали того, что с самого начала ясно было Агейчик, — что выводы комиссии будут направлены и против Миусова, и против Хребтова, и — в особенности — против их окружения.

«О, они ловко перерядились, эти лакеи! — говорил в своей заключительной речи Алексеев (выражающий, без сомнения, и точку зрения автора). — Многих и не узнаешь! Кое-кто даже благородные слова научился говорить и даже «на чай» не принимает! А повадочка-то осталась прежняя, в'евшаяся столетиями, — лакейская повадочка».

Для нас, однако, больший интерес представляет сейчас не эта часть речи Алексеева, а другая ее часть, в которой дается оценка деятельности Миусова и Хребтова.

Обоих комиссия сняла с работы. Но в то же время Алексеев счел нужным подчеркнуть:

«И все же не бросовой это материал, — никак не бросовой! Пригодятся еще нам эти товарищи — и на разные дела, и при разных обстоятельствах!.. И то, пусть немного, ценное, что все-таки сумели они дать, также выбрасывать и забывать не следует: хорошо, что Хребтов поднимал актуальную тематику; хорошо, что авторов из рабочих растил. Судя по выступлению товарища Ловцова, ясно было, что не пропала эта работа товарища Хребтова даром, — и еще как не пропала! Неплохо и то, что у Миусова по два часа над виньеткой сидели, что высокие требования предъявлял он к искусству. Неплохо это у него было!

Только хорошее это находилось, я бы сказал, в разрозненном состоянии, точно в ящиках разных».

Ошибочность этих рассуждений Алексеева совершенно очевидна.

Бесспорно, никакой актуальной тематики Хребтов не поднимал. Наоборот, он всячески способствовал ее дискредитации, поощряя халтурщиков, спекулировавших на «модных» темах.

Бесспорно, авторов из рабочих Хребтов не растил. Наоборот, он калечил их,

захваливая их слабые ученические произведения. А если Федор Ловцов, упомянутый Алексеевым, и вышел на верную дорогу, то только потому, что он порвал с Хребтовым и его установками.

Бесспорно, высоких требований к искусству Миусов не предъявлял. Да и не мог он их предъявлять, так как он не видел разницы между классиками и лжеклассиками и не понимал, чем ценно для советской современности классическое наследие.

Странный, непонятный либерализм проявил Алексеев, говоря в своей речи о Миусове и Хребтове. А самого главного он так и не сказал. Он не заметил того, что вкусы Миусова и Хребтова, их подход к литературе, ничего общего не имеют с вкусами и запросами народа. Между тем все, что делают в повести эти персонажи, служит ярким доказательством того, что оба они — и Миусов, и Хребтов — типичные отщепенцы, далекие от народа и чуждые ему.

Необходимо добавить, что сомнительной кажется нам и политическая физиономия руководителей издательства. Ведь не случайно, в конце-концов, они являлись центром притяжения для «шкурнических, беспринципных, бюрократических и прямо враждебных элементов» (слова в кавычках принадлежат Алексееву)! Можно ли брать на веру красивые слова людей, дела которых явно противоречат их словам? Как показал опыт последних лет, многие работники типа Миусова и Хребтова свихнулись политически, запутались и стали добычей врагов народа. Не беремся утверждать, что Миусов и Хребтов непременно должны были попасть в сети врагов, но не сомневаемся, что перед нами люди, которых следует серьезно проверить...

Мы обрисовали в общих чертах обстановку в издательстве «Культура и труд», куда Женя Заботина попала в качестве практикантки.

Сперва Женя безоговорочно примкнула к «миусовцам».

Захарий Эрастович Миусов скоро завоевал ее симпатии, хотя он не по-

ходил «на того железного, демократического склада человека, каким Женя привыкла мыслить себе руководителя».

«В этом старике Женя неожиданно открыла полное отсутствие того слащавого, — а по сути дела, принижающего, — преклонения перед «простым человеком», которым так сентиментально, со всей страстью новообращенных упивались ее родители». Когда же ей пришлось познакомиться с художественной продукцией, отстаиваемой Хребтовым, ее приверженность к творческим установкам Захария Эрастовича только укрепилась. Сусальность, фальшивость «добротных книг», изданных по инициативе Хребтова, сразу бросилась в глаза девушке. И она проглядела, не увидела, что книги, выпускаемые Миусовым, так же не могут удовлетворить советского читателя, как и книги, выпускаемые его соперником. Впрочем, и не понимала она настоящего советского читателя, советских «простых людей», не знала она, чем они живут и что им нужно.

Ближе других Женя сошлась в издательстве с Анатолием Анатолиевичем Калецким, правой рукой Миусова.

Незаметно для самой себя, под влиянием Миусова и Калецкого, Женя Заботина вошла в борьбу «миусовцев» и «хребтовцев». «Была ли она, эта борьба, той самой, о которой она так мечтала и завеса над которой приоткрылась перед ней в заснеженной деревне, или была иной, — Женя не знала. Твердо и непреклонно она знала только одно — что иначе не может поступить».

Первое время Женя испытывала в кругу «миусовцев» «радость идейности, радость единомыслия, радость коллектива», которую она переживала со всем пылом молодости. Она ощущала себя, быть может, небольшой, но до конца преданной, убежденной, готовой на все лишения и жертвы «боевой единицей». Но эта радость длилась недолго. Как только выяснилось, что председатель комиссии — друг Хребтова и что «Миусыча снимают», вокруг старика с подозрительной быстротой стала образовываться пустота и единственным его приверженцем оказалась Женя. Это не могло не подействовать на девушку угнетающе.

«Как странно оборачивался для нее мир... О, какие мерзавцы люди! Только теперь начинала она понимать раньше всегда раздражавшую ее фразу: «Ты, Женя, еще не знаешь жизни»... Но неужели это и была «жизнь», то грязное и жестокое, что разворачивалось перед ней?».

Ведь прежде, когда комсомолка Заботина думала о трудностях борьбы, «ей мешались совсем, совсем иные вещи». И она в отчаянии спрашивала себя: «Неужели именно таким — без простреленного знамени в руках, без ночной разведки, без последних, предсмертных слов — приходило то главное, о чем так много мечтала она раньше?».

В. Герасимова ярко показывает состояние Жени Заботиной, перед которой жизнь ставила обнаженно-остро все новые и новые вопросы и которая должна была разрешить их — одна.

Тут был и вопрос о Калецком, который вдруг перестал встречаться с нею («случайно ли это?»); тут был и вопрос о будущей ее работе в издательстве (она вынуждена была сознаться себе, что ей присуще некоторое честолюбие, что ее волнует, не вышвырнут ли ее в качестве бездарной неудачницы); тут был и особо мучительный для нее вопрос о ее бывшей приверженности к Миусову, которая внезапно, в решающую минуту, стала колебаться.

В самом разгаре борьбы Женя взяла было один из изящных, особенно любимых Миусовым томиков.

«Взяла — и почти тотчас же отложила».

Теперь ее неожиданно раздражили эти певучие строфы, исполненные мертвых для нее страстей, событий и переживаний».

Участие в борьбе привело к тому, что Женя почувствовала мертвенность и пустоту отстаиваемой Миусовым красоты. Но это обстоятельство стало для девушки источником новых страданий. Безукоризненно честная во всех своих побуждениях, Женя попала в такое положение, что она почти готова была поставить под сомнение свою собственную честность.

«Хорошо, — рассуждала она.—Но почему, дорогая, вы только сейчас начали перестраиваться?.. Не потому ли, что, по примеру некоторых прочих, вам смертельно захотелось разделаться с вашим другом и руководителем, Захарием Эрастовичем Миусовым?».

«Эта мысль, — пишет Герасимова,— была неотвязной и прилипчивой, как грязь»...

Выход из «путаницы этих тяжелых, неразрешенных позорных противоречий» Женя нашла только в последний момент, на общем собрании сотрудников, созванном комиссией по обследованию издательства.

Собрание это проходило следующим образом.

Председатель комиссии, не оглашая своих выводов, предоставил сперва слово для доклада Миусову и предложил желающим высказаться. Затем, сообщив кратко о решении комиссии снять Миусова с занимаемого поста, Алексеев дал слово Хребтову.

И вот во время обсуждения его содоклада, когда торжество Хребтова казалось предрешенным и когда начали поступать предложения о прекращении прений, под предлогом, что в них уже «выкристаллизовалась единая, совершенно бесспорная линия» (это сказал прежний Женин приятель, Калецкий), — вдруг громко, на весь зал раздался взволнованный, задыхающийся голос Жени: «Неправда!».

В своем выступлении — сбивчивом, разбросанном, недостаточно четком — Женя нашла в себе, наконец, мужество выступить и против казавшегося победителем Хребтова, и (что было ей гораздо труднее) против несомненно побежденного Миусова. Но громче всего звучало в ее выступлении негодование против людей с «хитрыми глазами», против переметнувшихся «миусовцев» и грубо льстивших своему начальству «хребтовцев». Эта речь Жени явилась поворотным пунктом в ходе собрания; за ней последовали и другие, и стало очевидно, что в издательстве немало хороших, дельных, преданных работников, которым раньше не давали возможности развернуться, но которые будут отлич-

но работать, если правильно ими руководить.

После снятия с работы Миусова и Хребтова комиссия образовала временное правление издательства во главе с Розой Марковной Агейчик. Заботину, по инициативе Агейчик, в новое правление ввели секретарем. Так заканчивается повесть В. Герасимовой.

«Тот, кто ищет, — поется в наших песнях, — тот всегда найдет». Смысл концовки «Хитрых глаз» в том, что Женя нашла свою дорогу в жизнь, полную борьбы, страданий и настоящих побед. Но Герасимова оговаривает — через одного из положительных героев повести, Ловцова, — что Женя «еще наивна и самолюбива», что ей еще надо над собой работать.

Оговорка эта, без сомнения, правильная. Более того, ее необходимо усилить. Чего в первую очередь, как показала борьба в издательстве, не хватает Жене Заботиной? Понимания того, что происходит вокруг нее, теоретической вооруженности. Поэтому с таким трудом приходилось ей выбираться из путаницы тяжелых, позорных противоречий. Выбиралась она почти что наощупь. И помогло ей (если это слово здесь применимо) то, что никакой сплоченной группки вокруг себя Миусов создать не сумел. Если бы такая группка у него была (предположение, ничего невероятного в себе не содержащее), Жене значительно труднее было бы избежать сетей «миусовцев».

Многому, еще очень многому предостой комсомолке Заботиной научиться, прежде чем она станет полноценным советским работником, настоящим большевиком.

II

МИХАИЛ ОЗЕРОВ

(«Высокое давление» Л. Соловьева).

Михаила Озерова — двадцатилетнего помощника машиниста из «деревянного города Зволинска» — уже давно «томили и тревожили неясные мечты о славе, о подвигах». Он долго раздумывал о смысле жизни, о будущем, и наконец решил:

он должен совершить подвиг. Это решение оформилось у него под влиянием прочитанной в каком-то журнале статьи «знаменитого человека, известного всему миру».

Знаменитый человек вспоминал о прошлом, о непрерывных ударах, чуть не надломивших его волю, о том, как он был близок к тому, чтобы «отказаться от своей заветной цели и мирно плыть в жизни по течению, безвольно подчиняясь всем его прихотям». «Я уверен, — продолжал знаменитый человек, — что талантливых людей гораздо больше, чем принято думать, но кому в то время была нужна их талантливость? И они сами не знали о ней и уходили, не оставив следа, ничем не обогатив мир. Есть хорошая сказка о нищем, который купил на толчке пиджак и двадцать лет носил его, не подозревая, что в подкладке зашиты бриллианты. Так и похоронили его в этом пиджаке, вместе с бриллиантами...».

Заключительные слова статьи прозвучали для Михаила как боевой призыв.

«...Молодые люди! Не уподобляйтесь этому нищему, неустанно разыскивайте свои бриллианты, смелее показывайте их миру! Вы — первое в истории человечества поколение, которое не знает, что такое голод, конкуренция, карьера. Вас не обманут, не покинут, не осмеют, вам не грозит ни безнадежность, ни отчаяние — так будьте же смелыми кузнецами судьбы, искателями счастья, ищите и шлифуйте свои бриллианты и помните, что жизнь без борьбы и благородных стремлений — не жизнь, а только существование!...».

Михаил хотел жить, а не только существовать. Он начал искать поэтому свой подвиг и нашел его, посмотрев одиннадцать раз «Чапаева». Он стал писать сценарий о героическом моряке Иване Буревом, победителе всех князей, баронов и генералов, причем главную мужскую роль в будущем фильме предназначил самому себе, а главную женскую роль — своей возлюбленной Клавдии.

Это обстоятельство, между прочим, сразу обеспокоило некоторых литератур-

ных критиков. Как это так, заволновались они, советский молодой человек — и вдруг заботится о славе! И строгие критики поспешно объявили Михаила Озерова «честолюбцем». Нашлись даже умные люди, которые поторопились заявить, что тема Михаила — это тема Растиньяка.

Так ли, однако, все это страшно? Да, действительно, Михаил не лишен честолюбия, хотя все в нем сводится к честолюбию, значило бы искажать облик юноши. Но многое ли мы поймем в Михаиле, если будем размахивать с победоносным видом этой морализующей словесной этикеткой?

Честолюбие Растиньяка представляло собой не что иное, как психологическое выражение экономической сущности капиталистического общества, где человек человеку — волк и где возвышение одного означает подавление и принижение другого. Что общего тут с «поисками славы» Михаилом Озеровым, представителем поколения, которое не знает, по справедливому замечанию знаменитого человека, что такое голод, конкуренция, карьера, и которое руководствуется в своих поступках совершенно другими побуждениями?

Сам Л. Соловьев несколько иначе расценивает поведение своего героя, чем те его критики, о которых речь шла выше.

Он сопоставляет Михаила и девушку, которую любит Михаил, Клавдию, их мечты и планы. Биографии у этих двух молодых людей различные — и этим объясняется различие в их отношении к жизни.

Михаил к двадцати годам никакого жизненного опыта, о котором стоило бы говорить всерьез, не накопил: то немногое, что он сделал, досталось ему легко, но ничего, действительно заслуживающего внимания, делать ему не довелось; ни с какими испытаниями судьба его не сталкивала.

По-другому сложилась жизнь Клавдии. В четырнадцать лет она осталась сиротой и, попав в дурную компанию, кончила лагерями. «Там Клавдия заработала полное снятие судимости, восстановление в гражданских правах, путе-

ку на профтехнические курсы и стипендию от ОГПУ. Остальное известно: в двадцать один год Клавдия начала жить». Потом она встретила и полюбила Михаила.

«Но его туманных стремлений и надежд Клавдия в глубине души не одобряла, видя в этом опасное чудачество. Все есть у парня, что ему еще нужно? Почему она, Клавдия, счастлива, довольна этой жизнью, а его все тянет куда-то? Она не понимала, что для нее эта жизнь была уже достигнутой высотой, а для него — только началом под'ема; она завоевала эту жизнь, а он получил, как будто в подарок, готовую: сам ничего еще не завоевал и никуда не поднимался. Хотя сейчас они стояли в жизни рядом, но Клавдия смотрела больше вниз, в прошлое, наслаждаясь своей теперешней высотой, а Михаил за неимением прошлого смотрел вверх, в будущее и тосковал по высоте. Она уже испробовала силу и крепость своих крыльев, а он еще нет; она была спокойна, как всякий человек после большой победы, а он горячился и петушился, как перед боем. Клавдия, впрочем, надеялась, что со временем Михаил отрезвеет. У нее были на будущее простые и ясные планы: она хотела семью».

Итак, оказывается, Михаил тосковал по высоте «за неимением прошлого», по молодости лет и неопытности. А раз так, то не только у Клавдии, но и у Л. Соловьева может появиться надежда, что Михаил со временем «отрезвеет».

Вот с таким толкованием, таким комментированием образа Михаила, которое преподносит своему читателю автор «Высокого давления», мы никак согласиться не можем. Естественное в условиях социалистического строя стремление молодости вверх, к высотам является законным ее стремлением, заслуживающим всяческого поощрения и поддержки. И, уверяем тов. Соловьева, напрасно он говорит об этом благородном стремлении таким снисходительным тоном, будто он имеет дело с неизбежной, но не очень приятной детской болезнью, которой должны переболеть молодые люди, «не имеющие прошлого».

Конечно, прав Л. Соловьев, когда он указывает на неопытность, свойственную молодежи. Верно и то, что вследствие своей неопытности молодежь не учитывает зачастую тот огромный труд, который необходимо затратить на завоевание высоты. Все представляется молодости сначала куда более простым и доступным, чем оно есть на самом деле. Но особой бедой мы в этом, признаться, не видим. Опыт, как известно, дело назидательное. А потом, — молодежь живет ведь не в безвоздушном пространстве; на помощь молодым должен притти и приходит опыт старших.

Обо всем этом, надо полагать, Л. Соловьев знает и без нас. Откуда же у него эта снисходительность тона, когда он говорит о Михаиле, рвущемся вверх и тоскующем «по высоте»; почему он с такой настойчивостью противопоставляет «простым и ясным планам» Клавдии (к которым он относится с нескрываемой симпатией) «туманные надежды и мечты» Михаила (они вызывают у Л. Соловьева лишь улыбку умудренного жизнью взрослого человека, стоящего бесконечно выше слабостей юности)? Или у Клавдии, которая бесспорно по праву наслаждается завоеванной ею высотой, Л. Соловьев не замечает никаких отрицательных черт: желания остаться на месте, успокоиться на достигнутом?

Для того, чтобы отношение Л. Соловьева к Михаилу и вообще к молодым людям «без прошлого» стало яснее, мы должны процитировать еще одно место из его романа:

«Молодость тороплива; медленный под'ем всегда кажется ей нестерпимо томительным; она склонна бежать по узкой тропинке, ведущей к вершинам: поэтому еще у подножья она падает раз, другой, третий, ушибается порой очень больно и, созерцая свои синяки, начинает грустно раздумывать о неправильном устройстве мира. Но зато потом поднимается она осторожнее, убедившись спиной и боками, что к мудрости, к человеческому совершенству нет легких и быстрых путей».

В этом рассуждении Л. Соловьева, как и в некоторых других его рассу-

дениях, правильное причудливым образом переплетено с неправильным.

Неоспоримо, конечно, утверждение Л. Соловьева о том, что «к мудрости, к человеческому совершенству» не существует легких и быстрых путей. Но неверно, будто убеждаться в этом молодость должна, расплачиваясь непременно «спиной и боками». Тут тов. Соловьев явно поторопился со своим обобщением. Хороши бы мы были, если бы вся советская молодежь должна была обязательно проходить через период грустных раздумий «о неправильном устройстве мира»! Кому же не известно, что именно в нашей стране молодежь, окруженная отеческой заботой партии и народа, избавлена — в подавляющем большинстве — от падений, от блужданий по кривым закоулкам (которые под поэтическим пером Л. Соловьева превратились в «тропинки, ведущие к вершинам»), от разочарования в своих силах и возможностях?

Л. Соловьев склонен ставить знак равенства между жизненным опытом молодежи и «синяками», ею полученными.

Но «синяки» бывают разные. Когда человек ввязывается в борьбу, он заранее, конечно, знает, что ему предстоит не только наносить, но и получать удары. На то и борьба, — и жаловаться тут не приходится. При этом, понятно, точно рассчитать, какое именно сопротивление будет оказано противником, заранее невозможно, — в серьезной борьбе возможны всякие неожиданности. Без «синяков», пользуясь выражением Соловьева, в ней не обойтись. Человека, слабого духом, эти непредвиденные трудности борьбы заставят, возможно, пошатнуться и отступить; у настоящих борцов, действительно заслуживающих этого наименования, могут быть иногда минуты сомнений, но удары, нанесенные им, не расслабляют их воли, а закаляют ее и укрепляют в них решимость бороться за свое дело до конца.

Однако Л. Соловьев говорит совсем о другом; жизненный опыт он понимает в данном случае в совершенно особом смысле. Он говорит о «синяках», появляющихся у молодости потому, что мо-

лодость не по тем дорогам и не так идет (или бежит), как надо. Поэтому она падает и ушибается порой очень больно. Если освободить мысль тов. Соловьева от метафорических выражений, то она сведется к следующему утверждению: прежде чем притти к правильному пониманию жизни, к правильному определению своего места в ней, молодые люди должны сперва совершать те или иные ошибки, а потом — естественно — разочаровываться, нередко даже отчаиваться и т. д., и т. п. Незачем доказывать, что такой путь созревания молодежи совсем у нас не обязателен; задача партийных организаций, комсомола, советской общественности в том, ведь, и состоит, чтобы помочь молодежи избежать ошибок, связанных с ее неопытностью, и сразу же направить ее энергию, ее инициативу, ее готовность служить социалистическому отечеству по надлежащему руслу. Задача эта нелегкая, бесспорно, но вполне выполнимая.

Вернемся, однако, от общих рассуждений Л. Соловьева, схематический характер которых очевиден, к образу Михаила Озерова.

Мы остановились на том, как под влиянием случайно прочитанной статьи Михаил начал искать свой подвиг и нашел его, посмотрев одиннадцать раз «Чапаева». Вокруг себя, в городе Эволинске, в своем депо, Михаил никаких возможностей для подвига не отыскал. Он оказался в том же примерно положении, что и Женя Заботина, которая тоже считала долгое время, будто в обстановке, обычно ее окружающей, ей приложить свои силы негде. Но так как Михаил Озеров гораздо менее культурен, чем Женя Заботина, так как он гораздо менее требователен к себе, чем она, то его и удовлетворил такой «выход из положения», который героиня Герасимовой отвергла бы, не раздумывая, как ложный.

Трудности формирования характера Жени Заботиной мы объяснили, во-первых, особенностями среды, в которой она выросла, и, во-вторых, неудовлетворительностью воспитательной работы вузовских организаций партии и комсомола, которые должны были показать

девушке, на чем следует сосредоточить свое внимание и свою энергию, но не сумели этого сделать.

В каких же условиях складывался характер Михаила Озерова? С кем ему приходилось в деревянном городе Зволинске общаться? Каково его окружение?

В романе «Высокое давление» читатель знакомится с группой зволинской рабочей молодежи: Марусей, Леночкой, радиолюбителем Женькой, балагуром и драгоценным человеком в компании Степой Карнауховым. Ребята и девчата эти сразу же завоевывают симпатии читателя—такие они милые, славные, отзывчивые. Они—отличные товарищи, с которыми приятно вместе работать, приятно встретиться в клубе, приятно погулять на вечеринке. И, без сомнения, если понадобится, они сами, не ожидая ничьих просьб, сразу же поспешат на помощь к попавшему в беду сотоварищу. Это—люди, на которых можно в трудную минуту положиться.

Таковы они—эти зволинские ребята—и в своих отношениях с Михаилом и Клавдией.

Так, например, как только Маруся заметила, что у Клавдии с Мишей получилось что-то неладное, она, не теряя времени, принялась, при дружном участии Леночки, Женьки и других товарищей и подруг, хлопотать о примирении поссорившейся парочки. Когда негодяй Чижов попытался было обидеть Клавдию, все немедленно поднялось на ее защиту. Чувство товарищества у зволинской молодежи развито чрезвычайно сильно. Но нетрудно заметить, что проявляется оно лишь в области быта, бытовых взаимоотношений. По крайней мере, Л. Соловьев иных его проявлений нам не показывает. И нас несколько не удивляет, что ни с Женькой, ни со Степой Карнауховым Михаил даже и не пробовал заговорить о своих мечтах и стремлениях. Вряд ли бы его приятели могли ему что-нибудь посоветовать, вряд ли бы они вообще поняли его. Скорее всего туманные надежды Михаила были бы осуждены ими, как простая «блажь». Интеллектуальные интересы, интеллектуальные запросы у зво-

линской молодежи, насколько мы можем судить, весьма ограничены: она живет, «как живется», не заглядывая далеко в будущее, не ставя перед собой высоких целей, не задаваясь большими планами, поглощенная по преимуществу своими личными, частными делами. Комсомола, как организации, объединяющей в своих рядах широкие слои передовой, политической грамотной трудящейся молодежи города и деревни, в Зволинске не чувствуется.

Но если Михаилу его сверстники ничем не в состоянии помочь в его поисках, то, может быть, эту помощь двадцатилетний юноша мог бы получить от людей старшего поколения—поколения, осуществившего Октябрьский переворот, обладающего большим житейским опытом, закаленного в жизненной борьбе и призванного руководить подрастающими поколениями?

Представителем этого старшего поколения является в «Высоком давлении» машинист Вальде, у которого Михаил работает помощником. Нельзя сказать, чтобы Вальде не интересовался настроением и переживаниями Михаила Озерова и не старался направить его на путь истинный. Не может быть никаких сомнений в том, что Вальде искренно хотел помочь молодому человеку. Даже о любовных неурядицах своего помощника заботился старший машинист. «У меня, Михаил,—сказал он ему как-то,—есть одна книга, там есть одно такое письмо, что если девушка читает его, то брызгает слеза и сердце рвет себя на мелкий часть. О, какое это письмо, его сочинял великий Дон-Жуан! Если хотите, Михаил, я переведу это письмо на русский язык. Оно начинается так: «Дорогая, зачем я буду жить, если я есть сжигаемый в пламя любовь, я есть убиваемый, как пуля, голубые глаза!..».

Вальде охотно поучал Михаила и усердно добивался от него откровенности. Но Михаил предпочитал отмалчиваться—и нетрудно понять, почему он так поступал. В настойчивых (а иногда и назойливых) наставлениях Вальде слишком явственно слышалась нотка самодовольного резонерства; настоя-

щего, живого понимания того, что происходит с юношей, у старого машиниста не было. Чуткости и такта у него также заметно не хватало. Да и представление об обязанностях воспитателя, как выяснится из дальнейшего, у него довольно-таки странное.

В «Высоком давлении» о Вальде говорится, как о самом лучшем машинисте в депо. На этот счет с автором мы спорить не станем. Но можно ли признать Вальде образцом машиниста-большевика, работающего, что называется, с огоньком и неумоимо борющегося за социалистический транспорт? Нет, таким образом признать его было бы неправильно. Если бы Вальде был подлинным борцом, подлинным большевиком на транспорте, его работа, несомненно, взбудоражила бы людей, заставила бы их зашевелиться, определить так или иначе свое отношение к нему. Холодноватым и ни к чему не обязывающим «большим уважением» дело не ограничивалось бы. Вальде, если бы он был подлинным большевиком-железнодорожником, привлек бы на свою сторону самоотверженной своей работой одних — лучших людей депо, навлек бы на себя недовольство других — обывательских, деляческих элементов, вызвал бы противодействие третьих — скрытых, замаскировавшихся классовых врагов. «Высокоответственное искусство водить поезд» сочеталось бы у большевика Вальде с участием в борьбе — и тогда он силой своего примера, по всей вероятности, увлек бы и горячего Михаила. Но Вальде в романе Л. Соловьева «борется» с одним лишь Михаилом; с настоящими классовыми врагами он почти до самого конца романа в соприкосновение не приходит.

Впрочем, в городе Зволинске классовые враги, в сущности, отсутствуют. Они исчерпываются упомянутым выше пошляком Чижовым и приехавшим в Зволинск на «гастроли» философствующим вором Катувльским-Гребневым-Липардиным. Само собой разумеется, в действительно существующем советском городе такое положение вряд ли можно себе представить: классовая борьба в нашей стране продолжается,

сохранились еще кое-где корешки троцкистско-бухаринской шпионско-диверсантской банды, сохранились остатки разбитых советской властью эксплуататорских классов. Имеются они, конечно, и в Зволинске, но герои «Высокого давления» их не замечают.

Как видно из всего сказанного, деревенный город Зволинск — отсталый город, медвежий угол, каких у нас в стране становится все меньше и меньше. Понятно поэтому, почему Михаил разрешал все возникавшие у него вопросы в одиночку. Понятно и то, что он выбрал себе такой смешной, неумный, «провинциальный» «подвиг». Это все по к а з а н о у Л. Соловьева правдиво и убедительно.

Но в об'яснении фактов мы снова разойдемся с автором. По его мнению, Зволинск — это нормальный советский город, и Михаил растет в нормальных советских условиях. В своих злоключениях парень виноват, стало быть, сам. Вернее даже, не он виноват, всему виной прежде всего его молодость (как мы видели выше, по воззрениям Л. Соловьева, молодости вообще свойственно ошибаться).

Для того, чтобы Михаил понял свои ошибки, его надо «гнуть очень крепко». Эту миссию принял на себя в «Высоком давлении» Вальде. И он «прорабатывает» Михаила за каждый проступок, допущенный им, столь безжалостно и столь придирчиво, что провинившегося юношу поневоле становится жаль¹.

Л. Соловьев хочет в своем романе во что бы то ни стало доказать читателю, что жизненная установка, избранная Михаилом Озеровым, ошибочна, что горделивые мечтания его не обоснованы и что все его затеи обречены на неизбежный провал. Не успел молодой помощник машиниста засесть за свой сце-

¹ Между прочим, самому Вальде, когда он был молод и ездил на паровозе помощником, доставалось точно так же от его наставника Петра Степановича. Выходит, что Л. Соловьев не просто единичный случай, приключившийся с одним лишь человеком, описывает, а что он устанавливает некий универсальный закон, который можно сформулировать приблизительно так: «молодежь, чтобы она не слишком зарывалась, полезно бить — и бить покрепче».

нарий о моряке Иване Буревом, как на него стали обрушиваться одно несчастье за другим. У него произошла крупная размолвка с Клавдией; у него начались неприятности на производстве, с Вальде; ему пришлось, мучительно краснея, каяться в своих ошибках и признавать свою распущенность; и, наконец, заключительный удар — его сценарий, на который он возлагал все свои надежды, в успехе которого он был так уверен, забраковали.

Надо отдать должное автору «Высокого давления»: внешнее правдоподобие нигде им не нарушено. Все могло бы произойти точь-в-точь так, как он описал. Но ощущение нарочитости все же остается. Достаточно было бы в романе Л. Соловьева чуть-чуть повернуть руль сюжета, чтобы перед нами вырисовалась совершенно иная картина. Если бы, скажем, Клавдия в главе VII назначила Михаилу свидание не в семь, а в шесть часов, то никакой Чижов им бы не помешал, все сложилось бы иначе, и добрая половина страданий Михаила была бы сразу ликвидирована.

Да и справедливо ли будет обвинять Михаила за его размолвку с Клавдией? Михаил не мог понять, что мешает Клавдии и ему любить друг друга, и строил поэтому всевозможные предположения. Честолюбие его тут, конечно, абсолютно не при чем. Дело же заключалось в том, что Клавдия должна была рассказать Михаилу о своем прошлом и не решалась это сделать. «Она все выбирала момент поудобнее — и никак не могла выбрать: для таких объяснений подходящих моментов, к сожалению, не существует». А тут вдобавок положение осложнилось ухаживаниями Чиждова, который узнал от Катульского «тайну» девушки и пытался ее шантажировать. Ясно, что и Михаил и Клавдия страдали от этого, но они страдали бы точно так же, если бы Михаил и не мечтал никогда ни о каких подвигах.

С неудачами Михаила на работе история примерно такая же. Однажды поздним вечером Петр Степанович вместе с одним приятелем задержали на станции какого-то подозрительного человека (это был Катульский). Сперва Катуль-

ский (применивший свой знаменитый прием «под иностранца») вел себя спокойно, но затем он, улучив минутку, внезапно одним прыжком бросился в сторону и пустился бежать. Раздались крики: «Вор! Держи!». Эти крики услышал Михаил и решил, «охваченный горячей дрожью азарта», догнать вора на паровозе. Подошедший Вальде успел, однако, во-время остановить машину. Катульскому удалось скрыться.

Ночноеключение имело для Михаила тяжелые последствия. За свою недисциплинированность ему пришлось претерпеть немало, пожалуй, даже больше, чем он заслуживал. Вальде страшно рассердился и был, безусловно, прав: «паровоз не есть сыскная собака, чтобы гоняться за жуликом». Но поступок Михаила вполне удовлетворительно объясняется его горячностью, честолюбием его (и тем более сценарий) здесь опять-таки не при чем.

Из всех срывов Михаила непосредственное отношение к неправильной жизненной установке, выбранной им, имело отклонение его сценария. Присмотримся к нему поближе. Этот «труд» Михаила, как мы уже говорили, свидетельствует прежде всего о малокультурности его автора. Однако ограничиться одним лишь этим суждением — и осуждением — мы не можем.

Иван Буревой — несомненный штамп, но в этом штампе нашли свое выражение сокровенные мысли, порывы, чувства, идеалы Михаила Озерова.

«Готовясь к своему подвигу, — рассказывает Л. Соловьев, — Михаил в книге «Киноактер перед аппаратом» прочел о фокусах с лицевыми мускулами, о номенклатуре жестов и поворотов и с возмущением отверг всю эту систему хитрой и тонкой лжи. Нет, он не хотел обманывать себя и других, притворяясь Иваном Буревым; нужно, уподобившись заботливому садовнику, вырастить в себе новую душу, непреклонную, смелую, благородную! Он твердо решил, сыграв роль, оставить за собой имя и фамилию героического моряка — это будет заключительной точкой в сложном про-

цессе замены в себе одного человека другим».

У Михаила штампованное представление о героизме — вот в чем его беда и вот почему он неминуемо сорвался бы, даже если бы этому не способствовал так усердно Л. Соловьев. Мы подчеркиваем: беда, а не вина. Вина лежит на тех, кто не сумел раскрыть перед Михаилом героическое в советских буднях, в повседневной работе строящего социализм советского народа.

Эту героиню будней Михаилу довелось увидеть лишь в конце романа. Совместно с Вальде молодой помощник машиниста, рискуя жизнью, предотвратил крушение, подстроенное Чижовым и Катувльским.

«Так пришла к Михаилу долгожданная слава... Он искал ее в Москве, а она поджидала его в Зволинске, на ветхом, разбитом маневровом паровозе... И она пришла к нему, когда он уже отказался от поисков; жизнь словно бы нарочно сначала умудрила его горьким опытом неудач, научила его трезвости, осторожности и подлинному мужеству, прежде чем подарить желанную, но опасную для неопытных, горячих голов славу. Михаил получил ее в тот момент, когда был уже застрахован от головокружения».

Чему же все-таки жизнь научила в конце-концов Михаила Озерова? Что было бы, если бы свой подвиг (действительный, а не выдуманный подвиг) Михаилу пришлось совершить не в конце, а в начале романа, — неужели юноша тогда спасовал бы? Вряд ли тут возможны два мнения — конечно, не спасовал бы. Значит, главное, что вынес Михаил в результате пережитых им потрясений, — это трезвость.

Но трезвость, к которой Михаил пришел после разочарования в себе, в своих силах, в своем понимании жизни, положительным опытом советского человека еще не является. Трезвость, как результат разочарования в прежних своих помыслах и стремлениях, может оказаться, и сплошь и рядом оказывается, сомнительной «трезвостью» бессильного

скептицизма. Настоящая, большевистская трезвость, неотделимая от страстности революционера, переделывающего мир, воспитывается в борьбе, в испытаниях, которые выпадают на долю борцов в ходе борьбы. Для Михаила такие испытания — дело будущего. Если Л. Соловьев считает, что характер Михаила в основном уже сформирован и его герой уже вышел на прямую дорожку, то он, на наш взгляд, несколько опережает события...

Говоря о романе «Высокое давление», мы останавливались почти исключительно на его недостатках. Это не означает, что мы не замечаем сильных сторон Л. Соловьева. Мы их видим и ценим, — но как-раз поэтому-то мы и делаем ударение на том, что пошло и делаем ударение на том, что пошло автору «Высокого давления» создать полноценное художественное произведение о современной советской молодежи. Л. Соловьев несомненно горячо любит своих молодых героев, его искренно волнует их судьба, их будущее, — и это его волнение передается читателям. Он хочет по-настоящему разобраться в тех трудностях и опасностях, с которыми приходится сталкиваться нашей молодежи, он пытается художественно их осмыслить. Это и помогло писателю затронуть в своем романе ряд важных вопросов формирования и воспитания современной молодежи. Но, к сожалению, Л. Соловьев выработал в себе о нашей молодежи, о путях ее развития упрощенные, схематические представления, — и эти его представления, как мы постарались показать, не дали ему возможности достаточно глубоко, содержательно, реалистично обрисовать рост и становление современного советского молодого человека.

III

АЛЕКСАНДР БАСОВ

(Танкер «Дербент» Ю. Крымова).

На танкер «Дербент» нужно было послать кого-нибудь механиком. Послали Басова.

Формально все обстояло правильно, — на Басова выбор пал, как на партийца. Однако все отлично понимали, — и сам Басов понимал это не хуже других, — что от него на заводе хотели отделаться. Перевод на работу по эксплуатации послужил лишь благовидным предлогом для того, чтобы расстаться с молодым механиком без особых хлопот.

Басов восстановил против себя руководителей завода — и в особенности главного инженера Неймана — упорством своих возражений против работы по-старинке. Их раздражала настойчивость, с какой он добивался устранения недостатков, которые он обнаруживал всюду и с которыми все давно уже свыклись. Вялым, безвольным людям, ставившим превыше всего свое собственное спокойствие, начинало казаться, что Басов шарочно подкапывается под них, что он затевает шум, чтобы выдвинуться, получить высокий оклад. Им — этим людям — непонятно было, что поведение Басова определяется социалистическими мотивами.

Впрочем, если бы мы спросили Басова, чем он руководствовался, идя на обострение отношений с товарищами по производству, вряд ли бы мы получили совершенно определенный ответ. Раздумывая над своим положением на заводе, Басов иногда сознавался самому себе, что он «даже не знает толком, как называется та правда, которая захватила его. Он изучил процессы труда и пришел к выводу, что механизмы используются плохо, что можно работать лучше, вот и все».

Нет надобности доказывать, что на самом деле это все далеко не так. На самом деле Басов не только пришел к огромной важности выводам, что «можно работать лучше»; он тотчас же стал делать все возможное для того, чтобы поскорее претворить этот свой вывод в действительность. И это именно показывает, что для Басова название правды, захватившее его, не является совсем уж неизвестным. Но Басов человек чрезвычайно скромный, он старательно избегает больших слов, — и эта его скромность сказывается и в его раздумьях о самом себе...

При чтении повести Ю. Крымова «Танкер «Дербент» — первого в советской литературе произведения, в котором дан образ человека стахановского типа, — сама собой напрашивается параллель между Александром Басовым, с одной стороны, и такими литературными представителями современной молодежи, как та же Женя Заботина, тот же Михаил Озеров, с другой стороны.

Превосходство Басова над Женей Заботиной и Михаилом Озеровым несомненно. Но также несомненно, что между этими молодыми людьми немало общего.

Басов — смелый и честный человек: иначе он не вступил бы в борьбу с «авторитетными людьми» вроде Неймана, а пошел бы напопятную после первой же стычки с ними. Но ни в смелости, ни в честности мы не можем отказать ни Жене Заботиной, ни Михаилу Озерову — для этого у нас нет ни малейших оснований. Надо сказать тем не менее, что на месте Басова они не заняли бы такой позиции, как он. В чем же в таком случае различие между Басовым, Заботиной и Озеровым?

Как мы не раз уже имели случай убеждаться, Заботиной и Озерову самим неясно было, к чему бы они могли приложить свои силы. Их смелость и честность зачастую оставались поэтому беспредметными. У Басова же эти его качества подкреплены знаниями и, на убой, — отсуем ясность, определенность и целеустремленность всех его поступков.

Отличительная черта Басова — бесстрашие мысли, основанной на расчете, на серьезном изучении вопроса. Басовская уверенность в себе — внутренне обоснована: она составляет вследствие этого прямую противоположность самоуверенности Озерова, объясняющейся тем, что Озеров, который ничего еще не сделал и ничего не умел, не мог даже и предположительно представить себе, какой затраты сил требует любое настоящее дело. Басов знает, что он прав, — и именно это сознание своей

правоты заставляет его так горячо и страстно отстаивать свою точку зрения.

Первое сражение, которое Басову пришлось дать, окончилось для него неудачей. Молодого механика принудили оставить завод. А так как переход на танкер вызвал осложнения и в личной жизни Басова, то неудивительно, что первое время он чувствовал себя неудачником. Но тот, кто хочет бороться, не может рассчитывать на немедленную победу. Как бы он ни был уверен в своей правоте, — на пути к победе всегда возможны, а часто и вероятны более или менее серьезные поражения.

Танкер, на который попал Басов, оказался самым плохим во всем нефтешепоте. Капитаном на «Дербенте» был нерешительный, трусливый старик; команда состояла из слабо-квалифицированных случайных людей; новые механизмы теплохода не были освоены. Разумеется, о выполнении плана при таких условиях не могло быть и речи.

Хуже всего было то, что люди «Дербента», придавленные общей обстановкой на танкере, сами к себе стали относиться без всякого уважения, как к «сброду», который ни на что не годен.

С такими вот людьми Басову предстояло работать. Что следовало ему предпринять, как технику, для того, чтобы помочь выполнению плана, механик знал. Левый двигатель танкера давал сто три оборота, правый — сто пять; если бы механизм как следует отрегулировать, можно было бы получить все сто десять. На это дело нужно было организовать людей — опустившихся, безразличных ко всему моряков «Дербента».

«На заводе Басов считался хорошим организатором, но завод жил до него и живет без него, здесь же все надо было начинать с самого начала. Как? И его мучило от бессилия, от бесплодных попыток двинуть дело. Но стать равнодушным, успокоиться, запереться в каюте — он не мог. Какая-то цепкая долька его мозга, надорванная и оглушенная усталостью, все ныла не переставая, как ушибленное место: действовать, повернуть все по-новому, удержав людей на

стоянке, перебрать двигатели и поднять обороты».

Неторопливое, детальное описание того, как Басову удалось повернуть на танкере все по-новому, и составляет основу повести Ю. Крымсва.

Конечно, Басов ничего не сумел бы сделать, если бы на «Дербенте» действительно был один только сброд. Но там работали за единичными исключениями честные советские люди, которые тяготились своим положением, тем, что они находятся на последнем месте, и которых глубоко задевало и обижало, что на других теплоходах их и за людей не хотят считать. Трудность заключалась в том, что они потеряли веру в себя. Надо было опять вдохнуть в них эту веру, надо было показать им, на что они способны. Но для этого необходимо было сперва, чтобы они отказались от своей апатии и безразличия, в которое они облеклись, точно в защитную броню.

«...Другие суда, — рассуждал Басов, — изо дня в день выполняют задание. Например «Агамали». Туда попало много демобилизованных красноармейцев, — это прекрасные ребята. Недавно они подняли на смех наших мотористов, когда те покупали хлеб в пристанской лавке. Вы, говорят, тихоходы, гробы на мокром месте. Радист говорил, что у них там чуть до драки не дошло. Это хорошо. Потом на «Агамали» получили премиальные, а у нас премиальных не будет. Это хорошо. Одним словом, нашим надо всячески давать почувствовать, что они худшие из худших».

В этих рассуждениях Басова ставка делается как будто на самолюбие людей. Так, по крайней мере, понял молодого механика помполит Бредис, единственный кроме Басова коммунист на танкере, — и возражал: «Сознание надо развивать, а не самолюбие»... Но прав был все же Басов, потому что он обращался фактически (не думая, конечно, о теоретически-точных формулировках) к чувству собственного достоинства советского человека, который достаточно сознателен для того, чтобы понимать, что так работать, как работают на «Дербенте», —

стыдно, позорно, недопустимо. Это чувство замерло у команды «Дербента», но его можно было пробудить.

Однажды, выждав «удобный момент», когда «дербентовцы» находились под впечатлением оскорбления, нанесенного им моряками «Агамали» («Агамали» не ответил на салют «Дербента»), Басов выступил с предложением — на ближайшей же стоянке наладить двигателя. С этого мероприятия надо начать перестройку работы танкера. «Мы можем утереть им нос, — уверенно заявил Басов о «грубиянах» с «Агамали». — Да под нами вода закипит, если захотим!»

Возможно, без Басова мгновенная вспышка стыда и гнева, охватившая людей «Дербента», так и погасла бы, не оставив никакого следа. Но Басов сумел поставить перед своими товарищами по работе конкретную, ясную, ощутимую задачу. На регулировку дизелей собралась почти вся команда. Люди, как показала проверка, были не такие уж плохие, они были гораздо лучше, чем сами о себе думали.

«Басов... с волнением приглядывался к тому, что происходило вокруг него, и особенно к тому новому выражению, которое было на лицах людей. С них как бы слетело ленивое оцепенение и сменилось выражением нетерпения и горячего любопытства, какое бывает у людей, впервые вложивших душу в серьезное дело. Но он опасался. Это могло быть только оживлением новизны — яркий, но непрочный огонь, готовый погаснуть при первой неудаче».

Опасения Басова оказались напрасными — неудачи не последовало. Басов был хорошим механиком и отрегулированные им машины сразу дали сто двенадцать сборотов. Первый успех окрылил людей и, когда в газетах появилась весть о рекорде Стаханова, они захотели стать стахановцами.

У «дербентовцев», неожиданно, пожалуй, для самого Басова, обнаружались такие качества, как инициатива, изобретательность, почин. Как только людям «Дербента» ясно стало, что положение, в котором они очутились, вовсе не является безвыходным, мысль их начала активно работать над тем, чтобы выйти

из этого положения, использовав технику до дна. Способы, которые были ими для этого придуманы, трудно назвать иначе, как и з я щ н ы м и, — до того они просты и в то же время оригинальны и необычны. Весь ход соревнования обрисован в повести Крымова с такой яркостью и убедительностью, что у читателя не возникает и тени сомнения в том, что танкер «Дербент» действительно сумел в короткий срок с последнего места перейти на первое.

Так выявила истинную свою природу правда, захватившая Басова, а вслед за ним и передовиков «Дербента». Это была правда коммунизма, потому что коммунизм, как говорил Ленин, «...начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда...»¹.

Стахановский труд, труд заинтересованный, труд, ставший творчеством, сблизил между собой людей «Дербента» и сплотил их в единый коллектив, достаточно крепкий для того, чтобы удержат отдельные своих сочленов, способных по тем или иным причинам сорваться. Между «дербентовцами», которые раньше подходили друг к другу недоверчиво и подозрительно, стали образовываться постепенно отношения настоящей мужской дружбы. Чужаки, пробравшиеся на «Дербент» и чувствовавшие себя первое время на нем привольно, оказались таким образом изолированными. И в самый ответственный момент, когда от «дербентовцев» потребовалось проявление высшего героизма, связанного с прямой опасностью для жизни, — во время пожара на теплоходе «Узбекистан», буксируемого «Дербентом» — они вели себя так, как подбаивает советским гражданам и советским морякам...

Образ Басова — инициатора и вожака стахановского движения — показан Ю. Крымовым с большой силой. Гораздо менее удалась молодому писателю фигура жены Басова, Муси Белецкой.

По воле автора Басов и Муся влюби-

¹ В. И. Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 342.

лись друг в друга с первого же взгляда и поженились буквально на второй день после своего знакомства. Такой скоропалительный брак был организован Ю. Крымовым, повидимому, не случайно: если бы у Басова хватило времени, чтобы приглядеться к Мусе, из их женитьбы, пожалуй, ничего бы не вышло.

Басов, еще до того, как он попал на танкер, восстановил против себя не только руководителей завода, которым он «не давал покоя»: с самого же начала, с первой встречи, все его планы и устремления встретили упорное сопротивление Муси. «... Тебе лучше работать спокойно, как все», «Ты можешь выйти в большие люди», «Мне кажется, ты живешь как-то по-газетному», «Я хочу, чтобы ты преуспевал в жизни», — с такими поучениями Муся все время приставала к Басову. А когда Басова послали на «Дербент», она открыто заявила о том, что им нужно расстаться.

Соображения обывательского практицизма во всем у двадцатилетней Муси Белецкой на первом плане. Никак нельзя поэтому согласиться с Крымовым, когда он последнюю главу своей повести, о возвращении Муси к Басову, озаглавливает: «Необходимость». Не верится, что Муся, которая в порыве покаяния сама себя называет «средним, ограниченным человеком», что-то всерьез «поняла». Просто она увидела, что ее муж, которого она принимала за «неудачника», оказался знатным человеком страны — вот ее к нему и потянуло обратно. Но есть все основания опасаться, что в случае какой-либо новой неудачи она снова его покинет.

Басов в своих взаимоотношениях с Мусей дан бледно. Но известная неполнота и односторонность в изображении Басова не снимают высокой нашей оценки этого образа. Главное в образе Александра Басова выражено четко и рельефно: его культурность, его умение работать, его воля к борьбе, его преданность делу Ленина — Сталина. Эти его неразрывно связанные между собой качества делают молодого механика, вы-

росшего и сформировавшегося в эпоху сталинских пятилеток, подлинным представителем новой советской национальной интеллигенции, являющейся солью земли советской.

★

В произведениях, о которых шла речь в этой статье, более или менее удачно переданы отдельные черты современного советского молодого человека, более или менее удачно подмечены отдельные — иногда чрезвычайно важные — моменты его развития. Но литература наша еще в долгу перед читателем: типический образ современного советского молодого человека, обрисованный действительно в сесторонне, писателями нашими еще не создан. Наибольшим приближением к такому образу является пока что Александр Басов.

А. М. Горький в одной из своих статей писал, что самая значительная фигура литературы XIX столетия — это фигура «некоего молодого человека, который не отличался особенной даровитостью ума и силою воли, — человека в сущности весьма «средних качеств». Нельзя сказать, следовательно, чтобы гениальным художникам прошлого очень повезло с их героем; однако, они сумели так полно, так многогранно, так проникновенно осветить его пути и перепутья, что произведения их приобрели огромное художественное, познавательное и воспитательное значение.

Стоит ли говорить о том, что советский молодой человек во всех отношениях объект более благодарный для художника слова, нежели «молодой человек XIX столетия»? Воспитанник партии Ленина — Сталина, готовый на героические подвиги во славу родины, представитель поколения, растущего и формирующегося в обстановке социалистического государства, молодой человек Сталинской эпохи достоин произведений, которые показали бы его во весь рост, во всей его значительности, — и эти произведения будут, несомненно, советскими писателями созданы.

М. В. ВОДОПЬЯНОВ. «ДВАЖДЫ НА ПОЛЮСЕ».
Изд. «Советский писатель» 1938 г., стр. 263. Ц. 6 р. 25 к.



Тема крайнего Севера, тема советского освоения Арктики уже не нова. За последние годы многие советские авторы — и в стихах и в прозе — отзывались на эти темы. Совсем недавно вышли три тома «Героической эпопеи» челюскинцев. Только что напечатаны повествования Героев Советского Союза Чкалова и Байдукова о беспримерном перелете через Северный полюс в Америку.

И все же — книгу Героя Советского Союза М. В. Водопьянова — «Дважды на полюсе» встречаешь, как нового дорогого друга и товарища, встречаешь, как новый источник свежей силы, желания борьбы и подвигов.

М. В. Водопьянов написал книгу не только о героических беспримерных полетах на Северный полюс — он дал глубокие характеристики своих спутников — легендарной четверки зимовщиков на станции «Северный полюс» — товарищей Папанина, Кренкеля, Ширшова и Федорова, а также деятелей двух экспедиций.

Более того, М. В. Водопьянов дал в своей книге в живых и ярких штрихах величественную картину жизни нашей великой страны, страны победившего социализма.

Повествуя о грандиозных экспедициях на полюс, автор в коротких и как-будто случайных отступлениях рассказывает о прошлом своем и своих друзей.

Вместе с Ильей Мазуруком М. В. Водопьянов жили в Липецке: первый работал на электростанции, а второй — пахал. Это было детство в нужде, в лишениях, в страшной дикости. Бабушка М. В. Водопьянова, добрая честная старуха, усердно молилась сама и заставляла внуков подолгу бить поклоны. Попу она отдавала последние гроши. Однажды М. В., не вытерпев, спросил бабуку, — почему ростовщика-грешника похоронили в церковной ограде. Бабушка сказала: «... он ведь на церковь пятьсот рублей пожертвовал и священникам ризы подарил. Теперь его грехи замолят. А нам, беднякам, самим надо грехи свои замаливать. Не лечится».

М. В. Водопьянов напоминает тов. Илье Мазуруку о том, как на похоронах богатой липецкой купчихи родственники раздавали на помин ее души пшеничные пышки и двугривенные и как степенный рыжий мужик пожадничал — полез за двугривенным и пышкой, а в это время у него украли 12 рублей.

«И доволен же я был тогда. Прямо захлебывался от восторга: так тебе и надо — не жадничай! — пишет автор и продолжает пафосно: — А теперь жизнь другая и жадность

иная. Мы тоже очень жадны к знаниям, к накоплению технических богатств, к великим открытиям, к научным достижениям, к славе нашей родины. Нашу жадность мы не размениваем на мелкую монету. Мы завоевываем огромные ценности для страны, для народа. Это не купчихин двугривенный!».

Крестьянский мальчик, подпасок, потом возчик бензина в дивизионе воздушных кораблей — это уже в 1919 году. Затем бортмеханик, в виде поощрения за хорошую работу получивший разрешение летать, и, наконец, с начала 1929 года, летчик, — М. В. Водопьянов создает «фантастическую» повесть, а затем пьесу «Мечта пилота» — о покорении полюса с тем, чтобы потом осуществить эту мечту советского пилота.

Так, — на примере своей жизни, — автор показывает захватывающе ярко, как в нашей стране осуществлены пророческие слова «Манифеста Коммунистической Партии» о том обществе, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

В капиталистическом обществе — «человек человеку волк». У всех у нас в памяти катастрофа итальянской воздушной полярной экспедиции на дирижабле. Лошненные фашистские молодчики бросили тогда «нижних чинов», они бросили во льдах Арктики на страшную смерть шведского ученого Мальгрема.

Две советских воздушных экспедиции на Северный полюс и завоевание его были осуществлены без единой жертвы. Не раз бесстрашным героям угрожала смертельная опасность. — ... «Под нами бушевало море, мы ясно видели белые гребешки волн. Но это под нами. Впереди — по горизонтали — ничего, кроме густой пелены».

Вдруг появилась огромная гора. Она выросла из тумана неожиданно и приближалась к нам с катастрофической скоростью. Не теряя ни секунды, я дал полный газ всем моторам и доотказа потянул на себя штурвал. Моторы задымили с ревом. Машина пошла влево. Скорость упала... 160 километров... 140... 130... и вот в момент, когда уже все были готовы к резкому удару, я положил машину влево и, каким-то чудом вывернувшись почти у самой гофы, ушел в сторону.

Мы со Спириным посмотрели друг на друга. Каждый из нас прекрасно понимал, что секунду тому назад смотрел смерти в глаза».

Никакая опасность не могла остановить героев, поставивших себе цель ясную, обладающих характером твердым и спаянным могучим

чувством братской советской солидарности. Вот почему и стали возможными победы над стихией — без жертв, без уронов и потерь.

Вот почему в сердцах всех ста семидесяти миллионов советских людей отозвались слова четырех папанинцев, оставшихся на льдине:

«Здесь, среди ледяной пустыни, на расстоянии многих тысяч километров от родной Москвы, мы не чувствуем себя оторванными от своей страны. Мы знаем и верим, что за нами и вместе с нами — великая социалистическая Родина».

Наряду с изумительно сильным показом героизма советских людей автор книги ярко выразил жизнерадостность и неудовлетворенность, — тоже характерные черты нового человека нашего советского общества.

С юмором, мягкостью, трогающей сердце, М. В. Водопьянов рассказывает, как хитрил И. Д. Папанин, стремившийся провезти как можно больше грузов на свою полярную зимовку, как он со всех ног бросился к тов. Ритслянд, поймавшему на льдине Северного полюса маленькую птичку:

— Где моя пуночка? Дайте мою пуночку.

— Не твоя, а моя, — возразил тот.

— Кто здесь хозяин — ты или я? — спросил Папанин.

Вместе с повествованием о разведывательных полетах тов. Головина автор не забывает легко и весело рассказать, как одного из участников экспедиции «разыграли»: научили мазать ботинки сгущенным молоком, и пришлось тому потом целый день отмывать ботинки, облегчаясь отчаянной бранью.

Но здесь же — сквозь веселье — неукротимое стремление вперед к цели: — да, многое сделано, но еще больше надо сделать. То самое чувство неудовлетворенности, которое подсказывало великому летчику нашего времени покойному Герою Советского Союза В. П. Чкалову мысль: пролететь вокруг всего земного шара.

Но где же корни, истоки советского героизма? М. В. Водопьянов всей своей деятельностью, равно как и каждый Герой Советского Союза, каждый активный сознательный строитель социализма, дает исчерпывающий ответ.

Корни, истоки героического поведения советских людей — это советский патриотизм, коммунистическое мировоззрение, беззаветная преданность партии и ее вождю товарищу Сталину.

Великий и родной вождь мирового рабочего движения, мудрый и заботливый друг и отец — товарищ Сталин вдохновляет советских богатырей на подвиги.

По Сталинскому маршруту прошли корабли Героев Советского Союза — Чкалова и Громова — из СССР через Северный полюс в Америку.

Советский десант на Северный полюс — высадка научной экспедиции — был одобрен товарищем Сталиным.

Сердечно волнует рассказ автора о разговоре товарища Сталина с маленьким Вовой Водопьяновым:

«— Вова... так это ты побоялся сказать учительнице, что твой папа спас челюскинцев?»

Вова храбро поднял глаза на Сталина:

— Я совсем не боялся. Но как я мог ей это сказать, когда я не знал, удалось ли папе спасти челюскинцев!

Сталин весело смеялся.

Меня до глубины души поразило, что человек, загруженный важнейшими государственными делами, удержал в памяти этот маленький эпизод, рассказанный моей женой на страницах «Правды». Я ярко почувствовал, какой великой любовью к детям согрето сердце этого величайшего человека нашей эпохи».

Когда во второй половине дня 13 августа 1937 года прекратилась радиосвязь с самолетом Н-209 Леваневского, у товарища Сталина в Кремле было созвано срочное совещание. Товарищу Сталину несколько раз перебивал докладчика тов. Шмидта, уточняя отдельные детали розысков. Когда Шмидт кончил, Сталин спросил его:

— Кто из летчиков полетит?

Но Отто Юльевич не успел ответить, как по сигналу все — Молоков, Шевелев, Спирин и Водопьянов — сказали:

— Мы готовы выполнить любое ваше задание.

Этот ответ выражает думы и волю всего советского народа, всю великую и величественную повяду наших дней. В какой бы дали — суровой и, казалось, неприступной — ни находился человек, в каком тяжелом положении ни очутился бы советский человек, — он не затеряется, не останется без поддержки. Сталинская забота о живом человеке — одно из могучих явлений нашей новой жизни — чувствуется всюду и во всем.

М. В. Водопьянов с исключительной силой выразил единство советского народа, любовь и преданность товарищу Сталину, — к нему обращаются со словами любви и мужественного приветия папанинцы, летчики, все народы Советского Союза.

В дни второй экспедиции на полюс воздушный корабль товарища Водопьянова встречал годовщину Октября на мысе Меньшикова. Пилот посадил свою машину здесь из-за пурги, из-за урагана.

Несколько дней летчики переживали тяжелые лишения.

Была пурга, тело леденила свирепая стужа. Пять советских летчиков, заброшенные стихией в пустыню, не только не падали духом, — они праздновали годовщину Великой Октябрьской революции вместе со своей родиной. С глубоким чувством говорит об этом М. В. Водопьянов:

«... Мысленно мы были там... на Красной площади. Вот идут войска... Вот самолеты плывут ровным строем высоко в небе... На трибуне знакомые улыбающиеся лица дорогих всей стране людей. Среди них он — Сталин».

— Люблю я летчиков, — сказал вождь народов. Мы, летчики, отвечаем тебе пламенной беззаветной преданностью. И ты знаешь..

товарищ Сталин, что по твоему зову мы пойдем, когда угодно и куда угодно.

Есть три слова. В каждом из них всего по шести букв, но они заключают в себе весь наш мир и неугасимым огнем горят в наших сердцах.

Эти три слова: Родина, Партия, Сталин».

Выступая перед своими избирателями, М. В. Водопьянов—депутат Верховного Совета СССР—говорил, что эти три слова помогли преодолеть все препятствия, все трудности и лишения в ледяных просторах Арктики. Эти три слова помогут уничтожить врага,

если он посмеет посягнуть на наши границы.

Не первый раз выступает Герой Советского Союза, как автор. Читатели помнят его книгу «Полеги», изданную в позапрошлом году.

В книге — «Дважды на полюсе» — ряд эпизодов и характеристик действующих лиц даны автором беглыми записями, иногда — просто упоминаниями.

Но во многих главах автор достигает большого литературного мастерства, выразительности. Смело можно сказать, что ясен путь к сердцам читателей у этой страстной взволнованной книги.

С. В.

★ ВАСИЛИЙ ГРОССМАН. «СТЕПАН КОЛЬЧУГИН».

Альманах год двадцатый, кн. 12, и Альманах год двадцать второй, кн. 14

★

У Виктора Гюго в романе «Отверженные» есть замечательный образ уличного мальчишка Гавроша. Он принимает участие в восстании республиканцев в Париже. Мальчик появляется на баррикаде в момент, когда у осажденных на исходе патроны. Гаврош решает на отчаянный шаг. Он молча вылезает за баррикады и ползет туда, где лежат трупы солдат; в патронташах у них он находит патроны. Национальные гвардейцы открывают огонь. Тогда Гаврош, выпрямившись во весь рост, вперив глаза в стреляющих, поет задорную, насмешливую песенку. На каждый выстрел он отвечает новым куплетом. Наконец, одна коварная пуля задевает его, он падает, но тут же поднимается и с лицом, залитым кровью, продолжает петь. Вторая пуля подкашивает его совсем...

Образ этого бесстрашного парижского подростка Гавроша невольно вспоминается при чтении новой повести Василия Гроссмана «Степан Кольчугин». И в ней также изображен мальчуган, сражающийся вместе со взрослыми. Только здесь действие происходит в крупном рабочем цехе Донбасса в 1905 г. Маленький шахтер Степка помогает готовить оружие для восстания. Накануне выступления он отвозит из Юзовки в Горловку секретное письмо. По поручению руководителя восстания он указывает дружке исходный пункт для атаки на казарму, где засели солдаты. Во время перестрелки Степка вылезает на пригорок, за которым укрылись дружинники, и на вершине его водружает красный флаг. Поднявшись на ноги, он радостно и гордо оглядывает место боя. Он уже готов двинуться вперед вместе с дружинниками, преследующими бегущих солдат, как пуля заставляет его присесть на землю. Липкая кровь течет по ноге. Степка теряет сознание.

Этим глубоко трогаящим эпизодом заканчивается первая часть повести Гроссмана.

Парижского подростка Гавроша и мальчугана с рабочей окраины Донбасса роднит одна

общая черта — храбрость, поразительная для ребенка отвага.

Но если Гаврош в романе у Гюго как бы механически вставлен в сюжетную ткань произведения, то у Гроссмана Степка не случайное, быстро сходящее со сцены действующее лицо, а главный герой. Читатель видит мальчугана не только в тот момент, когда он под пулями поднимает красное знамя, но в произведении отражена вся жизнь подростка, показаны все те пути и дорожки, по которым он шел и втягивался в общий поток революционного движения.

В первой части повести Гроссман видит мир таким, каким он отражается в сознании мальчугана. Это довольно трудная задача для художника. Перед ним была опасность пойти по пути примитивного упрощенного показа людей и событий, обеднения действительности. Гроссман, на наш взгляд, счастливо избежал этой опасности. Он сохранил всю прелесть и непосредственность детского восприятия мира и в то же время создал реалистически выпуклую картину, отличающуюся внутренним правдоподобием, верностью красок, отсутствием какой бы то ни было фальши. Читатель встречает Степку малышом, для которого все окружающее полно чудес. Он собирает камни, куски угля, шлак. Он любит забраться в темный угол двора между домами и оттуда глядеть, как плывут на небе облака. Он жадно слушает разговоры взрослых. Вот пришла мать, она ходила устраиваться на работу. Отец Степки погиб на заводе, и матери вместо пенсии оказали «миаость»: дежурить у домны по десять часов в день и приносить по 9 рублей в получку. С чувством не то жалости, не то страха мальчуган слушает рассказы матери о тяготах заводского труда. И непонятный мартен представляется ему злым чернородым мужиком.

Весело, вперегонки с товарищами, такой же рабочей детворой, Степка взбирается на глеевую гору для того, чтобы поглядеть оттуда на

поселок и завод. К детским радостям его прибавляется новая — путешествие весной в лес, населенный незнакомыми ребенку птицами, насекомыми. Потерю отца Степка почти не переживал. Слишком он еще был мал. Но когда арестовали мать и квартиранта Кузьму (в доме нашли деньги, собранные на революционную работу), сердце мальчика сжалось, и на глаза навернулись слезы. Это событие круто повернуло жизнь Степки. Ему пришлось самому зарабатывать на хлеб. Он стал шахтером. Мальчик сразу почувствовал себя выросшим. У него появилось ощущение самостоятельности. Ему захотелось пройти мимо прежних товарищей и поглядеть на них, как на тщедушных и беспомощных малышей. В шахте Степка впервые увидел, как по-разному относятся люди друг к другу, в зависимости от положения на работе.

«Он видел, как мокрые от пота забойщики, задыхаясь в мягкой, бархатной пыли, лежа на боку или стоя на коленях, рубят каменный уголь. Он видел саночников, ползущих на брюхе. Он видел согнувшихся навалыщиков и глебовщиков, беспрерывно махавших лопатами. Он видел, как конононы ставили на рельсы заблудившуюся вагонетку, полную угля. Тяжело трудились подземные люди, и Степка с уважением смотрел на них. Однако десятники и англичанин-штейгер не разделяли степкиного уважения к шахтерам. Для них шахтеры были последними людьми — они кричали на них, топали ногами, а однажды стейгер ударил плотника....».

Болезнь заставляет Степку бросить работу в шахте. После выздоровления он торгует семечками в городе, работает в жестяной мастерской у квартирной хозяйки Марфы, ходит вместе с ней по домам ремонтировать печи. Он видит бедность и нищету людей, пьянство и драки в рабочем поселке. Степка бегаёт на собрания забастовщиков. На его глазах царские войска разгоняют и избивают рабочих, собравшихся на митинг. Все эти впечатления глубоко отлагаются в сознании мальчугана, они формируют его характер, накапливают в нем ненависть к тем, кто издевается над рабочим людом.

Отличие Степки от многих литературных прототипов (того же Гавроша) и превосходство над ними состоит в том, что он плоть от плоти и кость от кости рабочего класса. Действия, поступки, проявление героизма у Степки носят ярко выраженный классовый характер. Конечно, тут сказывается не столько осознанность интересов, чего у подростка может и не быть, сколько привязанность к родной среде. Степка всей душой, всем детским сердцем охвачен революционной борьбой, потому что он подражает старшим, они для него идеал, им он верит и за ними идет. Ведь это самые близкие и родные ему люди. Он льнет к сильным человеческим натурам, к людям, которые привлекают его чистотой своего нравственного облика, жизненной стойкостью и крепкой хваткой. А такими людьми в поселке были большевики. Степка искренне привязывается

к обаятельному, живому, энергичному подпольщику Кузьме. Глубокое впечатление производит на мальчика шахтер-запальщик Звонков, который не боится один ходить по шахте и взрывать бурки. Степка проникается уважением к проворной, ловкой Марфе, мастерски делающей любую мужскую работу. Как к живительному солнцу тянется молодое растение, так и Степка привязывался к людям волевым, не гнувшимся под ударами судьбы. И именно это определило пути развития сознания подростка, способствовало приобщению его к тому делу, которое осуществляли Кузьма, Звонков и Марфа.

Стремление равнять свои действия по старшим передовым, всеми уважаемым в своей среде рабочим и является характерной чертой Степки, выгодно отличающей его от многих литературных собратьев.

В образе Гавроша есть много ничем не оправданного фрондерства. Мальчик, совершая геройский поступок, не стремится при этом сохранить свою жизнь, а наоборот, становится под пули национальных гвардейцев. Слов нет — все это выглядит очень эффектно, драматично, но по меньшей мере неразумно. Разума и понимания происходящих вокруг событий, очевидно, не больше и у Степки. Но он ведет себя совершенно иначе. Степка не браврирует своей храбростью. Ему поручают бросать листовки на дворе у солдатских казарм. Он делает это осторожно, умело, видно, что он дорожит своей жизнью и не хочет попадаться в лапы жандармов. Эта черта также характерна для рабочего парня, берущего пример с отца. В своей революционной борьбе пролетариат никогда не гнался за дешевой эффективностью и бессмысленной тратой сил. Наоборот, проявляя чудеса храбрости, он всегда стремился достичь победы при самых минимальных жертвах.

«Степан Кольчугин» еще не окончен. Пока опубликованы только две части. Но уже сейчас можно говорить о повести, как о большом и интересном явлении в нашей советской литературе. Глубокой жизненной правдой дышит это похожее на эпический сказ, вдохновенное талантливое произведение. Пожалуй, никто еще до Гроссмана не показывал в литературе с такой художественной силой и проникновенностью дореволюционную жизнь рабочего Донбасса. Перед читателем встают, как живые, картины каторжного труда шахтеров и доменщиков, уродливого быта людей, отчаянной их нищеты. Гроссман рассказывает о детстве и юности рабочего подростка. Он дает хронике рабочей семьи Кольчугина. Но это не обесценивает произведения, ибо художник сумел ярко выразить в индивидуальном общении, типические черты пролетариата царской России.

Во второй части повести «Степан Кольчугин» уже выросший рабочий парень. Кончилось детство, ушли в прошлое ребяческие забавы и увлечения. Наступила юность, по-другому, много сложнее и непонятней, предстал мир перед вступающим в жизнь юношей. По-

явились другие радости и невзгоды. В шестнадцать лет Степан выглядел старше своих лет. Возможность казаться взрослым человеком могла породить у него самодовольство и равнодушие. Но, любознательный и пытливый от природы, он продолжал жадно вглядываться и изучать людей, стремясь до конца познать жизнь, уразуметь смысл происходящих вокруг событий.

Действие во второй части повести происходит уже в 1911 году. Степан работает на металлургическом заводе. Теперь он — чугуник. Не легко ему было привыкать к вечному реву воздуха и пара в доменном цехе, страшной, нестерпимой жаре. Рабочие, особенно молодые, встретили его неприветливо. Они издевались над неопытностью новичка, обидно и зло шутили над ним. Однажды Степан не вытерпел и побил рабочего, который очень жестоко с ним обращался. С тех пор отношение в цехе к Кольчугину изменилось. Может быть, люди увидели, как далеко зашли они в своих шутках, а может быть, поняли, что накопившуюся в них ненависть и злобу надо вымещать не на своих же товарищах, а на тех, кто заставляет работать до изнеможения, душит штрафами, обрекает на полуголодную жизнь. По существу, товарищи Степана, как он увидел впоследствии, совсем не были жестокосердыми людьми. Случись с кем-нибудь из них несчастье, каждый тотчас же бросился бы на помощь. Это чувство коллективности, заботы каждого рабочего о своих товарищах очень сильно и убедительно показано в следующем эпизоде. Когда при очистке газопровода в нем задохнулся человек, на выручку его бросились все находившиеся поблизости рабочие. В числе их был и Степан. В газопровод один за другим влезло три человека. Все они остались там, отравленные газом. Тогда Степан решил сделать последнюю попытку спасти людей. Ему удалось вытащить всех наружу. Самого же его вынесли из газопровода без сознания. Он также отравился газом. Случай этот, когда Степан и другие рабочие, жертвуя своей собственной жизнью, спасли товарища, весьма типичен для пролетариата. Завод, постоянная работа вместе и необходимость выполнять ее только общими усилиями создавали в людях чувство взаимной близости, похожее на родственное. И по мере того, как Степан ближе узнавал своих товарищей, он все более убеждался, что в душе каждого из них таится много светлых и хороших порывов, но они заглушены, придавлены суровой, кошмарной жизнью. Люди злились и ожесточались от каторжного труда, от бесчеловечного обращения начальства.

Они топили в вине свое горе, играли в азартные игры, озорничали, дрались в семье и на улице, потому что в этом состояла их единственная утеха. Так коротались недолгие часы отдыха, так скрашивалась более чем неприглядная действительность. Однако ни темнота, ни зверинья эксплуатация не могли убить, вытравить в людях любовь, достоинство, искренность, чуткость, правдивость. «Могучие

силы имеет в себе человеческое сердце, вечно хранящее способность любить, радоваться, страдать, Нет силы на земле, которая бы могла превратить человека в животное. Каким удивительным цветком зацветает прекрасная душа человека, когда ее перестанет коверкать жизнь!» Эти слова автора, полные веры и горячей любви к людям, предельно убедительны. Читатель знает и видит, как в наше время могуче расцвело все то лучшее, что хранилось в тайниках народной души, что прежде так жестоко растаптывалось и губилось.

Гроссман не побоялся дать в повести подробное и тщательное описание производственных процессов доменного цеха. Сделал он это отнюдь не скудно и сухо, а, наоборот, в живой, увлекательной форме. Автор показал завод и человека, как единое целое. Он ввел читателя в цех, где люди, напрягая мускулы и нервы, боролись с огнем, с кипящим металлом, где творческая деятельность их претворялась в материальные ценности. Как поучительны страницы, рисующие варварские условия труда и чудовищную эксплуатацию рабочих в старое время! Как радостно созвучать, что все это уже история!

Очень хорошо в повести отражено развитие сознания у Степана. Казалось бы, приход на завод, работа в коллективе должны были подсказать молодому пролетариату, в чем состоят его коренные интересы, что надо делать, чтобы окружающий мир не был миром зла, страданий и бедствий трудящихся, богатства и роскоши тунеядцев. Но так случиться не могло. Социалистическое сознание не возникает, не рождается стихийным путем. Оно вносится извне в классовую борьбу пролетариата. И пример Степана лишний раз подтверждает правильность этого важнейшего положения марксизма-ленинизма. На протяжении всей второй части повести Степан словно блуждает в потьмах. Порой у него вспыхивает ненависть к домнам, вокруг которых, как черный дым, клубились сбман, ложь, грубость, угрозы и штрафы. «Ему думалось, что вся беда рабочих происходит от завода — повзрывать все динамитом, поджечь, что горит, затопить шахты, и не будет той жизни, от которой одни лишь беды да несчастья». Но эти мысли Кольчугин сразу же отбрасывал. Он видел всю бессмысленность и нелепость такого шага. Главное — он любил завод и свой труд. «Он видел, как почти во всех товарищах по работе жили такие же противоречивые чувства: все гордились, когда после мучительной и опасной работы их общее усилие побеждало страшную силу печи. Мишка Пахарь приходил в какое-то хмельное состояние, лез в огонь, лишь бы исправней сделать работу, радовался восхищению, которое вызывал в товарищах, и тот же Мишка Пахарь с удовольствием рассказывал, как переставил на складе бирки при разных партиях чугуна, и что нельзя теперь будет отличить, какой перепельный, какой литейный».

Труд порождал у Степана ощущение радости

и силы. Еще в детстве он пришел в восхищение, когда впервые сам сделал из жести трубу. Это чувство гордости за свой труд никогда его не покидало. Но, радуясь хорошо выполненной работе, Степан в то же время недоумевал, почему он должен трудиться на других и получать за это гроши. К осознанию своих классовых интересов, к пониманию конечных целей борьбы пролетариата Степан Кольчугин придет позднее, когда встретится с большевиками. На этот раз он будет не только подражать им, как в детстве, но приобретет от них такое сильное оружие, как социалистическая теория. Что это именно будет так, видно по заключительной главе второй части повести, где изображена встреча Степана с запальщиком Звонковым, вернувшимся из ссылки.

Часто посещая заводскую лабораторию, Степан с огромным интересом рассматривал там незнакомое ему оборудование и пытался понять, что делается в стеклянных ретортах и колбах. Заприметив это любопытство у молодого рабочего, заведующий лабораторией Алексей Давыдович предложил ему начать учиться, чтобы стать химиком. Степан радостно принял предложение. Началась трудная, напряженная учеба. Но досыпая ночей, Степан сидел над книгой. С поразительным упорством он овладевал знаниями. «Новый мир, мир разума и знания открылся Степану. Каждый день занятий приносил ему радость и удовлетворение. Умственное напряжение больше не вызывало в нем чувства, похожего на похмелье. Он мог долго читать и заниматься, голова оставалась ясной. Труднее было справиться с усталостью тела».

Два человека на заводе вызывали у Степана особенное уважение и любовь. Это — горновой Мьята и заведующий лабораторией Алексей Давыдович. И тот и другой были для Кольчугина наставниками и учителями. Он преклонялся перед Мьятой, — этим «таинственным стариком», знавшим все секреты плавки металла, умевшим быстро «вылечивать» дому. Он видел в нем воплощение доброй силы человеческого труда. Мьята, словно волшебник, извлекал из руды огненный кипящий металл. Алексей Давыдович также был талантливым человеком. Но его обширные познания и острый исследовательский ум не находили применения. В университете ему был прегражден путь к науке, а на заводе директоо стоожайше заботил заниматься исследовательской работой. Грусть, обида и ненависть рождаются в сердце читателя за этих людей, таланты которых так безжалостно мялись и душились капитализмом.

Образ матери — Ольги Кольчугиной — выписан автором с большой теплотой и сердечностью. Сколько в ней светлой и чистой, как полевой родник, душевности, мягкости, доброты! С какой любовью она растит своих сычовей, как тоогательны ее заботы о них и ласки! Сила материнского чувства поокрасно передана в сцене у больницы. Ольга, узнав о несчастье

с сыном (отравление газом), бежит к нему. Толпа расступается перед ней. У дверей ее останавливает жандарм.

«Ольга дрожащими пальцами расстегнула пуговицу, казалось, воротник кофты сдавливал горло, но страшная рука продолжала сжимать, мешала дышать. Она провела пальцами по шее, нащупала цепочку тельного креста и рванула за нее; багровая полоса выступила на ее шее. Но Ольга не почувствовала боли. Медленно сделала она шаг вперед.

Высокий, бритый городовоой... весело и, пожалуй, даже добродушно сказал:

— Осади, осади, баба, назад...

— Пусти, — сказала Ольга.

— Назад! — крикнул он.

— Пусти! — закричала она и со страшной силой, по-мужски, ударила его кулаком в лицо. Он отшатнулся, схватившись руками за окровавленный рот».

Досадно, что автор наделяет эту трудолюбивую женщину, перенесшую столько горя и мучений, — ведь она похоронила двух мужей, убитых на заводе, — совершенно несвойственными ее характеру чертами. Он заставляет ее думать о самоубийстве. Это, конечно, совсем не типично для рабочей женщины.

Не все одинаково равноценно в повести Гроссмана. Нам думается, что и в первой, и во второй части автоо недостаточно полно и ярко отобразил работу большевистской партийной организации. Образы большевиков очерчены беглыми штрихами, о их деятельности сообщается довольно глухо. Во второй части читатель почти не видит большевиков. Понятно, что после 1905 гзда царское правительство многих из них казнило, а других отправило в ссылку. Но большевистская организация продолжала свою деятельность. У Гроссмана же получается так, как будто большевики «объявились» в Донбассе лишь много лет спустя после первой революции.

Не совсем ясно и оправданно в повести явление новой сюжетной линии. Во второй части автор начал рассказывать историю Сергея, сына заводского доктооа. Действие тут переносится в Киев, куда поступает учиться Сережа. Трудно судить сейчас о том, как развернутся в дальнейшем события, как столкнутся друг с другом Степан и Сережа и насколько это будет необходимо.

«Степан Кольчугин» — правдивое увлекательное произведение. Его прочтут с огромным интересом миллионы советских людей. Эта книга восстанавливает в живой образной форме историческое прошлое русского рабочего класса. Она знакомит со страшной жизнью, какой жили люди царской России. Она наполняет сердца читателей радостью и гордостью за нашу страну, за человека-тоуженика, который стал теперь полновластным хозяином своей судьбы, творцом своего счастья.

А. Воложенин.

НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО. «ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ». ЛИРИКА.

М. ГИХЛ, 1938 г. Тир. 3.000. Ц. 2 р. 75 к.

★

Николай Сидоренко не новичок в литературе. В 1935 г. вышла в издательстве «Советский писатель» книжечка его лирики «Дождь в саду». Туда вошло двадцать пять стихотворений. На обложке была изображена одинокая фигура женщины, которая смотрит вслед уходящему поезду. Гравюрок эта — иллюстрация к одному из стихотворений Н. Сидоренко «Станционная осень» — очень подходит к настроению и тематике наиболее характерных вещей этого сборника, где автору особенно удалась передача настроения и переживаний, связанных с железной дорогой.

В новую книгу Н. Сидоренко «Заре навстречу» вошло сорок стихотворений, но семь из них не новы: они перепечатаны из сборника «Дождь в саду».

Везде выставлены даты написания. Самая ранняя — 1928 г., самая поздняя — 1937. Это дает возможность установить ход развития поэтического творчества Н. Сидоренко за десять лет.

Стихи из сборника «Дождь в саду» и новые стихи 1936 и 1937 г. — это два разных этапа. Первый характеризуется тягой поэта к интимной лирике, второй — к большим общественным темам: родина, наши вожди и герои.

Самое раннее стихотворение из помещенных в книгу, помеченное 1928 годом, «Полустанок» не очень удачно в целом: не выдержана система рифмовки и т. д., но уже начальные строки:

Сквозняк на минуту. Подножка. Рука.

Привычная мена жезлами, —

говорят о наблюдательности автора, о его внимании к характерным мелочам. Эти качества остаются сильной стороной и в последующем творчестве Сидоренко, например «Немного влет, немного вскачь по чернозему кружит грач», «мерцанье слюдяных стрекоз», «тикают секундные ресницы», «двор в шуршаньи лиственных воронок», «отсыревший отголосок паровозного гудка» — все это достаточно образительно.

Темы некоторых стихотворений Н. Сидоренко, помеченных 1934 г., вызывают у читателя ассоциации с аналогичными у старших поэтов. Каждый поэт растет на освоении поэтического наследия своего народа или других народов.

Потому не беда, что «дикурьер партии большевиков» в одном из наиболее удачных стихотворений Н. Сидоренко «Вагонная ночь» несколько напоминает аналогичных скромных героев Багрицкого, что тема «Станционной осени» — тоска молодой женщины, изымающей от безлюдья на глухой станции, с большой силой была разработана Блоком в известном стихотворении «Под насыпью, в траве некошенной», — Н. Сидоренко дает собственный вариант этой темы, без трагического конца. Здесь не механическое подражание, а творческое освоение старших поэтов.

В стихотворении «Слон» (1935) дано описание бронепоезда по детским воспоминаниям. Мальчик мечтал о жарких странах, о слонах и о кактусах, и вот однажды к железнодорожному разъезду, где он жил, примчалось по рельсам что-то странное, ранее им невиданное, похожее и на кактус и на слона. Голубоватосерый, точно кактус, огромное и тяжелее слона». Потом этот слон «протопал туда, где змеился фронт», а через некоторое время с изодранными боками — «В бою бывает всякое» — он возвращался в тыл. Шло наступление белых. Отец мальчика упросил начальника бронепоезда взять с собой сына, а сам остался и организовал крушение поезда белых.

Не знаем, насколько это стихотворение автобиографично, но что в железнодорожной тематике творчество Н. Сидоренко наиболее органично — это не подлежит сомнению.

И образы, и лексика Н. Сидоренко более всего связаны с железнодорожным бытом и железнодорожной тематикой.

От железных дорог и поездов легко переход к другим видам движения, и характерно, что Сидоренко вообще любит говорить о движении как в природе, так и в жизни человека.

Лучше всего автору в его интимной лирике удается передача чувства разлуки, тоски, ожидания и одиночества.

Огонек не едет! Где ты, где ты?
Без тебя я выстудил жильё,
Без тебя разуто и раздето
Сердце терпеливое мое.

Или:

Заклинаю — верь мне, дорогая:
В самом дальнем, дальнем далеке,
Не забыть мне, как горит, мигая,
Лампа на высоком чердаке.

При отборе для перепечатки стихотворений из прежней своей книжки Н. Сидоренко проявил большую строгость: он отобрал только семь стихотворений из двадцати пяти, и они действительно в книжке «Дождь в саду» были самыми лучшими.

Такой строгости учат нас поэты-классики. Некрасов обращался печатно к библиографам с просьбой — не развскивать по журналам тех его стихотворений, которых он сам не включал в свои сборники. А Лермонтов был еще беспощаднее: в свой сборник он не включил таких вещей, как «Парус», «Ангел» и т. д.

Обычно последние стихи нравятся авторам больше прежних, являясь более близкими по настроению. Проявив большую строгость по отношению к своему сборнику «Дождь в саду», Н. Сидоренко оказался гораздо более снисходительным при отборе других стихотворений для сборника «Заре навстречу». Рядом с хорошими вещами попали и такие, от которых сам автор, вероятно в скором времени откажется. Зачем, например, понадобилось выкапывать из авторского архива такое стихотво-

рение 1934 г., как «Приятель», которое не было включено даже в сборник «Дождь в саду»? Неужели только потому, что там есть отдельные неплохие строчки? Стихотворение это носит семейно-домашний характер и постороннего читателя вряд ли может заинтересовать.

Трафареты встречаются кое-где в сборнике «Заре навстречу»: конь мчится, как птица, страна «стоит, как утес» и т. д. Есть кое-где образы, не стертые, но чужие, например, «весна республики». Так называлась первая книга стихов поэта Николая Ушакова. Или, например, «в снежной россыпи» — это из «Двенадцати» Блока.

Никак нельзя упрекнуть в отсутствии оригинальности поэму о Пушкине «Видения» (1936). Наоборот, оригинальность доходит до того, что автор не хочет считаться ни с законами природы («снеговорот» и «моании» в одно и то же время), ни с исторической действительностью. Есть отдельные удачные места, но в целом поэма не удалась. Автор задался заманчивой задачей изобразить вольнолюбивые мечты и тоску одиночества Пушкина в Михайловском. Тоску одиночества передать удалось, но Пушкина в поэме нет. Нельзя узнать Пушкина в том поэте, к которому, по воле Н. Сидоренко, является видение «подружки — Тани». Поэт называет ее «Татьяной Дмитриевной», «Таней», «Танюшей» и обращается к ней с такой странной просьбой:

Не улыбайся солнцу, Таня,
И не внемли напевам дня!
Очей моих очарованье,
Не обворовывай меня.

Четвертая глава поэмы озаглавлена «Из письма Пушкина». Самый замысел переложить в стихи блестящий непревзойденный язык пушкинской эпистолярной прозы нельзя не признать в высшей степени неудачным. Не лучше и выполнение. Пушкин превращен в плаксивого нытика, он у Н. Сидоренко жалуется, что ему приходится «песней душу мучить». В этом сказалось непонимание Пушкина. Это Иннокентий Анненский, поэт упадочничества, заявил, что «петь нельзя, не мучась», для Пушкина же его творчество «пир воображенья». Самое чувство тоски и одиночества выразилось у Пушкина не в художочных жалобах, а ярко и энергично. Припомним хотя бы его знаменитое восклицание в одном из писем к жене: «Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом!». Как это не похоже на нытика героя поэмы Н. Сидоренко, выдаваемого почему-то за Пушкина!

Приходится пожалеть, что у автора не хватило мужества отнестись к своим стихотворениям 1935—1937 гг. со столь же строгой оценкой, с какой он отнесся к своим прежним стихам. В связи с этим старые его стихи очень выигрывают, и цикл «Железная дорога» является более выдержанным, чем все остальные циклы. Из них более удачен цикл «Стихи о молодости». Здесь больше всего хороших стихотворений.

У читателя может сложиться совершенно ложное представление, что поэт деградирует, что в 1936—1937 гг. он стал вообще писать хуже, чем писал раньше, тогда как все дело только в отборе.

Во избежание такого недоразумения необходимо подчеркнуть, что «Заре навстречу» гораздо лучше и ценнее «Дождя в саду». Здесь несомненный рост поэтического дарования. Начинается новый этап в его творчестве, начало всегда трудно, на повороте к новому всегда встречаются затруднения. Этим надо объяснить срывы и неудачи в некоторых местах сборника.

В стихах 1936—1937 гг. Н. Сидоренко обнаруживает стремление расширить диапазон своей тематики. Не все же говорить о поездках, волейбольных площадках, санаториях, чердаках и о страданиях одинокого сердца! Поэту захотелось говорить о том, чем живет вся страна. О нашей великой родине и ее вождах, о Сталине, о Ворошилове, о Калинин, о Кирове, о героях Арктики. Вместе со всем народом отзывается поэт на разоблачения врагов народа и суд над ними. В гневных стихах «Изменникам пощады нет» и «Свершится пролетарский суд» клеймит он наймитов фашизма.

Радует также и то, что расширилась область лиризма. Гораздо больше бодрости и жизнерадостности, чем в книжке «Дождь в саду».

И, наконец, хорошо то, что на творчестве Н. Сидоренко начинает сказываться благотворное влияние фольклора, неисчерпаемого источника высокопробной поэзии.

В книжке «Дождь в саду» чувствовалось кое-где влияние Тютчева, Фета, Пастернака. У этих поэтов-учителей Н. Сидоренко мог научиться изощрять тонкость восприятия природы. Но у поэта не видно было ни малейшего интереса к фольклору, в числе его учителей не было ни Маяковского, ни Некрасова, которые могли бы научить его не чуждаться фольклора и не бояться просторечья. Это сужало творческие возможности поэта.

Но фольклор дошел до поэта другим путем. Последние годы Н. Сидоренко занимался стихотворными переводами с языков братских народов, например, с казахского. Благотворное влияние переводческой деятельности начинает сказываться и на оригинальном творчестве переводчика.

Читатель, чуткий к звуковой стороне стихов, с удовольствием отметит стихотворение 1937 г. «О дружбе», где вместо традиционных перекрестных, опоясных или парных рифм встретит рифмовку, которая традиционна у некоторых народов Востока, но в русской поэзии носит характер свежести и новизны. Рифмуются первая, вторая и четвертая строки:

Ты слышишь, свищет ветерок?
Для нас с тобой он приберег,
Должно быть, уйму новостей
Со всех тропинок и дорог.
Гудят вдоль речки поезда,
Узнай — откуда и куда
Спешат машины, нефть и цемент
И марганцевая руда?

И т. д.

Это небольшое, но обогащение русской строфики.

Гораздо важнее влияние стиля. В прекрасном стихотворении «Салют» Н. Сидоренко удалось передать свежесть и непосредственность восприятия, присущие фольклору братских народов. Здесь мы находим такие простые и dochодчивые строки:

Большая семья у Сталина — сто семьдесят миллионов!

Великой дружбе народов си научил ее.

После комсомольского съезда в Кремле представители разных народностей раз'езжаются по домам:

Снега едва касаясь, оленья упряжка мчится.

Ненец везет газету, а в ней нарисован тот,

Кто льды расплавил полярные, в тундре

построил больницу,

Кто в чумы приходит в гости, хотя далеко живет.

Он сердце послал башкирам, он сердце послал таджикам,

Казахам и белоруссам, — учитель, друг и отец.

Ненцу трудно от радости: каким надо быть великим,

Чтобы иметь так много в груди горячих сердец!

При некоторой наивности и угловатости выражений, например, «нэнцу трудно от радости», в приведенных строках больше подлинной полнокровной поэзии, чем в других более гладких стихотворениях Н. Сидоренко на великую тему о родине.

В № 8 «Нового мира» за 1938 год было помещено стихотворение Н. Сидоренко «Медный грошик». Оно показывает, что дарование поэта продолжает расти. Здесь уже благоприятное влияние русского фольклора. **Добрый знак!**

Ив. Розанов.

★

И. А. ГОНЧАРОВ — ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ПИСЬМА

Редакция, вступительная статья и примечания А. П. Рыбасова.

Ленинград. Гослитиздат. 1938. Стр. 404. Тираж 10.000 экз. Цена 6 руб.

★

В качестве литературного критика И. А. Гончаров мало известен в широких читательских кругах. Еще меньше известны его письма, адресованные выдающимся современникам, хотя это — те же критические статьи, выраженные в эпистолярной форме. Это родство статей и писем устанавливается с тем большей очевидностью, что в письмах своих Гончаров не выходит из круга литературных вопросов, занимающих его и как писателя-художника и как критика-мыслителя.

Собранные воедино, критические статьи и письма И. А. Гончарова обнаруживают в нем незаурядный талант критика и широкую философскую основу его литературно-эстетических воззрений. Кроме того, они раскрывают еще одну, несколько неожиданную в Гончарове, черту, это — страстность, полемический задор, казалось бы, столь несвойственные автору уравновешенных романов.

Еще на заре писательской деятельности Гончарова Белинский уловил основной тонус его таланта. «Вам все равно, — говорил ему лично Белинский, — попадетс я мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура, — всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому».

Не таким представляется Гончаров в критических статьях и письмах. Замкнутый и мнительный, всегда всех подозревавший в нескромных и тайных намерениях использовать его творческие замыслы, он выступает в письмах и статьях как трибун, как проповедник своих литературно-философских убеждений, как человек, страстно желающий поведать миру свой «миллион терзаний».

Помимо всего этого, автокритика, довольно редкая в литературной практике, вообще представляет в психологии творчества едва ли не больший интерес, чем обычная критика. Это сознавал сам Гончаров, когда говорил, что «редко в лице самого автора соединяются и сильный объективный художник, и вполне сознательный критик».

Вот почему сборник критических статей и писем Гончарова, изданный Ленинградским отделением Гослитиздата, следует приветствовать, как весьма ценный материал по изучению творческой биографии одного из крупнейших представителей русского реалистического романа.

В сборник вошли статьи критические («Миллион терзаний», «Материалы к характеристике А. Н. Островского как драматурга», «Предисловие к роману «Обрыв», «Лучше поздно, чем никогда», «Заметки о личности Белинского», «О Гамлете»), мелкие заметки и рецензии (среди них — отзыв на драму Островского «Гроза» и некролог, посвященный Валерьяну Майкову), а также письма к разным лицам, преимущественно писателям — И. С. Тургеневу, Я. П. Полонскому, Ф. М. Достоевскому, М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. Н. Островскому и Л. Н. Толстому.

Значение сборника повышается тем, что в него вошли материалы, впервые публикуемые, например, предисловие к роману «Обрыв». Но и из опубликованных ранее материалов некоторые из них должны быть отнесены к первопечатным документам. Таковы: отзыв о драме А. Н. Островского «Гроза», оставшийся скрытым в анналах Академии наук, отзыв о кар-

тине Крамского «Христос в пустыне» и почти все письма, увидевшие свет только после Великой Октябрьской социалистической революции. Рассыпанные по сборникам и периодическим изданиям, многие статьи, не вошедшие в собрания сочинений, были недоступны широкому читательским кругам.

Вступительная статья А. П. Рыбасова, дающая обстоятельный анализ эстетическим взглядам Гончарова, и подробные примечания к публикуемым статьям и письмам свидетельствуют о большой и тщательной работе, проведенной редакцией издания.

И литературоведы, и учащиеся литературных вузов, и наш читательский актив не будут разочарованы ни в содержании сборника, ни в методах его подачи: сборник издан культурно и с учетом тех требований, какие могут быть предъявлены к каждому научно оформленному изданию.

Наиболее ценным в сборнике по своему внутреннему значению остается критический этюд И. А. Гончарова «Миллион терзаний», посвященный анализу бессмертной комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Статья Гончарова—шедевр нашей критической литературы не только по глубине и обстоятельности разбора грибоедовской комедии, но и потому, что в ней наиболее полно и всесторонне проявились особенности его критического таланта как выдающегося теоретика русского реалистического романа.

Давая исключительно яркую характеристику комедии Грибоедова как драматическому произведению, Гончаров вскрыл ее общий смысл и, наконец, коснулся проблемы исполнения пьесы на сцене театра. Нечего и говорить, что Гончаров при этом в своем анализе комедии мастерски нарисовал картину эпохи, дал блестящую характеристику группе литературных образов комедии и отметил «злость русского ума и языка».

Здесь же Гончаров высказывает чрезвычайно важные для дальнейшего развития русского театра суждения о проблеме сценичности в пьесе, выводя ее не из простой расстановки действующих лиц в пьесе и суммы их движений, а из единства взятого автором драматического тона, характеров и типических черт персонажей и важности содержания как драматургического материала.

Большой познавательный интерес в смысле раскрытия идейно-эстетических позиций автора «Обломова» и «Обрыва» имеет его предисловие к роману «Обрыв», оставшееся непечатанным при жизни автора.

Отвечая на упреки, которые были в печати в связи с оценкой романа «Обрыв», Гончаров вступает на путь автокритики с таким же мастерством, с каким он выступил в роли критика «Голе от ума».

Огромный историко-культурный и литературный интерес представляет тот факт, что в качестве автора и истолкователя собственных произведений Гончаров выступает с разъяснением генетической связи, существующей между его тремя романами, рас-

сматривая свои романы как трилогию, как единое целое. «Никто не потрудился взглянуть попристальнее и поглубже, никто не увидел теснейшей органической связи между всеми тремя книгами: «Обыкновенной историей», «Обломовым» и «Обрывом»,—говорит Гончаров и продолжает: «В сущности, это — одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отразились три эпохи старой жизни — «сна и пробуждения» — и что все лица—Адуев, Обломов, Райский и другие—составляют одно лицо, наследственно перерождающееся, а в бабушке отразилась вся старая русская жизнь с едва зеленеющими свежими побегами—Верой, Марфишкой...» (стр. 124).

О внутренней связи между своими романами Гончаров говорит и в ряде других статей (см. например стр. 153): «Вижу не три романа, а один. Все они связаны одною общезнанию, одною последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой — и отражением их явлений в моих изображениях, портретах, сценах, мелких явлениях и т. д.».

Следует заметить, между прочим, что свой роман-трилогию Гончаров в письме к Е. П. Майковой (стр. 257) не без остроумия сравнивал со «старомодным омнибусом, тяжело переваливающимся по тряской мостовой».

Предисловие к роману «Обрыв» и «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв», по существу своему, являются первоначальным вариантом большой статьи «Лучше поздно, чем никогда» — этой своего рода «Wahrheit und Dichtung» Гончарова.

В «Заметках о личности Белинского» Гончаров мастерской рукой набрасывает портрет «Неистового Виссариона», с которым в молодости был связан узами личной дружбы и которого, несмотря на различие общественных убеждений, высоко ценил, как человека, горевшего и горевшего «в борбе... с целым океаном всякой сплошной, господствовавшей неразвитости» (стр. 203). Белинский, по словам Гончарова, и поэт, и художник, и критик, и трибун, и оратор. Увлечение и удары пера — вот образ его действия, его сила и успех» (стр. 128).

Две статьи—«Материалы, заготовляемые для критической статьи об Островском» и отзыв о драме Островского «Гроза»—посвящены А. Н. Островскому. Оценивая А. Н. Островского как выдающегося, национального по всему своему складу драматурга, Гончаров в своем пристрастии к знаменитому драматургу доходил, между прочим, до некоторого преувеличения. «Островский, бесспорно, самый крупный талант в современной литературе»,—безапелляционно говорит он, хотя к этому времени (70-е годы) фигуры Льва Толстого, Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева обозначались вполне. Этот же взгляд, но в мотивированной форме, высказывает Гончаров в своем отзыве о «Грозе», данном по поручению Академии наук 8 марта 1860 г. Высказываясь за награждение Островского премией графа Уварова, Гончаров с не меньшим мастерством, чем и при

характеристике «Горя от ума», дает глубокий и поразительно четкий анализ одного из наиболее зрелых и жизненно правдивых произведений Островского. «...Подобного произведения, как драмы, в нашей литературе не было, — говорит Гончаров. — С какой бы стороны она ни была взята, — со стороны ли плана создания или драматического движения, или, наконец, характера, всюду запечатлена она силою творчества, тонкостью наблюдательности и изяществом отделки... Всякое лицо в драме есть типический характер, выхваченный прямо из среды народной жизни, облитый ярким колоритом поэзии и художественной отделки, начиная с богатой вдовы Кабановой, в которой воплощен слепой, завещанный преданиями, деспотизм, уродливое понимание долга и всякой человечности, — до ханжи Феклуши» (стр. 223—224).

В заметке «О Гамлете» Гончаров высказывает ту мысль, что герой шекспировской трагедии не является типом в общепринятом смысле слова, а представляется носителем строго индивидуалистических черт, замыкаемых в нем как единственном и неповторимом персонаже. Все те психологические особенности, какие обнаруживаются в Гамлете, не могут наслаиваться как обычные проявления характеров определенной среды и образовывать вседневное, повторяющееся на глазах всякого явление и потому отлагающееся уже в качестве типического признака.

Несколько особняком стоит статья Гончарова, посвященная картине Крамского «Христос в пустыне», но и здесь мы находим те же черты его критического таланта: глубину и тонкость анализа, предельный лаконизм, большую наблюдательность и верность художественному реализму. Гончаров взял под свою защиту Крамского, которого упрекали в кощунственной трактовке религиозной темы. В качестве критика изобразительного искусства, казалось бы, на несвойственном для Гончарова материале, он обнаруживает редкие познания и обычную широту своих эстетических взглядов. Его суждения о границах возможно для изобразительного искусства, а также краткие замечания о Веронезе, Рафаэле и Леонардо да Винчи могли бы сделать честь любому критику и теоретику изобразительного искусства.

Обращаясь к письмам Гончарова, следует заметить, что они так же содержательны, как и его критические статьи. Связанные своей тематикой с теми же проблемами, что и критические статьи, письма Гончарова имеют большое значение для оценки как творческой его лаборатории, так и отношений, существовавших у него с рядом выдающихся писателей той эпохи. Критическое чутье и острый глаз аналитика, которые характеризуют Гончарова в качестве автора статей и заметок, мы находим и в его письмах. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что по своим литературным особенностям письма Гончарова могут быть вполне поставлены рядом с такими шедеврами эпи-

столярного искусства, как письма А. С. Пушкина и А. П. Чехова.

В самом деле, чего, например, стоит такое сравнение своего таланта с талантом И. С. Тургенева. В последнем Гончаров признает «смелого и колоссального «артиста» (стр. 250), способного давать «нежный верный рисунок и звуки» (стр. 248). По мнению Гончарова, Тургенев — не романист, а новеллист, при том же импрессионистического склада. По-иному расценивает себя и свой талант Гончаров. «Я, например, — говорит он, — рою тяжелую борозду жизни, потому что другие свойства заложены в мою натуру и в мое воспитание... У меня есть упорство, потому что я обречен труду давно, я моложе вас (Тургенева — Н. Б.) тронут был жизнью и оттого затрагиваю ее глубже, оттого служу искусству, как напряженный вол...» (стр. 247).

Следует тут же заметить, что известная история с необоснованными подозрениями Гончарова насчет плагиата Тургенева получила довольно определенное выражение в письмах его к Тургеневу и другим лицам. В одном из писем к Тургеневу он откровенно говорит, что в романах Тургенева, особенно в «Дворянском гнезде» и «Накануне», много схожих с его романами положений.

Интересны суждения Гончарова о патриотизме и национальном долге. Он, например, осуждал Тургенева за его бегство за границу, осуждал все дворянство за то, что оно пренебрегает русским языком, говоря по-французски и по-английски. «...Все народы, — говорит Гончаров в письме к С. А. Толстой, — должны притти к общему идеалу человеческого конечного здания через национальность, т. е. каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал. А мы кладем это как-то вяло и лениво, да еще упрямыми не говорить по-русски! А другие по давню не учатся нашему языку...» (стр. 264).

Рецензируемый сборник дает полное представление о круге идей, какими жил Гончаров, о его идейно-эстетических позициях, он обогащает также наши представления о литературно-общественной борьбе, которая велась в 60-х — 70-х годах прошлого столетия.

Выходец из купеческой среды, получивший воспитание в духе дворянской культуры, Гончаров в силу своего могучего таланта оказался в рядах творцов реалистического романа, характерного для русской литературы второй половины XIX столетия. Однако кругозор Гончарова как художника был в значительной мере ограничен в силу общественно-политической умеренности его взглядов. Так, например, 60-е годы наряду с ликвидацией ненавистного для Гончарова крепостного права породили, по его мнению, весьма пагубные «крайности отрицания», т. е. нигилизм, против которого он боролся всеми силами своего таланта. Нарисовав образ Марка Волохова, «хуже которого и быть ничего не могло», он оправдывался перед читателями и критикой тем, что Марк Волохов — не выдумка, а доподлин-

ное порождение жизни, обходить которое он не мог в силу внутреннего творческого императива. Намекая на революционно-демократические позиции популярных в то время Чернышевского и Добролюбова, Гончаров писал: «Я отнюдь не согласен с теми эстетиками из новых поколений (разрядка паша. — Н. Б.), которые ограничивают цель искусства одними крайне утилитарными целями...» (стр. 137).

Высоко ценя Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова как критиков и публицистов, Гончаров не признавал за ними художественного таланта. Идейная направленность романа Чернышевского «Что делать?», его революционный пафос чужды были Гончарову, так как все это противоречило его эстетическим и политическим взглядам.

Остается пожалеть, что в сборнике не нашли места некоторые статьи и письма И. А. Гончарова, тематически связанные с его содержанием. Совершенно естественно было бы предположить, например, что в сборник войдет такая замечательная статья, как «Необыкновенная история», впервые опубликованная в 1924 г. в сборнике Российской Публичной библиотеки (Материалы и исследования, вып. I, стр. 5—189). Статья эта, несомненно, должна

была войти в сборник как документ большого психологического и литературоведческого значения.

То же следует сказать и относительно писем. В задачу редакции сборника, понятно, не входила публикация всех писем Гончарова (в этом нет ни нужды, ни основания), но раз отбираются письма, в которых затрагиваются вопросы литературы и искусства, то в сборнике должны были найти место некоторые путевые письма И. А. Гончарова из его кругосветного плавания (например, письма к Е. А. Языковой и Е. П. и Н. А. Майковым), опубликованные Б. Энгельгардтом в № 22/24 «Литературного наследства» (М., 1935, стр. 344—345, 349 и 420—421). В письмах этих рассыпано немало мыслей Гончарова о психологии творчества, патриотизме и т. п.

Исходя затем из содержания и назначения сборника—служить не только материалом для чтения, но и источником по изучению творчества Гончарова, — следовало бы дать к нему указатели.

Оформление сборника — работы художника Г. Епифанова и С. Николаи следует признать удовлетворительным. Цена (6 руб.) также не велика.

Н. Николаев-Бергин.

Редколлегия: Ф. В. Гладков

Л. М. Леонов

А. Г. Малышкин

В. П. Ставский

Ответственный редактор В. П. Ставский

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5.



МОГИЗ

ДОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ

ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ!

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

ТИХОМИРОВА А. Грамматика английского языка. 3-е, дополненное издание. 1938 г. Цена 4 р. 75 к.

МИЛЕР А., ОЗЕРСКАЯ Т. Англо-русский словарь для неполной средней и средней школы.

ЗАРЕЦКАЯ Р. Англо-русский словарь (диплупут). 10.000 слов. Цена 5 р.

КУПЕР Ф. Следопыт. Со словарем (английский яз.). 1938 г. Цена 2 р. 25 к.

По Д. КОНРАДУ. Молодость. Старый капитан. Со словарем (английский яз.) 1938 г. Ц. 70 к.

МАРЦИШЕВСКАЯ К. и ЯСЕЛЬМАН Ю. Русско-испанский словарь (диплупут). 10.000 слов. 1938 г. Цена 5 р.

Учебник польского языка для взрослых. 1938 г. Цена 5 р.

ГЕОРГИУ М. Учебник французского яз. для взрослых. 1938 г. Цена 6 р.

ГЕОРГИУ М. Учебник французского яз. для взрослых. Часть II. Цена 4 р 75 к.

ПОТОЦКАЯ В. Французско-русский словарь для неполной средней и средней школы. Около 20.000 слов. Цена 5 р.

ДОЛГОПОЛОВА О. и ВЕЛЛЕР-МЕЩЕРЯКОВА А. Русско-французский словарь (диплупут). 10.000 слов. 1938 г. Цена 5 р.

БОМАРШЕ. Безумный день, или женитьба Фигаро. Со словарем (французский яз.). 1938 г. Цена 1 р. 90 к.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК НА ГРАМПЛАСТИНКАХ. 15 пластинок. Цена 82 р. 50 к.

ТРУА и МИЛИЦИНА. Курс французского языка на грампластинках. Ц. 5 р. 25 к.

КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ЗАДАТКА

Заказы направляйте по адресу: Москва, ул. Горького 51,
Дом интернациональной книги; тел. К 0-77-04.



„НОТЫ ПОЧТОЙ“ МОГИЗ'а

Москва 31, Неглинная 14/НМ

высылает наложенным платежом без задатка:

НОТЫ

«НАРОДНЫЕ ПЕСНИ О ЛЕНИНЕ И СТАЛИНЕ» — 20 песен нацменьшинств для хора без сопровождения фортепиано. Издание Академии Наук СССР. В переплете. Ц. 9 р.

★

«РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕСНИ» — 50 старых революционных (до 1917 г.) песен и песни гражданской войны. Для хора без сопровождения фортепиано. В переплете. Ц. 9 р.

★

«НАЧАЛО РУССКОГО РОМАНСА» — 32 песни 1779—1814 гг. Для сольного пения с сопровождением фортепиано. В перепл. Ц. 11 р.

КНИГИ

БАРЕНБОЙМ, А. Фортепианная педагогика, ч. I. Пособие по курсу методики обучения. Ц. 4 р. 80 к.

РОМЭН РОЛЛАН. Музыканты наших дней. Собрание музыкально-исторических сочинений, т. V. В переплете. Цена 3 р.

СТРУВЕ, Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. Этюды по музыкальной педагогике. Ц. 2 р. 75 к.

ЧАЙКОВСКИЙ, П. Переписка с Юргенсоном П., I. 1877—1883. Переписка — обмен деловыми толками, просьбами и досадами с издателем Юргенсоном. В переплете. Ц. 17 р.

ЧАЙКОВСКИЙ, П. «Пиновая дама». Сборник статей Асафьева. Дранишников. Смолич и др. К 45-летию первой постановки. Ц. 5 р.

Требуйте каталоги.

